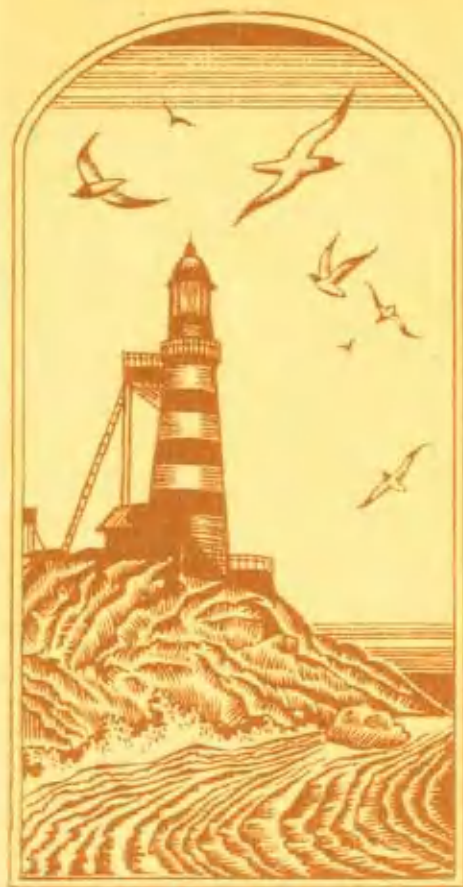


МИХАИЛ  
КОРШУНОВ

*Избранное*



ИЗДАНИЕ 1982 ГОДА



**МИХАИЛ  
КОРШУНОВ**

*Избранное*

*Художник А. Левинский*

**МОСКВА  
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“**

*1985*

# Повести и рассказы



К 4803010102—089 273—85  
М101(03)85

© Состав. Оформление.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.



## *Я слушаю детство*

**ПОД КРЫШЕЙ  
НИЧЕГО НЕТ**

*Рассказ перед  
повестью*

1

Впервые я залез на чердак в детстве. Залез, чтобы изведать неизведанное, таинственное.

Был уверен — на чердаке что-то спрятано. Надо только поискать в темноте.

Для этого необходим фонарь, и все. Да, и еще необходима осторожность, потому что на чердак лазить не разрешают: «Крошатся потолки и растаптываются по квартире».

5

Я выбрал удобный момент, когда меня никто не видел, и полез на чердак. Лестница гнулась, скрипела. Старая, деревянная, побитая дождями, обожженная солнцем.

Добрался до чердака, до узкой невысокой дверцы. Повернул колышек, на который она была закрыта, еще раз оглянулся — как будто все в порядке, никто не видит — и влез внутрь.

Долго бродил с фонарем по чердаку старого маленького дома, искал свое счастье.

2

Мне уже скоро сорок лет. Я давно не живу там, где когда-то жил, где впервые поднялся на чердак.

Но я опять живу в старом маленьком доме. Он построен из толстых бревен и покрыт шифером.

Вокруг дома лес — березы и сосны.

Каждое утро взбираюсь на чердак по такой же старой, побитой дождями и обожженной солнцем лестнице.

Я не стремлюсь изведать на чердаке то неизведанное и таинственное, что хотел изведать в детстве. Не стремлюсь найти то свое счастье, которое хотел найти прежде. Нет. Я здесь работаю, пишу рассказы.

Я привожу их отовсюду, где бываю, — из Карелии, Теберды, с Урала, Валдая, Селигера, с верховьев Волги, Енисея. Привожу в старый дом, сюда на чердак. Привожу, как свое самое большое счастье, которое отыскиваю в разных местах, среди разных людей.

На чердаке у меня стоит стол и скамейка. Я сам сколотил из досок. На столе — чернильница, стопка чистой бумаги, географические карты, справочники, записные книжки.

Окна на чердаке нет, поэтому сижу у открытой чердачной дверцы. Она заменяет окно. Вижу березы и сосны. Прилетает ветер, раскачивает пустое осиное гнездо возле дымохода.

Если ветер пытается закрыть дверцу, я подпираю ее планкой, которую специально держу под рукой. Часто по крыше ходят птицы, царапают крышу лапами.

Сквозь щели в досках солнце простреливает чердак из конца в конец длинными полосами.

Рано утром эти полосы светло-желтые, почти белые. К вечеру — темно-желтые, почти красные.

Иногда я хожу вдоль чердака, но очень осторожно, чтобы «не крошились потолки и не растапывались по квартире».

Для этого проложил доски. Они как тропинки. Вот и хожу по ним осторожно. Пересекаю солнечные полосы — светло-желтые или темно-красные, думаю о своем.

Здесь на чердаке думается особенно хорошо и мечтается особенно хорошо. Может быть, потому, что впервые поднялся сюда еще в детстве.

Поднялся за своим счастьем. И нашел его. Только не завернутое в тряпку и спрятанное под крышей, а совсем другое, в котором тоже никогда не кончаются тайны и поиски.

3

Со мной в доме живут ребята, соседи — Вова и Максим. Вова помладше, Максим постарше — осенью пойдет в первый класс.

Вову еще зовут «Сыроёжка». Это потому, что когда Вова находит какой-нибудь гриб, любой, он кричит:

— Сыроёжку нашел!

Так для всей нашей улицы Вова стал Сыроёжкой.

У Максима и Сыроёжки своя жизнь, свои интересы, заботы, свои слова.

Отсюда, с чердака, мне очень удобно наблюдать и слушать Максима и Сыроёжку. И почему-то ребята, их разговоры не мешают мне, а даже дополняют то, что делаю. Они — как солнечные полосы в моей взрослости, в моей работе.

— Узнай, что я держу в руке? — спрашивает Сыроёжка Максима.

— Яблоко, — отвечает Максим.

Я кладу ручку, прислушиваюсь.

— Нет, — говорит Сыроёжка. — Не яблоко.

— Орех?

— Нет.

— Шишку?

— Нет.

— Цветок?

— Нет.

Я тоже начинаю думать, что же такое в руке у Сыроёжки.

— Палка? — продолжает допытываться Максим.

— Нет.

— Мяч?

— Нет.

Максим теряет терпение. Я слышу это.

Теряю терпение и я: поднимаюсь из-за стола и выглядываю в дверцу чердака.

Сыроёжка стоит ко мне спиной. Одну руку засунул в карман штанов, а в другой руке, которую спрятал за спину, держит кошку.

Максим не сдается.

- Банка?
- Нет.
- Чашка?
- Нет.

За ребятами присматривает Варвара Петровна, их тетка. Она очень полная, и ей трудно далеко ходить. Поэтому в лавку за хлебом или за сахаром отправляет Максима.

Максим ходит, но неохотно. Причина в том, что напротив через улицу живет пес — маленький, вредный и ко всему подозрительный. Он как частный сыскной агент из какого-нибудь западного детективного романа: все что-то вынюхивает и выслеживает. Зовут пса Джимом, но вся улица зовет «Пес в штатском».

Максим очень его боится. «Пес в штатском» быстро это понял и ни за что теперь не пропускает Максима в лавку или из лавки. Обязательно выследит и наскочит.

Я сидел утром на чердаке. Как всегда, работал. Слышу сердитый голос Варвары Петровны:

- Максим, где же молоко? Я тебя посылала за молоком.
- Кончилось молоко, — отвечает Максим.
- В лавке кончилось?
- В лавке не кончилось, а в бидоне кончилось.
- Ничего не понимаю...
- Ну, было, и нет его.
- А где же оно?

И тут выясняется, что Максим отбивался молоком от «Пса в штатском».

Варвара Петровна не может удержаться от смеха. Я тоже смеюсь, но тихонько, чтобы не услышал Максим и не обиделся на меня.

В доме наступает тишина — Сыроёжка и Максим отправляются играть куда-нибудь к березам или соснам.

Если начнут играть в прятки, то первым водить будет Сыроёжка. Потому что Максим, как наиболее грамотный, скажет считалку и обязательно выйдет, а Сыроёжка останется.

Применяется считалка одна и та же:

Плакса, вакса, гуталин —  
на носу горячий блин.

Потом они будут наблюдать за муравьями, которые перестраивают у нас во дворе гнилой пень под свое жилье. Прыгать через сухую канаву — кто перепрыгнет, а кто в нее свалится. Искать белку, которая сбрасывает с вершины сосны разломанные шишки. Учиться свистеть, зажав травинку между ладонями.

Все это время на улице будет торчать «Пес в штатском», как всегда, беспредельно вредный и недоверчивый. А я продолжаю работать, сидеть на чердаке за письменным столом или ходить по доскам-тропинкам и все думать о своем.

4

Максим и Сыроёжка еще маленькие.

Но когда подрастут, тоже, очевидно, захотят взобраться на чердак, потому что ребят всегда тянут к себе чердаки. Захотят изведать неизведанное, таинственное.

Будут бродить с фонарем, искать свое счастье.

## Глава I

### БАХЧИ-ЭЛЬ

Вечерело. Погасла жара. Вдоль заборов и у ворот резче очертились тени. Острым закатным бликом заострился крест на церквушке возле кладбища.

Минька отправился к большому гранитному камню у пекарни Аргезовых — встречать с завода своего дядьку Бориса. А Минькин дружок Вася — по-уличному Ватя — ушел за козой, которую пригонят со стадом с пастбища.

До революции пекарня принадлежала туркам Аргезовым, и с тех пор в Симферополе за ней сохранилось это название.

С близких холмов Цыплячьих Горок, где были церковь и кладбище, доносился запах цветов лаванды. Лаванду недавно начали разводить на опытных участках для производства духов, мыла и пудры.

Рядом с лавандой была плантация чайной розы. Но запаха роз на Бахчи-Эли не слышно: его забивает более пахучая лаванда.

На камне сидеть тепло. За день его нагрело солнце.

Хозяйки вынесли к воротам легкие гнутые стульча, похрустывают присушенными на сковородах тыквенными семечками, поджидают мужей и сыновей с завода и парфюмерной фабрики.

Голубятники гоняют перед сном голубей, и голуби летают высоко в солнечном закате.

Во дворах тлеют на древесном угле мангалы, сделанные из прохудившихся ведер: подогревают обеды в семейных кастрюлях, таких огромных, что, как говорится, через них и собака не перескочит.

К камню подошли ребята. Кеца — низенький, с плотной

шеей, с мигающими жуликоватыми глазами, и Гопляк — ленивый, глаза щелками, мягкие широкие губы. Принесли бараньи косточки-ошки со свинцовыми дробинками, вклепанными для тяжести.

Гопляк безразличным голосом сказал:

— Здорово!

— Здравствуй,— ответил Минька и попросил: — Запиши к себе в бригаду, Гопляк.

— Тоже на розе захотел подработать? — спросил Кеца.

— Ну, захотел.

— Ватя сагитировал?

— Ну, Ватя.— Минька никогда и ни в чем не доверял Кеце.

— Приходи завтра утром, запишу,— сказал Гопляк.

Кеца и Гопляк уселись подле Миньки, начали игру.

— Алчи!

— Кош!

— Алчи!

— Кош! — подкидывали они косточки.

Гопляк предложил и Миньке принять участие в игре.

Минька согласился. За проигрыш били «горячие»: заголяли рукав рубашки и шлепали двумя пальцами по руке.

Проиграл Гопляк. Минька отмерил ему свои пять горячих. Кеца каждый раз, перед тем как ударить, слюнявил пальцы и бил с оттяжкой.

Гопляк молчал, только губы вздрагивали.

Приплелся Ватя с козой:

— На старенького возьмете?

— Какой долгоносик выискался! — сказал Кеца.— Хватит, Миньку взяли. Валяй на новенького.

Ватя был в мятых, вздутых на коленях штанах и в галошах на босу ногу. Потоптался, подумал и решился.

Гопляк, как пострадавший, отстукал Вате пять ударов, после чего Ватя подышал на руку и присоединился к играющим.

Ребята сели, подобрав под себя ноги, и сдвинулись в кружок. Когда подбрасывали косточки, все совались головами.

— Алчи!

— Кош!

В пекарне шипела нефть в печах, бряцали чугунные створки. Ухала квашня, опрокидываясь на железный противень. В окнах, запыленных мукой, полыхали багряные отсветы, передвигались тени пекарей в нахлобученных колпаках.

Коза дергала Ватю зубами за воротник рубашки: «Мэ-э!..»

Ватя щелкал козу между рогами, но коза не отставала и звала домой.

Ватя снял галошину и стукнул галошиной козу по морде.

Коза боднула Ватю. Он едва не слетел с камня вместе с Гопляком.

— Ах ты, мэмэкало! — закричал обиженный Ватя.— Вот найду дрын и тебе рога обломаю!

Успокоили козу, успокоили Ватю, игра возобновилась.

Ватя набрал меньше всех очков. Вскочил и, теряя галоши, помчался прочь. За ним, вскидывая копытами, помчалась коза.

А за козой помчались Кеца и Гопляк, желая во что бы то ни стало расплатиться с Ватей.

Минька остался один.

Вспомнил Курлат-Саккала и сегодняшние слова Вати о том, что Курлат-Саккал объявился в Симферополе.

Может, наблюдает за Минькой, выслеживает, отомстить хочет? Уехать, что ли, в Урюпинск, домой к отцу? Но Борис всегда защитит Миньку!

Случилось это давно, когда Миньке было четыре года. Отец работал на Бахчи-Эли начальником оружейного склада.

В Симферополе скрывалась шайка бандитов под названием «Бубновые валеты». Они убивали и рядом оставляли игральную карту — бубнового валета.

Руководил шайкой Курлат-Саккал, в прошлом есаул атаманов Каледина и Богаевского.

«Бубновые валеты» устраивали мятежи, поджоги, провокации, занимались шпионажем в пользу турецких эмиссаров и мурзиков.

Однажды Курлат-Саккал хотел выкрасть у Минькиного отца ключи от склада, чтобы вооружить банду.

Ночью смазал стекла в окнах патокой, наклеил на них бумагу. Стекла бесшумно выдавил и забрался в комнату: отец не лобил, чтобы закрывали ставни.

Бабушка услышала — кто-то лезет, и разбудила отца. Он потянулся за карабином, который стоял в углу комнаты, но зацепил гитару, которая тоже стояла в углу.

Гитара дрынкнула.

Отец все же успел схватить карабин и выстрелить. Пуля угодила в оконную раму. Курлат-Саккал скрылся.

Метка от пули до сих пор сохранилась в дереве.

Курлат-Саккал пытался подкараулить отца в степи или на безлюдных улицах, но отцу удавалось отстреливаться.

Спустя несколько лет отряд красноармейцев под командой отца поймал Курлат-Саккала.

Но ему помогли бежать из тюрьмы. Теперь прятался где-то в Симферополе.

Бориса Минька заметил издали. Он узнавал его всегда, среди любой толпы — высокого, с непокрытой головой.

Борис шел легким, устойчивым шагом спортсмена. Под



пиджаком — в складках на плечах и груди — угадывались мускулы.

К Борису у Миньки была особая с раннего детства любовь.

Это Борис, как только закончилась гражданская война, уехал к берегам Волхова строить самую большую по тому времени в стране гидроэлектростанцию. Присылал письма на завод в Симферополь, чтобы рабочие на заброшенных складах и дворах разыскивали, собирали станки и материалы для Волховстроя, помогали новому электрическому городу.

Позже Борис с бригадой рабочих отправился в деревню агитировать крестьян против кулаков и подкулачников. Был и среди шести тысяч рабочих, откликнувшихся на призыв партии провести свой отпуск на уборке урожая в совхозе «Гигант».

Интересно жил Борис, работал в полную силу.

Часто Борис и Минька отправлялись на стадион. Минька нес чемоданчик с майкой, губкой для обтирания и тапочки.

Встречные оглядывались: они оба — светловолосые, кучерявые, кареглазые — были схожи между собой. Миньку даже считали сыном Бориса.

Минька был уверен, что у Бориса нет никого дороже и ближе, чем он, Минька-стригунок. Борис в детстве качал Миньку, завернутого в серое солдатское одеяло, в деревянном корыте вместо люльки.

Минька побежал навстречу Борису.

Борис схватил Миньку, и он забарахтался в его крепких руках.

— Минька! Митяшка!

— Борис!

— Ах ты, елеха-воха!

Минька решил было спросить у Бориса про Курлат-Саккала, но раздумал.

Минька шагает по Бахчи-Эли в шаг с Борисом, и все, кто сидит у ворот, раскланиваются с ними, интересуются делами Бориса на заводе, предстоящими городскими соревнованиями по тяжелой атлетике.

— Вечер добрый!

— Добрый вечер! — отвечает Борис и у одних спросит, как чувствует себя дочка после болезни, пишет ли сын из армии, у других — каков ожидают урожай на табак или маслины, удачной ли была охота на перепелок.

На дороге попался Фимка, сынишка паровозного машиниста Прокопенко, дом которого был напротив.

Фимка, совсем еще малыш, был одет в длинную холстинную рубашу, так что было похоже, что он и вовсе без штанов.

— Ты чего, Фимка, в пыли сидишь? — спросил Борис.

— Вот, — сказал Фимка и подшмыгнул носом. — Подкову нашел.

Борис поворошил его нестриженные, жесткие, как перья, волосы.

— Тащи домой. Мамка холодца наварит.

Фимка недоверчиво скосил глаза.

— Гы! — Но все-таки поднялся, прижал к груди подкову и, оглядываясь на Бориса, заторопился к мамке.

...Ужин у бабушки давно уже собран — постный холодный борщ с фасолью и сухими грибами на мучной поджарке, тарелка с ломтиками моченого арбуза, водка в гранчатом штофике, надержанная до мягкости на кизиле, бутылочка-стекляночка с тягучей алычовой наливкой, деревянные миски и ложки с наведенными на них серебром «петухами, курьями и разными фигурьями». Это у Миньки с Борисом страсть к деревянной посуде.

Дед бережно примял ладонью усы с подпалинами от табака, предупредительно кхекнул, потянулся к штофику с кизлярочкой. Звякая горлышком штофика по чаркам, налил по первой.

Миньке тоже — в мелкую чарочку кубышкой.

— Ну, чубатик, выпьем, да оборотим, в донышко поколотим.

Минька чокнулся с дедом, с бабушкой, с Борисом.

Бабушка обтерла губы передником и отпила несколько глотков.

Дед махом вплеснул чарку в рот и проглотил громко, единым духом. Продышавшись — кхи-хи-и, — опять бережно примял ладонью усы и взял ломоть моченого арбуза.

— Не питье, а душевная амврозия!

Минька тоже выпивает. Рот слегка ожигает спиртом. Крепитя, чтобы не вышибло слезы, и, как дед, тянется к арбузу. Закусив, принимается за борщ.

Дед, поднося ко рту ложку, держит под ней кусок хлеба, чтобы не брызнуть на скатерть. Ест обстоятельно, неторопливо.

Минька во всем подражает Борису. Борис запускает в борщ горчицы — и Минька запускает. Борис полощет в борще стручок горького перца — и Минька полощет. Борис раздавливает ложкой большие картофелины — и Минька раздавливает.

По второй дед наполняет чарки сладкой алычовой, чтобы покрыть кизлярочку лаком.

Дед разогнался было выпить, «поколотить в донышко» и третью, подморгнув Миньке — земля ведь на трех китах

держится, а? — но бабушка сказала, что земля давно уже вертится без всяких китов, и отобрала штофик.

Дед пробурчал:

— Шла бы ты, Мотря, уроки писать.

— Успеется с уроками.

Бабушка учится в ликбезе при школе-семилетке. Деда это веселит.

— А что, Мотря, каковы будут твои соображения насчет звездного пространства? Ежели, как ты утверждаешь, земля вертится, то почему я сижу на стуле и голова у меня совсем не вертится?

— Завертится, — отвечает бабушка. — Как штоф выпьешь, так и завертится.

— Гм... Не научно. Кухмистер ты. Ну, а каков будет твой резон о Пуанкаре?

— Это еще что за выдумка?

— Не выдумка, главарь французского правительства.

— Отцепись!

— Вот оно. Тут мыслить политэкономией надо. Пока ты букву учишь, Пуанкаре хочет придавить нас экономически. Вы, мол, медведи и фальшивомонетчики, трактор сами не соберете и, что такое автомобиль, понятия не имеете, а уж чтоб доменную печь построить и задуть, так вам и не снилось. А от нас вы кукиш получите. При генеральном штабе Восточную комиссию создал с генералом Жаном. И все против нас.

— Не Жаном, а Жененом, — поправляет деда Борис.

— Не возражаю, — соглашается дед: авторитет Бориса в вопросах экономики и политики для него неоспорим.

В доме дед первым читает газету, и только когда поставит свою подпись, что означает: газета им уже проработана, — тогда она поступает к «челяди».

Имеется у деда толстая бухгалтерская книга, куда он вписывает события как чисто семейные, так и государственного масштаба.

Однажды, производя очередную запись, всхрипнул над книгой, и Минька прочитал:

*Параграф один.* Мотря хворает, жалуется на колики в пояснице. Прогладил ей поясницу горячим утюгом через тряпку. Полегчало.

*Параграф два.* Завод «Коммунар» в Запорожье своими силами, без этих разных заграничных спецов, построил первый комбайн.

*Параграф три.* Произошла смычка между северным и южным участками Турксиба.

После ужина бабушка моет в тазике ложки и миски, а дед говорит Миньке:

— А иди, стань у гардероба.

Дед будет делать засечку на ребре шкафа, отмечать, на сколько Минька подрос. Уже больше года, как Минька не был на Бахчи-Эли — жил у отца в Урюпинске.

Внук становится. Пятки и затылок прижаты к шкафу.

Дед вынимает из ящика с сапожными инструментами острый, для окантовки подметок, ножик, вместо ручки обмотанный рогожкой, и кладет шершавую от порезов и поцарапанную Миньке на голову.

Минька, точно гусеныш, напрягает шею. Но дед не сильно надавливает на макушку — сократись, хитрик, не лукавь.

Минька пружинит шеей, будто сокращается. Дед ногтем царапает по ребру шкафа. Минька отходит. Дед по царапине наводит ножом, достает из кармана химический карандаш, мусолит его и пишет сбоку год и месяц.

— На много вырос? — беспокоится Минька, стараясь через локоть деда взглянуть на отметку.

— Да не, — подсмеивается дед. — На макову зерницу.

С улицы доносится негромкое брнчание настраиваемых мандолин и балалаек.

— Пойдем, что ли, на вечерницу, — говорит Миньке Борис и снимает с гвоздя гитару.

Возле калитки на лавке сидит старший брат Вати, Гриша, машинист Прокопенко, оба с мандолинами, и другие жители улицы с балалайками.

Подносят еще скамейки, Борис тоже усаживается. Минька рядом с ним. Гопляк, Ватя и Кеца располагаются на траве.

Минька весь день думает: где же Аксюша? Может быть, уехала к тетке в Балаклаву или к родичам на Оку? Спросить об этом у ребят или у бабушки Минька почему-то не отважился, хотя понимал, что это довольно-таки глупо: будто у него поперек лба написано, что он как-то по-особому интересуется Аксюшей!

Минька и Аксюша родились в один год, в одном родильном доме.

Их игрушки были совместные: глиняные ярмарочные свистульки, корзинки из раскрашенных стружек, бумажные мячики на тонких резинках, набитые опилками. Помногу бесплатно катались на базарной карусели, которую крутил отец Аксюши — однорукий инвалид.

Борис подстраивает гитару, наклоняя голову и внимательно вслушиваясь в тона струн.

У ворот, где живут Прокопенко, женщины кончили мусорить семечками, подмели шелуху и замолкли.

— Какую начнем? — спрашивает Гриша у Бориса.

Борис — первая гитара, он ведущий.

— Испаночку.

Запели звончатые струны мандолин и балалаек. Загудели басовые аккорды гитары. Играли с переборами, подголосками. Вели мелодию и вторили — слаженно, сыгранно.

Темнота плотнее сжимает землю.

В окнах загорается неяркий свет, падает на тихие дороги. Низко над дорогами проносятся летучие мыши-ушаны, рывками отскакивая от горящих окон.

Множатся звезды в холодном пламени Млечного Пути. Где-то, опуская в сруб ведро, стучит барабан колодца.

Из города на трамвае приехала Люба — молодая работница с парфюмерной фабрики.

Подошла, остановилась послушать. Люба жила в конце улицы, в маленьком доме, сплошь завитом крученым панычем.

Люба — красивая и самолюбивая. Обидишь — ни за что не простит. Многие сватались к ней, но никто не высватал ее.

Пожилые люди сначала понять не могли, говорили — не в меру заносчивая, сердце в гордыне держит, но потом догадались: на Бориса засматривается.

Минька тоже почувствовал расположение Любы к Борису и поэтому относился к ней сдержанно, ревниво оберегая своего Бориса. Тем более, в прошлые времена Любу видели с Курлат-Саккалом. Правда, Курлат-Саккал сам приставал к ней, но сманить Любу или даже запугать ему не удалось.

Борис ниже склонился к гитаре, и Миньке показалось, что гитара заиграла у него еще певучее, еще душевнее.

Гриша сказал Любе:

— Сядь, казачка, не гордуй! Если хочешь — поцелуй!

Люба ничего не ответила. Прислонилась к стволу акации, сорвала веточку, закусил черенок белыми влажными зубами. Стоит гибкая, черноглазая, с приподнятыми у висков бровями.

## Глава II

### ПЛАНТАЦИЯ ЧАЙНОЙ РОЗЫ

Щели в ставнях посветлели.

Минька проснулся и лежит в кровати, слушает пощелкивание часов. Ждет, когда часы начнут бить, потому что в комнате полумрак и стрелок не разглядеть.

Как и ко всему прочему в доме, Минька давно привык и к этим часам с помутневшими, осыпавшимися цифрами. Деревянный, с витыми колонками ящик подточил шашель, отвалился и потерялся крючок у дверцы.

При этих часах Минька родился, при них он растет. И его мать тоже родилась и выросла под шагание их маятника.

Дед никому не разрешает прикасаться к часам.

Раз в десять дней, взобравшись на табурет, заводит ключом, у которого на ушке жар-птица, ходовую пружину и бой.

Часы, зашелестев, точно сухие листья, ударили войлочным молоточком в железную розетку — бом!

Ну конечно! Вот так всегда случается когда ждешь-ждешь, чтобы узнать, который час, а тебе бом, один удар — половина. А чего половина? Пятого? Шестого? Седьмого?

— Минька! — тихо окликает бабушка.

— Что?

— А не время тебе собираться?

Минька сбрасывает простыню и садится.

Половина седьмого! Пора! Скоро Ватя придет.

Бабушка поднимается вместе с Минькой, хотя он и говорит, что не надо — вскипятит чайник и без нее.

Но бабушка хочет сделать все сама.

Минька умывается из большой дубовой кадлушки, похлопывая себя ладонями по груди и плечам: тогда кровь приливает к телу и не чувствуется холода колодезной воды.

Бабушка возится с чаем.

Минька накинул рубашку, пригладил гребешком волосы, приготовился сесть к столу.

Его подзвал Борис. Он тоже проснулся.

— Минька, ты про Курлат-Саккала слышал?

— Слышал. Ватя сказал.

— Боишься?

— Боюсь.

— Не надо. Не бойся.

— А как он поймает меня где-нибудь одного?

— Его самого милиция ловит. Да и на кой ты ему, стригонок, нужен! Вот если бы отец твой был здесь, тогда иной разговор. Смело бегай, гуляй.

Накормив Миньку, бабушка дала ему с собой завтрак — пирожки с вязигой.

Стук в окно. Это Ватя.

Минька подхватывает сверток с завтраком и выбегает на улицу. У Вати тоже сверток.

Ватя босой, брюки подвернуты, волосы после подушки торчком.

— Аллюр три креста. Опаздываем!

Минька и Ватя поспешно зашагали по пустынным улицам.

Изредка попадались маленькие пацанята, которые гнали в стадо коз.

— А твоя коза? — спросил у Вати Минька.

— Сама дойдет.

— А если не захочет?

— Пусть попробует! Я ей наперед выдал в лоб два щелчка.

Минька и Ватя взбираются на Цыплячьи Горки переулками с желтыми заборами из ракушечника, усеянными поверху осколками бутылочного стекла. В ракушечнике поблескивают капельки ночной влаги, еще не высушенной солнцем.

На перекрестках — круглые каменные тумбы для афиш, вколотенные в землю рельсы — коновязи, пустоши с высоченными колючками, в которых в пелдень зной и сухость.

Вскоре приятели оказались на окраине Бахчи-Эли, где были плантации чайной розы.

Вошли в дощатые ворота, поднялись по ступенькам в контору. В большой комнате скопилось уже много ребят. Бригады проверяли своих, выкликая по фамилии, и раздавали полотняные торбы с лямками.

Ватя и Минька протолкались к Гопляку.

— Пришел, значит? — сказал Гопляк.

— Значит, пришел, — ответил Минька.

— Получай. — И Гопляк подал Миньке торбу с лямкой.

Минька взял торбу и, как показал ему Ватя, надел через плечо.

Неожиданно Минька почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. Он обернулся.

Перед ним стояла Аксюша в коротеньком сатиновом платье и в косыночке, повязанной рожками.

— Ну! — сказала Аксюша.

— Что?

— Ну почему ты молчишь?

Минька и сам подумал, почему он молчит и стоит балда балдой, когда надо сказать Аксюше что-нибудь самое дружеское.

Перед Минькой вынырнул Кеца и, схватив за пуговицу на рубашке, спросил:

— Чья пуговица?

— Моя, — машинально ответил Минька.

— Тогда, — на, возьми ее! — И Кеца, оторвав пуговицу, сунул Миньке в руку.

Минька едва не задохнулся от злости. Кинулся было на Кецу, но Кеца скрылся в толпе ребят.

— Не обращай внимания, — спокойно сказала Аксюша, — он дурак. А пуговицу я тебе пришыю.

Раздалась команда строиться по бригадам.

— Побежали к своим! — сказала Аксюша и, притронувшись пальцем к Минькиной щеке, засмеялась. — Ой и сердитый ты! Сейчас зашипишь, как сковородка.

Кусты на плантациях были высажены длинными рядами.

Ватя и Минька выбрали себе ряд, где розы погуще. Минька должен был собирать лепестки по одной стороне кустов, Ватя — по другой.

Они положили завтраки на землю, прикрыли ветками и приступили к работе. Минька быстро наловчился обрывать лепестки, складывать в торбу. Старался не оставлять на цветках обрывков, или, как говорил агроном плантации, лохмотьев. Вначале Ватя ушел вперед, но дождался Миньку, и тогда они начали работать рука в руку.

Пройдя первый ряд, заступили на второй.

По соседству собирали цветы Гопляк с Аксюшей.

— Вызываем! — сказал Ватя.

— Принимаем вызов! — ответила Аксюша.

Гопляк, обыкновенно нерасторопный и вялый, заработал сноровисто и проворно.

Никто не переговаривался, чтобы не терять времени.

Лепестки в торбах пришлось уминать: они не помещались и вываливались.

Минька в кровь оцарапал колючкой ладонь, но останавливаться, чтобы заклеить листиком ранку, было некогда.

Аксюша и Гопляк и без того уже обгоняли и, не скрывая, громко торжествовали победу.

Минька и Ватя проиграли.

Они пошли проверить работу Гопляка и Аксюши, но ни в чем не углядели погрешностей: ни один цветок, не был пропущен и лепестки были собраны без лохмотьев.

— У нас в ряду цветов было больше, — не сдавался Ватя. — А у вас все бутоны.

— Неправда, — сказала Аксюша. — Вам обидно, вот вы и придумываете отговорки.

Просигналил горн — перерыв на завтрак.

Минька с Ватей отправились к тому месту, где сложили свертки. Устроившись в тени кустов, выпили морса, который притащил с собой Ватя, и насладились пирожками с вязигой. После пирожков опять надулись морсом и растянулись отдыхать.

Пришла Аксюша:

— Упарились, ударники!

Ребята промолчали, переполненные вязигой и клюквенным холодом.

— Минька, а где твоя пуговица?

Минька достал из кармана пуговицу.

— Дай сюда. — И Аксюша присела с иголкой и ниткой.

— Где ты взяла? — удивился Минька.

- Что?
- Иголку и питки.
- У девочек. Не шевелись — уколо.

Минька ощущал у себя на щеке теплоту ее дыхания, видел совсем близко уголок ее прищуренного глаза, длинные изогнутые ресницы с обгоревшими на солнце кончиками и маленькое ухо, просвеченное солнцем, покрытое пушком, точно цветочной пылью.

Аксюша ловко вкалывала иголку в материю, перехватывала, вытаскивала. Снова вкалывала.

Но вот Аксюша нагнулась, откусила зубами нитку:

— Готово.

У весов для сдачи урожая выстроилась очередь.

Миньку поразила гора лепестков, которая возвышалась рядом с весами на брезенте.

Ребята высыпали из торб свой сбор в фанерный ящик.

Приемщик взвешивал, заносил в конторскую книгу цифры. Бригадиры заносили цифры к себе в список. Очередь продвигалась быстро.

Кеца встряхнул из торбы цветы. Приемщик замерил вес, не глядя опрокинул ящик в общую кучу на брезенте.

Никто ничего не заметил, только Ватя заметил: когда приемщик опрокидывал ящик, промелькнул кусок кирпича.

Ватя локтем подтолкнул Миньку:

— Ты чего?

— Кеца кирпич подсунул!

— Куда?

— В розу.

Минька положил на землю торбу, подошел к Кеце:

— Кирпичи подкладываешь? Побольше заработать захотел?

— Не цепляйся, камса соленая! — закричал Кеца и взъерошился. — По морде слопаешь!

Ребята зашумели.

— Сам слопаешь — в ушах засвистит! — Минька двинулся плечом на Кецу, упрямый, драчливый.

Кто-то удержал его за рубаху.

Минька оглянулся. Это была Аксюша. В глазах испуг.

— Минька! Он старше!

Воспользовавшись этим, Кеца стукнул Миньку по шее ребром ладони. От неожиданности Минька покачнулся, но устоял.

Отуманенный болью и вспыхнувшей злобой, бросился на Кецу и, как учил Борис, подбил ногой справа и ударом руки слева.

Кеца, словно чурка, кувыркнулся в траву.

Минька не устоял и свалился на него. Сцепившись, они покатались, корябая ногами землю.

Ребята кинулись разнимать. Но они не давались.

Наконец, пыльных и всклокоченных, с локтями и коленями, зазелененными травой, их разняли, оттащили друг от друга.

— Я из тебя дранок еще настрогаю! — пригрозил Минька.

Кеца, захлебываясь, глухо дышал, не в силах сказать ни слова, и только зажимал зубами рассеченную губу.

Приемщик нашел в лепестках обломок кирпича и, ухватив Кецу за шиворот, повел в контору.

### Глава III

## НЕБО ДО САМЫХ КРАЕВ

Вечером вышли в степь — Минька, Ватя, Аксюша, Таська Рудых и Лешка Мусаев. Надели теплые куртки, потому что пробыть в степи надо будет долго. И не просто пробыть, а лечь на землю и считать звезды.

Лягут голова к голове, приставят к глазам ладони. Каждый будет считать звезды, которые в его ладонях. А потом цифры сложат, и получится общее число звезд. Сколько же их над слободой, больших и ярких?

Одному, конечно, сосчитать невозможно, а впятером они сосчитают.

Ребята полны решимости. Они это сделают, если даже вынуждены будут пролежать в степи ночь.

Ребята идут на широкое открытое место, чтобы не загораживали небо дома или деревья. Небо нужно сейчас им все до самых краев, до которых раскатились звезды.

Где-то высоко летает ночной ветер, а здесь, на земле, тихо и спокойно. Ветер иногда колышет звезды, и они, стукаясь друг о друга, высекают искры, словно кремни. Искры, то вспыхивая, то затухая, падают на землю. А на небе остается след. Медленно исчезает, рассыпаясь в красноватый пепел.

Изгибается под ногами тропинка. Темная и мягкая, она заглушает шаги. И кажется — ребята не идут, а крадутся к звездам.

Наконец место выбрано — открытое и широкое. Ребята ложатся голова к голове.

Хлопают крыльями ночные птицы. Долго не умолкает, стучит где-то колесами поезд. Слышно даже, как проходит стрелки: стук колес делается особенно громким. Слышно, как трубят рожки стрелочников, провожают поезд.

Минька, Ватя, Аксюша, Таська Рудых и Лешка Мусаев лежат в степи, шевелят губами, считают звезды, которые у каждого в ладонях, чтобы узнать — сколько же их, больших и ярких, раскатывается над слободой.

#### Глава IV

#### ШТАНГА

Минька работает в сарае. Решил смастерить штангу из дерева и камней, тренировать мускулы.

В сарае полутемно. От полов прохладно тянет землей. По углам, за бочонками с мочеными арбузами и бутылью с керосином, можно обнаружить всякую всячину: обрывки кроличьих шкурок, сапожные колодки, старое, изъеденное молью чучело филина, треногу и стереоскопическую артиллерийскую трубу. Труба осталась еще со времен службы Минькиного отца на оружейном складе.

По Минькиному плану штанга должна быть сделана так: ручка из тонкой, но крепкой палки. На концах — небольшие ящики. В них накладываются камни, после чего ящики заколачиваются. Минька орудует пилой, рубанком и стамеской. Направляет напильником пилу, затачивает на оселке стамеску. Торопится, чтобы к возвращению Бориса с завода штанга была готова: хочется удивить и обрадовать Бориса. Но дело движется медленно: то пила криво пилит и сползает с нарисованной карандашом линии, то гвозди гнутся, натываясь на сучки, то вдруг лопнула рукоятка у стамески.

Появился Ватя. Он не мог понять, над чем трудится его друг. Минька объяснил. Ватя сказал, что у них в саду есть повозка, она поломана и с нее можно снять колеса с осью и поднимать вместо штанги.

Отправились к Вате. Отыскивали в саду, в подсолнухах, повозку. Открутили клещами гайки, сняли хомутики с оси и вдвоем вытащили колеса.

Попытались поднять — ни Минька не смог, ни Ватя.

Пришлось установить колеса на прежнее место и вернуться к Минькиной штанге.

На улице у калитки нудно, в голос ревел Фимка.

— Мамка выпорола! — пожаловался он Миньке.

— А за что выпорола?

— За крупу. Я в огороде крупу посеял. Я думал — семена. А еще Кеца дразнит: две дощечки сложено, горсть соплей положено. О-о!..

— Идем к нам, Фимка, — сказал Минька. — Будешь по-

могать доски строгать. А Кецу мы изловим и язык воротами прищемим.

Борис пришел, когда Минька, Ватя и Фимка убирали инструменты, выметали из сарая опилки и стружки.

Борис осмотрел штангу, сказал:

— Славно придумано.

Минька с веником стоял польщенный и гордый. Ватя тоже стоял с веником и тоже польщенный и гордый. Фимка застыл с ворохом стружек, с унылым, еще слезливым носом.

— Теперь смотрите, как нужно заниматься.

Борис скинул пиджак, повесил на забор палисадника и, подойдя к штанге, расставил ноги, ухватился за палку, «гриф», и взял штангу на грудь. Потом выжал ее.

— Это называется жим, — сказал Борис и опустил штангу.

Громыкнули камни. Показал Борис рывок и толчок.

— Особенно не усердствуйте. Позанимались — отдохните, оботритесь мокрым полотенцем.

Борис подхватил Фимку, высоко подбросил и поймал. Фимка выпустил стружки.

— Еще!

Борис еще подбросил.

— А до трубы можешь? — развеселился Фимка.

Пришла Фимкина мать и сказала, что нечего баловать: он провинился и наказан, — и повела его домой.

Фимка часто задышал, собираясь захлопать. Борис шепнул ему, что до трубы слетать обеспечено.

Во двор выбежал разгневанный дед. В одной руке держал газету, в другой — тонкое школьное перо: производил запись в бухгалтерскую книгу очередного политического параграфа.

— Нет, ты мне объясни, как это называется!

— Ты о чем? — спросил Борис.

— «О чем, о чем»! Да о заграничных специалистах. Ты погляди, что о нашем тракторном заводе пишут. — Дед сунул было газету Борису, но тут же выхватил и начал читать: — «Русские всерьез полагают, что неграмотные подростки и юноши смогут скопировать методы Форда, основанные на опыте целого поколения, на высококвалифицированной рабочей силе, на курсе первоклассных инженеров и мастеров». — Дед смял газету. — Скажи на милость, какие помазанники божьи!

— Пусть горланят что хотят, — махнул рукой Борис. — А тракторы мы сделаем. И не хуже фордовских.

Была ночь.

Минька проснулся: кто-то громко стучал в дверь. От страха онемели руки и ноги. Вдруг Курлат-Саккал! Он не Кеца, с ним не подерешься — сразу пришибет.

В доме бабушка и дед. Борис заступил в ночную смену. Вновь стук.

Минька перестал дышать.

Оказалось, стучали в дом напротив: пришел из депо дежурный к Прокопенко.

— Надо выезжать на Джанкой! — кричал он. — Товарный состав. Спешно!

Минька с облегчением вздохнул. Потом долго лежал без сна.

Над головой висела картина — богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

В полумраке видны их фигуры в шлемах, в кольчугах, с копьями и палицами.

Эта картина Миньке памятна. Рисовал отец. У него долго не получалась морда коня под Алешей Поповичем. Он счищал краски и начинал сызнова. Наконец конская морда удалась, как того хотелось. Отец устал и пошел прилечь.

Минька, тогда еще ползунок, подобрался к картине, взял кисть и начал «дорисовывать».

Отец проснулся и, когда заметил, что натворил Минька, рассердился, схватил Миньку, перепачканного красками, и больно сжал. Потом швырнул на кушетку и выбежал из дома.

Долго Минька не мог простить отцу горячности, с которой он сдавил его и отбросил от себя.

Это была первая в жизни обида.

По просьбе бабушки отец кое-как подправил лошадь Алеши Поповича, и бабушка взяла картину к себе.

Разбудил Миньку, как всегда, бой часов.

Появился Ватя. Нужно было отправляться на плантацию. Сегодня выплачивали деньги.

Минька и Ватя пришли в контору и заняли очередь к окошку кассы. Пришла и Аксюша.

Каждый расписывался в ведомости у кассира, после чего кассир отсчитывал деньги.

Ватя собрался покупать голубя. Минька отдал Вате часть денег, чтобы Ватя и ему купил голубя. Ватя от радости побежал к какому-то Цурюпе-голубятнику поглядеть его продукцию, выставленную для продажи.

Минька и Аксюша остались вдвоем.

— Пойдем на курган, — предложил Минька.

— Пойдем.

На кургане, который венчал Цыплячи Горки, археологи вели какие-то раскопки. Народ говорил, будто обнаружили могилу греческих аргонавтов.

Минька и Аксюша взбирались по тропинке, поросшей жилистыми подорожниками.

Аксюша шла впереди. Минька поотстал.

Он видел загорелые ноги Аксюши в белых полосках, оставленных жесткими стеблями травы, и пучок волос, перевязанных цветной тряпчочкой — матузком, как говорила бабушка.

Ветер с кургана задувал, запутывал платье между колен. Аксюша поворачивалась к ветру спиной, распутывала платье.

Чем выше они взбирались, тем лучше был виден Симферополь и высокая над ним, как синяя тень, гора Чатыр-Даг.

Минька и Аксюша сели на вершине кургана в желтой, точно опаленной пламенем цветущих маков, траве.

Внизу лежал Симферополь, с тополиными рощами, трубами заводов и фабрик, низкими дымами паровозов около вокзала и товарной станции. Кара-Киятская слобода, Цыганская, Битакская, Якшурская. Через город протекала безводная в летнее время каменная река Салгир.

Аксюша сидела, подняв колени и заложив между ними ладони.

Минька растянулся рядом среди маков.

Миньке очень хотелось говорить Аксюше что-нибудь такое, чтобы она слушала, расширив зрачки, а он смотрел ей в лицо и говорил, говорил.

Но, сколько Минька ни думал, ничего такого придумать не мог.

Аксюша нашла в траве улитку-катушку.

— Минька, а тебе известно — улитка имеет глаза и уши.

— Выдумки.

— Нет, не выдумки. В сильную жару закрывает раковину створкой и спит. А читать следы ты умеешь?

— Какие следы?

— Ну, всякие. В лесу.

— Не знаю. Не приходилось.

— А я могу. И волчи, и барсучи, и лисы. И сусликов умею ловить волосяной петлей.

— А кто тебя научил сусликов ловить?

— Сама научилась. Минька, а у меня есть открытки с видами Ленинграда. И Ростова. Там завод «Сельмаш» комбайны делает. Интересно, что это за машины такие? Я всегда мечтаю о других городах, а то и просто воображаю что придется. Могу закрыть глаза и думать крепко-крепко — так думать, что

начинаю видеть все, что захочу. Захочу — поплыву на пароходе среди высоких волн, поскачу на лошади степной или пойду куда-нибудь на пастбище, где удоы кричат.

Аксюша закрыла глаза. И так сидела, вся пронизанная солнцем.

— Колеса бьют по рельсам. Ветер дует в открытые окна. Грохочут мосты, семафоры подняты. Еду я на Дальний Восток. Жить там интересно и опасно. На КВЖД нападают маньчжурские бандиты — хунхузы — и корабли со всего света причаливают, золото в ручьях водится. В камышах леопарды сидят, змеи на лианах качаются. А леса такие густые, что без топора не пройдешь, без компаса заблудишься.

Минька приподнялся на локте, смотрел на Аксюшу.

У него самого расширились зрачки. Даже завидно стало, что это Аксюша так здорово говорит, а не он.

— В океане моржи плавают, за камнями осьминоги прячутся — со щупальцами по три метра. Зацапают — не вырвешься. — Аксюша открыла глаза. — Минька, а ты стрелял из ружья?

— Нет, не пробовал.

— А я стреляла. Ватин Гриша давал, из винчестера. Только у меня еще очень плохо получается. Я волнуюсь и дергаю спусковой крючок. Гриша говорит — привыкну, не буду дергать. Я и ствол чистить умею, и затвор смазывать. Если поеду на Дальний Восток, на КВЖД, обязательно буду стрелять из ружья.

— Захочу, Борис тоже ружье купит и научит стрелять, — с некоторой обидой сказал Минька.

— Захочешь — и купит?

— Конечно.

— Это хорошо, когда тебя так любят.

На тропинке к кургану показался Ватя. Размахивал руками, в которых держал по голубю.

— Купил, Минька, купил!

Красный и потный, Ватя взобрался на вершину кургана.

— Вот, клинтуха купил и вяхиря. Торговался, даже в горле что-то треснуло. За тобой какого оставить? Искал, искал тебя. Гопляк говорит, с Аксюшкой на курган полез. Ну, какого возьмешь?

— Бери, Минька, вяхиря, — сказала Аксюша.

Минька принял из Ватиных рук голубя и почувствовал, как о ладонь ударились птичье сердце.

— Ну, пошли, что ли, в голубятню посадим, — сказал Ватя.

Все трое начали спускаться с кургана.

Вечером бабушка и дед собрались в гости к соседям — поиграть в стукалку на копейки.

Дед снял клеенчатый фартук, подстриг ножницами усы и почище отмыл руки от сапожной пыли и ваксы в керосине с тертым кирпичом.

Бабушка, надрывая поясницу, сама выдвинула тугой ящик у комода, вынула из него коробочку из-под ландрини с медными деньгами и гарусный полушалок с кистями. Кисти у полушалка расчесала гребешком и побрызгала духами собственного изготовления, которые составляла из гвоздик и настурций. Гвоздики и настурции сохранялись в спирту, и спирт приобретал их стойкий запах.

Поиграть в карты, в стукалку, было бабушкиной страстью.

Когда к бабушке шли взятки, она молодела от удовольствия — счастливым и промеж пальцев вязнет. Когда взятки не шли — огорчалась и замолкала. Обвиняла в неудачах партнера. Заставляла для «везучести» или посидеть на картах, или поменяться местами, или тасовать карты левой рукой.

Еще нравилось бабушке гадать на картах: коли сойдется — никто в семье не захворает, цены на базаре не вздорожают. А коли не сойдется — с кем-нибудь из близких может случиться болезнь, а цены на базаре уж бесприменно вскинутся.

В этот вечер, когда дед и бабушка ушли к соседям, Минька вытащил из сарая штангу и, по обыкновению, приступил к занятиям: жим, рывок, толчок.

От каждодневной гимнастики мышцы у Миньки на руках и груди налились упругостью, в движениях выработалась резкость, быстрота. Появилось ощущение веса и силы тела.

Минька выполнял предписания Бориса и чрезмерно не увлекался штангой, а больше налегал на гимнастику и дыхательные упражнения: в жизни надо быть не только сильным, но и проворным, ловким.

У калитки, по обыкновению, собрались на вечерницу Гриша, машинист Прокопенко и все остальные с балалайками и мандолинами.

— Эй, Борис! — постучали они в калитку. — Выходи!

Минька подошел к калитке, вынул из запора шкворень, открыл.

— Бориса нет. Новый фрезерный станок налаживает.

Напротив калитки, под акацией, уже осыпавшей спелые цветы, стояла Люба. Как всегда, гордая и одинокая.



## ПОЛОСКА ИЗ УЧЕНИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Пашка работал трамвайщиком — вагоновожатым. Водил по улицам старенький бельгийской фирмы трамвай с полотняным козырьком от солнца и выгнутой, как гитара, дугой.

Мальчишки подкладывали под колеса медные пятаки, чтобы их расплющило для игры в «битку».

Он всегда видел эти пятаки на рельсах, будто осенние листья, и стоявших поодаль нетерпеливых мальчишек. Пятаки он мальчишкам плющил, потому что сам только вышел из мальчишек.

В свободные от работы дни Пашка-трамвайщик отправлялся в Алушту.

Он любил море, а в Симферополе моря не было.

Отправлялся с вечера и шел ночью через горы сорок километров, чтобы к утру быть у моря.

А в следующий вечер проделывал обратный путь и утром был уже на работе в трамвайном депо.

Иногда его подвозили попутные машины, но это случалось редко. Машин в ту пору было очень мало.

Вместе с Павлом увязывались ребята — Минька, Ватя, Гопляк, Лешка Мусаев и Аксюша.

Шли через развалины древнего города, мимо курганов и селищ, мимо Института сельского хозяйства, каменоломен и пещер Кизил-Коба. Сокращая дорогу, пробирались сквозь заросли шиповника и ежевики — все выше в горы.

Над головой горели синие звезды, а под ногами — синие капли росы. Казалось, каждая звезда находила на земле свою каплю и зажигала ее синим светом.

В тополях, в самых верхушках, прятался ветер. Он шевелил листья, и они тоже вспыхивали синим огнем звезд.

Запускали свои деревянные шестеренки цикады. И крутили их, и крутили...

В полнолуние все вокруг заполняла луна. Ее желтая лампа висела над горами.

Капли росы переставали быть синими, становились желтыми. Они не принадлежали больше звездам. Они принадлежали луне. Листья тополей тоже вспыхивали желтым. Они тоже принадлежали теперь луне.

У родников, где в глубоких воронках тихо плескалась вода, Павел с ребятами устраивали отдых. Ели бублики с повидлом, которые брали из дома. Запивали их родниковой водой.

И потом снова в путь. Снова звезды, луна и дорога.

На Ангарском перевале было холодно. Начинался рассвет.

Блекли, выцветали звезды, прикручивала фитиль луна. Где-то далеко над морем солнце начинало день.

И ребята спешили навстречу этому дню, навстречу морю. Оно было видно отсюда, с Ангарского перевала. Оно было между двумя кипарисами. Не толще полоски из ученической тетради.

День у моря. Каждый проводил его, как ему нравилось.

Аксюша собирала ракушки и мастерила из них бусы.

Минька и Ватя сидели на камнях. Наблюдали, как вдалеке играют маслянистые дельфины и летают чернополосые крачки и утки-галогазы.

Гопляк учился плавать «на выдержку» и старался не отстать от Павла.

А Лешка Мусаев лежал в прибое и колотил пятками по воде. Ему нравились брызги.

Потом все катались на большой яхте с красными якорями. Яхта принадлежала армянину Саркизову.

Павел, Минька, Гопляк, Ватя и Лешка Мусаев устраивались впереди. Узкий нос яхты окунал в воду красные якоря. Под водой они делали похожими на глаза рыбы.

Аксюша любила сидеть на корме, где пахло горячим парусом. Она опускала в море ладонь и смотрела, как сквозь пальцы бежали ручьи пены.

Покатавшись на яхте, опять купались и ждали, когда пройдут разносчики пирожков с круглыми жаровнями на ремешках.

Разносчики ходили босые вдоль прибоя. От жаровень тянуло луковым дымком, бараньим салом.

А кто хотел, мог сфотографироваться. Фотографы с аппаратами тоже ходили босые вдоль прибоя.

Аппараты — большие, деревянные, с медными колпачками и клизмочкой на шнурке. Ножки штативов забрызганы морем, облеплены водорослями.

Совсем маленькие дети хлопали по воде наволочками, отчего наволочки надувались пузырями. Бери такой пузырь и плыви. Удобно.

Лешка Мусаев решил, что в следующий раз принесет наволочку и уплывет на ней вместе с Павлом и Гопляком.

Солнце уходит от моря в горы.

Пора и Павлу с ребятами уходить в горы, в Симферополь. Утром он должен быть в трамвайном депо.

Обратный путь особенно тяжелый.

Ребята устали.

Павел идет последним, следит за каждым из ребят. Ругает себя, что опять взял их, что теперь вот морока с ними: идут

и засыпают на ходу. Того и гляди, свалятся с обрыва или стукнутся головой о дерево.

Павел заставлял ребят умываться у родника. Сон как будто оставлял их. Но ненадолго. Вскоре опять начинали спотыкаться и чуть не валялись с ног. В особенности Лешка Мусаев. Павел легонько стучал его по затылку, и Лешка открывал глаза, просыпался.

Над головой опять горели звезды или желтая лампа луны. Крутили деревянные шестеренки цикады. От этих шестеренок спать хотелось еще сильнее.

Обратный путь занимал гораздо больше времени. Ребята едва шли. У древних развалин Павел их оставлял и спешил в депо. Иначе мог опоздать на работу. Теперь ребята сами дойдут домой.

Ребята домой доходили, но не сразу.

Они окончательно засыпали на ходу и, сонные, теряли друг друга в городе. Бродили по улицам, не сознавая, где они и что с ними. Откуда и куда идут.

Потом просыпались: Аксюша — где-нибудь у здания почты, Лешка Мусаев — на базаре или возле стоянки извозчиков, Гопляк — в городском парке, а Минька и Ватя — где-нибудь на вокзале.

Когда наконец добирались до своей улицы, то все прошедшее казалось сном — море, дельфины, яхта, рассыпанные в пути бусы из ракушек...

А может быть, это и был сон?

Нет, если лизнешь себя, то почувствуешь вкус соли.

## *Глава VIII*

### **СКЛЕП ПРЕДВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА**

У Миньки во дворе на высокой треноге укреплен артиллерийский стереоскоп.

Минька, Ватя и Аксюша по очереди взбираются на ящик и прикладываются к стереоскопу — смотрят на бахчи-эльские сады, в которых зреют тяжелые груши «беребой», «любимца клаппа», «сен-жермен», анатолийские вишни, тонкокожие мясистые персики, «курджахи».

Линзы стереоскопа все приближают. Груши, вишни и персики висят у самых глаз. На порченных видны даже червоточины.

Стереоскоп поворачивают на Цыплячи Горки, на плантации или конечную трамвайную остановку. Минька направил его на церковь и кладбище.

Церковь была с просевшими, ветхими углами, с обкрошив-

шимися сбитыми карнизами и ступенями. Колоколов не имелось: их заменяли подвешенные на веревках обода и автомобильные колеса.

Неподалеку от церкви, перед входом на кладбище, сидел на бревне, прогревая ревматические суставы, поп Игнашка. В бархатной скуфейке, в зажиренном подряснике, маленький, кривобокий.

Местные власти давно уже хотели выгнать Игнашку и закрыть церковь, но за него заступились старухи и упростили власти оставить им Игнашку: церковь его на окраине города, никому никакого беспокойства и никакой агитации.

Старухам уступили, но Игнашку предупредили, чтобы молился за Советское государство и пролетарское воинство, а не за небесных угодников и отживший режим. Чтобы иконы в церкви оставил с ликами героических русских полководцев — Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Игоря, а всем прочим апостолам устроил «со святыми упокой».

Вдруг Минька в глубине кладбища, среди кустов сирени, там, где были склепы, увидел в стереоскоп двух людей, которые вели себя странно.

Один возился с замком у склепа бывшего дворянского предводителя. Другой оглядывался, следил, чтобы никто не попался поблизости.

На земле стояла соломенная плетенка с хлебом, бутылками, копченой поросячьей ногой и лежал узел с тряпьем.

— Ну чего ты! — затеребила Аксюша Миньку. — Присох, что ли, к трубе! Хватит, моя очередь!

— Потерпи!

«Может быть, Курлат-Саккал с кем-нибудь? — думал Минька, не отрываясь от окуляров. — Но эти оба рослые, худые, а отец говорил, что Курлат-Саккал коренастый и сутулый. Тогда кто же это и что им надо в склепе? Грабители? Но грабить уже нечего. Богатые склепы давно разграблены. А что замки на них, так это поп Игнашка повесил для «ублагодотворения покоя усопших», хотя от усопших в склепах тоже ничего не сохранилось. А может, эти двое обнаружили ход в подземную келью, где, судя по сплетням старух, сын дворянского предводителя спрятал колокола от Игнашкиной церкви, доверху насыпанные николаевскими золотыми пятирублевками?»

Открыв замок, первый человек подал знак второму. Тот подошел, и оба исчезли в склепе.

Между неплотно сходящимися половинками дверок просунулась рука и нацепила на кольца замок: будто в склепе никого и нет.

Поп Игнашка продолжал сидеть на бревне, безмятежно вытянув ноги в фетровых полусапожках.

Минька слез с ящика и, пока Аксюша, нацелив стереоскоп опять на сады, наслаждалась фруктами, отозвал Ватю.

— В склепе дворянского предводителя кто-то скрывается.

— Да ну?

— Сам только видел. Двое. Замок открыли — и туда. Один все время оглядывался, чтобы не засекли. Корзина у них с едой и узел с барахлом. Что, если Курлат-Саккал?

— Так и будет тебе бубновый атаман днем по кладбищу разгуливать, когда его милиция ищет! Цыгане краденое прячут.

— Тоже похоже, — кивнул Минька. Про колокола с золотыми пятирублевками умолчал: как бы Ватя на смех не поднял.

— Предлагаю, — сказал Ватя, — установить за склепом наблюдение. Только от Аксюшки надо отделаться. Хотя она и друг, но все-таки женщина. Может растрепать.

Минька согласился, что доверять Аксюшке тайну не следует.

Отделяться от Аксюши не пришлось — она сама заторопилась в город, в лавку за пивными дрожжами, куда еще с утра ее посылала мать.

Минька и Ватя посменно начали вести наблюдение. Из склепа никто не показывался.

Игнашка продолжал торчать на бревне, но вскоре зевнул, обмахнул рот крестным знаменем и, заваливаясь на кривой бок, пошел в церковь.

Минька и Ватя устали и прекратили наблюдение. Договорились, что история со склепом будет их личным делом. Ватя придумал даже такое: как только удастся заметить в стереоскоп, что цыгане ушли из склепа, пойти на кладбище и поглядеть, что они укрывают.

— А замок? — сказал Минька.

— А отмычки на что?

— Ну ладно.

— А теперь, хочешь, птенцов поглядим?

Ребята пошли к Вате на голубятню.

Влезли к гнездам.

У Гришиных чугарей вылупились птенцы. Они были слепыми, покрыты редкими волосками. Минька захотел потрогать птенцов, но голубиха накрыла их крыльями.

— Давай наших выпустим, — сказал Ватя.

— А не улетят?

— Уже спаровались, скоро гнеститься начнут.

Ватя опустил у голубятни решетку, но клинтух и вяхирь не хотели покидать голубятню. Пришлось выгнать. Они вылетели и уселись на печной трубе. Минька свистнул, а Ватя громко стукнул решеткой.

Голуби взметнулись, начали набирать высоту.

Ребята едва дождались следующего дня и вновь направили стереоскоп на кладбище.

Дед сидел в тенечке палисадника за низким сапожным столом. Насадив башмак на колодку, набивал косячки. Изредка переставал стучать молотком, вынимал изо рта деревянные шпильки, которые держал наготове, спрашивал у ребят:

— И что вы крутитесь с этим биноклем, как рысаки по ристалищу? Шли бы на Салгир, искупались. А то голубей бы покормили.

— Изучаем окрестности, дед, — отвечал Минька, чтобы только что-нибудь ответить.

— А голубей нужно кормить по расписанию, — говорил Ватя.

Когда наскучивало следить за предводительским склепом, ребята переключались на попа Игнашку.

Поп Игнашка вместе с кладбищенским сторожем Ульяновом вздул самовар. Значит, у Игнашки или святая вода кончилась и он кипятит новую, или будут крестины и воду греют для купели. Если для купели, то опять появится какой-нибудь Сысой или какая-нибудь Фелицата. По вредности Игнашка всегда нарекал косноязычные имена — Поликсена, Манефа, Аристарх.

Труба у самовара часто падает. Игнашка сердится, плюет на пальцы, чтобы не ожечься, хватается трубу и снова прилаживает.

Самовар зачадил, да прямо на церковь. Грешно коптить храм. Игнашка отвернул трубу, а дым опять закурился на церковь. Игнашка и Ульянов — хромые, тщедушные — потащили самовар на другой конец усадьбы.

Сели на приступочке возле кладовки. Устали. Разинули беззубые рты, дышат.

Продышавшись, Ульянов закрыл рот и полез на колокольню: он по совместительству звонарь.

Игнашка встряхнулся, прибодрился и пошел в храм возжигать свечи и лампы.

Ульян забренчал в обода и автомобильные колеса, созывая прихожан к молитве.

Ребята наблюдали до тех пор, пока Минькина бабушка не вышла во двор и не сказала Вате:

— Ты что же, обучатель, прыгаешь дроздом на палочке, когда время заниматься?

— А вы, бабка Мотря, политграмоту приготовили?

— Сготовила. И цифирь тоже.

Друзья прекратили наблюдение и унесли стереоскоп в сарай. Ватя собрался бежать домой.

— На что тебе? — удивился Минька.

— Надо.

Минька решил пойти поглядеть, как это Ватя занимается в ликбезе с малограмотными.

Дед не выдержал и сказал вслед бабушке, которая отправилась в ликбез с тетрадью, книжкой и бутылницей домашних сажевых чернил:

— Поплелся школяр!

Минька устроился под окном класса, где должны были проходить занятия. Через открытое окно все было хорошо видно и слышно.

В классе висел плакат: «Грамотный — обучи неграмотного (Ленин)». Висели потрепанная, клееная-переклееная географическая карта, таблица для счета, печатные буквы, написанные углем на картоне, листки с расписаниями занятий.

Ватя вышел вперед, на учительское место, к фигурному ломберному столу со вздрагивающими от малейшего прикосновения хилыми ножками. Столик, очевидно, был реквизирован у буржуазии и по случайности попал в школу.

Ватя, против обыкновения, был в ботинках — истертых, продранных, с разноцветными шнурками, но в ботинках. Минька теперь догадался, для чего Ватя бегал домой.

В классе собралось девять старушек, повязанных белыми головными платками. Концы у платков были похожи на заячьи уши, настороженные и внимательные.

— Итак, граждане трудящиеся, занятия на сегодня считаю открытыми, — солидно сказал Ватя и прошелся взад-вперед у доски.

«Форсу-то сколько! — удивился Минька. — Башмаки на скрипёк настроил».

Ватины башмаки громко скрипели: один — фистулой, другой — басом. Для этого Ватя подложил в них лоскуты кожи, вымоченные в уксусе и посыпанные серой. Тогда создавалось впечатление, что башмаки недавно были новыми и что сшиты из «вальяжной мануфактуры».

— Гражданка Пелагея Христофоровна, — позвал Ватя, — идите к карте.

— Ох ты, нечистая сила! — пробормотала Пелагея Христофоровна, скоренько наложила на себя крест и пошла к карте.

— Покажите, где расположен город Ленинград. Да не пальцем показывайте, а палочкой-указкой.

Пелагея Христофоровна взяла со стола палочку-указку, отчего столик вздрогнул и затрясся мелким бесом, вытерла ладонью взопревший лоб, начала искать на карте Ленинград.

Искала долго, напряженно дышала, морщила лицо и, когда наконец нашла, торжественно и прочно установила в него указку.

— А что вы можете рассказать о Ленинграде, о пролетарской революции?

— Да ничего. Я ж в нем не была, в Ленинграде.

— Но ведь я задавал прочесть в книжке.

— Не успела. Бочки в Салгире замачивала. Скоро капусту солить, а бочки текут. У мамки-то небось тоже бочки текут?

— Текут. Сейчас, Пелагея Христофоровна, не об этом разговор.

Ватя поскрипел ботинками и вызвал Дарью Афанасьевну.

Дарья Афанасьевна, спотыкаясь на каждом слове, будто слово слову костыль подавало, начала рассказывать о штурме красногвардейцами Зимнего дворца, о декретах о мире и земле, о пароходе «Аврора».

— Не пароход, а крейсер, — поправил Ватя.

— Ну, крейсер, — согласилась Дарья Афанасьевна.

Когда она что-нибудь забывала — память-то, люди милые, не мешок: положил да завязал, — Минькина бабушка подсказывала.

Это было до того смешно, что Минька зажимал рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Ватя отводил глаза в сторону. Делал вид, что не замечает подсказок.

Потом он попросил бывшую келейницу тетю Ньюшу рассказать о рабочих отрядах, которые посылались в деревни для помощи крестьянам.

Тетя Ньюша приступила к рассказу и тут же вспомнила, что недавно в деревне Катерлез кулаки обстреляли из обрезов тракторную колонну. Старушки завздыхали, засморкались. Ватя счел нужным вмешаться и сказать, что скоро с кулаками будет покончено.

Минька слушал Ватю и диву давался: откуда у Вати что бралось! «Не хуже нашего деда выступает, — подумал Минька. — Не напрасно бабушка про Ватю говорила: чего языком не расскажет, пальцами растычет».

Потом был диктант. Ватя опять расхаживал по классу, скрипел башмаками и диктовал из букваря:

— Ам, сам, сом. У сома ус. Сом с усом. Усы. Крысы.

— И куда тебя понесло! — возмутилась Пелагея Христофоровна. — Нешто можно чернилами за твоим языком угнаться.

Ватя сбавил скорость:

— Уши, ужи. Жили, шили. Ух, пух, лопух.

— Ты бы меня по старости с тягла спустил, — откладывая перо, сказала тетя Ньюша. — Читать я выучусь, а писать пусть внуки за меня учатся. Не пишет оно у меня, перо твое. То с него летится, то соломы нацепит и тянет, загибает.

— Вы опять, тетя Ньюша, панику разводите: все перо в чернила суете, а я вам сказал — до половины нужно. И не давите на него кулаком, а пальцем прижимайте.

Ватя подошел к тете Нюше, взял перо и показал, как надо писать.

И вновь началось:

— Осы. Босы. Вор. Сор.

Когда диктант закончился, Ватя собрал тетради. Повел беседу о боге. Бог — это поповская брехня, и сроду бог не водился ни в небе, ни на земле. И что в богоявленную ночь небо не открывается и никто сверху на землю не глядит. И что разные Евдокии-свистухи и Юрии-вешние, ленивые сохи, к урожаю на хлеб никакого отношения не имеют. И что святой Егорий не ездит на белом коне по лесам и наказы зверям не раздает. А звери сами по себе живут. И если бы даже такой Егорий к ним ездил, то они давно бы его съели вместе с белой лошадей. Так что все это чепуха на постном масле, Игнашкины выдумки.

Старухи слушали Ватю, но некоторые роптали, что и без того сегодня, по причине ликбеза, пропустили обедню и что Ватя сверх меры богоборствует, на Игнашку напраслину наводит.

Но Ватя не унимался, распекал святых дев и апостолов. И еще Ватя сказал, что римский папа Пий XI организовал крестовый поход против Советской власти. Вот она, мировая буржуазия! (О Пии XI Ватя прослышал от Минькиного деда.)

Старухи кивали, соглашались с Ватей в отношении мировой буржуазии и Пия XI где-то там, в Риме. Но, когда Ватя вновь затронул Игнашку, надулись как мыши на крупу: Игнашка свой, не римский, живет под боком, и какая из него мировая буржуазия, когда он в лохмах ходит!

Проговорив о боге, приступили к занятиям по арифметике, цифири.

Солнечное утро. Ребята возле стереоскопа. Ватя сменил у окуляров Миньку, но тут же поманил его.

— Уходят, вижу! Замок запирают. Один в пиджаке и в мягких сапогах с длинными голенищами, другой — в блузе и тоже в таких сапогах. И серьга, наверное, в ухе у каждого болтается. У цыган это уж манер такой, чтобы серьги. Уходят в степь. Через забор махнули.

— Неужто Игнашку боятся?

— Народ сейчас потянется на молитву. Ну как, пойдем на кладбище?

— Конечно.

Ребята бросили стереоскоп посреди двора и выбежали на улицу.

У Вати в кармане было несколько старых ключей и отмычек, нарубленных и расклепанных из толстой проволоки. У Миньки — стамеска как холодное оружие и фонарь с батареей.

Возле пекарни Аргезовых встретили Аксюшу. Она покупала крендели с патокой.

— Куда это вы мчитесь?

Ватя на ходу крикнул:

— К Игнашке кофей пить!

— Нет, правда?

— Ей-богу!

— Погодите, и я с вами!

— Некогда, Аксюша! Кофей стынет!

Бежали до кладбища что было сил. Обгоняли старушек, которые болезненно напрягались, восходя на Цыплячи Горки к храму.

На кладбище было жарко, земля расползлась, растрескалась. В неподвижном воздухе, над зарослями туй и петушков, столбиками вилась мошкара.

Многие могилы осели, и на их месте образовались сыпучие ямы, куда сползли надгробные плиты. Кое-где у крестов стояли консервные банки с букетиками полевых цветов.

Минька пробирался первым.

— А если они вернулись? — остановил друга Ватя.

— Струсил?

— Нет. Но ведь могли они вернуться?

Что-то прошелестело в траве. Ребята примолкли.

— Ящерица, — сказал Минька. — Или желтобрюх.

К склепу предводителя подошли с предосторожностями. Вглядывались в тени. В могильные ограды. В сухие деревянные кресты. Прислушивались.

— Пока буду ковырять замок, побудь на стреме, — сказал Ватя и приложился ухом к дверцам склепа: тихо.

Достал ключи и отмычки. Замок тяжелый, кованый. Ватя вставлял в скважину ключ за ключом, крутил, нажимал, дергал — пружина не поддавалась.

Ватя устраивал передышку. Хрипловатым от волнения голосом спрашивал:

— Никто не идет?

— Да нет же.

Перепробовал Ватя и все свои проволоки. Бесплезно.

— Ну вот, — огорченно сказал Минька. — Липовые у тебя отмычки.

— А ты погляди, — оправдывался Ватя, обтирая о штаны ржавчину с пальцев. — Это не простой замок, а репчатый, амбарный. Он с потайкой. Откуда я знал!

— А если камнем?

— Крепкий. Не расшибем. Да и они увидят и смоятся.

— Это точно — смоятся.

— Минька! Дует в церковь!

— Для чего?  
— У Игнашки ключи от всех склепов. Стянем и откроем.  
Среди тополей как будто мелькнула косыночка, повязанная рожками.

— Неужто Аксюща следит?

Ребята осмотрелись — нет, вроде померещилось.

Служба в церкви началась. Из распахнутых дверей слышались немощный, пресекающийся дискант Игнашки: «Зряче на высоту твою...» — и хриплые подвывания лабазника Матюхи, который выступал за дьяка: «Помилуй мя, исцели душу мою».

Ватя и Минька вошли в церковь.

Стены были убраны большими иконами-людницами, на которых угодники изображались компаниями, оптом, и иконами-маломерками, осьмериками красного пошиба, на которых угодники были нарисованы в розницу. Носы у всех угодников были одинаково длинные и постные — очевидно, от их иноческого жития в «немощи и скорбности».

Самодельные, горбатые свечи пускали по храму сальную копоть. Зеленым сивушным пламенем дышали на киоты лампы и светники, висевшие на белых лентах и оловянных цепочках мелкого набора.

— Ты протискивайся к окошку,— зашептал Ватя Миньке.— Справа последнее — там ящики, а в ящике ключи.

— А ты?

— А я отвлеку Игнашку. Я для него как гвоздь в стуле. Увидит — с глаз не отпустит.

Минька кивнул. Начал пробираться между старухами к окну.

— Сопризнасущая...— скрипел Игнашка.

— Человеческое естество,— подхватывал хор певчих.

— Владычица наша,— хрипел, надсаживался Матюха и сыпал искрами, встряхивая кадило.

Минька не спешил проталкиваться к окну, чтобы не быть слишком заметным. Останавливался, смотрел на иконы, стараясь изображать на затылке, обращенном к Игнашке и Матюхе, смирение и послушание, хотя ему непрерывно хотелось смеяться: он вспомнил слова деда — иконы и лопаты из одного дерева сделаны.

Случилось так, как предполагал Ватя. Игнашка заметил его среди старух и прилип глазами.

Лицо Игнашки сморщилось от негодования. К этому были причины. Ватя изошрялся в проказах над Игнашкой: то запускал в кастрюлю, где Игнашка хранил святую воду, циклопов, и, когда подслеповатый Игнашка кропил малярной кистью куличи прихожан, кое-кто из старушек доглядел прыгающих на куличах циклопов и ужаснулся «ино тварям, ино бесам»; то

вдавливал в свечи оружейные пистоны, и свечи с громким пыхом взрывались, оплевывая воском лики святых; то на пасхе подсовывал яички с нарисованными языкатыми чертями.

Ватя прошел в первый ряд молящихся. Оказался перед самым поповским носом.

Игнашка держал в одной руке крест, а в другой камертон. Старался не сбиться с правильного голоса при переходе от хора к своему дискантовому запеву.

Минька достиг уже окна, где на подоконнике стоял картонный ящик с наклейкой: «Бакалея, макароны, 20 кг».

В ящике были сложены церковные документы, свечные огарки, бумажные цветы, кусочки просвиры, поминальные листы — синодики.

Минька присмотрелся и вскоре среди этого хлама нашел в ящике ключи на парчовой перевязи.

Боком придвинулся к подоконнику, вытащил из ящика связку с ключами и опустил в карман. В это же время Игнашка взмахнул камертоном над Ватиной головой.

Минька поспешил вон из церкви. Ватя тоже кинулся к дверям, врезаясь головой в животы молящихся.

Дзынь! Упала железная плошка с подайнием. Раскатились копейки.

Матюха смолк на полуслове, точно поперхнулся. Певчие тоже смолкли. Служба спуталась, сбилась.

— Босота! Скаженята!

Когда друзья были на порядочном расстоянии от церкви, Ватя спросил, заглатывая воздух, как судак на песке:

— Стянул ключи?

— Стянул. А что у тебя желвак на лбу?

— Игнашка постарался. Я ему рожу хотел состроить. А он как стеганет камертоном в лоб!

Минька, давась от смеха, сказал:

— Не все козе в лоб получать!

— Тебе смешки, а у меня в голове вроде хрустнуло даже.

— Слабак ты, Ватя. То у тебя в горле треснуло. Теперь в голове хрустнуло.

— Ничего. Я Игнашке панихиду сыграю. Он мой авторитет подрывает!

— Какой авторитет?

— Педагога. Я ему в самовар порошу насыплю!

Ключ к замку подобрали скоро. Дверцы пискнули застоявшимися петлями, растворились.

Из склепа подул затхлой, придушенной сыростью.

Минька зажег фонарь. Начал спускаться по узким ступеням, которые становились все более отвесными и скользкими.

Ватя шел сзади, прерывисто дышал. Хватался за Миньку, чтобы не упасть. Батарейка была старой, и фонарь светил слабо.

Кончилась лестница. Ребята попали в сводчатую низкую усыпальню.

Глаза освоились с темнотой. Минька и Ватя увидели каменные с лепными украшениями постаменты, на которых прежде стояли гробы. Теперь на постаментах валялись кучи извести, перемешанной с остатками дубовых досок, обрезками репсовой тесьмы, изуродованными ржавчиной гвоздями. Известью производили на кладбище дезинфекцию.

Минька обвел лучом фонаря помещение — пусто, ободранно, неприятно.

— Может, назад подадимся? — толкнул Ватя Миньку в плечо.

— погоди, вон еще ход.

И Минька направился к темному углублению в дальнем углу склепа, сжимая в правой руке стамеску. Ватя пошел за ним. Это оказался коридор, который привел в следующую усыпальню.

— Тут, — сказал тихо Минька и остановился.

Ватя чуть не наскочил на него.

— Кто? — испуганно спросил он.

— Они тут живут.

Под лучом света видны были на полу свернутые на соломе одеяла, подушки. Валялись пустые бутылки из-под водки, окурки. Была набросана яичная скорлупа, грязная оберточная бумага, мочала, сухая кожа от колбасы.

Ребята все осмотрели, но ничего особенного не обнаружили — консервы, спички в пергаменте, спиртовка, чашки, ложки, мыло.

— Давай стены простучим, — предложил Минька. Он все еще рассчитывал на тайник, где спрятаны ценности.

Но Ватя торопился с возвращением:

— Цыгане — знаешь они какие. Лучше не попадайся. Изувечат!

Ребята выбрались из склепа. Вдели в двери замок, защелкнули.

— А ключи как же? — спросил Минька.

— Положим, где взяли.

— Опять к Игнашке идти?

— Нет, зачем. В окно бросим.

Ребята пошли к церкви. Служба еще продолжалась. Подойдя к открытому окну, из которого веяло запахом свечного и лампадного перегара, они сквозь решетку бросили ключи на прежнее место, в макаронный ящик.

— Эх, — вздохнул Минька, — и всего-то делов — цыгане едят и водку пьют.

— А ты еще про Курлат-Саккала думал, — сказал Ватя. Друзья медленно спускались с Цыплячьих Горок по тропке напрямик, через заросли дикого шиповника и хвоща.

Неожиданно столкнулись с Кецей. У Кецы была соломенная плетенка, нагруженная провизией.

Кеца отступил от друзей, хотел спрятать ее за спину.

Минька взглянул на плетенку: перетянутые бечевкой ручки, сбоку дыра, заплатанная бумазеей. Он где-то видел эту плетенку. Но где?

— Двое на одного! — визгливо закричал Кеца.

— Да на кой лях ты сдался! — ответил Минька. — Если понадобится, и один тебя разрисую.

— Фасонишь, да? Вы все дофасонитесь!

— Кто это — все?

— Узнаешь, когда надо будет. Найдется кто-нибудь по сильнее твоего Бориса. — И Кеца, вильнув между ребятами, припустился к церкви.

— Что это с ним? — удивился Ватя. — Хоть он и бузовый пацан, но таким трусом никогда не был.

— А он и не струсил, — задумчиво сказал Минька. — Он из-за корзины убежал.

— Как это?

— Я тогда в стереоскоп видел у цыган эту корзину.

— Ну?

— Вот тебе и ну! А теперь ее Кеца тащит, и опять в ней хлеб, водка, папиросы.

— Побежали за ним!

— Что он, без мозгов? Он сейчас не пойдет, куда ему надо.

— Ты думаешь, это он им носит?

— Похоже.

— И угрожал как-то странно. Про Бориса говорил.

— Мы не должны бросать слежку за склепом.

— А может, в милицию заявить или Борису рассказать?

— Самим надо дознаться, в чем тут дело. И фактов у нас для милиции нет. Ну, улики.

— Самим оно, конечно, интереснее, — согласился Ватя. — И насчет фактов тоже правильно. Вот когда все разведем, тогда и припррем Кецу к стенке.

## Глава IX

### КУРЛАТ-САККАЛ

В доме только Минька и бабушка. С утра еще было прохладно и пасмурно. Натягивало дождь. Бабушка поставила кадушку под водосток с крыши, чтобы набежала дождевая вода для мытья головы.

Минька проделал упражнения со штангой. Прополот гряды на огороде. Вынес из дома вазоны с фуксиями, чтобы цветы помылись под дождем, и занялся выпиливанием лобзиком узоров из фанеры. Это — новое увлечение Миньки и Вати.

Бабушка поставила на примус вариться обед. Достала тетради и начала делать уроки по арифметике и письму.

Тучи сдвигались, уплотнялись. Облегли небо. Бурливые, тяжелые подминали слабые, обрывчатые, отжимали к земле. И те пластались над землей черными пугливыми птицами. Деревья и кусты выжидающе затихли. Листья напряглась, насторожилась.

На опустевшей улице слышалось, как хозяйки поспешно захлопывали окна и ставни. Втаскивали в сараи мангалы и совки с углем. Опускали подпорки и снимали с веревок подсохшее белье. Некоторые подвязывали в садах ветви яблонь и груш.

Бабушка тоже потребовала, чтобы Минька закрыл в доме окна и даже форточки: бабушка боялась грозы.

Она видела, как однажды молния стеганула через форточку по медному подсвечнику на комод и, свернувшись клубком, перелетела на печь, где и расшиблась о дублянку, в которой квасилось тесто. Ну, не сатанинская ли сила! Ведь этакий огневой клубок и человека уклонить может. Так и упокоишься прежде времени.

Со звоном толкнулся о землю гром. Вздогнули листья. Еще толчок, еще звон — короткий, оглушающий. Что-то обломилось в черепицах и посыпалось по крыше.

Метнулся ветер, вскинул на дорогах пыль, щебенку. И тут же загудел, завихрил ливень, обвальный, шумный.

В окне напротив Минька заметил прижавшегося к стеклу Фимку: у Фимки любопытство пересиливало страх.

— Как бы опять нас не затопило, — сказала бабушка.

Когда случались сильные тучевые дожди, с Цыплячьих Горок на Бахчи-Эль скатывалась одичавшая вспененная вода. Заливала дворы, палисадники, трамвайные пути. Иногда поднималась до метра.

Больше всех других дворов страдал двор Минькиного де-

да — он был крайним и в ложбине. Каждый раз после гроз бахчи-эльцы собирались выкопать отводную канаву, да все откладывали. И так оно и шло — от беды до беды.

Улицу затянуло дождевым сумраком, за которым потерялся, исчез Фимка. С лязгом промчался в город последний трамвай, чтобы не застрять под ливнем. Может, Пашка-трамвайщик?..

С Цыплячьих Горок устремились потоки воды, кружа на себе щепу, листья, птичьи гнезда, комья земли. Постепенно потоки слились в гремящее мутное половодье.

Минька видел, как двор быстро заполнялся вспененной водой. Она не успевала вытекать через сточное отверстие в заборе.

Потрескивала под напором воды дверь. Сквозь пазы в досках дверей вода потекла в квартиру.

Минька распахнул окно, прыгнул во двор, в воду.

— Куда ты? — заволновалась бабушка.

— Открою калитку!

Сделав несколько шагов и ощутив напор воды, Минька понял, что калитку, которую надо тянуть на себя против напора воды, ему не открыть.

Закричал бабушке, чтобы подала топор: оставалось одно — рубить ее!

Пробираясь вдоль стены дома и стараясь не оступиться, не уронить топор, Минька направился к калитке.

Гром не умолкая бил землю. Шумело половодье. Хворостинная огорожка у палисадника повалилась, вывернув по углам колья-держак.

Вершины кустов торчали над водой зелеными островками.

Минька добрался до калитки. Вода стремилась прижать его к ней. Он уперся о косяк ногой и начал рубить доски. Минька вкладывал в удары всю силу, но мокрые доски отшвыривали топор. Вода доходила уже до пояса.

Вдруг Минька почувствовал — кто-то с улицы нажимает на калитку.

— Отодвинь запор! — узнал он голос Прокопенко.

Минька отодвинул. Калитка подалась. На нее давили Прокопенко, Гриша и Ватя.

Минька отпрянул к забору, и вода через открытую калитку волной хлынула мимо него вниз по ложбине.

— В такой ливень калитка должна быть настезь, — сказал Прокопенко, когда вода совсем сошла со двора и Минька смог выйти на улицу. — Это Фимка углядел, что у вас наводнение.

— Фимка бесстрашный, — сказал Минька. — Гроза, а он у окна стоит.



Дождь затихал. Тучи разгрузились, посветлели. Опал туман. В окне опять был виден Фимка. Гриша и машинист Прокопенко ушли по домам.

Минька и Ватя остались вдвоем.

— Эти из города шли! — заговорил возбужденно Ватя. — Дождь лупит, а они идут. Им выгодно — все попрятались, никто не заметит. Опять какое-то барахло к предводителю тащили.

— Айда на кладбище! — предложил Минька.

Дождь все сбавлял и сбавлял, пока не превратился в редкий сеянец. Засветились промытые листья тополей, будто в сетях колотилась мелкая рыбешка. Очистилась от копоти и пыли черепица на крышах.

С Цыплячьих Горок спустился растревоженный дождем запах лаванды.

Минька и Ватя поднялись к церкви. Вода прорыла глубокие борозды, кое-где сорвала кусты, вывернула дерн, притащила с кладбища несколько крестов.

Возле церкви было пусто. На звоннице, на ободьях и колесах, сидели продрогшие вороны.

Ребята прошли на кладбище незамеченными. Соблюдая осторожность, подобрались к предводительскому склепу.

Стены склепа напитались водой, почернели. На дверцах висел замок.

Ватя заглянул в щель между дверцами. Темень — никого и ничего.

— И следов никаких, — тихо сказал Минька. — Ты, наверное, обманулся. То были не они.

— Нет, они, — упорствовал Ватя. — Не мог я обмануться.

Ребята начали обходить склеп, искать следы.

Неожиданно Минька сделал знак — не шуми! — присел на корточки возле отдушины. Ватя опустился рядом.

Из склепа через отдушину доносились негромкие голоса. Разговаривали двое.

— Зря ждем.

— Не гунди.

— А ты уверен, что придет?

— Уверен. Сегодня она выходная. Кеца записку передаст: вроде Борис ей свидание здесь назначил.

— А вдруг донесет?

— Не донесет, чего кукуешь! Если откажется, получит бубнового валета. Тогда и уйдем к Янтановой балке. Кое-кто будет ждать. Иди сними замок, выгляни ее.

— Курлат-Саккал... — прошептал Минька.

— Это он Любу убить хочет! — вскочил Ватя. — Борисом заманивает. Ближе всех Ульян и Игнашка. Надо им сказать.

— Нет! — вскочил и Минька. — Может, это общая банда. Да и что они, хромые, против Курлат-Саккала сделают!

— А Кеца-то, Кеца!

— Бежим предупредим Любу.

Ребята, пригибаясь, побежали среди могил.

У Миньки стиснулось сердце. Он боялся оглянуться.

Добежали до церкви. Остановились. Спрятались под забором, чтобы не увидели из склепа, — мокрые, взволнованные, бледные.

— Минька, ведь они удерут.

— Не удерут. Ты карауль Любу, а я побегу к Борису. От него не удерут.

— Ладно, беги! Только ты скорее!

В проходной завода, когда Минька потребовал, чтобы немедленно вызвали Бориса, даже не расспрашивали, для чего. По Минькиному беспокойному лицу было件нятно, что Борис Миньке совершенно необходим.

Борис поспешно вышел в рабочей тужурке, обтирая тряпкой запачканные смазкой руки.

— Ты что? С бабушкой что-нибудь?

— Нет, не с бабушкой.

И Минька, сбиваясь, захлебываясь, рассказал Борису о кладбище, о Курлат-Саккале, о Любе.

Борис попробовал по телефону позвониться в милицию, но не дозвонился. Тогда попросил дежурного вахтера передать в цех мастеру, что ему нужно отлучиться, а Миньке приказал:

— Беги в милицию.

— А ты, Борис?

— Я на кладбище.

Когда Борис подбежал к кладбищу, навстречу из-за деревьев вышел Ватя.

Борис спросил:

— Любу видел?

— Нет. Вдруг тропинкой прошла, а? Где стена проломана.

— Тропинкой... — Борис внешне был спокоен. — Оставайся здесь и на всякий случай жди ее.

К предводительскому склепу Борис направился не по главной аллее, чтобы не спугнуть бандитов, а в обход через могилы.

Еще издали возле склепа заметил двоих — один стоял, другой наклонился. Тот, который наклонился, был Курлат-Саккал.

На земле у его ног кто-то лежал. «Люба!» — узнал Борис по платью.

Он метнулся к склепу, ломая кусты сирени. Курлат-Саккал услышал треск веток.

— А-а, вот так встреча! — сказал, отступая и что-то по-

правляя в волосах, которые были перетянуты тонкой тесьмой.

Напарник Курлат-Саккала, заросший, скуластый цыган, тоже отступил.

Борис подбежал к Любе, взял ее голову, приподнял. Глаза закрыты. На ресницах — холодные капли дождя. На щеке — влажные комочки земли, обрывки травинок.

Люба была убита в висок ударом кастета.

Борис вскочил, но тут же Курлат-Саккал нанес ему удар головой. Метил в лицо, но Борис увернулся, и удар пришелся в плечо. В волосах Курлат-Саккала, под тесьмой, был спрятан обломок ножа.

Тужурка у Бориса окрасилась кровью. Он ухватил Курлат-Саккала за руки, рванул к себе.

На Бориса сзади навалился цыган, но Борис стряхнул его.

Со стороны церкви донесся шум мотоциклетных моторов: приехал наряд милиции.

Цыган кинулся бежать.

— Куда? — прохрипел Курлат-Саккал. — Бросаешь? Убью!

Цыган остановился. Склеп оцепляла милиция.

Борис с такой силой сжал Курлат-Саккала, что у того на лице посинели, вспухли вены.

По аллее спешили Минька, Ватя, спешили милиционеры и санитар. Цыгана схватили.

Санитар присел возле Любы. Расстегнул платье, послушал сердце. Потом выпрямился.

Ни один из милиционеров не смог разжать руки Бориса, чтобы отобрать полузадушенного Курлат-Саккала.

Но вот Борис сам разжал руки. Курлат-Саккал, как пустой мешок, мягко упал на землю.

Санитар хотел перевязать Борису рану на плече, но Борис отстранил его и, ни на кого не глядя, медленно пошел через кладбище в степь.

Минька бросился за ним:

— Борис!

Борис, не оборачиваясь, уходил в степь.

— Бо-рис!.. — в отчаянии закричал Минька.

Но Борис так и не оглянулся. Продолжал уходить.

Наступил вечер — сырой, хмурый. Небо было завалено тучами — ни луны, ни звезд. Над Бахчи-Элью тишина. У калиток и ворот — безлюдно.

У пекарни Аргезовых на камне сидел Минька. Ждал, когда вернется Борис. Но Борис не возвращался.

В этот день Минька понял, что у Бориса был в жизни человек еще важнее и значительнее для него, для Бориса, чем он, Минька-стригунок, елеха-воха! И что сам Минька в какой-то

степени виноват в гибели этого человека и поэтому потерял Бориса. Потерял, может быть, надолго.

Минька сидел и не чувствовал холода камня. Здесь, на камне, ишла его Аксюша.

— Ты чего сидишь?

Минька ответил не сразу:

— Жду Бориса.

Аксюша ничего больше не сказала и молча села рядом с Минькой.

## СОЛНЦЕ, РАЗБИТОЕ НА КАПЛИ

### *Рассказ в середине повести*

1

Когда-то я гонялся за этим в детстве: хотелось увидеть, где кончается дождь. Увидеть стену, которая поднимается от земли до самого неба и вся сделана из дождя. И чтобы из этой стены выйти к солнцу, к сухим листьям и к сухой траве, а потом снова войти в дождь, к мокрым листьям и к мокрой траве.

Кончается одно, и возникает совсем другое.

И я гонялся за этим. Но никогда мне не удавалось в дожде добежать до конца дождя.

2

В моих руках черный руль. У моих ног черные педали. Я веду машину и слушаю дорогу. Дороги можно слушать, потому что каждая звучит по-иному — асфальт, бетон, грейдер, предупреждают о своем приближении.

Я отдыхаю, положив голову на руль. Дорога не мешает мне. проселок, булыжник. Попадаются еще и старинные дороги, выложенные красным кирпичом или деревянными плитками.

Когда устаю, я ставлю машину на обочину, снимаю с педалей ноги, голову кладу на руль и отдыхаю.

А дорога не смолкает, шумит колесами и автомобильными сиренами: это машины, которые обгоняют или идут навстречу,

Если отдыхаю вечером, мимо пробегают огни фар: это тоже машины, которые обгоняют или идут навстречу. Но дорога не мешает: я привык к сиренам и к фарам.

Белые таблички на километровых столбах. Они согнуты уголком. Сколько я проехал этих белых уголков!

Мои дороги — это встречи с людьми. Это рассказы, которые я потом пишу об этих встречах, об этих людях.

Я давно взрослый, мне уже скоро сорок лет, и, казалось бы, детство и все, что было в детстве, забыто. Словно я проехал на шоссе дорожный знак с поперечной полосой, который означает, что действие всех предыдущих дорожных знаков отменяется, перечеркивается и начинается действие новых дорожных знаков. Они ждут впереди.

### 3

Это произошло под Чарозером. Вторые сутки я ехал на север. Дорога гудела булыжником. Когда я уставал, сворачивал, как всегда, на обочину, снимал с педалей ноги, голову клал на руль и отдыхал.

И вдруг под Чарозером совсем неожиданно впервые удалось достичь того, за чем гонялся в детстве: я доехал в дожде до конца дождя. Не пробежал, а доехал.

Я выскочил из машины и засмеялся.

В плотных брезентовых брюках, в замасленной тужурке прыгал один на дороге и смеялся.

За прошедшие годы повидал я много всякого — искусственные моря, пыльные ветры, туманы, далекие и близкие грозы, но впервые увидел солнце и стену, сделанную из летящей на землю воды. Из этой стены можно было выйти к сухим листьям и к сухой траве, а потом снова войти к мокрым листьям и к мокрой траве. Кончается одно, и возникает совсем другое.

Летящая вода разбивала солнце на мелкие капли, и солнце летело на землю — красное, синее, фиолетовое.

...Я достиг того, за чем гонялся в детстве.

Когда сел в кабину, чтобы ехать дальше, то в кабину сел не взрослый человек, а мальчишка. Ничего не было перечеркнуто.

## Глава X

### БАХЧИ-ЭЛЬ

Зима затопила слободу грязью. Днем грязь липла к сапогам, а ночью застывала. Делалась синей. Это от инея и еще потому, что светила луна.

Делались синими и черепичные крыши, и окна в домах, и заборы, и деревья, и мусор в мусорных ящиках. И все это от инея, и все потому, что светила луна.

Утром синие черепичные крыши опять превращались в красные. Синие окна превращались просто в окна. Синие заборы — просто в заборы. Синие деревья — просто в деревья. Синий мусор превращался просто в мусор.

Оттаивала и синяя грязь и превращалась в черную, липкую и нудную. Чтобы пройти, надо было набить тропинки: первую тропинку набивали к колодцу, вторую — к сараям, потом — к булочной и продовольственному магазину, потом — к трамвайной остановке.

Ходили по тропинкам «следком», друг за другом. Когда уже очень налипало на сапоги, счищали грязь о скребок у любых ворот.

Каждое утро Минька поднимался с бабушкой затемно. Пока поднимались дед с Борисом и надо было садиться завтракать, он успевал слазить через забор к Вате и вместе с ним взобраться по лестнице на голубятню. Ватя задавал голубям корм, поил водой. А Минька устраивался на верхней ступеньке лестницы, смотрел на слободу.

Еще стояла над слободой луна, и черепичные крыши, заборы, деревья были синими. И умывальники-«нажималки», и прошлогодние стебли кукурузы, и топор, кем-то забытый на дворе, и бельевые веревки, и скребки для грязи у ворот — все тоже было синим.

Кто-то расплескал луну от колодца до порога дома: вечером пронес ведро с водой, и вода расплескалась и застыла брызгами.

Дерни бельевую веревку — и посыплется искры, будто веревка привязана к самой луне.

Взмахни тем топором, который забыли на дворе, — и ты взмахнешь луной.

Открой сейчас форточку — и ты откроешь квадрат луны.

Опрокинь пожарную бочку — и ты опрокинешь луну.

Пробеги по твердой, еще застывшей грязи — и ты пробежишь по луне.

Минька любил Бахчи-Эль такой вот синей. Поэтому и вставать не ленился затемно, вместе с бабушкой.

А потом уже, когда сидел в школе, видел, как солнце превращало синюю Бахчи-Эль в обыкновенную. Синяя Бахчи-Эль стекала каплями с крыш, с деревьев, с заборов. Лунные брызги превращались в простые лужи. Бельевые веревки — в бельевые веревки. Окна — в окна. Мусор — в мусор.

И уже надо было набивать в черной грязи тропинки — кому куда. Кому — к колодцу или сараю. Кому — в булочную или к продовольственному магазину.

А тем, кто отправлялся в город, надо было брать с собой щепку, чтобы счистить потом грязь с сапог: в городе асфальт, в городе сухо. Но в городе всегда только город, и никогда в нем не бывает синей Бахчи-Эли.

Когда-то на этом месте из крупных известковых плит была сложена мусульманская часовня — дюрбе.

Часовня давно развалилась, и крупные известковые плиты были разбросаны вокруг. Остались стоять только двери. Они были сделаны из железа, гладкие и высокие.

Никто теперь не смог бы открыть их или закрыть: они выросли, опустились в землю.

Около дверей всегда появлялись ранние цветы — подснежники, фиалки, распускался дикий шиповник, которым двери были густо оплетены. Еще нигде никаких цветов не было, а здесь они уже зацветали.

Это происходило потому, что солнце накаляло железо и от него веяло теплом, как от плиты.

Но было и еще одно свойство у этих дверей: к ним притирались, «прилипали» камушки. Начнешь тереть камушек, и вдруг он «прилипнет». Не всякий, но с некоторыми это случалось.

Очевидно, двери обладали какими-то магнитными свойствами, и «прилипали» к ним только камушки, в которых оказывались крупницы железа.

Чей камушек «прилипнет» — тому счастье. Камушек будет сохраняться на дверях до тех пор, пока его не сбросит ветром или не смоем дождем.

Ребята приносили горы камней — испытывали счастье.

Но кто постарше, те камни не приносили. Они просто сидели на известковых плитах и глядели на первые весенние цветы — подснежники, фиалки или шиповник.

Каждый по-своему искал счастье у закрытых, выросших в землю дверей.

...Шанколини был керченским итальянцем. Возможно, предки его поселились в Керчи еще во времена генуэзских колоний. Так он говорил.

Шанколини торговал керосином. Железная бочка на колесах, мерные кружки, лейка, ручной колокольчик и старая кобыла Помпея, которая таскала бочку, — вот все хозяйство.

Для Помпеи рядом с бочкой лежало немного сена. Оно пахло керосином. Но Помпея привыкла к запаху керосина. Лежала еще соломенная шляпа. Это тоже для Помпеи, чтобы надевать во время жары. Шляпа тоже пахла керосином.

Шанколини приезжал в слободу, останавливался на дороге и звонил в колокольчик. Хозяйки бежали с бидонами и буты-

лями. Часто ждали его в степи. Если ждать наскучивало, оставляли бидоны и бутылки выстроенными в очередь и расходились по домам, чтобы прибежать потом, когда зазвонит колокольчик.

У кого не было с собой бидона или бутылки, тот оставлял камень: это значило, что занял очередь и появится потом с посудой.

Шанколини никогда не спешил, но хозяйки всегда бежали, торопились. Может быть, потому, что он звонил в колокольчик, или, как говорили хозяйки, «колоколил».

Часто за керосином посылали ребят. Они выполняли это поручение с удовольствием. Ребята любили Шанколини.

Он разливал по бидонам и бутылкам керосин и рассказывал о древнем Крыме — о киммерийцах, таврах, скифах. Рассказывал, какие прежде были города — Мирмикей, Неифей, Тиритака, Фуллы, Алустон. Что на берегах Керченского пролива было древнее государство, называлось Боспорским. Столицей его был город Пантикапей. Теперь это город Керчь. Оттуда он сам, Шанколини, родом.

Купцы Боспора торговали со скифами, покупали у них хлеб, шерсть, звериные шкуры. А продавали скифам вино, рыбу, ковры.

Скифы жили вот здесь, в степной части Крыма. Это на их родной земле он, Шанколини, торгует керосином и они, ребята, сидят, слушают его. А когда отправляются с Пашкой-трамвайщиком к морю, то идут через развалины древнего города. Это бывшая столица Скифии — Неаполь Скифский.

Льется в бидоны и бутылки керосин. Жует сено кобыла Помпея. На голове у нее соломенная шляпа. Сквозь дырки в шляпе торчат уши.

Керосин иногда выплескивается из бидона или бутылки и растекается на дороге темным пятном. Постепенно пятно делается все больше.

Шанколини, звякая лейкой и мерными кружками, продолжает рассказывать о Боспоре и Скифии.

Царем на Боспоре был Митридат Евпатор. Он подчинил себе весь Крымский полуостров, многие племена обратил в рабство.

И тогда поднялось восстание. Первое восстание рабов на территории нашей страны. Возглавил его Савмак. Он был скифом. Великий скиф, который повел рабов против царей.

Повсюду на скалах Савмак высекал изображение солнца. И на его щите тоже было нарисовано солнце. И на щите каждого раба. Да они и не были уже рабами, они были воинами: сражались и умирали с солнцем в руках.

Шанколини переставал разливать керосин. Он забывал

о нем. Он размахивал своими тонкими коричневыми руками и не говорил, а зло кричал о полководце Диофанте. О том, что произошло больше полутора тысяч лет назад.

Это Диофант, полководец царя Митридата, напал на Савмака. Подло напал и погубил его. Он всегда был подлым, этот Диофант. Он погубил и самую красивую девушку Тавриды, дочь архонта. Она любила простого пастуха, а Диофант начал домогаться ее любви. Тогда девушка бросилась с высокой башни и разбилась.

Шанколини неожиданно смолкает. Так же неожиданно, как минуту назад начал кричать и размахивать руками.

Но ребята знают, что это не всё, что Шанколини еще что-нибудь расскажет о киммерийцах, таврах или скифах. Или, может быть, про «Камни-Корабли». Они стоят в море недалеко от Керчи, словно парусная шхуна.

Шанколини рассказывает о них много всяких легенд. Даже читает песню Гомера из «Одиссеи», в которой будто бы говорится про эти керченские «Камни-Корабли». Как бог морей и «колебатель земли» Посейдон ударом ладони «притиснул» к морскому дну корабль, идущий в город Схерию. И застыли его белые паруса, превратились в каменные.

Шанколини читает Гомера тихо и мечтательно. Слова шелестят, будто волны:

В Схерию, где обитал феакийский народ, устремился  
Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, приближался  
Быстро. К нему подошел, колебатель земли во мгновение  
В камень его обратил и ударом ладони к морскому  
Дну основанием крепко притиснул; потом удалился.

Ребята сидят слушают.

Потряхивает головой, жует сено Помпея. Где-то в степи свистят большие жаворонки — джурбан. Высоко в небе водит круги сокол-чеглок: высматривает стрижей.

Шанколини никогда не спешит. Но все-таки наступает время, когда и ему надо ехать дальше.

Он перевязывает тряпкой кран у бочки, чтобы не капал, укладывает мерные кружки, лейку, колокольчик.

Прощается с ребятами.

Он уезжает дальше торговать керосином по скифской земле.

Минька и Ватя делают змея.

Сварили из крахмала клей. Достали папиросной бумаги. Ватя стянул у матери из швейной машины катушку ниток.

Взяли тонкую дранку и составили большой прямоугольник. По углам укрепили нитками и заклеили сверху папиросной бумагой.

Получился змей-оконка. Действительно, он похож на окно с матовым стеклом. Теперь остался хвост. Из чего лучше сделать?

Минька взял ножницы и отрезал от простыни узкую полосу: превосходный длинный хвост.

Простыня чуточку уменьшилась, и край ее разлохматился, но, чтобы все это заметить, надо присмотреться. А бабушка если и присмотрится, то не теперь, а когда начнет простыню стирать.

Закончили оконку и вынесли ее на улицу: не терпелось испробовать.

Ватя держал змея, а Минька отмотал нитку метров на десять. Он будет бежать впереди, а Ватя сзади с оконкой. Как только почувствует, что оконку подхватывает ветром, должен отпустить. А Минька должен бежать до тех пор, пока оконка не поднимется, не наберет высоту.

Пробегали по улице весь день, но оконка не поднялась: была тихая, безветренная погода.

На следующее утро Минька сказал:

— Я придумал, надо запускать с велосипеда. В любую погоду взлетит.

У Бориса был велосипед. Собрал он его из разных частей. Кое-что недостающее выточил на заводе.

Велосипед был высоким и зеленым, как кузнечик. На руле вместо звонка — старая автомобильная груша.

Вся улица пользовалась этим велосипедом-«кузнечиком».

Его брали, чтобы съездить на охоту, в магазин, в поликлинику.

Машинист Прокопенко однажды взял, чтобы быстро добраться до станции: он опаздывал, а ему надо было вести состав на Мелитополь. Велосипед погрузил на паровоз и уехал. Когда вернулся из Мелитополя, вернулся домой и «кузнечик».

Часто на нем катались и просто так, гуляли.

Минька и Ватя вынесли свою оконку. Вынесли и велосипед. Встали друг за другом. Минька — впереди с велосипедом и катушкой, Ватя — сзади с оконкой.

Минька впрыгнул на седло и надавил на педали. Ватя ринулся за Минькой.

Быстрее, быстрее. Один едет, другой бежит.

Оконка начала вырываться у Вати из рук. Он ее выпустил, и она устремилась вверх.

— Минька, полетела! — закричал Ватя.

Минька остановился, прыгнул с велосипеда и бросил его на дорогу. Катушка разматывалась под ногами.

Подошел Ватя. Он тяжело дышал, на зубах скрипела пыль.

Оконка набирала высоту, помахивала хвостом.

После оконки Ватя и Минька строили еще разных змеев — гуська, витуху, дордона. Приделявали к ним тарактушки и гуделки.

Запустишь такого змея — и слышно, как он гудит или тарактит в высоте.

А еще можно надеть на нитку бумажный листок, и его потянет вверх — к змею. Это называлось «письмо».

Иногда ветер отрывал змея и уносил его. Приходилось заново раздобывать катушки с нитками и хвосты.

...Это было грандиозное строительство: конструировали змея-ладейку.

Был собран сложный, из дранки каркас. Оклеен не бумагой, а тонкой материей. Но самое главное — внутри укрепили свечу и накрыли стеклом от керосиновой лампы, чтобы не заглохло ветром.

Стекло можно было снимать и надевать. Сделали специальные зажимы.

На простой нитке ладейку не запустишь — сорвется. Минька выпросил у деда клубок двухрядковой крученой.

Дед готовил ее для сапожных работ — скручивал, натирал воском. Долго не отдавал — жалел. Потом махнул рукой, отдал.

Ладейку решили запускать вечером, чтобы видна была свеча, как она горит.

Минька и Ватя маялись весь день: не знали, куда себя деть. Ладейка стояла посредине комнаты, напоминала старинный летательный аппарат.

Наконец наступили сумерки. Ватя и Минька осторожно вынесли ладейку. Ее тотчас окружили ребята.

Всех поразила свеча.

— Потухнет, — сказал Гопляк.

— Нет, не потухнет, — сказала Таська Рудых. — Она под стеклом.

— Стекло не поможет.

— Нет, поможет.

— А где хвост? — спросил Лешка Мусаев.

— Этот змей без хвоста.

Минька собрался идти за велосипедом. Подъехал на грузовике шофер Ибрагим.

Ибрагим сказал:

— Ладейка, значит. И свеча в ней. А ну давайте с машины запустим!

К змею привязали двухрядковую крученую нитку, зажали свечу и накрыли стеклом.

Минька взял клубок и залез в кузов. Ватя с ребятами подхватили ладейку. Она светилась, будто огромный парус.

Ибрагим тронул с места грузовик. Ребята побежали, а Минька начал потихоньку разматывать клубок.

Ибрагим прибавил газу. Машину потряхивало на ухабах, и Минька боялся, что выпадет из нее.

Ребят в темноте почти не было видно, светился только огромный парус в их руках. Минька наблюдал за ним, когда он пойдет вверх, и продолжал тихонько разматывать клубок.

И парус пошел, оторвался от земли.

Минька громко стукнул в крышу кабины. Ибрагим остановил грузовик.

Парус-ладейка уплывал все дальше и дальше от земли.

## Глава XII

### КОЕ-КТО

Минька отправляется к гранитному камню около пекарни Аргезовых.

Хозяйки похрустывают семечками, поджидая мужей и сыновей с завода и парфюмерной фабрики.

Минька увидел Бориса. Побежал навстречу, чтобы поскорее рассказать о том, что случилось дома. Бабушка хотела разложить пасьянс: как всегда выяснить, не захворает ли кто-нибудь или каковы будут цены на базаре.

Раскладывает она пасьянс и вдруг зовет Миньку:

— Карты одной не хватает. Ты не затерял куда?

— Нет. Я не трогал.

— Бубновый валет пропал.

Бубновый валет... Все, что казалось уже в прошлом, поднялось перед Минькой.

Бубновый валет... Неужели опять что-то начинается!..

И эти цыгане, которые недавно пришли и встали табором возле кладбища. Называют себя тишиганами: одеваются как татары, носят барашковые шапки и украшенные монетками фески. И говорят на татарском языке. Минька иногда понимает,

о чем говорят: «абзар... кой... олан... атланын...» (двор... деревня... мальчик... верхом...). По вечерам жгут костер, садятся в круг и, раскачиваясь, повторяют: «Ла — Иллаге — Ил — Алла».

Ибрагим сказал, что это дервиши-фанатики, что они будут твердить одну и ту же фразу о своем боге до бесконечности.

И так оно и было. Раскачиваясь все быстрее и быстрее, отчего их тени тоже раскачивались все быстрее и быстрее, дервиши-фанатики уже не просто твердили, а кричали о своем боге.

Поп Игнашка и кладбищенский сторож Ульян не выдержали, полезли на колокольню и начали колотить в обода и автомобильные колеса.

Ла — Иллаге — Ил — Алла!.. Бум-бам! Бум-бам! Ла — Иллаге — Ил — Алла!.. Бум-бам! Бум-бам!

Один бог против другого.

Из слободы прибежали перепуганные люди — уж не пожар ли случился! — и разогнали цыганских дервишей и сволокли с колокольни Ульяна и Игнашку.

Минька и Борис шагают по Бахчи-Эли. Как всегда, здороваются со всеми:

— Вечер добрый!

— Добрый вечер!

Светловолосые, кучерявые, кареглазые — удивительно схожие между собой.

Минька говорит:

— Борис, у бабушки из колоды пропала карта. И ты знаешь — бубновый валет.

— Знаю. Я его взял.

— Ты?..

— Да, Митяшка. Я.

— Значит, опять Курлат-Саккал!

— Нет. Другой, который называется «кое-кто».

— «Кое-кто»?

— Ну да.

И Минька вспомнил: ведь он и Ватя слышали разговор Курлат-Саккала с цыганом (цыган тоже, очевидно, был тишиганом), что если Люба откажется с ним уйти, то получит бубнового валета. А они уйдут к Янтановой балке, где их кое-кто будет ждать.

И верно — кто же это такой «кое-кто»?

Минька погода рассказал Борису о разговоре Курлат-Саккала с цыганом, а сам забыл. А Борис, значит, не забыл. Может быть, поэтому уезжал так часто на «кузнечике». Дома не ночевал. С ним уезжали на велосипедах и его друзья с завода. А теперь вот — бубновый валет...

Борис сказал:

— Я тут пока ошибся. Карту положи обратно бабушке в колоду.

Жизнь для Миньки началась беспокойная: Борис что-то замышляет, но Миньке не говорит. Неужели перестал доверять?

Дни шли. Цыгане по-прежнему стояли табором возле кладбища. Жгли костер. Молились. Только не так громко. Однажды утром Борис подозвал Миньку, сказал:

— Вечером встречай обязательно, — и, улыбнувшись, добавил: — Все будет в порядке, Митяшка.

Вечером Минька сидел на гранитном камне. Вроде бы ничего и не происходило на Бахчи-Эли. Но Минька догадывался, что это не так.

На кладбище проехала крытая машина. Сквозь окошки в ней Минька успел заметить милиционеров. В конце улицы остановился мотоциклист. Достал инструменты и занялся ремонтом. Протрещал мотоцикл и на соседней улице и тоже смолк, остановился.

Откуда-то вынырнул Кеца, поглядел на Миньку. Предложил сыграть в ошики. Минька отказался. Кеца сел рядом.

Минька увидел Бориса. Он шел, как всегда, легким, устойчивым шагом спортсмена. Подойдя к гранитному камню, сказал Кеце:

— Отправляйся отсюда.

— А я не хочу.

Борис взял Кецу за руку, сдернул с камня:

— А я хочу, чтобы ты отправился погулять.

Тогда Кеца отошел на несколько шагов.

Но Борис глянул на него:

— Ну!

Кеца медленно двинулся вдоль улицы.

— Нам сюда. — Борис открыл калитку, и они с Минькой оказались во дворе пекарни.

Двор и деревья — белые от муки. В углу — сторожка. Построена из необожженного кирпича калыба. Крыша плоская, с хворостяной трубой.

В сторожке когда-то жил, очевидно, привратник. А теперь доживал старость бывший хозяин пекарни Аргезов.

Говорили, что у него был сын. Но никто этого сына никогда не видел. А сам старик рассказывал, что сын умер еще до революции.

— Куда мы идем? — спросил Минька Бориса.

— К Аргезову.

— А зачем?

— Он и есть главный всему. Он — «Бубновый валет».

— А Курлат-Саккал?

— Его сын. Теперь понял, елеха-воха!

— Как же так... — растерянно прошептал Минька.

От волнения заколотилось сердце. Сколько раз думал о главаре бандитов Курлат-Саккале, а настоящий главарь, оказывается, жил здесь, на Бахчи-Эли. Совсем рядом! Тихий, неприметный старик. Его не ловили, не сажали в тюрьму. Никто и не думал, что есть такой «Бубновый валет».

Аксюша мечтала о Дальнем Востоке, где надо бороться с маньчжурскими хунхузами и шпионами-белогвардейцами; а тем временем у всех под носом творил свои дела старик Аргезов, шпион и убийца.

Минька хотел спросить у Бориса, кто первый догадался об этом, но они подошли уже к сторожке.

Борис толкнул дверь.

Тамбура не было, и дверь открывалась прямо в комнату. Вокруг стен были разложены подушки для сидения. Потолок убран чадрами и платками. В глиняном очаге висел котел с водой.

Старик Аргезов сидел на одной из подушек. На нем была рубаха, заправленная в шаровары, и желтые туфли на босу ногу (желтые туфли — это значит: побывал в Мекке).

Он что-то писал деревянным пером, подложив под бумагу маленькую твердую подушку из сафьяна.

Услышав скрип двери, не поднимая головы, крикнул:

— Беклэ!<sup>1</sup>

Его тонкая длинная борода вздрагивала при каждом движении пера.

Борис подошел вплотную к старику.

Минька давно уже не видел, чтобы Борис был таким вот. Может быть, с тех пор, как убили Любу. Когда никто не мог разжать руки Бориса и отобрать полузадушенного Курлат-Саккала.

Старик Аргезов поднял голову, нахмурился. Он, конечно, ожидал кого-то другого.

— Кёк гюрюльдысы, фурунджи<sup>2</sup>, — сказал Борис, достал из кармана карту и бросил перед стариком на ковер.

Карта упала, перевернувшись вниз изображением.

Минька понял, что Борис кинул старику бубинового валета.

Старик, очевидно, тоже это понял. Он не стал переворачивать карту, только сказал:

— Ла — Иллаге — Ил — Алла.

Фимка и Минькин дед приятели.

Фимка приходит к Минькиному деду и наблюдает, как тот занимается сапожным ремеслом.

Дед беседует с Фимкой, рассказывает что-нибудь про жизнь, обстоятельно и неторопливо.

Рядом с низким сапожным столом складывает для Фимки кресло из колодок. Сидеть в нем можно, если не двигаться, а не то кресло рассыплется.

Тень. Прохлада. Квохчут куры. Прилетают воробьи и полещутся в лохани с водой, где мокнули куски кожи и рваные башмаки.

Случается, с дерева оторвется неспелый еще, твердый абрикос, упадет на крышу и, прокатившись по черепицам, соскочит на землю. К нему кинутся куры — кто первым схватит.

Минькин дед рваные башмаки делает целыми: прошивает нитками, скрепляет деревянными гвоздями.

Такие прошитые нитками и скрепленные гвоздями башмаки стоят на земле. Мокрые еще после лохани, медленно высыхают в теничке.

Фимка их примеряет, бегаёт по двору. Ему это нравится: хлоп-хлоп — стучат мокрые башмаки по горячим летним пяткам босых ног.

Минькин дед любит поговорить о башмаках, сапогах или галошах.

Фимка слушает, хотя ничего не понимает. А деду и не требуется, чтобы Фимка что-нибудь понимал. Деду нужно поговорить, а то скучно — вот и все.

Про жизнь он уже поговорил, теперь очередь поговорить о сапожном ремесле.

— Башмаки, — начинает дед, прицеливаясь ниткой в ушко большой штопальной иглы, — ведь они что... они по-разному зовутся — и обутками, и калигами, и выступками. А сам «башмак» — слово-то не русское, из татарских. (Нитка вделась в ушко иглы.) Есть и другие звания башмакам — чапчуры, босовики. А конструкция его какая, башмака? (Сейчас нитка вслед за штопальной иглой полезет в рваный башмак.) Передок, клюш, подошва — это снаружи. Стелька, задник, подкладка — это изнутри. Немудреная конструкция, а смысл имеет, фасон. Башмак — он тебе высоким может быть и низким. С отворотом и с опушкой. На шнурках и на пряжке.

Потом дед заводит разговор о сапогах:

— А сапог, он что? Я тебя спрашиваю, Ефим, что такое са-

<sup>1</sup> Жди (татар.).

<sup>2</sup> Гром гремит, булочник (татар.).



пог, какая его конструкция? (В пальцах деда по-прежнему поблескивает штопальная игла.) Это значит — передок, задник, подошва и голенище. И опять, значит, сапог, он тебе может быть с напуском или бутылкой. Высоким или низким. В одних сапогах человек работает, в других пляшет, в третьих на лошади скачет.

Фимку разморило, и ему хочется спать.

Минькин дед не успокаивается: от сапог переходит к галосам:

— Что такое галоши? Я тебя спрашиваю, Ефим, какая их конструкция?

А Фимка уже спит в кресле из колодок.

Тогда дед накрывает его газетой, чтобы не беспокоило солнце, и Фимка спит под газетой, как в шатре. А вокруг шатра стоят мокрые башмаки, караулят Фимкин сон. И дед старается не шуметь, тоже чтобы не беспокоить.

Иногда к Фимке в шатер залетает жук. Слышно, как гудит, ползает по газете.

Фимка спит крепко, жук ему не помеха.

Но вдруг — тр-р-рах! — это рассыпаются колодки, и Фимка оказывается на земле. Барахтается под газетой и со сна не поймет, где он и что случилось.

Минькин дед тихонько смеется.

По слободе ходила медсестра с чемоданчиком. В нем лежали коробка с ампулами, флакон со спиртом, вата и стерилизатор с кипячеными стальными перьями, которыми медсестра царапала ребятам руки. Вначале капала из ампулы лекарство, а потом делала царапину посередине каждой капли: это была прививка против оспы.

Медсестра пришла к Фимке.

Он уже слышал, что по дворам ходит тетка в белом и причиняет какие-то неприятности.

Фимка решил спрятаться. Но его нашли и поставили перед этой самой теткой в белом.

Она взяла его руку, смазала спиртом, потом стеклянной палочкой капнула три капли лекарства из ампулы и приготовилась царапать внутри каплей стальным пером.

Этого Фимка вынести не мог — заорал:

— На помощь!

...Фимкина мать часто рассказывала, как Фимку, еще грудного, привезли однажды в гости вверх ногами.

Случилось это зимой. Фимку увернули в теплое одеяло и отправились с ним в город. Увернут он был весь целиком, так что не поймешь, где голова, а где ноги.

Сперва его несли правильно, вверх головой, а потом, пересяживаясь из трамвая в трамвай, столько раз клали на скамейки и брали, что перепутали, где верх, а где низ.

Привозят Фимку наконец в гости, разворачивают одеяло, чтобы все на Фимку посмотрели, а из одеяла не голова, а ноги торчат!

У Фимки был щенок Тепка. Он попал под дождь. Когда дождь кончился, Фимка решил Тепку высушить.

Снял в кухне с гвоздя посудное полотенце, обвязал щенка и прицепил к бельевой веревке.

Ходят все и удивляются — что такое? На бельевой веревке висит в полотенце собака.

Фимка каждому объясняет, что это щенок Тепка, что он промок под дождем и что теперь Фимка его сушит.

Маруся — подружка Фимки. Она еще сидит на стуле с дыркой для горшка.

Фимка был при Марусе «досказчиком». Только он понимал, что хочет сказать Маруся. Может быть, потому, что сам год назад говорил, как она.

— ...ушка и ...ык,— говорит Маруся.

Фимка досказывает:

— Старушка и старик.

— ...ошка и ...ака.

Фимка досказывает:

— Кошка и собака.

Но совсем недавно Фимка объявил, что Маруся больше не нуждается в «досказчике»: она уже сама досказывает слова, и теперь всем должно быть понятно, что она говорит. И Маруся, сидя на стуле с дыркой для горшка, показала пальцем на уток и сказала

— Утята, утиха и утех.

## Глава XIV

### ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Ветер приносил музыку. Это был духовой оркестр. Он играл в городском саду на танцевальной площадке.

Музыка летела над вечерней землей — над садами и крышами домов, над голубятнями и сараями. Ее приносил теплый ветер фен, который к вечеру дул с гор.

Минька, Ватя и Аксюша сидят у ворот, слушают музыку. Иногда в нее врываются скрип трамвайных колес, паровозные гудки или шум грузовика где-нибудь на дороге.

Мягко и глухо трубят в звездной тишине баритоны и валторны — играют вальс. А потом ударят медные тарелки, загремит барабан — это уже мазурка. А потом ветер принесет кларнеты и флейты и какие-то особенно звонкие колокольчики — это уже краковяк.

Первым уходил домой Ватя. Ему надоедало сидеть молча в темноте и слушать.

Собирался вслед за Ватей и Минька, говорил Аксюше:

— Ну, я пошел.

— Иди,— говорила Аксюша.

— Ну, а ты?

— Иди, Минька, иди,— повторяла она нетерпеливо.

Минька оставался стоять около ворот.

К ночи ворота делались прохладными. Иногда начинал потрескивать сверчок. Он жил где-то в воротах между досками.

Уже многие ушли с улицы, а Аксюша не уходит.

Стоит и Минька.

Над вечерней землей все плывут звуки флейт и кларнетов, трубят валторны и баритоны.

Потрескивает в воротах сверчок.

Чаще всего музыка приходила из города в субботу.

Аксюша в такие вечера всегда делалась чужой и для Миньки и для Вати. Сидела и не разговаривала. Думала о чем-то своем.

Может быть, ей хотелось танцевать, как танцуют сейчас другие, там, в городском саду? Или просто гулять, как гуляют сейчас другие, там, по дорожкам городского сада?

Ведь многие старшие уходят вечером из слободы.

Когда собираются уходить, в каждом дворе суматоха: бегают, одалживают сапожный крем, запонки, модные, тесемкой, галстуки.

Девушки накручивают волосы на бумажки, греют утюги, меняются шарфиками; лентами. Примеряют платья друг друга, туфли.

Встречаются все на трамвайной остановке. И вся улица видит, кто с кем поедет в город и кто во что оделся.

Родные говорят, что дети уже совсем взрослые, самостоятельные, повзростили прямо на глазах. А сами ждут их допоздна. Сидят у ворот и калиток в темноте и смотрят на трамваи, которые долго не привозят из города повзроставших детей.

Однажды по двору начала бегать и Аксюша — стирала свое белое платье, потом крахмалила его, потом сушила, потом грела для него утюг.

Минька несколько раз останавливал Аксюшу, о чем-то спрашивал.

Она отвечала на ходу: ей было не до Миньки.

Тогда Минька пошел домой и спрятал все спички. Начал наблюдать за бабушкой, ждать, когда она спохватится, что спичек в доме нет.

Бабушка спохватилась и послала его за спичками к кому-нибудь из соседей.

Минька отправился к Аксюше.

Дверь открыла она сама. На ней был халатик и старые большие шлепанцы. На голове — две бумажки узелками: Аксюша завязала волосы, чтобы получились локоны. Две бумажки — два локона.

Она растерялась, когда увидела на пороге Миньку. Сердито спросила:

— Ну, чего тебе?

— Спичек. Кончились у нас спички.

— Все это ты, конечно, выдумал.

— Нет. Не выдумал. Спроси у бабушки.

— Некогда мне спрашивать.

Аксюша пошла в кухню за коробком. Минька пошел за ней.

В комнате на кровати он увидел Аксюшино белое платье. Он было так накрахмалено, что напоминало зонт от солнца.

— Вот.— И Аксюша сунула Миньке в руку коробок со спичками.

Потом помолчала и совсем дружески, как они разговаривали всегда, сказала:

— Хочешь, оденусь? Поглядишь, что получится!

Минька кивнул.

— Тогда подожди здесь.

Минька остался в кухне. Он понимал, что Аксюша пойдет сегодня в город со старшими девочками, пойдет в городской сад. Ей, очевидно, разрешили. И она собирается.

Аксюша крикнула из-за двери:

— Входи!

Минька вошел.

Аксюша стояла в накрахмаленном платье и в новых узеньких туфлях.

Под рукав платья был спрятан кружевной платочек. Торчал только его уголок.

Бумажки с головы исчезли, а вместо них на лоб спускались две висюльки, как стручки акации.

— Мне не нравится,— сказал Минька.

— Что тебе не нравится?

— Вот это.— И он показал на висюльки.

— Ничего ты не понимаешь. Это локоны.

— Все равно не нравится.  
— Ну, и... Ну, и... — На глазах у Аксюши появились слезы. — Не нравится — и катись!  
Аксюша сердито захлопнула дверь.  
Минька уныло побрел домой, где бабушка ждала спички.

Вечером к трамвайной остановке пошли старшие девочки, и с ними Аксюша. Висюлек на лбу не было.

Она шла мимо всех немного торжественная в своем накрахмаленном, как зонт, платье, в новых узеньких туфлях и с кружевным платочком, уголок которого торчал из-под рукава.

Она шла в городской сад слушать музыку, духовой оркестр.

Минька и Ватя остались у ворот.

Приехал на остановку трамвай и увез Аксюшу.

В городском саду заиграла музыка. Она полетела над вечерней землей — над садами и крышами домов, над голубятнями и сараями.

Ее принес теплый ветер фен, который к вечеру подул с гор.

Иногда музыка прерывалась — это значило, что музыканты отдыхают, — и начиналась снова.

Минька знал — где-то рядом с оркестром стоит Аксюша, слушает.

Минька стоял здесь, в слободе, у прохладных ворот. Потрескивал в воротах сверчок.

Из города приезжали трамваи. На одном из них вернется и Аксюша.

## Глава XV

### ЛЮБА И БОРИС

Так бывало, что Борис уходил из дома один. И Минька понимал, что Борису нужно уйти одному. Он знал, что Борис свернет направо и, мимо садов и баштанов, поднимется на кладбище.

Могилы убраны по-всякому: на одних — кресты, сделанные из обрезков водопроводных труб, на других — деревянные, расколотые от времени солнцем. Есть могилы, накрытые плитами, и памятники с нишами для фотокарточек.

Но есть и такие, что без крестов, плит и памятников.

Борис стоит у клочка земли, по краю которого вкопаны черепицы, а посредине цветут петушки.

...Люба. Для нее он снимал с гвоздя свою гитару и выходил к воротам на вечерницу. Выходил так, чтобы застать, когда Люба будет возвращаться с парфюмерной фабрики.

Он еще издали видел, что она идет, угадывал ее — гибкую, черноглазую, с приподнятыми у висков бровями. На плечах красная, будто маковый лепесток, косынка.

Борис кивает друзьям, которые сидят рядом с ним с балалайками и мандолинами. Кивок Бориса — это сигнал: приготовились. Еще кивок — это сигнал: начали!

Люба подходит, останавливается послушать.

Борис низко склоняется к гитаре. Он играет для Любы.

Она молча слушает, прислонясь к стволу акации. Срывает веточку и закусывает черенок белыми влажными зубами.

Ни разу Борис не поговорил с Любой. А Люба слушала, улыбалась, незаметно, про себя. Или сжимала в руках уголки косынки, отчего косынка особенно туго обтягивала тонкие плечи.

Потом тихонько уходила в конец улицы, к маленькому дому, сплошь завитому крученым панычом.

И никто в слободе не шутил над этой молчаливой любовью. Здесь умели отличать, что — настоящее, большое, а что так — смешливые словечки.

Борис и Люба ни разу не были вместе, чтобы только вдвоем, чтобы где-нибудь в степи или на берегу Салгира забыть, потерять в траве красную косынку. Чтобы только вдвоем увидеть, как рождается утро или наступает ночь. Как мокрые от росы листья держат на себе звезды или растекается по земле утреннее солнце.

## Глава XVI

### ХЛОПОТЫ

Бабушка стоит у забора на приступке. Зовет:

— Минька!

Минька во дворе у Вати. Они копают с Ватей пещеру.

— Иду! — кричит Минька. Он не спрашивает, зачем зовет бабушка. Он знает.

Ватя работает киркой, рыхлит землю. Минька выбрасывает лопатой из ямы.

Работают молча. Сопят и отдуваются.

— Минька!

Это опять бабушка.

— Ты бы уж сходил, что ли, — говорит Ватя.

— Ладно. Я быстро.

Минька, осыпая ногами края пещеры, выбирается наверх. Идет к забору, над которым видна голова бабушки.

Минька перелезает через забор.

Бабушка, в переднике, в домашних войлочных туфлях, спешит в сарай. На ходу говорит:

— Застыло все. И чего это вы с утра копаете?

— Надо,— уклончиво отвечает Минька.

Пещера — это тайна.

Ведь она им необходима для того, чтобы в ней сидеть и чтобы никто не видел, что они там сидят. Может быть, они будут в ней еще курить сухие листья смородины.

Листья смородины — это Ватя придумал. Уже пробовали — курили. Дрянь порядочная. Летят искры, копоть. Першит в горле. У Вати закоптился нос, а Минька прожог рубашку.

Но все равно: листья смородины — тоже тайна. Иначе каждый дурак начнет их курить. Ватя в этом абсолютно уверен. Поэтому курить они будут глубоко под землей, в пещере.

На лето бабушка переносит кухню в сарай: там прохладнее, чем в доме, и быстро выветривается угар.

Кухонную посуду бабушка раскладывает на полочке, где лежат рубанки. Примус ставит на верстак. Ножи и вилки складывает в ящик, где хранятся стамески и отвертки. Ведро для очисток пристраивает на табурете, на котором укреплены тиски.

С бабушкой никто не спорит, все ей уступают. Она в доме главная.

Бабушка приносит Миньке из сарая завтрак. Надо его поскорее съесть, и только тогда можно будет спокойно уйти.

Стол пахнет свежей клеенкой. Окно затянуто густой сеткой от мух. По ту сторону сетки показываются над подоконником кошачьи уши.

Это Мурзук. Он заглядывает в комнату, интересуется, начал Минька завтракать или нет. Если начал, то он придет.

Дверь в дом закрыта, но Мурзук ее откроет. Он подпрыгнет, одной лапой ухватится за ручку, а другой будет ударять по рычажку запора до тех пор, пока дверь не откроется.

Тогда Мурзук соскочит с ручки и войдет в дом. Дверь останется открытой, но это его не касается.

Бабушка бежит закрывать дверь, а Мурзук крадется к Миньке вдоль стены. Так незаметнее, если вдоль стены.

Потом он будет сидеть за цветочным вазоном, который стоит на полу рядом с обеденным столом.

В вазоне растет высокий кактус — скала.

Мурзук начнет за этой скалой тихонько подмурлыкивать, подавать голос.

Бабушка все понимает. Говорит ему:

— Не гуркоти. Накормлю...

Мурзук понимает, что добился своего, и перестает гуркотать.

Блюдец его в углу в коридоре. Бабушка кладет Мурзуку завтрак.

Тогда Мурзук смело выходит из-за скалы — теперь не прогонят — и шагает к блюдцу.

А бабушка уже во дворе. Потому что прибежал пес Эрик и тоже начал подавать голос, гуркотать.

Бабушка кладет и ему в чашку завтрак. Эрик доволен. Затишает. Слышно, как ест.

Бабушка успевает всех покормить, и, пожалуйста, идите потом каждый куда хочет. Кто копать пещеру, кто на крышу, кто в холодильник под конуру.

И только неизвестно, где и когда бабушка сама успевает поесть.

С обеденного стола убрана клеенка. На столе стоит стул. На стуле — бабушка. Рядом с ней ведро с известкой. В руках щетка из травы.

Бабушка белит потолок.

Уговорить ее, что потолки чистые и белить их не надо, — пустая трата слов.

Бабушка вежливо послушает, кивнет головой — да, потолки еще свежие, и, конечно, в ее возрасте лишний раз белить трудновато, — но все равно поступит по-своему.

Разведет известку, распарит щетку, чтобы сделалась мягкой, снимет со стола клеенку, поставит стул и приступит к работе.

В окна дует ветерок. Потолки подсыхают быстро.

И, когда придет с завода Борис, вернется от знакомых дед, где он с утра играл в домино, перелезет через забор из Ватиного двора в свой двор Минька, потолки совсем высохнут.

И никто вообще не заметит, что бабушка в комнатах белила. Привыкли — всегда чисто.

А бабушка и не обижается. Не заметили — и не надо. Она это делает не для показа, а для себя.

...Солнечный день.

Но бабушка придирчиво оглядывает небо — не запряталась ли где-нибудь хмара? Не случится ли дождь или ветер? Кажется, нигде хмары нет.

Тогда бабушка расстилает на земле простыню. Придавливает камушками, чтобы не заворачивалась.

Выносит подушки без наволочек. Подпарывает наперники и высыпает пух на простыню.

За зиму, по мнению бабушки, он в подушках слежался, отсырел. Пух возвышается на простыне горкой.

Бабушка садится на маленькую скамеечку, начинает его перебирать.

Пух греется на солнце, свежее. Бабушка занимается им, а сама поглядывает на небо.

Подкрадываются к бабушке птицы, воруют пух. Особенно нахальных бабушка гоняет: машет па них концом передника.

— Я вам, жулики-бастрюки!

А жулики-бастрюки знай свое — тянут пух.

К вечеру бабушка вновь зашьет его в наперники, наденет наволочки. Подушки готовы.

Бабушка внесет их в дом. Но, прежде чем разложить по кроватям, каждую крепко пододбьет с углов, чтобы пух вспенился и подушка застыла в тугом изгибе, с запахом солнца.

...Минька любил встречать бабушку с базара.

Уходила она на базар очень рано. Минька еще спал. Собирала сумку — клала в нее кошелек с мелкими деньгами, носовой платок, пустую бутылку под растительное масло, банку под сметану. Надевала черный жакет, потому что утром еще прохладно.

Минька просыпался и, узнав, что бабушка ушла на базар, вскакивал, быстро умывался и спешил за калитку.

Как только бабушка покажется в конце улицы, он побежит навстречу. А она поставит сумку на землю и будет его поджидать.

В сумке обязательно найдется что-нибудь вкусное для Миньки. Он никогда ее об этом не просит, а она сама покупает. Минька подхватывает сумку и торопится домой.

Сумка брезентовая, самодельная, с клапаном, вроде как у пиджака на кармане. Ее сшил дед, когда работал кассиром и ходил в банк получать деньги.

Бабушка вслед кричит:

— Минька, сметану не расплескай!

Солнце уже пригрело. Бабушка сняла жакет. Обмахивает лицо платком.

Миньку одолевает любопытство, что бабушка купила на этот раз. Пастилу? Маковки? Жареные орехи в сахаре?

После базара бабушка долго разговаривает с соседями — обсуждаются цены, нынешний привоз продуктов, их качество.

Вдруг раздастся шипение или бульканье: у кого-то в кухне что-то пригорело или закипело.

Это сигнал — все расходятся.

Минька, дед и Борис всегда стучали не в калитку, а в окно.

Бабушка услышит, где бы она ни была — в коридоре, во дворе или даже в сарае. Побежит к калитке.

Тогда начнет лаять Эрик. А может быть, и не начнет. Поднимет только голову. Он уже выучил: если стука в калитку не было, а бабушка бежит отпирать — значит, свои.

Часто бабушка бежала с тем, что было у нее в руках: полов-

ником, тарелкой с жидкой горчицей, которую она растирала, шпилькой с ниткой.

Возвращался поздно Борис. Откуда-нибудь с вечерницы.

Бабушка всегда первая услышит его стук. Накинет платье, подойдет к окну. Негромко скажет:

— Сейчас... — и заспешит во двор к калитке.

Минька не понимал, почему бабушка первая просыпается.

И только когда вырос и сам иногда стал поздно приходить, он понял: бабушка не просыпается первой, а не спит совсем. Она ждет этого стука в окно. Она волнуется, если кто-нибудь запаздывает.

Лежит одна в темноте. И никому не ведомо о ее беспокойствах, никто об этом ее не спросит. А она никогда не скажет, не попрекнет.

Стукнешь ночью в темное окно — и услышишь в ответ только негромкое: «Сейчас...»

Между бабушкой и Мурзуком были странные отношения. То все тихо, мирно.

Бабушка сидит, выдергивает канву из вышивки. Нитки, не глядя, бросает на пол. Но они падают на Мурзука, потому что он пристроился рядом с бабушкой.

Мурзук не возражает. Ему нравится: нитками можно забавляться.

То вдруг — шум и крик.

Чаше всего это случается, когда бабушка бежит, торопится. Она наступает на Мурзука, и почему-то всегда поперек.

— Тебе что — места мало? — кричит бабушка. — Взял моду у порога лежать!

Мурзук, передавленный поперек, кричит на бабушку, возмущается.

Но бабушка бежит уже дальше. Ей некогда. Тогда Мурзук гонится за ней. Он скачет на трех лапах, а четвертой, свободной, лапой бьет бабушку по ее домашним войлочным туфлям.

Через минуту опять мир и тишина.

Бабушка крутит в сарае мясорубку, будет готовить котлеты. Мурзук сидит под мясорубкой. С винта ее капает ему прямо на затылок. Мурзук доволен: капли пахнут мясом.

То вдруг опять шум и крик.

Что такое? Оказывается, бабушка начала молоть головку лука. Мурзук в истерике выскакивает во двор. Пытается достать лапой до затылка, чтобы уничтожить эти паршивые луковые капли.

Но через минуту опять мир и тишина. Полное согласие.

Мурзук лежит у самого порога. Бабушка бежит по близости. Вот-вот наступит на Мурзука поперек.

...Цыплячьи Горки. Бабушка ходит сюда, навещает знакомых.

Разговаривают они о письмах, которые получают от детей. Разбирают их поступки, хотя дети давно живут самостоятельно и у них у самих есть уже маленькие дети.

Иногда письма целиком читают вслух, а отдельные значительные места перечитывают по два, три раза.

Бабушка слушает знакомых, кивает головой. Она тоже принесла письмо, которое получила от Бориса. Борис опять в командировке на строительстве. Ей хочется его обсудить.

В таких случаях с бабушкой отправляется на Цыплячьи Горки Минька. Бабушка просит его пойти. Она хочет, чтобы он читал письмо Бориса. Минька читает быстро и громко — приятно слушать.

Они идут полями, где ветер раскачивает, словно выплескивает из берегов, синюю лаванду. Ее посевы растеклись по склонам и ложбинам Цыплячьих Горок. Теперь это уже не опытные участки, а поля промышленного значения. Бабушка срывает цветок лаванды. Смотрит, нет ли вредителей, разминает в пальцах, проверяет, не сухой ли он.

Бабушка родилась в селе на Украине. Знает и любит все сельское. Девочкой жала и молотила. Работала на сахарной свекле. Трепала лен и коноплю. Волочила гречку. Убирала кукурузу.

Поэтому, когда бабушка срывает где-нибудь в полях колос или стручок, лист кукурузы или цветочный бутон, то подзывала Миньку, показывала ему, учила понимать: хорошо живет этой рослине или плохо, здоровая она или больная.

И Минька брал из рук бабушки рослину, учился понимать ее. ...Часто бабушка рассказывала Миньке о гражданской войне.

Белые отступали к морю через Симферополь. Шли, пели песни:

Нет у нас теплого платочка. Точка.  
Нет у нас теплого платка.

На улицы выкатывались лакированные коляски, запряженные рысакими. В колясках барыни в длинных кружевных платьях и в тюлевых перчатках. Встречали офицеров — стояли и махали им нераскрытыми веерами.

На что еще белые надеялись — неизвестно. Не было у них ничего — не только теплого платочка.

А потом по городу текло вино: оно лилось из винных подвалов, где разбивали стоведерные бочки.

Солдаты котелками и кружками черпали вино с мостовой и пили. Это, пожалуй, единственное, что у них еще было. Начинались погромы, стрельба, драки. Срывали злость и отчаяние друг на друге.

Перепуганные барыни в длинных кружевных платьях куда-то исчезли.

По городу бродили одичавшие пьяные собаки, пьяные лошади. Пьяными были даже птицы.

Про солдат бабушка говорила:

— Не могли они понять, где правда, а где ложь. Бежали из России. Жаль их было.

Минька возражал:

— Нельзя жалеть.

— Да, конечно, — соглашалась бабушка. — Но среди них много служило мальчишек. Совсем гимназистов. Их бы тогда выпороть, да некому. Мальчишек-то.

— Ну вот еще — пороть, возиться. Скажешь, бабушка!

— Спрос с них был еще не полиый... Ну что с тебя спросишь или с твоего Вати? А они немного постарше были.

— Как что спросишь? — оскорблялся Минька. — Я и Ватя.. Мы...

— Пещеры еще копают...

Минька, красный и обиженный, стоял перед бабушкой, тяжело дышал. Не знал, что возразить на «пещеру».

Бабушка улыбалась, говорила:

— Подними, Минька, кепочку и выпусти пар.

Минька не видел, чтобы бабушка молилась. Икон и крестов в доме не было.

Если дед заводил свои шуточки над богом, бабушка молчала или покачивала головой, когда дед, по ее мнению, уж слишком расхотился.

То, что религия — заблуждение, бабушка понимала. Но она была мягкой к людям, терпимой к их заблуждениям. Не переносила только кликуш.

Дед упрекал бабушку. Попы и монахи выводили его из себя. Он не переносил даже запаха церкви: Мог до того раскричаться на бога, что бабушка начинала утешать:

— Успокойся. Бог с ним, с богом. Не стоит из-за него надрываться.

Но дед не хотел успокаиваться и кричал тогда на бабушку:

— Примиренец! Соглашатель! Попутчик революции!

Штопала бабушка на электрической лампочке.

Деревянный грибок она всегда теряла. Часто им играл Мурзук, закатывал куда-нибудь под кровать или под комод. Однажды его унес Эрик и пытался сгрызть у себя в конуре.

После этого дед грибок отполировал и снова вручил бабушке. Но бабушка снова его потеряла. И тогда начала вывертывать из абажура лампочку и штопать на ней.

Если вечером в комнате не загорался свет — все знали, что бабушка сегодня штопала и забыла вкрутить лампочку на место.

Бабушка любила гостей. Любила, чтобы в доме было шумно и весело.

Стол накрывала парадной вышитой скатертью. Доставала парадные вилки и ножи с коричневыми черенками из ясеня на желтых заклепочках, тарелки в мелкую, брусничную искорку и рюмки на тонких ногах.

Дед от этих рюмок раздражался — вот-вот в руках переломятся. Но бабушке они нравились, потому что приятно звенели.

В те дни, когда бабушка ждала гостей, Эрик и Мурзук ходили по двору, покачиваясь от сытости.

Минька выглядывал из калитки и докладывал бабушке, кто появился в конце улицы или сошел с трамвая.

Гости приходили нарядные и торжественные. Бабушка тоже была нарядной и торжественной — в черных туфлях на перепонках с пуговичками, в черном платье, гладко причесанная.

Она бегала из сарая в дом, носила угощения. Через плечо у нее было переброшено посудное полотенце, которым брала горячие кастрюли и сковородки.

Наконец бабушка говорила:

— Дорогие гости, прошу к столу.

Гости рассаживались. Чаще всего это были друзья Бориса с завода.

Мужчины незаметно расстегивали под гастуками тугие воротнички. Женщины беспокоились, чтобы не помять платья.

Кто близко садился около кактуса-скалы, бабушка предупреждала — случайно не наколитесь. Гость кивал — хорошо, спасибо, он будет помнить про скалу. Но потом обязательно наколется, когда начнет размахивать руками, что-нибудь рассказывать.

Звенели рюмки на тонких ногах. Все хвалили бабушкину кулинарию. А бабушка сидела смущенная и довольная.

...Репродуктор был очень старый — тарелка из черной бумаги. Висел на гвоздике.

Минька репродуктор слушал редко — некогда было. А бабушке он часто доставлял удовольствие.

Как только объявляли, что будет выступать украинский хор или ансамбль, бабушка прекращала готовить обед, белить потолки, стирать белье — снимала репродуктор с гвоздика и ставила его перед собой на стол.

Репродуктор пел или играл на бандуре только для нее одной. Бабушка вспоминала Украину, село Шишаки, где прошла ее молодость. Вспоминала хату, покрытую камышом-очеретом, убранную внутри травой для запаха. Печь с дымарем и полочкой-закопелкой, на которой была сложена посуда — крынки и горшки. Широкие юбки — спидницы. Протяжный скрип ветряных мельниц. Следы босых ног в пыли вдоль шляхов. Прозрачные ставки, а над ними гусиный крик и хлопанье крыльев. Пшеничный свет звезд. Медную подкову луны, точно выбитую молотом.

Обо всем этом пел бабушке старый бумажный репродуктор, играл на бандуре, рассказывал.

...А потом в сорок первом году этот же старый бумажный репродуктор принес сообщение о войне.

Минька слушал и не понимал еще по-настоящему, что такое война. А бабушка понимала. Она уже видела одну войну с немцами.

Тогда ушел воевать дед. Теперь уйдут ее дети и внуки. Уйдет Борис, может, уйдет и Минька. И не скоро они стукнут ей в темное окно.

Сидела тихая, в переднике, в домашних войлочных туфлях. Положила на колени усталые руки.

## Глава XVII

### ОКОП

Минька выкопал первый окоп. Первый в своей жизни.

Это была щель, в которую следовало прятаться во время налета на город самолетов.

«Щель должна быть при каждом доме!» — так приказал дежурный ПВО.

Борис ушел в армию, дедушка болен, поэтому копает Минька один.

Сверху земля сухая и берется на лопату пыльной горкой. Чем земля глубже, тем она прохладнее и уже берется кирпичиками.

В этих кирпичиках — жуки, быстрые и ловкие сороконожки, гнилые прошлогодние стебли трав и цветов.

Скоблят, царапают лопату мелкие камни. Все глубже и глубже вталкивает ее Минька в бывший огород. Начинают попадаться корни, и он их рубит краем лопаты, как топором.

Может быть, это корни береста, который растет посередине двора? Берест — единственное большое дерево во дворе, и Минька с детства знает его.

Знает шершавость коры, потому что, когда даже еще не умел ходить, Миньку сажали в тень под берест и он гладил его ладонью. И ходить Минька научился возле береста. Он помог ему подняться, встать на ноги, и Минька, держась за ствол, впервые на собственных ногах обошел вокруг береста, как вокруг земной оси, и увидел мир со всех четырех сторон.

Знает Минька запах грозы и дождя, который бывает в весенних листьях береста. И запах старого вина, который бывает в его листьях осенью.

Знает и то, что где-то на ветке спрятана буква «А», — что значит: Аксюша. Букву вырезал Минька. Давно еще

Берест «уносит» теперь букву все дальше от Миньки

Сейчас краем лопаты Минька отсекал бересту корни. Так казалось, что эти корни принадлежат бересту. Твердые, будто провололочные прутья.

Когда Минька ударял по ним краем лопаты, он ударял точно самого себя по пальцам. Но что он мог сделать: дежурный ПВО приказал копать щель именно здесь. И он копает.

Миньке было жарко. Бегал, пил из ковша воду.

Прежде, совсем еще недавно, рядом с ведром стоял не этот ковш, треснутый и с обломанной ручкой, а зеленая эмалированная кружка. Бабушка отдала ее Борису, когда он собирал свой дорожный мешок, чтобы идти на призывной пункт.

Минька вырос при этой зеленой эмалированной кружке, а теперь она уехала вместе с Борисом на фронт. Значит, уехало на фронт и что-то от Миньки самого, от его детства. Он терял что-то старое и приобретал что-то новое.

Пот заливал Миньке глаза, воспалились ладони, горели от напряжения мышцы плеч и спины. Но Минька копал и копал. Уже в этот вечер могут прилететь самолеты. Он понимал, что остался вместо Бориса, и заботился не о себе.

Когда было совсем тяжело, Минька прикладывал ладони к влажной земле, прижимался к ней спиной — и ему делалось легче.

Он стоял и думал, что вот бывает такое в жизни людей, когда они, живые и сильные, должны копать самим себе глубокие ямы. Должны стараться оставить над собой как можно меньше лучшего, что есть на земле, — солнца, неба, ветра, звезд, шелеста деревьев, пения птиц, запаха цветов. Потому что, чем меньше этого лучшего, тем лучше выкопана яма.

Борис с Минькой часто уезжали на старом велосипеде «кузнечике». Уезжали куда-нибудь в окрестности Симферополя. Минька садился на раму, а Борис на седло: «кузнечик» отлично выдерживал двоих.

Казалось бы, Борис все вокруг знает — где какой лес, поляна, речка. Где растет шиповник или терн, где кипят холодные

пузыристые ключи. Но он находил всё новые удивительные места — новый лес, новую поляну, луг. Где раскачивались высокие травы, а в них шумели жуки. Солнце было горячим, и пахло мятой. Где со дна реки светились белые ступеньки песка. Ветер застревал среди густых деревьев. И где не было еще проложено никаких дорог или тропинок.

В каждом таком новом месте Борис строил дом, придумывал его, сочинял. Не для себя — для людей.

Минька, Борис и зеленый «кузнечик» лежали в высокой траве. Дымились над ними облака. Летала паутина, будто старые лохматые нитки. Паутину подхватывали ласточки, куда-то уносили. Иногда подкрадывались коричневые удода, смотрели, чем они здесь занимаются.

Минька лежал рядом с Борисом и слушал его. Минька любил слушать Бориса.

— Вокруг дома обязательно все должно быть красивым, — говорил Борис. — Чтобы росла высокая трава, шумели жуки, стояли над крышей облака. Цвели деревья, бежала речка, звякала о камни. И сам дом обязательно должен быть красивым. Чтобы в нем пахло мятой, вот как здесь, Минька. Чтобы каждая доска была гладко отшуграна, ровно отпилена. Стены сложены аккуратно, под шнур. Двери и окна были светлыми и легкими. Толкнул — и они открылись. Чтобы каждый гвоздь в доме был согрет солнцем.

Борис говорил все так про дом, потому что все это умел делать: пилить и строгать, складывать под шнур стены, навешивать двери и оконные рамы.

Минька слушал и уже видел в руках Бориса рубанок, как он стелется по доске, выбрасывает из-под ножа желтые пружины стружек. Видел пилу, как она рассекает бревно и льются из-под ее зубьев мягкие отруби опилок.

Видел, как Борис строит дом. Не для себя — для людей.

Борис не вернулся с войны. Не постучал тихонько в окно.

Бабушка долго его ждала, не верила, что погиб. Ей все казалось, что вот-вот постучит поздно вечером, как стучал обычно, чтобы вышла и открыла калитку.

Но он не стучал, не возвращался.

Минька сам пройдет по всем тем местам, по которым они с Борисом ездили на старом велосипеде «кузнечике».

Где раскачиваются высокие травы, а в них шумят жуки. Солнце горячее, и пахнет мятой. Где со дна реки светятся белые ступеньки песка. Ветер застревает среди густых деревьев. Где еще не проложены дороги и тропинки.



Он отыщет все эти места и покажет людям. Чтобы пришли с рубанками, молотками и пилами. Чтобы полетели желтые пружины стружек, посыпались мягкие отруби опилок. Чтобы люди построили себе дома, в которых каждый гвоздь будет согрет солнцем.

## ТО ДАЛЕКОЕ, ЧТО БЫЛО

### *Рассказ в конце повести*

1

Я думал о встрече с детством. С каждым годом становился нетерпеливее. Все острее видел то далекое, что было.

Я закрывал глаза, и — пускай совсем другой, за тысячу километров от Симферополя город — я слышал нездешнее лето, слышал детство. Бахчи-Эль.

Скрипят на крутом повороте колеса трамвая, жуют, встряхивают торбами с овсом лошади, кричит курица — снесла яйцо.

Падают, скатываются по решетке куски угля — просеивают антрацит. Сухо шуршат большие листья — качаются под ветром заросли колючек. Белой проволокой дрожит в степи зной. Расчеркивают небо черными карандашами ласточки. Примусы держат над головой синие колокола пламени.

Я слышал звук виолончели. Это играет Остап Григорьевич, разминает пальцы. Он выступает в оркестре в кинотеатре «Марсель» перед началом вечерних сеансов.

Он старый и добрый. И виолончель у него старая и добрая: гудит на весь двор между синими колоколами примусов.

Я, Ватя и Аксюша сидим на деревянном топчане. Молчим, хочется спать.

Вышел во двор Фимка. Крутит в стакане ложкой, взбивает желток с сахаром. Потом будет ходить испачканный желтком, пока не увидит мать и не умоет.

Один раз, когда Фимка ходил испачканный желтком, его укусила за язык пчела. Фимка загудел, как виолончель соседа.

Стучает нож по доске — это режут на борщ капусту и свеклу.

Борщ умеют готовить в каждом доме. В тяжелых кастрюлях он стоит потом в глубоких подвалах, прячется от солнца. Носить в подвалы борщи — ребячье дело.

Где-то на краю улицы глухо бухает по ковру палка — выбивают пыль.

Лают собаки от двора ко двору. Ближе, ближе. Ходит почтальон или инкассатор, снимает показания с электрических счетчиков.

Наш Эрик тоже знает, почему лают. Вылезает из конуры, ждет своей очереди. Он прекрасно знаком с почтальоном и инкассатором. Но лаять надо. Таков порядок. Будет лаять незлобно, не натягивая цепь.

Если почтальон или инкассатор задерживаются в соседнем дворе, псы от нетерпения взбираются на крышу конуры, выглядывают.

Почтальон — худенькая девочка в пиджачке. Зовут ее Кима. Она совсем не боится собак. Проходит с сумкой перед их носом да еще туфелькой притопнет — цыц! Собакам это очень нравится.

Иногда Кима не заходит в калитки, а бросает почту в открытые форточки: спешила — у нее не было времени. Каждый любит с Кимой поговорить, поэтому со двора быстро не уйдешь.

Мы с Ватей тоже любим Киму. Она дает посмотреть чужие журналы.

Почтовый ящик на нашей улице пахнет розой. Это придумила Кима. Утром кидала в него лепестки цветов, и они лежали в ящике, пока она не выбирала письма и не относила сдавать на почту.

Вся улица начала кидать вместе с письмами лепестки цветов. И когда письма уходили в другие города, они не пахли штемпельной краской. Они пахли крымскими розами.

Инкассатор толстый. Зовут его Мартын Кириянович. Ходит медленно, вперевалячку. Носит толстую книгу, проложенную бланками счетов.

Мартын Кириянович гораздо больше похож на почтальона, чем Кима.

С собаками он разговаривает, помахивает пальцем, стыдит их. Дает понюхать свою толстую, со счетами, книгу. Собакам это тоже очень нравится.

Мартын Кириянович никогда не спешит. В каждом доме затевает обстоятельные разговоры об урожае, о непослушании детей, о разведении кроликов.

Соседним собакам иногда долго приходится стоять на крышах конуры.

...Начало августа. Поспел кизил. Все собирались в лес, вся Бахчи-Эль. Надо пройти восемь километров вдоль Салгира до бывшего имения помещика Вельера.

Выпали недавно дожди, поэтому кизил будет крупный, мясистый.

Я, Ватя, Аксюша, Гопляк, Таська Рудых, Лешка Мусаев берем корзины и рано утром по холодку шагаем к Вельеру.

Сперва мы наедаемся кизила, а потом начинаем собирать. Идем домой с полными корзинами. Устали, выкупались в Салгире и пошли дальше.

Звенят синие колокола примусов, дымят мангалы: будет из кизила варенье. Кизил стоит в больших зеленоватых бутылках, вместо пробки прикрытых марлей, — будет наливка. Кизил лежит на крышах под солнцем — будет на зиму сушка.

Фимка больше не крутит в стакане желтки — он ест пенки с варенья. Ходит не желтый, а красный, кизилковый и липкий, как бумага для мух. Его теперь умывает каждый, кто увидит.

— Ножи! Топоры! Ножницы!

Это кричит точильщик Беркеш. Он медленно идет вдоль улицы с деревянным станком на плече. На станке укреплены точильные камни, банка с водой, висят лоскуты материи.

Хозяйки выносят Беркешу ножи, топоры, ножницы.

Он пристраивает станок в тень к забору и запускает педалью точильный камень. Камень крутится. Летят искры.

Беркеш поет песню.

Изредка взбрызгивает водой из банки нож, топор или ножницы, вытирает лоскутом материи и продолжает давить педаль и петь песню.

Ребятам разрешает подставлять под искры ладони. Ух ты! Жгутся или не жгутся? Подставлять ладони выстраивается очередь.

Про мамонта первой узнала Аксюша. Она ходила в бывшие сады фабриканта Дюпона покупать в совхозе яблоки на пошло.

Вокруг садов были известковые скалы. В них и обнаружили мамонта.

Ребята целыми днями пропадали в садах Дюпона, наблюдали, как из белого известняка археологи осторожно вырубали скелет мамонта.

За воротами на улице протяжный железный шум. Его надо знать, чтобы догадаться, откуда он. Надо самому побегать босиком по дороге по дымной пыли с проволочным крючком. Это ребята катают обручи от бочек, «ездят».

Мы с Ватей тоже катали обручи, «ездили», куда нас посылали — в аптеку, в магазин, в швейную мастерскую. Сумку приспособили перекидывать за плечи, чтобы не мешала. «Ездили» и просто по тропинкам в степь, по деревянным мосткам через Салгир, даже вкатывали обручи на курганы.

Шум прерывается — это ребята отдыхают. Когда отдохнут

и поедут дальше, в пыли останутся большие круглые следы: здесь лежали на дороге обручи, тоже отдыхали.

...Сильный запах кукурузы. Початки сложены в глубокий казан, варятся второй час. А чтобы лучше уварились и потом долго не остывали, прикрыты листьями.

Я жду, когда же початки будут готовы. Стол покрыт клеенкой. На столе — соль, сливочное масло. Струйка пара вылетает из казана, кучерявится под потолком.

Нюхаю пар. Жду. Это первая в этом году кукуруза, тонкая, молодая, налитая росой и летними прозрачными дождями.

Наконец готова. Казан на столе. Затихает, перестает кучерявиться струйка пара. Под листьями, как под зеленой крышей, лежат кочаны с тугими каплями зерен.

Вытягиваешь из-под крыши кочан. Горячий. Перекидываешь с ладони на ладонь, остужаешь. Не терпится. На клеенку летят брызги воды. Когда кочан можно уже держать, намазываешь его маслом и посыпаешь солью.

Ну вот и дождался — ешь, радуйся.

А это что тихонько журчит и побулькивает? Это заправляют керосином лампу. Лампа висит в сарае, где нет электричества. Еще с нею вечером спускаются в подвал. Пока идешь через двор, вокруг лампы шумят ночные жуки. Они залетают даже в подземелье подвала. А потом снова провожают лампу через двор.

Мигают сиреневые искры звезд. В садах между деревьями развесил парусину туман. Переговариваются, спрашивают о чем-то друг друга собаки. Жуки улетают куда-то в ночь.

Стенные часы. Куплены еще прадедом. Я до сих пор слышу их тихую, усталую поступь, будто в домашних туфлях. Их негромкое покашливание, перед тем как собираются пробить, отмерить время. Они никогда не останавливались. Только один раз — от землетрясения.

Аксюше подарили шоколад. Но, пока везли из города, он растаял. Переливался в своей серебряной упаковке, как молоко в бутылке. Аксюша огорчилась. Но Ватя придумал: шоколад отнесли в подвал к борщам. Вскоре он застыл, и мы его съели среди борщей, поделив на три части.

...Не знаю, когда это произошло, но я увидел в Аксюше девочку с узкими коленками, едва прикрытыми легким платьем. Увидел маленький нос с ласковой ужимкой, губы, глаза, гривку востранных волос.

Теперь, когда приходили к Салгиру купаться и Аксюша раздевалась, я отворачивался, хотя она была, как всегда, в пестром ситцевом купальничке. Но мне казалось, что я уже не должен на нее смотреть вот так, слишком близко. Что это будет плохо по отношению к ней.

Аксюша этого не понимала. Позабыв расстегнуть пуговички, сдергивала платье и, запутавшись в нем, кричала:

— Минька, ну помоги же!

Я помогал, но все равно старался не смотреть, чтобы случайно не увидеть совсем близко ее узкие коленки, худенькие плечи с ленточками купальника, гривку встрепанных волос.

Правда, в воде я обо всем забывал. Брызгался, хватал Аксюшу за пятки, орал и веселился.

— Штандер! — кричит Ватя.

Ребята останавливаются, замирают. У Вати в руках мяч. Ватя выбирает, кто стоит поближе, делает три шага. Целится. Кидает мяч. Если попадет — будет водить тот, другой. Если промахнется — опять будет водить он.

У кого накопится больше всех штрафных очков, того наказывают: ставят к стене и бьют мячом в спину.

Девочек наказывают тихими ударами, ребят — сильными. Так, что потом видно: ходишь с красной спиной.

Спать ночью во дворе — не просто. Надо быть храбрым, пока не привыкнешь. С вечера долго не спишь, напрягаешься, слушаешь, что где скрипнет, треснет, прошестит. Мерещится всякая всячина. Ждешь кого-то, опасаясь.

Обязательно приходят кошки, смотрят ночными зелеными глазами. Перепутались тени — не поймешь, какая тень от чего. Попискивает сыч.

Старые люди считают его дурным вестником. Заведется на улице вот такой один и портит настроение. Каждый его прогоняет, и летает он с крыши на крышу.

В приметы можно не верить, но кричит он действительно как-то тоскливо.

Вернуться в дом стыдно, поэтому крепишься.

Зовешь Эрика. Он спущен с цепи и гуляет во дворе.

Когда Эрик приходит, успокаиваешься. Гладишь, просишь, чтобы не уходил.

И Эрик не уходит, караулит тебя, отпугивает ночь. Помогает стать храбрым. Руку держишь на шее Эрика, пока не замерзнет. Тогда прячешь под одеяло и спокойно засыпаешь.

Утром по тебе разгуливают куры. В ногах спят две или три кошки — тяжелые, как гири. Сыч улетел. Под кроватью громко дышит Эрик.

Тебе весело. И ты встаешь.

Отсюда, с Бахчи-Эли, я увидел войну. Увидел ее вечером с дерева. Мы с Ватей залезли на самый высокий тополь, смотрели в сторону Севастополя. Там, где был Севастополь, сваленные ветром набок, шевелились пожары. Город бомбили немецкие самолеты, эшелон за эшелон.

Мы с Ватей сидели тихие, примолкшие на вечернем тихом тополе. Отсюда, с Бахчи-Эли, ушел на фронт Борис. Ушел через окно. Не хотел, чтобы провожали, расстраивались. Незаметно выпрыгнул на улицу, когда в комнате никого не было. Видел только я один. Случайно.

...Наступила взрослость. Сразу, неожиданно, вместе с бомбами в Севастополе.

2

В свое детство я приехал на трамвае, старом, с открытым прицепным вагоном и звонком, по которому вожатый бьет ногой — и звонок «плямкает».

Спрыгнул на ходу, на том старом крутом повороте, где скрипят колеса и трамвай почти останавливается. «Плямкая», трамвай уехал, а я пошел к своему бывшему дому. На что надеялся — не знаю.

Аксюша здесь уже не жила. Ватя погиб где-то в лагере в Германии. Погибли и Таська Рудых и Лешка Мусаев. Немцы заставляли их первыми входить в дома, которые казались им заминированными. И Таська и Лешка, в конце концов, подорвались на минах.

Кецу отправили в трудовую колонию, еще вскоре после того, как арестовали старика Аргезова. Гопляк попал к морякам. Участвовал в десантах. Был тяжело ранен. После войны переехал жить в Херсон.

Я остановился возле почтового ящика. Он был на прежнем месте. Висел на двух загнутых кверху гвоздях. Щель для писем прикрыта металлическим козырьком.

Я сорвал на обочине дороги ромашку и бросил в ящик. Все еще на что-то надеялся.

Вот поверну сейчас за угол и увижу степь, нашу улицу, гранитный камень, церковь вдали.

Повернул, но ничего этого не увидел. Высокие постройки заняли степь, закрыли улицу. Гранитный камень исчез. Церкви тоже не было.

Прошел немного и увидел новый магазин и водонапорную станцию. Прежде здесь стояла афишная тумба. Возле нее я поцеловал Аксюшу в щеку. Аксюша очень тогда расстроилась. Я тоже очень расстроился. Сюда же, к афишной тумбе, прикатывал тачку продавец мороженого. В белом фартуке и в белых нарукавниках.

Ребята спешили, бежали к нему, сжимая в ладонях серебряные монеты, вытряхнутые из копилки.

Заказывали порции на двадцать пять, пятьдесят и семьдесят пять копеек. С восторгом следили, как продавец намазывал плоской ложкой столбик мороженого на круглые вафли. За двадцать пять копеек — столбик маленький, за пятьдесят — побольше, а за семьдесят пять — совсем большой! На вафлях написаны имена. Гадали, кому какие попадутся.

Поблизости от тумбы для афиш было бревно через канаву. Ватя с него упал и утопил портфель с тетрадями и учебниками. Сейчас — ни канавы, ни бревна.

У этого красного кирпичного забора Беркеш пристраивал свой точильный станок. Давил на педаль и пел песни. Где-то Беркеш теперь? Сюда приезжал со своей бочкой с керосином Шанколини. Где-то теперь Шанколини?

Среди садов поблескивает автострада. Тоже новостройка. Автострада прошла через Цыплячьи Горки, плантацию лаванды, вниз, в город.

По этой автостраде бывший Пашка-трамвайщик, Павел Михайлович, водит сейчас троллейбус. Из Симферополя в Алушту. Мимо раскопок столицы скифского государства Неаполя Скифского, мимо Института сельского хозяйства, каменоломен и пещер Кизил-Коба, мимо посевов табака — все выше в горы.

Часто в троллейбусе сидят ребята. Такие же, какими были когда-то и мы.

Они любят море и едут к нему. Хотят поскорее увидеть.

И бывший Пашка-трамвайщик показывает им море. С Ангарского перевала, где впервые можно догадаться, что видишь его. Оно между двумя кипарисами. Еще не толще полоски из ученической тетради.

А вот здесь, в траве, оставались после дождей лужи. Долго стояли потом, тихие и светлые. Напоминали аквариумы.

Тополь, с которого мы с Ватей увидели войну. Нет. Вроде не тот. Может быть, другой? Рядом? Все тополи выросли, и непонятно, какой из них двадцать лет назад был самым высоким.

Отверстие для стока воды в заборе, разошедшаяся калитка — я стою у своего бывшего дома.

Заглянул между досок калитки во двор. Дорожки во дворе

залиты асфальтом. Двери сарая открыты. Но это уже не сарай, а гараж.

Колодца нет. Засыпали, конечно. Теперь он и ни к чему, если построили водонапорную станцию.

Там, где прежде стоял топчан, стоит детская коляска. Верх у коляски поднят, занавески задернуты.

На пороге дома — резиновые коврики. Никаких скребков для грязи.

Чердак закрыт. Лестница убрана.

Ну, что? Постучать в окно, как стучал когда-то? Но кому стучать?

Я не приехал в свое детство. Нет. Я приехал в чье-то новое детство, такое же летнее, хорошее, но чужое. Того, кто лежит в коляске, или вон тех ребят, которые напротив на тротуаре прекратили игру и наблюдают за мной.

И я уйду с Бахчи-Эли, оставив в почтовом ящике ромашку.

Уйду обратно, где трамвай почти останавливается на крутом повороте и на него можно вспрыгнуть на ходу.

3

Я, как и прежде, слушаю детство.

Могу закрыть глаза и видеть то юное, далекое, что было. И каждый раз вспоминать, видеть что-то новое. Я могу оставаться еще мальчишкой, хотя мне уже скоро сорок лет.

Это во мне и со мной.

И от этого всегда хорошо.

Но приехать в свое детство нельзя, даже на старом трамвае.

1956 — 1961

## Последняя охота



Санин был у знакомого ветеринара, когда привели Ичу. Но привели ее не к ветеринару, а туда, в подвал, — совершенно здоровую.

Санин побежал узнать, для чего привели совершенно здоровую собаку в подвал. Он увидел женщину, а на веревке короткошерстную легавую.

Женщина сказала, что ее муж умер. Осталась собака. Она

ей не нужна. Привела, чтобы здесь сделали то, что обычно делают с животными, которые хозяину больше не нужны.

Собака волновалась: запах веревки — это особый запах.

Санин снял с нее веревку. Не снял, а разрезал ножом, потому что узел затянулся. Веревку Санин отдал женщине, а собаку увел к себе домой. Так Ича стала его собакой.

Он не назначил ей место в комнате, решил — пусть выберет сама. Ича выбрала угол, где висело ружье, охотничья сумка, патронташ и фляга.

Первые дни примолкала в своем углу, но стоило подойти Санину, как она вскакивала, суежилась, а потом клала ему в руки голову, задыхаясь от удовольствия, что подошел к ней.

Ича быстро усвоила его привычки. Догадывалась, когда он будет читать газету, курить папиросу, бриться. Не мешала ему в эти минуты.

Санин помнит, как приехал с Ичей в степь. Ича выпрыгнула из коляски мотоцикла и побежала. Потом остановилась, подняла голову, причуивая птицу верхним чутьем. Ноги поставлены прямо. Грудь широкая, но в меру. Спина мускулистая, упругая. Голова сухая, нетяжелая. Хвост посажен высоко.

Сразу было видно, что Ича кровная полевая собака, но так же было видно, что она уже не молодая.

Ича вернулась и начала «покрикивать» на Санина от нетерпения, пока он вытаскивал сумку, ружье, патронташ, флягу с водой для себя и бидончик с водой для нее.

Дома Ича была вежливой, а на охоте сердилась, если он медлил, не спешил.

В первый же приезд в степь Санин настрелял из-под ее стойки тридцать перепелок, хотя перепелка в тот день сидела сторожко, пугливо. Ича вела поиск широким «челноком» без всяких заворотов внутрь. Находила подранков своих и чужих, которых не сумели найти другие собаки. Подавала стреляную птицу и никогда ее при этом не мяла.

Иногда Санин плохо видел птицу. Тогда она подходила к ней с разных сторон, чтобы лучше показать. Даже на вспаханной земле или в картофельниках все равно находила и поднимала.

При подводке к птице укоризненно взглядывала, если он наступал на что-нибудь хрусткое или цеплял ружьем кусты.

Санин едва поспевал за ней. Некогда было выкурить лишнюю папиросу, напиться воды.

И только дома Ича как бы признавалась, что совсем устала. И пока Санин выбирал у нее из шерсти клещей и репейники, теплым уксусом промазывал крапивные ожоги, Ича засыпала.

Ича радовалась, когда Санин подходил к ней, а Санин радовался, что ему было к кому подойти.

После первой охоты Ича безошибочно угадывала, когда он собирался в степь: к прежним привычкам Санина добавила новые, для себя главные.

Санин не услышит звона будильника: трудно подняться в четыре утра после рабочей недели. Ича подходила к его кровати и «скрипела над ухом»: вздыхала, повизгивала. Будила. Санин просыпался и, смущенный, бежал к умывальнику. А Ича «с песнями» выбегала во двор к сараю, где стоял мотоцикл.

Был случай... Санин встретил на охоте друзей. Они сидели в тени, отдыхали. Их собаки тоже сидели в тени, отдыхали. Ича недалеко от охотников сделала стойку.

— Что это она у тебя?

Санин позвал Ичу. Не двигается, стоит.

Охотники сказали:

— Шалит барбос!

Ича подняла птицу на крыло, и Санин без промаха ударил. Вскочили, заметались барбосы охотников. Ича решила над ними посмеяться. Прежде чем отдать перепелку Санину, она сделала «карусель»: повертелась с перепелкой в зубах.

Ича прекрасно разбиралась, какую птицу как прихватывать.

Она знала, что вальдшнепы любят отсиживаться в садах, придорожных канавах или где-нибудь на опушке мелкого березняка. Бекасы — те любят болота и сырые луга. Умеют плавать и нырять. А летают очень хитро: делают быстрые и неожиданные повороты. Дупель — он больше бекаса и летает без всяких неожиданных поворотов. Сидеть любит, где посуше. СожметсЯ, «западет» так, что его и не учуешь. А коростель — тот бегаеТ. Поднимаешь его, он пролетит шагов двадцать — низко, медленно, с опущенными ногами — и снова побежит по земле.

Все друзья-охотники признали Ичу собакой выдающейся.

На полевых состязаниях Ича выиграла Санину ружье. Набрала 95 баллов. Она получала дипломы и медали. Получила специальный приз за чутье. А потом ей даже присудили звание лучшей собаки охотхозяйства при облизполкоме.

...Ичу укусила змея. Как он тогда испугался, сколько пережил!.. Это произошло во время лета серой куропатки. Змея укусила в ногу.

Санин быстро выдернул из петелек сумки шнурок и перетянул им ногу повыше укуса. Принес Ичу к мотоциклу, положил в коляску и погнал мотоцикл домой.

Дома заставил Ичу выпить глоток водки, а укушенное место протер марганцовкой.

Ича улыбнулась ему: не надо беспокоиться, все обойдется. Немного захмелев от водки, она даже не выглядела такой усталой, какой обычно бывала к концу охоты.

Санин, поручив ее соседям, побежал (он до сих пор не пони-

мает, почему побежал, а не поехал на мотоцикле) в ту самую поликлинику, откуда, из подвала, когда-то забрал Ичу.

Он упросил ветеринара немедленно прийти и осмотреть собаку. Ича немолодая, у нее может случиться паралич.

Успокоился он только после того, когда ветеринар осмотрел Ичу и сказал, что сердце работает нормально, затруднений в дыхании нет, а значит, нет и оснований, что может наступить паралич.

Через несколько дней Ича была вне опасности. Действительно, все обошлось.

Но Санин на охоту не ездил, чтобы дать Иче возможность отдохнуть, окрепнуть.

У Санина часто спрашивали, не продаст ли он Ичу. Предлагали большие деньги.

Санин отвечал, что он никогда Ичу не продаст. И что он вообще не имеет права ее продавать, потому что он ее и не покупал, денег за нее не платил — ни больших, ни маленьких. Он только снял с нее веревку, а Ича — она сняла с него одиночество. Но этого он никому уже не говорил.

Одну зиму они часто охотились на зайцев. Ездили далеко. Холодно было, но они ездили.

Санин подранил зайца. Заяц ушел. Ича ушла за ним вдогон. Санин испугался — не вернется, замерзнет. Снег очень глубокий. Тоже отправился по следу за Ичей и зайцем. Здесь вот Ича остановилась, отдыхала. Здесь вот заяц прыгал, след запутывал. Ича сделала круг, распутывала след. Нашла — и опять вдогон. Сильный заяц попался. Раненный, а идет и идет... Наверное, «листопадник» — осенью только родился.

Ича притащила зайца. Он был огромным, тяжелым. Ича долго не могла отдышаться. Санин счистил с ее головы сосульки и на лапах между пальцами. Ича дрожала от холода и никак не могла согреться.

Он снял с себя толстый свитер и натянул на Ичу.

В свитере она и приехала домой. А дома они оба выпили водки, потому что оба промерзли.

Это было тоже зимой — Санин на привале забыл портсигар. Охотились они тогда не одни. С ними был охотник, который вместе с другими сказал когда-то про Ичу — «шалит барбос».

Охотник был со своей собакой. Так что Иче приходилось работать в паре. А работать в паре Ича не любила, поэтому ведь день была надутый, неразговорчивой.

Портсигар Санин положил на пенек, а пенек, пока они жгли костер и закусывали, засыпало снегом.

Собрались, пошли. Санин о портсигаре забыл — не видно его. А Ича идет и не идет. Санин позвал ее. Нет, не идет. Хлопнул по спине рукавицей.

Ича ухватила его за рукавицу и потянула к пеньку. И только тогда он вспомнил о портсигаре.

Извинился перед ней и сказал, что никогда не ударит ее даже в шутку рукавицей и на охоту не будет заставлять ходить в паре, если она этого не хочет.

От года к году совершалось неизбежное — Ича старела: укорачивалось чутье, укорачивалось зрение, укорачивался слух.

Ича делала вид, что ничего не происходит. А Санин делал вид, что ничего не замечает.

Они обманывали друг друга. Но Санину это делать было легко, а Иче — все труднее.

Теперь Ича, когда она возвращалась с охоты, засыпала уже прямо в коляске мотоцикла. Однажды не услышала будильника. Санин ее разбудил. Как она растерялась, и Санин растерялся.

Ича тут же «с песнями» захотела выбежать во двор, споткнулась на лестнице и едва не упала. Но потом, во дворе, сделала «карусель», улыбнулась ему.

Санин улыбнулся в ответ — все в порядке, Ича. Ведь это подвела нога, которую когда-то укусила змея. Санин выкатывал из сарая мотоцикл и незаметно, вроде бы случайно, помогал Иче влезать в коляску. Ему легче обманывать ее, чем ей обманывать его. И он спешил всегда первым обмануть.

В степи он теперь больше отдыхал и курил, чем охотился.

Ича делала вид, что сердится на него, покрикивает. А Санин извинялся, убеждал ее, что еще неизвестно, что лучше, стрелять или не стрелять. Охота для него вообще никогда не бывала чем-то главным, и заниматься он ею начал особенно после того, как остался один. Ему нужно было куда-нибудь уходить — и он уходил в степь.

...Пролетел жук — Ича не увидела. Прошелестела ящерица в траве — Ича не услышала. А потом и будильник совсем перестала слышать, и «скрипеть над ухом» перестала, и следы зайцев и лисиц видеть перестала, и причувывать птицу.

Ночью ее надо было укрывать чем-нибудь теплым. Иногда надо было помочь перевернуться с боку на бок или помассировать затекшие лапы.

Санин все чаще подходил к Иче. И она была счастлива, что он к ней подходит. Теперь она уже не старалась его обмануть. И Санин тоже не старался ее обмануть. Это было невозможно.

...Ича спускается с лестницы во двор. Идет тихонько, лапы у нее путаются.

Санин ласково оглаживает ее ладонью, говорит:

— Ничего, Ича, ничего.

Потом она останавливается около сарая и просто стоит. Ича и Санин никуда не едут. Оба просто стоят.

Ича кладет ему в руки голову и молчит.

И каждую ночь он подходит к ней, укрывает чем-нибудь теплым. Помогает перевернуться с боку на бок, массирует затекшие лапы.

Ича не в силах сказать ему что-нибудь хорошее или даже просто открыть глаза. Как будто бы она пробежала в степи свои сорок — пятьдесят километров. Они ей теперь только снятся — и тогда она вдруг ночью потянет совсем щенячьим голосом, высоким, прерывистым: увидела степь, увидела все то, чего теперь не видит.

К Санину приходит знакомый ветеринар. И каждый раз Санин просит его сделать Иче укол витаминов или еще чего-нибудь.

Ветеринар уколы делал. А потом сказал, что делать эти уколы бесполезно, что у собаки уже такая старость, которая ее тяготит, и что собаку надо привезти на мотоцикле в поликлинику.

Санин сказал, что он не повезет Ичу туда, в подвал.

— Это неизбежно, и оставлять собаку в таком положении нельзя, — ответил ветеринар. — Вы не можете этого не понимать.

Санин это понимал. Он не признался ветеринару, что пробовал проехать с Ичей по той улице, где поликлиника. Пробовал даже остановиться около здания поликлиники. И он увидел, что случилось с Ичей. Она все помнила: запах веревки — это особый запах.

Санин сказал тогда Иче, что они здесь случайно. Ехали, остановились и поедут дальше. И они поехали дальше.

...У Ичи образовались пролежни. Теперь она почти не могла ночью самостоятельно переворачиваться. Вставала редко. Ела и пила лежа.

У Санина с ветеринаром повторился разговор о поликлинике. И когда Санин опять сказал, что не повезет Ичу, ветеринар ответил:

— Как хотите, но это жестокость.

...Санин выкатил из сарая мотоцикл. Помог Иче спуститься с лестницы и посадил ее в коляску.

Он взял ружье. В кармане у него лежал единственный патрон для единственного выстрела. Ича хотела сказать, что он забыл патронташ, сумку, флягу с водой и бидончик. Но у нее не было сил сказать.

Когда приехали в степь, Санин, Ича и мотоцикл долго стояли в степи. Ича увидела все то, что хотела увидеть. А Санин увидел все то, что не хотел сейчас увидеть.

И он не выдержал: достал из кармана патрон и выбросил его, хотя и понимал, что не должен этого делать, что это опять жестокость. И что все равно какое-то решение, словно последний выстрел, остается за ним.

## Двое в дороге

### МЫ УПРЯМЫЕ



Я понял, что сюда нельзя было ехать на машине. Кир тоже понял. Я видел это по его напряженному лицу.

Не в первый раз он отправлялся со мной и уже хорошо знал, что такое автомобиль и дорога.

Песок.

Он начался, как только свернули с большака в лес. Вначале несильный, терпимый. Я думал, что вот-вот кончится. Но это «вот-вот» тянулось второй час.

Никаких дорожных знаков. Кое-где на деревьях сделаны зарубки и краской помечены километры.

Я ехал обследовать район падения метеорита. Надо было нанести на карту, оконтурить.

Кир поглядывал на приборы — температура воды, давление масла, амперметр.

По обе стороны дороги стоял лес. Где-то должны быть болота. За время пути нам никто не повстречался — ни пеший, ни конный, ни на автомобиле.

Тишина. Безлюдье. Только шелест песка под колесами. Ехать сюда на машине нельзя было. Мы серьезно рисковали.

— Десяносто пять, — сказал Кир.

Я тоже видел, что температура воды уже девяносто пять. Надо делать передышку.

Подыскал поляну и вырулил на нее. Заглушил мотор.

На поляне росли высокие белые цветы. Они согнулись под машиной тугой волной.

— Умоемся? — спросил Кир.

— Умоемся.

Он достал с заднего сиденья большую резиновую грелку, полотенце и мыло. В грелке мы возили воду. Это удобнее, чем в металлическом баке: вода не плескалась и можно было держать где угодно, хоть на сиденье.

Кир открутил грелку и начал сливать мне. Я умылся. Сразу стало легче. Потом слил ему.

Кир убрал мыло и полотенце. Грелку положил на переднее крыло: она ему еще пригодится. Над мотором дрожал горячий воздух, как над плитой.

Я разложил на земле карту. Хотел проверить, сколько осталось до Лисьего носа, где упал метеорит.

Кир вытащил из-под сиденья мои кожаные перчатки, надел их. Они были ему очень велики. Его тонкие руки с перчатками напоминали веточки, на концах которых висели кленовые листья.

Кир взобрался на бугер и начал прокачивать в моторе масляный фильтр. Проверил натяжение ремня вентилятора, смахнул пыль с бензонасоса. Поглядел, не подтекает ли.

Осторожно, чтобы не ожечь лицо паром, открутил пробку радиатора. Долил из грелки воды.

Я наблюдал за ним. Мне нравилось, что он так много уже знал и умел.

Кир спрыгнул с бугера, снял перчатки, убрал грелку и подошел ко мне:

— Мы не сбились с пути, папа?

— Нет. Все в порядке. Видишь, последняя развилка и ху-



тор Ерик. Теперь должна быть часовня и хутор Медвежки. Потом Шарапова охота, и тогда Лисий нос.

Я подобрал сосновую иголку, измерил ею расстояние по масштабу до Лисьего носа.

— Двести двадцать километров.

— Часов на восемь при такой дороге, да, папа?

— Да. Часов на восемь. Может, и больше.

— А почему на карте обозначены болота, а кругом песок?

— Да. Странно. Я тоже думал.

— Интересно, какой упал метеорит — большой или нет.

— Это мы и должны выяснить.

— А вдруг такой, как «Палласово железо» или «Богу-славка»?

— Вряд ли. Большие кристаллы-монолиты — редкость.

— Ну и что же. Ты сам говорил — никто не думал, что Сихотэ-Алинский окажется таким огромным.

— Да. Никто не думал. Ну, поехали.

Я завел мотор и вырулил на дорогу.

Волна белых цветов выпрямилась, будто никакой машины никогда не стояло на этой поляне.

— Страшно, если в песке попадает камень, да, папа?

— Да. Страшно.

Я не хотел об этом говорить, но Кир сам догадался. Камень может повредить снизу мотор. Масло вытечет — и тогда машина мертвая. Буксируй тросом.

Я следил за дорогой. Кир тоже следил. Зарубки на деревьях пропали. Песок густел. Колея становилась глубже. Скорость я не сбавлял. Останавливаться или сбавлять скорость нельзя: затянет в песок — и не тронешься с места.

Машина шла хотя и не быстро, но с предельным напряжением. Ее трясло.

— Восемьдесят, — сказал Кир.

Лес сжимал дорогу. Иногда деревья справа и слева сплетали между собой вершины. Шелестел песок.

Часовня оказалась у самой дороги. Построена была из бревен. Они полопались от старости.

— И чего метеориты падают в таких неудобных местах! — Кир вздохнул. — Люди раньше их боялись — думали, что плохо, да?

— Думали, что плохо.

— А правда, папа, что на Бородинском поле перед боем упал метеорит?

— Правда.

— А мы все равно Наполеона разбили. Не сразу, но потом.

— Конечно.

— Уже девяносто пять.

Я начал приглядывать, куда выпрыгнуть из колес, чтобы потом можно было тронуться с места.

Выпрыгнул. Встал. Под машиной опять примялись белые цветы.

— Умоюсь?

— Да.

Я расстелил на земле карту. Подобрал сосновую иголку. Промерил расстояние, которое прошли до часовни, — тридцать четыре километра. Не много.

Кира я спросил:

— Ты есть хочешь?

— Нет еще.

— Тогда поедим в Медвежках.

— Хорошо, папа.

Подняли капот. Мотор остывал.

Кир первый услышал шум грузовика. Потом услышал и я.

Мы выбежали на дорогу. Навстречу ехал тяжелый самосвал.

Я махнул рукой.

Самосвал остановился прямо в колее. Песок ему не страшен.

— Привет, — сказал шофер.

— Привет, — сказали мы с Киром.

— Туристы?

— Нет. Не туристы.

— А то наша дорога не для туризма.

— Догадаться не трудно, — сказал я.

— Почему здесь песок? — спросил Кир.

— Привозной. Дорогу укрепили. Осенью ползла, болота.

— Пожалуй, песка пересыпали, — сказал я.

— Есть такое. Но, кроме нас, самосвалов, никто не ездит.

А нам ничего.

— Вам ничего, а нам плохо.

— Куда путь держите?

— В Лисий нос.

— Я только вчера оттуда. В Никола-рожок еду.

— Как дальше — пробьемся?

— Трудно вам будет. А на что в Лисий нос?

— Метеорит упал. Исследовать надо.

— Упал, верно. Яму вырыл. Какие-то шарики дети находят.

— Метеорная пыль, — сказал Кир. Он видел у меня в лаборатории такие шарики окисленного железа. Пыль сдувает с метеорита во время падения.

— Не так вы к Лисьему носу едете. Надо было с другой стороны. С хутора Жерновец. Паровичок ходит. Узкоколейка. Погрузили бы вас на платформу и до самого Лисьего носа, вокруг болот.

— Не знали мы про узкоколейку. Нет ее на карте.

— Недавно построили. Ну ладно. Ночью я буду с обратным рейсом. Если где застрянете, вытащу. Привет! — Он дал газ.

— Привет! — сказали мы. — Спасибо!

Самосвал уехал.

Мы сели в машину. Я завел мотор и вырулил на дорогу.

Белые цветы выпрямились — никакой машины здесь не стояло.

Мы пробиваемся к Лисьему носу.

Песок.

Он под капотом, в прокладках стекол, в дверных петлях. Истертые песком баллоны почернели.

Появились болота. Налетели комары. Пришлось закрыть все стекла. Душно. Песок хрустит на зубах, в складках карты, под педалями управления.

Проехали хутор Медвежки. Свернуть к нему не удалось — колея такая глубокая, что теперь не выскочишь. Ее прорыл самосвал, который мы встретили.

Поесть и передохнуть тоже не удалось. И набрать в грелку воды.

Мотор накален. Работает на пределе. Температура воды давно уже девяносто пять.

Я спрашиваю Кира:

— Ты есть не хочешь?

— Нет.

— А пить?

— Нет.

— Устал?

— Нет.

В дороге восьмой час.

Духота. Стекла закрыты. По-прежнему комары и песок.

Один раз ударил камень. Несильно. Но мы с Киром все равно глянули в заднее стекло: нет ли на песке пятен масла? Не поврежден ли мотор снизу?

Пятен не было. Появился запах горячего чайника, запах пара и накипи. Это от радиатора.

Песок слепил глаза. Солнце накалило руль, приборную

доску, крышу машины. Хотелось пить. Или хотя бы пополо-  
сать рот, умыться.

Я подумал — Кир еще мальчик, совсем маленький мальчик. Чтобы прокачать фильтр или проверить натяжение ремня вентилятора, он влезит на буфер машины. И ему сейчас трудно. Гораздо труднее, чем мне. Но он молчит. Он смотрит на дорогу и на приборы.

Можно, конечно, остановиться прямо в колее. Возле Шарповой охоты. Выпить воды, умыться, поесть, отдохнуть. И ждать самосвала, когда он пройдет ночью. Потому что сами с места не тронемся.

Но мы с Киром не хотим этого делать. Мы с ним хотим пробиться своими силами. Мы упрямые.

## ГУБКА, ЗАМША И ВЕДРО

Губка, замша и ведро воды — Кир моет машину.

Начинает с крыши. Чтобы дотянуться губкой до середины, снимает ботинки, открывает дверцы и влезает с краю на сиденье. На каждое по очереди.

Когда крыша готова и в ней отражается небо, Кир идет за свежей водой.

Принимается за стекла. Моет осторожно. Долго споласкивает губку от грязи. Если поцарапаешь переднее стекло, свет встречных машин будет ночью дробиться на царапинах и утомлять глаза.

Когда покончено и со стеклами и в каждом из них тоже отражается небо, Кир принимается за дверцы, крылья и багажник.

Грязь сползает с машины все ниже к колесам. А неба все прибавляется.

Оно уже не только на крыше и на стеклах — оно на крыльях, на дверцах, на багажнике и даже на квадрате номерного знака.

Ходят по машине облака. Всегда приятно ехать и везти с собой небо!

Капли воды Кир собирает замшей: не соберешь — высохнут и машина будет пятнистой.

Кир иеутомим. Его любимый наряд — клетчатая рубашка и комбинезон.

Очень занятно мыть колпаки на колесах. Отойдешь, поглядишь в чистый колпак и увидишь себя, как в кривом зеркале, — на коротких ногах и с большой головой.

Кира это веселит. Он обязательно посмотрится во все чистые колпаки.

Однажды Кир мыл машину. Начал, как обычно, с крыши. Когда добрался до облицовки радиатора, увидел птицу. Ее убило на ходу, и она застряла между буфером и стойкой для заводной ручки.

Кир вытащил птицу, показал мне.

С тех пор мы с Киром всегда сигналим птицам, когда они сидят на дороге.

## ЧЕТЫРЕ САМОВАРА

Я ехал без Кира, и мне было грустно одному. Кир остался в городе, заканчивал занятия в школе. А мне надо было ехать в Спасскую полость, устанавливать магнитограф — прибор для записи колебаний в магнитном поле Земли.

Смеркалось. Решил заночевать в ближайшей деревне. Такой деревней оказалась Раменка. Ехал медленно через Раменку, приглядывал место, где бы поудобнее пристроить машину. Прежде советовался с Киром, а теперь вынужден был делать это один.

Спал я всегда в машине. Откидывал спинку переднего сиденья, и получалась кровать. Удобная, широкая. Кир очень любил спать в машине на такой кровати. Перед тем как уснуть, долго сидел в трусах, крутил, слушал радиоприемник или, опустив боковое стекло, разглядывал, что было вокруг. Ведь каждый раз мы спали на новом месте.

Помню, однажды мы с ним проснулись от продолжительного сигнала. Ночевали одни в лесу далеко от дороги. Сигнализировала только наша машина. Долго ломали голову, что же произошло? Наконец догадались: Кир нажал пятками на сигнал. Случайно, во сне.

Я остановился в Раменке, посреди площади. Меня окружили ребята. Они давно гнались за мной. Когда человек что-то ищет, это всегда заметно остальным. Тем более — ребятам.

— Буду у вас ночевать. Здесь, в машине, — сказал я.

— Здесь плохо, — ответил парень с большим кувшином в руках. Он так и бежал с этим кувшином. Я видел его в зеркальце, когда ехал. — Шумно здесь, беспокойно. Надо в Горчаковскую рощу.

— Выдумал — в Горчаковскую рощу. Там грязь, — возразили ему.

— Где Долгий мост, надо.

— А там лягушки орут.

— У сельмага.

— Больно интересно у сельмага. Только что лампочка на столбе горит.

— На покос податься надо, вот куда!

— На покос не следует, — сказал я. — Машина помнет траву — косить трудно будет.

— А трава уже в одонках стоит.

— В одонках? — не понял я.

— Ну, в скирдах.

— Ну, если в скирдах.

— И мельцо там.

Что такое мельцо, я тоже не понял.

— Озеро. Мелкое. Искупаться можно.

— Купайтесь, где ольха, — сказал парень с кувшином. — Берег чистый.

— И камней нет. Ноги не нарежете, — добавил кто-то.

— Ехать вам по этому проулку. — Парень поставил на землю кувшин, чтобы удобнее показать, где проулок. — А потом налево и вниз, вокруг холма. Тут и покос.

— А про жерди забыл? — напомнили ему. — Они заместо ворот. Растащить потребуется.

— Да. Жерди растащить потребуется.

— А где достать кипятку? — спросил я напоследок.

— Кипяток будет, — сказал парень, поднимая с земли кувшин. — Это я устрою.

— Мы тоже устроим! — закричали остальные ребята. — Почему ты?

Я тронул машину. Направился по проулку налево вниз. Обогнул холм и уперся в забор из березовых жердей. Растащил жерди и легко проехал на покос.

Вскоре увидел мельцо. Тихое луговое озеро. На берегу стояли одонки сена. Укреплены были жердями. Также березовыми. Я остановился. Хорошее место определили мне ребята. Кир бы лучшего не выбрал. Вода, тишина, и деревня рядом: можно попросить что нужно. Утром молока, например.

После дороги очень хотелось окунуться, согнать усталость. Я разделся. Нашел ольху, где ребята велели входить в воду.

Вода была теплой. Все мельцо пропахло сеном, покосом. Лежали на воде, срезанные косой, ромашки. Их принесло ветром с одонков. Показывались маленькие зеленые шишки. Они нападали с ольхи.

Я долго и не спеша плавал между ромашками и зелеными шишками. Отдыхал. Сгонял усталость.

Потом выбрался на берег. Надел чистую рубашку и чистые полотняные брюки. Достал из багажника тряпки, которыми вытираю от пыли машину. Тряпки были грязными — следовало постирать. Да и резиновые коврики не мешало пополоскать.

Прибежали ребята. Те же и с ними еще. Парень с кувшином был уже без кувшина.

Каждый кричал, чтобы я шел к ним домой, где уже закипает самовар.

Я поблагодарил ребят и сказал, чтобы принесли кипятку сюда. Совсем немного. Вот в эту кружку. А пойти я не могу. Надо до темноты побриться и сделать кое-что по машине.

Ребята ушли. Кружку не взяли. Сказали, что обойдутся. Я постирал тряпки, помыл коврики. От влажных ковриков в машине стало свежо. Щеткой вычистил сиденья, прежде чем стелить на них простыню. Выгнал мух и жуков, которые попали в машину и приехали со мной в Раменку. Достал механическую бритву, завел пружину и побрился.

К одонкам прилетели птицы. Тоже начали укладываться спать.

Только я взял грелку, чтобы сходить на берег мельца пополнить запас воды на завтра на дорогу, как вдруг увидел — двое ребят тащат самовар. Осторожно, за ручки.

Я испугался — выдумали чего!.. Но тут увидел еще один самовар. Потом еще — с правой стороны покоса. Потом еще один — он двигался вдоль берега мельца.

Четыре самовара!

И каждый самовар спешил раньше другого добраться до меня.

### «УЧЕБНАЯ»

— Отпусти ручной тормоз.

Кир отпускает ручной тормоз.

— Выжми педаль сцепления и включи первую скорость.

Кир выжимает педаль сцепления и включает первую скорость.

— Теперь прибавляй газу. Еще, еще...

Кир взволнован, раскраснелся. Прикусывает губы, затаивает дыхание. Чтобы доставал до педалей — сиденье придвинуто вперед. А чтобы видел дорогу — использованы книги. Толстые солидные справочники. Мы берем их из дому. Он на них сидит.

— Ну, смелее. Ну!

Машина дергается, мотор глохнет: не хватило газа. Кир украдкой глядит на меня. Он думал, что у него получится сразу. А сразу не получается.

Дернемся — заглохнем. Дернемся — заглохнем.

Я наблюдаю за Киром. Он не отступится, упорный. И я хочу, чтобы таким он оставался всегда.

Опять заводим мотор. Кир опять выжимает педаль сцепле-

ния. Дает слишком много газа. Мотор ревет. Я молчу: Кир во всем должен убедиться сам, почувствовать, понять. Много газа, мало газа. Холостые обороты, нагрузка. Что и как.

Мы прыгаем с места. Кир пугается и бросает педали. Оправившись от испуга, говорит:

— Прыгнул.

Он знает, что это безграмотно для водителя — прыгать. И педали бросать нельзя. Ни в коем случае! Это он тоже хорошо знает. Растерялся за рулем — авария, несчастье. Видел на дорогах.

На следующий день продолжаем.

— Газу! Еще! Не смотри на педали, на дорогу смотри. А ручной тормоз, забыл?

Ревет мотор. Мы прыгаем, потом глохнем.

Кир прикусывает губы. На глазах слезы: от обиды на самого себя. Я ласково хлопаю его по плечу.

— Не огорчайся, Кир. Все прыгают.

— И ты тоже прыгал?

— Конечно.

— А долго?

— Долго.

— А пугался? Бросал педали?

— Случалось.

Впереди и сзади стоят у нас на машине таблички — «учебная». Между табличками на толстых солидных справочниках сидит Кир.

— Папа, я начну сначала, можно?

— Конечно. Только давай пропустим тот встречный автобус.

— Давай.

### ДОЛЖНЫ ЕХАТЬ ТРОЕ

Руку поднимает дед, голосует. Он в сапогах, в ватной стеганке. Стоит, опирается на палку. Сгорбил, устал.

Я останавливаю машину. Кир выскакивает и открывает заднюю дверцу. Помогает деду сесть.

— Далеко вам? — спрашиваю я.

— В деревню Хабаровку.

Дед устраивает палку между колен. Складывает на ней ладони грибом — одна на другую.

Кир снова на месте. Мы трогаемся.

Дед заводит разговор о нынешней весне, которая то теплом по земле ходит, то морозом возьмется. Долгая весна, истязная. Но озимые поднимаются не плохо. Ишь зеленеют!

Мы смотрим на озимые. Они зеленеют первой влажной

зеленью. Кое-где в деревьях лежит снег. В снегу топчутся утки: ждут воду. Она появится в полдень, когда пригреет солнце.

Дед уже не работает. По старости. Прежде, в далекие времена, был сухарником. Выпекал сухари, витушки, рогульки, именинные крендели. А начинал жизнь с того, что чистил в булочных мешки и хлебные формы. Скреб ножом-тупиком тесто. Пропаливал глиняные квашни.

Кир слушает. Ему интересно. Дед рассказывает охотно: далекое становится для него близким. У Кира нет еще такого далекого. Да и у меня его нет: деду уже за восемьдесят.

Когда приехали в Хабаровку, дед достал деньги.

Мы сказали, что деньги с попутчиков не берем: если в машине едут двое, а поместиться могут трое, то должны ехать трое. И деньги тут ни при чем.

Она села вскоре после деда. Была в гостях у матери в совхозе и возвращалась в город.

Я спросил, что она делает в городе.

— Учусь в вечерней школе.— Потом добавила:— И работаю.

— А кем работаешь?

Девушка смутилась.

— Техничкой в интернате.

Кир не понял, что такое техничка.

— Ну, мою полы, убираю. Нянечка я, уборщица.

Кир говорит:

— Я тоже люблю убирать, мыть машину.

Девушка смеется. Она больше не стесняется нас.

— Еще я была поварихой. В детском саду.

— А трудно быть поварихой? — спрашивает Кир.

— Сначала было трудно. Нельзя опаздывать с обедом: дети уснут. Набегаются за день и с ног падают, спать хотят.

— Я тоже, когда спать хочу, падаю с ног,— говорит Кир.

Он сразу попросил:

— Нельзя ли побыстрее!

— А что случилось?

Это был паренек рыжий и конопатый. Чуб его вспыхивал на солнце, точно факел.

— Автолавка проехала. Догнать мне ее надо.

— Догоним.

Я подбавил скорости. Требовалось выручить человека: догнать магазин. И мы его догнали. Посигналили, чтобы остановился.

Магазин остановился. Паренек был счастлив.

Девочка в белом школьном переднике. Робко махнула рукой. Возле девочки на чемодане сидела пожилая женщина. Мы с Киром затормозили.

Это оказались бабушка с внучкой. Бабушка провожала внучку в пионерский лагерь.

— Вы ее до переезда через железную дорогу. Пожалуйста, не откажите. Там у них собрание назначено,— говорит бабушка.

— Сбор, а не собрание,— поправляет внучка.

Я помог поставить в машину чемодан. Кир сказал:

— Хочешь, садись впереди.

Бабушка попыталась сунуть мне в карман деньги.

Кир поспешил удержать ее руку.

Если в машине едут двое, а поместиться могут трое, то должны ехать трое. И деньги тут ни при чем.

## НА ОГОНЕК

Он вышел к нам из леса — старый одинокий пес.

Мы грели на спиртовке мясные консервы, поджаривали лук. Он стоял и смотрел: прогоним или нет.

— Иди к нам,— сказал Кир.— Иди. Не бойся.

Но он боялся.

Мы кончили греть мясо, поджаривать лук. Поставили на спиртовку чайник.

Мясо разделили на три части — себе и ему. Себе с луком, ему без лука. Положили в пустую консервную банку, подвинули навстречу. Он испугался, отбежал. Не поверил.

Мы начали есть.

Он медленно обошел вокруг нас, все еще приглядываясь, что за люди — хорошие или плохие. Наконец рискнул и остановился у мяса.

— Не торопись,— сказал Кир.— Горячее.

Так мы подружились с этим бродячим псом. И вскоре сидели рядом вокруг спиртовки, на которой закипал маленький походный чайник. Пес доверился: вытянул усталые лапы, положил под голову ухо и уснул.

Чайник закипел. Мы погасили спиртовку. Разлили кипятка в чашки и бросили по щепотке чая. Подождали, пока заварится, опустится на дно чашек.

Пес во сне дергал лапами, вздрагивал, вздыхал.

Мы попили чай. Потом я закурил, а Кир помыл посуду. Собрали мусор и отнесли в канаву. Крошки высыпали в траву муравьям. Начали укладывать вещи.

Пес проснулся, с тревогой наблюдал за нами: он не хотел расставаться.

Когда вещи были уложены, мы сели в машину. Помахали псу на прощание и поехали.

Вдруг Кир сказал:

— Он бежит за нами.

Я сбавил скорость. Для чего — не знаю. Взять его с собой мы не могли.

— Папа, он догоняет.

Пес бежал изо всех сил.

— Лучше скорее уедем, папа.

Я прибавил газу. А пес все бежал и бежал.

Мы с Киром привыкли к встречам и расставаниям. Но это расставание было тягостным.

Долго мы потом ехали и молчали.

### СРЕДИ СВОИХ

Есть море. Есть пляж. Но есть еще гараж с ремонтными цехами. Мы с Киром в пансионате для автотуристов.

Я с утра на пляже, а Кир с утра в гараже, в ремонтных цехах.

Каждый отдыхает, как ему хочется. Мы друг другу не мешаем.

Отдыхать — значит не только купаться или лежать на солнце.

Отдыхать — это еще заниматься любимым делом.

А здесь для Кира любимого дела с избытком: триста машин! И такого не бывает, чтобы все сразу были исправными. Обязательно кто-то что-то ремонтирует, регулирует, отвинчивает, привинчивает.

И вот это «что-то» интересует сейчас Кира больше, чем море с пляжем.

И хорошо. Пусть.



*Две секунды  
света*

1

Маяк стоит на скале. Внизу, под скалой, — море, а сзади — лиман.

В лимане ходят белые цапли на черных ногах. И маяк тоже, как цапля, — белый с черными полосами.

Цапли живут в лимане, а маяк живет на скале у моря.

Две секунды света, шесть секунд темноты. И так всю ночь.

Начальник маяка — Иван Алексеевич Гонтарь.

Каждый вечер он входит в дежурную комнату, где на столе лежит вахтенный журнал, висят таблицы восходов и закатов, громко постукивают большие часы с кодовым диском: они отмеряют секунды света и темноты.

Иван Алексеевич раскрывает вахтенный журнал и делает запись, когда был включен маяк. Поворачивает рукоятку, подает напряжение на лампу, и в море летят первые две секунды света.

Рано утром Иван Алексеевич снова приходит в дежурную комнату, поворачивает рукоятку — снимает напряжение с лампы. Отмечает в вахтенном журнале, когда маяк был выключен.

## 2

Вся жизнь Ивана Алексеевича прошла на Голубицкой пересыпи, между Азовским морем и лиманом. Прошла на этом маяке.

Прежде, до войны, стоял маяк с керосинокалильной лампой. Возле нее надо было сидеть и чистить иглой, а то могла погаснуть.

Башня была высокой. Ее раскачивало ветром. Сидишь чистишь лампу, а тебя раскачивает вместе с башней.

В защитную сетку попадали цапли с лимана. И нельзя было их спасти, уберечь.

В долгие ночи дежурств он занимался тем, что чинил сапоги, читал старые лоции или просто сидел и думал о своей жизни. А жизнь как-то не получилась: Мария, жена, ушла от него и забрала дочку, тогда совсем еще маленькую.

Ушла ночью, когда он дежурил с иглой у керосинокалильной лампы. За Марией приехал на грузовике шофер Дмитрий Катков. Работал он недалеко — в Темрюке. Приехал и увез ее.

Иван Алексеевич даже и не услышал. И только утром узнал, когда погасил лампу и спустился с маяка.

Долго стоял в тот день на дороге, — все надеялся: Мария вернется.

Но она не вернулась. Прислала письмо, что ей надоели его вечные две секунды света и что она не может из-за них просидеть всю жизнь на Голубицкой пересыпи.

В вахтенном журнале Иван Алексеевич сделал запись: «28 сентября 1939 года. Мария Степановна Гонтарь, заместитель начальника Темрюковского ориентирного маяка, с работы уволилась и уехала совсем».

В вахтенный журнал положено записывать все, что происходит на маяке.

Войну Иван Алексеевич провел здесь же, в этих местах. Маяк был погашен, а потом и вовсе разбит бомбами. И все маячное хозяйство погорело и пропало.

Иван Алексеевич пошел служить в пехоту. Участвовал в десанте на Керчь.

Видел крымские маяки. Он их знал по лоциям. Они тоже были разрушены. Теперь на маяках стояли пушки: позиции, удобные для артиллерии.

На войне Иван Алексеевич был ранен в голову осколком.

После войны он снова вернулся на Голубицкую пересыпь. Надо было ставить маяк. С бригадой строителей поставил его, новый, современный, — электрическая лампа, кодовые часы, аккумуляторы, динамо для подзарядки аккумуляторов.

И опять полетели в море две секунды света.

Письма ему не приходили: Мария больше не писала. Он знал, что из Темрюка она с Дмитрием Катковым перебралась в Ростов, а потом и еще дальше — в Свердловск.

Он посылал дочери деньги. Сам посылал — Мария не требовала. Но однажды деньги из Свердловска возвратили с пометкой на бланке: адресат выбыл в неизвестном направлении. Долго тогда просидел с этим бланком на маяке. Как же так — в неизвестном направлении? Дочь ведь его...

## 4

...Он узнал, что дочь жива. И что все они живы, — и Мария, и Дмитрий Катков. Поселились в Челябинске.

Иван Алексеевич все пытался представить себе дочь взрослой. Фотографию ему не присылали, а попросить стеснялся.

Помнилась она маленькой: ходила рядом, за палец держалась. Даже на маяк ни разу не поднялась: ступеньки были велики.

Иван Алексеевич не ждал писем, он ждал дочь. Может быть, ей когда-нибудь захочется приехать сюда, в те места, где родилась.

Теперь она взрослая, самостоятельная.

Однажды около маяка затормозил грузовик. Из кабины выпрыгнула девушка. Водитель подал ей небольшой чемодан.

Девушка поблагодарила водителя, и грузовик уехал.

Ее увидела Валентина Федоровна, жена заместителя Ивана Алексеевича.

Пока девушка шла к воротам, Валентина Федоровна окликнула Ивана Алексеевича. Он был у себя дома.

Валентине Федоровне казалось, что именно Иван Алексе-

евич должен первым встретиться с этой девушкой. Услышать от нее первые слова.

Девушка нерешительно отодвинула створку низеньких ворот и вошла во двор маяка.

Иван Алексеевич остановился на веранде дома. Смотрел на девушку.

А девушка остановилась на дорожке, подняла голову и смотрела на маяк. Худенькая, гибкая, вся какая-то нездешняя. Платье — ситцевый колокольчик, туфли — как мухоморы: красные с белыми точками. В светлых коротких волосах — солнечные искры.

Иван Алексеевич почувствовал, что вдруг впервые за многие годы заныла раненая голова, точно накинута на голову обруч. Сдавили. И от этого не шелохнуться. Он смотрел на девушку, ждал, когда она подойдет, ждал ее первых слов.

Она сказала, что ехала на попутном грузовике от Керченского пролива и увидела маяк. Она студентка. Была на практике на железнодорожном комбинате недалеко от Керчи, в степи.

Сейчас практика закончилась, и она убежала от всех ребят, переправилась на Тамань. Она всю жизнь мечтала пожить где-нибудь здесь, на маяке или у рыбаков.

Зовут ее Галя; потом улыбнулась и смущенно добавила: «Нет, Галка, так правильнее...»

Она просит разрешить ей остаться. Она заплатит за комнату. Она не будет нарушать порядок. Она...

Иван Алексеевич только сказал:

— Да, да, конечно, — повернулся и пошел в дом: совсем плохо сделалось с головой.

Девушка, растерянная, осталась у порога веранды.

К ней поспешила Валентина Федоровна. Взяла из рук чемодан:

— Идемте, я вас устрою. Идемте.

Дома Иван Алексеевич прилег на свою брезентовую раскладушку. Закрыв глаза — так легче для головы. Скорее спадет обруч.

Сегодня Ивану Алексеевичу не нужно на маяк: сегодня дежурит его заместитель Черкашин.

И он пролежал один до темноты.

5

Галя, нет, Галка...

Иван Алексеевич увидел ее на следующее утро. И опять она смотрела на маяк.

Маяк был давно погашен. Стекла закрыты шторами.

Внизу, под скалой у моря, хлопал поршнями мотор: рыбаки готовили баркас, собирались на ловлю.

Скрипели деревянные створки бассейна, в котором хранится питьевая вода: Валентина Федоровна пришла за водой, будет поить Такелаж. Такелаж — это лошадь. Она придана маячному хозяйству.

На ней ездят в станицу Голубицкую за продуктами и в Темрюк на базу за частями к аккумуляторным батареям и дизельному движку.

Галка увидела Ивана Алексеевича и несмело сказала:

— Здравствуйте.

Он кивнул ей, улыбнулся:

— Хотите подняться на маяк?

— Да. — Она тоже улыбнулась. — Очень хочу. Я никогда не была на маяке.

— А я всю жизнь прожил, — сказал Иван Алексеевич и подумал, зачем говорит это.

Иван Алексеевич отомкнул двери маяка, пропустил Галку вперед.

Она вошла. Гладкий крашеный пол. Ни пятнышка, ни царапины. В углу — коврик из камыша. Узкие, шириной в кирпич, окна. Крутая металлическая лестница. Ступеньки покрыты квадратами белого свежего полотна.

Галка хотела стать на коврик, вытереть туфли, но Иван Алексеевич сказал:

— Ничего. Бегите наверх.

И Галка побежала. Старалась не наступать на полотно, а с краю, где ступеньки открыты.

Лестница зазвенела под каблуками. Казалось, зазвенела и вся башня, пустая и прохладная.

Поднялся Иван Алексеевич. Галка смотрела куда-то в щель между шторами.

Иван Алексеевич дернул за канатик, раздвинул шторы.

Сразу к стеклам маяка пришел синий размах моря, пришли километры желтого берега, лиман, солнце, тонкая скорлупа луны, оставшаяся от ночи.

Галка смотрела на все это. Не шевелилась.

Иван Алексеевич показал маленький домик на берегу и баркас.

— Рыбацкий стан. А вон дорога к Керченскому проливу. А еще подальше тоже домик, видите?

— Да, вижу.

— Икорный завод.

— А что это в лодках по лиману везут?

— Траву с покосов. Покосы за лиманом.

— А вообще лиман, он тут почему?



— Недалеко в море впадает Кубань. От нее и лиман. Вдруг Галка увидела цаплю.  
— Аист! — закричала она.  
— Нет. Это цапля.  
— И вон еще и еще стоят!  
— Да их много здесь.  
— Цапли, — повторила она. — Я никогда не видела. Иван Алексеевич сказал:  
— Я пойду, а вы можете остаться наверху, на маяке.  
— Долго можно?  
— Сколько хотите. Ключ отнесете Валентине Федоровне. Он спустился с маяка и прошел в дежурную комнату. Достал вахтенный журнал: следовало сделать запись, что на маяке поселилась Галя, нет, Галка — так правильнее.

6

Она играла с Такелажем, трясла дикие абрикосы жердел, которые росли поблизости от маяка. Поливала с Валентиной Федоровной огород, познакомилась с рыбаками и водителями — водители ездили мимо на Темрюк и к переправе на Керчь. Убегала к лиману, к цаплям. Будешь сидеть у лимана тихо — цапли подойдут близко.

Иван Алексеевич видел, как она сидела так тихо.

Плыли лодки, везли траву. Иногда казалось, плывут зеленые стога. Всплескивалась рыба, раскидывала брызги. Качались под ветром тростники.

Галка сидела, обхватив руками колени и положив на них подбородок. Наблюдала за всем этим. А потом вдруг убегала к морю. По пути отвязывала Такелажу, и он скакал за ней.

Она любила бродить вдоль прибой. Шумели волны, рыжие от ракушек. Застыли лиловые заборы колючек. Когда прибой утихнет, лиловые заборы поседеют от соли, а на них останутся ракушки. Будут лежать, пока не просохнут и ветер не стряхнет на землю.

Скачут кузнечики здесь же, недалеко от воды. Они рыжие, и похоже, что это скачут ракушки.

Возле рыбацкого стана торчит из песка якорь. К нему рыбаки привязывают баркас. И баркас стоит так, причаленный к якорю.

А потом Галка купалась: Уплывала далеко.

Такелаж ждал ее. Стоял возле платья и трусиков, потихоньку дремал.

Нигде никого — только Галка в море и Такелаж на берегу.

Но чаще всего Галка приходила на маяк. Снимала туфли и поднималась босиком по свежим квадратам полотна.

Она раздвигала шторы, выпускала к себе сразу всё — и море, и лиман, и желтый берег, и солнце, и тонкую скорлупу луны. Устраивалась за маленьким деревянным столом. Открывала книгу, которую приносила с собой, — старую лоцию. Ее давал Галке Иван Алексеевич. Единственное, что сохранилось у него от прежнего, разбитого бомбами маяка.

Читала до тех пор, пока не окликала Валентина Федоровна — звала обедать.

Вечерами Галка ждала первой вспышки маяка, первых двух секунд света, как они полетят в море. Захватят крышу дома, верхушки жердел и часть берега до самой воды, где причален к якорю баркас.

Всю ночь баркас будет вспыхивать и гаснуть. Всю ночь будут вспыхивать и гаснуть крыша дома и верхушки жердел.

А в тишине — стук часов с кодовым диском, редкий ночной крик цапель.

Галка ездила с Иваном Алексеевичем на склад за горючим для движка.

Выкатывали из сарая повозку и запрягали Такелажу. Галка сама запрягала — училась.

Такелаж выходил за ворота и поворачивал налево: знал, куда и зачем ехать. Взяли железную бочку — значит, в Темрюк на склад за горючим.

Обязательно останавливались возле жердел: с повозки можно достать самые спелые. Галка срывала их и потом ела всю дорогу.

Даже Иван Алексеевич ел — Галка уговаривала.

В Темрюке получали горючее и потом возвращались обратно.

Галка помогала Ивану Алексеевичу и его заместителю Черкашину доливать аккумуляторы, очищать от пыли штормовые стекла и направляющие линзы маяка. Проверять ацетиленовый фонарь. Подметала полы, стирала белые квадраты полотна и развешивала сушиться на лиловых заборах колючек.

7

Этот молодой паренек приехал на попутном грузовике со стороны Керченского пролива. Оттуда, откуда приехала и Галка.

Галка была во дворе, набирала из бассейна воду, чтобы напоить Такелажу.

Сразу увидела паренька.

— Нашел! — закричала она, бросила ведро и побежала навстречу.

Паренек обнял ее.

— Как же ты нашел? — не успокаивалась Галка.

— А вот.— И паренек показал на водителя, который высунулся из кабины и помахал Галке рукой.— Он сказал еще на переправе, что живет такая, похожая, на маяке. На Темрюкском. А я знал, что ты где-то здесь. Знал. Вот.

— Нашел!..— шептала Галка, прижимаясь к нему.

Паренек тихонько гладил ее светлые волосы. Молчал.

Брошенное ведро одиноко валялось посредине двора.

Утром Галка уехала с тем пареньком, который ее здесь нашел.

Иван Алексеевич долго стоял на дороге.

1963



## Девять возвращений

1

Лена и Юра разговаривали на перемене.

— Ты какой-то странный.

— Период искажений.

— Ольге Борисовне по алгебре не ответил. А скоро собрание об успеваемости.

— Благоденствуйте, преуспевайте! — Это он сказал уже зло и отвернулся.

Подскочила Лена-Жирафчик. Есть в классе еще одна Лена. Похожа на жирафчика. Глаза удивленные, ласковые. Ее любят и немножко жалеют, потому что любят ее все и никто не любит так, чтобы один. Чтобы больше других.

— Ефремова! Вера Николаевна вызывает!

Неужели в отношении Юры?.. Узнала об алгебре... Журналом командует Лена, и журнал она никому еще не показывала. Возможно, Ольга Борисовна сама сказала. Надоело шутить, уговаривать Юру.

— Она у себя в кабинете.

— Иду.

Лене хотелось, чтобы Жирафчик оставила ее с Юрой. Но Жирафчик не уходила.

— Юрка, мне сегодня всю ночь на черном фоне красные синусы снились...

— Конкретное мышление.

Лена-Жирафчик заморгала своими добрыми глазами и улыбнулась доброй, беззащитной улыбкой. Как на Жирафчика сердиться? Невозможно.

Лена пошла к директору школы. А Лену кто-нибудь любит так, чтобы больше других? Может быть, она сама, как Жирафчик... Только обманывает себя. И с каждым днем все упорнее.

Вера Николаевна сидела на валике дивана сбоку письменного стола. Совсем не по-директорски. Постукивала тоненьким карандашиком о край зубов. На коленях держала схему по внешкольной работе, что-то подчеркивала в ней.

— Садись.

Лена села рядом на диван.

— Что у вас в классе?

Сейчас начнет о Юре!..

— В классе? Ничего,— на всякий случай ответила Лена.

— До сих пор не получили приборы по термодинамике, просьбу Василия Тихоновича не выполняете. С малышами не работаете, кроме Вити. На него всё навалили. И потом, кто пойдет в банк? На кого оформлять счет?

— Сережа пойдет. Ваганов. А приборы получим. Обязательно. Честное слово!

Лена обрадовалась — разговор не о Юре.

Вера Николаевна взяла со стола счет, вписала в него Сережу Ваганова. Передала Лене.

— Печать у Любовь Егоровны. Не забудь поставить.

Лена кивнула. Ей не хотелось сейчас говорить о Юре так, как могла бы с ней говорить о Юре Вера Николаевна. Она одна, пожалуй. И не только потому, что директор школы, но и еще почему-то. Лена это чувствует.

Таисия Андреевна теперь часто задумывалась: что же все-таки произошло у нее в жизни?

Причина была в Григории Петровиче, Юрином отце. Только в нем. В его неустроенности и даже в умышленном, преднамеренном желании, чтобы всегда была эта неустроенность. Иначе как было объяснить его поступки?

Не могла же она с ребенком — маленьким и в ту пору болезненным — ездить за Григорием, жить в палатках, землянках. Стоять у керосинки или примуса, рубить дрова, топить печи. И не потому, что никогда этого не делала, а потому, что сама заболела. И как-то устала после болезни — тяжелой, затяжной.

А Григорий не изменил своего ритма, несмотря на ее болезнь. Так ей казалось. Во всяком случае тогда.

Может быть, она оправдывается этим? Свой уход от Григория оправдывает, для него внезапный? А может быть, искала места в жизни? Благоустроенности, устойчивости? А вообще любила она Григория или вышла замуж за него из-за упрямства, потому что его любила другая?..

Совершая в молодости неясный поступок, не понимаешь, что все неясное — не исчезнет, не забудется. Не станет со временем ясным, убедительным. И никогда не думала, что придется встретиться с Верой. Даже попасть в какую-то зависимость от нее.

Сын очень беспокоит. Был маленький — легче с ним было. Взяла и ушла. Он ничего не понимал. А потом начал подрастать. Начал добиваться ответов на вопросы, для нее самой сложные и необъяснимые. А тогда ей казалось, что она всегда сумеет что-то доказать, убедить. И не скоро это должно было быть, когда-то там, в будущем, когда он вырастет.

К сыну приходят ребята. Витя, Сережа, Боря, девочки. Ребята хорошие, приятные. Только вот когда приходит Лена Ефремова, Таисия Андреевна не любит.

Дружба между Леной и Юрой Таисии Андреевны совершенно не нравится. Лена Ефремова выросла почти без родных, с одним дедом. Чрезмерно независимо держит себя, слишком самостоятельна. А Юра легко поддается влиянию, настроению. Стал каким-то резким, насмешливым, замкнутым.

Часто уходит из дому в комнату к Григорию Петровичу на Суворовском проспекте. И что он там находит интересного, в запущенной холостяцкой комнате, в квартире, где торчит соседка, выжившая из ума старуха, и ее внучка. Григорий Петрович — он ведь почти не бывает в Москве.

Неизвестно, что сделает доброго или плохого для Юры

Вера Николаевна. Юра находится под ее непосредственной властью: характеристики, аттестация и все прочее. Если будет происходить что-нибудь совсем неладное, Таисия Андреевна попросит Григория поговорить с Верой. Не идти же самой!..

Попробовала перевести Юру в другую школу, чтобы изолировать от всяких влияний и разговоров. Не захотел. Ни за что! Неужели причина в этой девочке?

Летом Юру надо будет отправить в какой-нибудь современный лагерь «Спутник», где много молодежи, или, еще лучше, с Иваном Никитовичем в туристскую поездку. Это разумный план. И в другую школу, обязательно. Тоже разумный план.

3

Юра сидит над журналом «Наука и жизнь». Решает задачу, как привязать козу, чтобы она какую-то траву съела, а какую-то не съела. Свою... Чужую...

Мать поехала к врачу. Опять начались боли в суставах.

Ивана Никитовича тоже нет. Юра называет Ивана Никитовича — «Вано». Отправился открывать выставку зарубежных фотографов, художников или зарубежной книги. Симпозиум или конференцию.

Юра бросил козу и занялся инспектором Варнике. В каждом номере журнала инспектор Варнике совершает чудеса логического мышления. «Хорошенькая история! — проговорил инспектор Варнике, выслушав фрау Пепперих, у которой только что украли гусей...»

Долго не звонит Лена. Затеяла прическу и возится. Будто нельзя пойти в театр без прически, как люди ходят в булочную. Майки Скурихиной влияние. Майка — это не Жирафчик, никакой тебе наивности.

Неужели Ольга Борисовна опять его завтра спросит? Пускай все оставят его в покое. И мать со своими разумными планами. Сама по плану жила? Какой же это план, если разошлась с отцом? А почему?

Отец ничего не говорит. Он мужчина. Юра это понимает. И не отец ушел от матери, а мать ушла от него. Отец не мог ее обидеть — это исключается. Он беззащитный, тихий. Снимет очки и сидит, грустно улыбается, смотрит на Юру. И Юра ни о чем его не спрашивает, боится обидеть. Встречаются они редко. Отец приезжает, чтобы уплатить задолженность за комнату и, может быть, повидаться с Юрой. Но об этом он тоже никогда не говорит. Но Юра так думает, потому что за отца надо думать и, очевидно, даже решать, если потребуется что-нибудь когда-нибудь решать.

Пришла тетя Галя. Она живет этажом ниже. Тетя Галя помогает маме по хозяйству.

— Ты ел?

— Не хочу. Я потом.

— Эгоист к себе, — покачала головой тетя Галя.

Зазвонил телефон. Юра подбежал, снял трубку. Думал, что Лена наконец. Оказалось, Витька Беляев, Тыбик. Он добрый и безотказный. Ему говорят: Витя, ты бы сбежал, ты бы сделал... И Витя сбегает и делает. Поэтому и кличка — Тыбик. Дружеская, ласковая, как у пенсионеров, которые бегают по магазинам с сумками в поисках какого-то мифического цельного молока.

— ДБС! — закричал Витя.

Это значит — День Безмятежного Счастья. Сегодня в школе нет занятий.

— ДБС, — ответил Юра.

— На каток пойдем? У меня Сережка, Борис.

Юра идет в театр. Днем. Прогон спектакля перед премьерой.

Театр шефствует над школой, и многие ребята ходят на прогоны.

— Ты чего молчишь?

— Не могу на каток.

— Почему?

— Занят. — Не хотелось говорить, что с Леной идет в театр. Витя — друг его и Лены, но у Вити Сережка... Борис...

— А вечером ты чего?

— Позвоню.

Юра положил трубку.

На кухне тетя Галя возилась с грязной посудой. Сама с собой беседовала. Привычка. От одиночества. Мать — одинокая. Отец — одинокий. И Вано, в сущности, одинокий. Не признаются. Молчат. А вообще для него сейчас что главное? Правильно привязать козу. И выяснить историю с гусями.

Юра прошел на кухню.

— Хочешь чашечку молока? Свежее, из пакета. Только что принесла.

Юра согласился. Он патриот и уважает бумажное молоко. «Здоровый ребенок — гордость семьи! Здоровый ребенок — гордость страны!»

Взял чашку, вылил в нее из пакета молоко и начал пить мелкими глотками.

Гусей украл мотоциклист... Фрау Пепперих, чашка холодного молока решила вашу проблему.

— Ты идешь в театр? — спросила тетя Галя.

Юра кивнул.

Тетя Галя складывала мокрую посуду в сушилку.

— А Лена где? Лена идет?

— Позвонит скоро.

Юра посмотрел на часы. В кухне на цепочке висели — модные квадратные, с красными стрелками и цифрами-точками.

Подарок. Какая-то фрау Пепперих из делегации женского профсоюза преподнесла Вану.

И что она думает, эта Лена! Тоже мне Белоснежка!.. Зимняя Грация!..

Часы ударили молоточком по струне. Юра улыбнулся, вспомнил, как в пьесе, на которую они собираются, часы бьют двадцать девять раз, а иногда и пять раз и еще два, а иногда столько раз, сколько им хочется... И еще там двое спорят, что, если звонят у дверей, должен быть в этот момент кто-нибудь за дверью или нет?

Юра знает содержание пьесы. Прочитал в информационном бюллетене по культурному обмену «Англия — СССР», раздел — «Театр». У Вану на столе, в кабинете.

Но что же Лена? Дотянет до последнего, и бежишь потом сломя голову!

И телефон зазвонил. И, как в пьесе, за дверью кто-то появился наконец, так наконец появилась в телефонной трубке Лена.

— Это я!

— Чего опаздываешь! — закричал Юра. Вечно у него так получается: не хочет кричать, а закричал.

— ВВ,— сказала Лена весело. Она не обратила внимания на Юрин сердитый голос. ВВ — Весьма Вероятно.

Юра еще больше разозлился. Теперь уже окончательно.

— Тебя ждешь, всяким идиотством занимаешься — козами, инспектором Варнике,— а ты! Скоро двенадцать!

— Часы бьют столько, сколько им хочется,— опять весело сказала Лена.

И вдруг Юра положил трубку. Почему? Не знает. Характером похож на мать. Неужели правда? Вздорный, обидчивый. Психологи говорят — ситуативный.

Юра подождал — Лена не звонила. Юра еще подождал. Хотя понимал, что должен позвонить он. Схватил трубку, набрал номер.

Никто не подходит.

Ну и ладно! У нее характер, и у него характер. Уж такой, какой имеется.

Юра начал звонить Тыбику. Если ребята еще не ушли на каток, он пойдет с ними.

Юра знает, что нужно сказать Лене, когда он не прав перед ней, виноват смертельно. Знает, но не говорит. Не может что-то преодолеть. А ведь, казалось, куда проще — подойти и сказать:

«Ты... того... прости, а?»

Или:

«Тип я и дурак. Прости!»

А можно только одно слово:

«Лёша!...»

Он называл ее так — Лешей... Иногда. Как своего друга. Настоящего, большого. И Леша все поймет. Она сразу все понимает.

Юра хотел сегодня поговорить на большой перемене. Извиниться. Как назло, Варька Андреева прицепилась, потому что Ольга Борисовна не изменила своему чувству юмора и опять спросила его по алгебре.

— Лекомцев, докажите теорему об условном неравенстве.

Юра взял мел, встал у доски. Он видел глаза класса перед собой. И только Леша на него не смотрела.

— Лекомцев, вчера мы доказывали эту теорему. Вы невнимательны.

Юра вдруг совершенно неожиданно подумал, что впервые обращаться к своим подданным на «вы» начал Петр I.

— Лекомцев, позвольте задать вам извечный вопрос: где вы были в то время, когда мы доказывали теорему об условном неравенстве?

— Безусловно, в классе.

— Ответ не очень оригинальный.

Юра и сам понимал, что ответ не очень оригинальный.

— Ты меня огорчаешь,— вдруг совершенно серьезно сказала Ольга Борисовна в допетровском варианте — на «ты».

Юра не вызвал ни у кого сочувствия. Ольгу Борисовну в классе уважали. Никто даже не произнес тоже извечное: «Заковырялся... Окислился...»

Только Майя Скурихина слегка улыбнулась. Вздохнула. В «Ровеснике» был снимок новой прически в Швеции: один глаз закрыт волосами. Майка потихоньку делает так на уроке. Вот и сейчас сидит с одним глазом. Недавно сотворила прическу «Босфор», для чего понадобилось концы волос отгладить утюгом.

Юра сел на место. Витя сказал негромко:

— Плохие ДУ.

ДУ — Достижения Учащегося.

«Лекомцев, когда вы закроете двойки?» — это завуч Ан-

тонина Дмитриевна. «Мы не успеваем по Лекомцеву!» — это на совещании «при директоре» Варька Андреева. «Я сойду с ума!» — это мама. «Шелк!» — это Вано, заперся в кабинете. «Ваша честь, преступник перед вами! Он съел чужую трапу!...» — инспектор Варнике.

А какая, в сущности, разница для него сейчас — два, три, четыре, пять?.. Символика. Он решает более важные проблемы. Жизненные. Только вот какие?

Ну, а на большой перемене, конечно, Варька Андреева и прицепилась: «Тянешь класс... позоришь комсомольскую группу... представь оправдания».

— Нет у меня оправданий.

— Я тебе не частное лицо! Ответственное. Ты за меня голосовал?

— Отстань.

— Нет, ты скажи — голосовал?

— Да.

— Я комсорг?

— Комсорг.

— Изволь подчиняться.

— А я подчиняюсь.

— Нет, ты грубишь, Лекомцев.

— Неуспеваемость — это мое дело. Имею я право на личную жизнь? Я эгоист к себе!

— Ты составная часть общества! И на тебя возложены обязанности!

Майка с улыбочкой добавила:

— Товарищ по толпе.

— Надоели вы мне, часть общества!

Мимо проходил Лось.

— Девятый «А»? Так-так, — кивнул и, довольный, пошел.

— С тобой всегда одни неприятности, — сказала Варя. — Лось сегодня дежурный по школе. Запишет замечание классу.

— Опять я!

— А кто же?

— Откуда я знал, что он здесь появится!

— А почему ты, Юра, не был на прогоне? — спросила Майя. — И Лена не была. Я вас искала.

— Не захотел, и все.

— Наших много было. Жирафчик, Генка Хачатуров. Девочки из младших классов, всех велели пропустить. Мы обсмеялись. Там двое спорят, что если звонят у дверей... — Майя начала рассказывать пьесу и смеяться.

Юра повернулся и пошел в буфет. Варя Андреева вдогонку крикнула:

— С тобой разговор не окончен! Только начинается!

Везде эти неоконченные разговоры — дома, в школе!

Юра остановился у вывешенной на стене газеты «Комсомольская правда». Может быть, напечатано что-нибудь новое про загадку озера Хайр или озеро Несс в Шотландии, где видели странное древнее чудовище, похожее на ихтиозавра. Или что-нибудь о международной федерации факиров, или о поединке «Вирус — клетка».

Сегодня была статья под названием «Двойка в XX веке».

Подошел Сережа, сказал:

— Публицистика.

Юра ничего не ответил и снова направился в буфет. В буфете сидели Витя, Гена и Шалевич из 9-го «Б». Шалевич — капитан баскетбольной команды. Юра купил котлету с капустой и стакан чаю. Сел к ребятам за столик.

Шалевич никому не давал сказать ни слова. Говорил сам. Сейчас работает над мягким броском — кистевым. И у него получается. А у Генки не очень получается, но он, Шалевич, научит Генку, потому что Генка не без способностей.

Он в защите надежный. У него наиграна защита. А он, Шалевич, и в защите может и под кольцом. Потому что у него и защита наиграна и кольцо.

Шалевич взял со стола пустой стакан, подкинул его и поймал. Потом дал стакан Генке.

— Подкинь.

Гена подкинул. Шалевич поймал.

— Выше подкинь!

Гена подкинул стакан выше.

Шалевич поймал. Буфетчица Стеша Ивановна высунулась из-за прилавка, сказала:

— Посудой балуетесь? Кидальщики! Чистые скатерти постаны!

Шалевич взял у Юры стакан с чаем и поставил себе на лоб. Начал приседать с полным стаканом. А потом на стакан положил блюдо и начал приседать со стаканом и блюдом.

В буфете все смотрели на Шалевича. Младшие затаили дыхание от восторга. Стеша Ивановна боялась крикнуть.

В этот момент появился Лось. Снял у растерявшегося Шалевича со лба блюдо и стакан.

— Твой чай?

— Его, — показал Шалевич на Юру.

— Лекомцев. Так-так...

— А что я? — разозлился Юра.

— Кто поставил на него чай?

— Я сам на себя поставил, — сказал Шалевич.

— Он же ничего не разбил, — вступился за Шалевича Витя.

Лось подошел со стаканом чая к Стеше Ивановне.

— Этот чай я арестовал.

— Что?

— Пускай стоит у вас как доказательство.

Стеша Ивановна опять ничего не поняла:

— Он же остынет.

— Это не имеет никакого значения.— И Лось вышел из буфета.

— ОВП,— сказал Витя.— Отсутствие Всякого Присутствия.

## 5

Лена еще немного постояла, когда Юра бросил трубку. Надела шапочку, пальто и ушла из дому.

Был светлый зимний день. Падал снег, очень легкий и сухой. Около киосков «Союзпечати» люди разворачивали, смотрели газеты, которые только что купили. Снег падал к ним в газеты. Люди их складывали, прятали в карман и уносили снег с собой в газетах. Снег падал на желтые стеклянные стрелки «Переход» и вспыхивал вместе с надписью желтым светом. Проникал во фруктовые киоски и лежал на яблоках и апельсинах. Наполнил большие раковины фонтанов.

Лена шла по городу. В городе никогда не бывает скучно. И даже грустно не бывает, если перед этим и было здорово грустно.

Поссорилась с Юрой! Да. Он поссорился. Юра странный теперь.

Мальчишки странные в девятых классах: перестают быть ребятами, но и взрослыми им никак еще не удастся стать.

Девочки гораздо лучше во всем разбираются, но помалкивают, не философствуют. Не говорят красиво.

Лена отыскала в кармане пальто двухкопеечную монету, вошла в будку телефона-автомата. Набрала Юрин номер.

Трубку сняла Таисия Андреевна.

— Вас слушают.

Лена растерялась: она надеялась, что подойдет Юра. Надеялась, и все. Необъяснимо даже почему. А тут — мама... Да еще такая мама, как Таисия Андреевна.

— Здравствуйте,— сказала поспешно Лена.— Можно Юру?

— А кто со мной говорит?

— Лена Ефремова.

— Здравствуй, Лена.— Голос Таисии Андреевны прозвучал вполне лояльно. Это Витя так бы сказал: «лояльно».

— Юры нет. Он ушел.

— Да. Я знаю,— вдруг сказала Лена.— Он должен был уйти.

Она подумала о театре. Значит, Юра будет ждать ее там. Но Таисия Андреевна словно почувствовала, о чем подумала Лена, и сказала:

— Он ушел на каток.

И Лене стало больно. Зачем позвонила? Не надо было этого делать. Таисия Андреевна знает, что они собирались в театр и что эта пьеса им нравится. Вот почему и ответила про каток с какой-то, ну, совсем незаметной, но все-таки радостью. Девочки в девятых классах понимают взрослых уже совсем по-взрослому.

Таисия Андреевна спросила:

— А разве ты не собиралась с ними на каток?

С ними? Юра пошел с кем-то. И спросила так Таисия Андреевна нарочно; она понимает: если Лена звонит и спрашивает Юру, значит, она не на катке.

— Нет. Я собиралась в театр.— Лену уже душили слезы.— До свидания. Я пойду.

— До свидания.

Таисия Андреевна обидела незаслуженно, несправедливо и как-то незаметно вроде бы. Но для Лены это было заметно.

Лена все еще стояла в будке автомата. Лене хотелось, чтобы прошли слезы, затихли.

И вдруг она позавидовала Майке Скурихиной. Майка хорошо одевается: платки «мохер», пуловеры, сапоги «аляска».

Была бы у нее возможность одеваться! Вот бы прийти к Таисии Андреевне в какой-нибудь отчаянно модной шубке. «Юры нет дома? Ушел на каток? Разрешите, я его подожду!..»

Таисия Андреевна смотрит, удивленная, на ее шубку. Шубки модные называются вроде «бибифок». Так вот, чтобы была эта шубка «бибифок». Как бы заговорила Таисия Андреевна!.. Да, Таисия Андреевна, у меня есть возможность одеваться и быть красивой.

Лена вышла из автомата. Почему-то было обидно уже не только за себя, а и за маму. Она прожила жизнь тоже без всяких этих возможностей.

Мама работала кассиршей в кинотеатре «Уран». Лена была еще маленькой и гордилась, что ее мама занимает такой ответственный пост,— около кассы вечно толпился народ. Лена никогда не могла пробиться к маме из-за толпы, и это ее не огорчало, а даже радовало. Вечером мама приходила домой уже тогда, когда Лена спала. И это тоже Лену не огорчало. Но теперь она понимает, что так и не успела разглядеть как следует свою мать, которая, кажется, всегда хо-

дила в светлом платье и в таком же светлом пальто. Была, очевидно, нерешительной, безвольной, робкой. И мучилась от этого. Потому и Лена нерешительная, безвольная, робкая. И мучается от этого. А Лена уверена, что она характером в мать. И ей будет нелегко, как было, конечно, нелегко и матери. Лена так думает. Ей хочется думать о матери, как о себе. Так ей легче оправдывать свой характер, поступки, чаще всего не доведенные до конца и поэтому не очень похожие на поступки.

Кто-то схватил Лену за руку. Инна, внучка бабушки Фрося из квартиры Григория Петровича, Юриного отца.

— Ты куда?

— Гуляю.

— Пошли к нам.

Лена согласилась.

Инна была оживленной, веселой. В плетеной сумке несла апельсины. Те самые, присыпанные снегом.

— Чего давно не приходили? — Это она имела в виду не только Лену и Юру, а всех остальных ребят. Они часто приходили в комнату к Григорию Петровичу: то редколлегия стенгазеты, то готовились к контрольной работе, то обсудить план лыжного похода, то просто так, отогреться, попить чаю.

— Много задают уроков, — неопределенно ответила Лена.

— А у меня была курсовая работа. — Инна училась в технологическом институте. — Просидела неделю не разгибаясь. Ночью линейный ускоритель снился.

— Конкретное мышление, — улыбнулась Лена. — Библиотека снов.

Инна продолжала рассказывать о курсовой работе, которую она сдала самому профессору Зайцеву, а сам профессор Зайцев во время лекции сказал на всю аудиторию, что студентка Корнилова блестяще доказала чувствительность радиоактивационного анализа.

— Да ты не слушаешь?

— Извини.

— В школе чего-нибудь?

— И в школе.

— Грустить вредно — морщинки от этого.

— И улыбаться вредно — тоже морщинки.

— Придем домой — апельсинами угошу. Стипендия... Долги отдали...

— Возможности... Инна, ты не знаешь, что такое «бибифок»?

— Шубы из детенышей нерпы.

— Из детенышей?

— Да. Как будто.

— А правда, что айсберги рождаются в полнолуние? Откалываются и плывут. — Лена говорила, лишь бы о чем-то говорить.

6

Юра подошел к Лене:

— Ты... того... прости, а?

Лена ничего не ответила. Не из-за упрямства. Было приятно услышать от Юры эти слова. Она смотрела на него: наконец перед ней Юра такой, каким она его знала. С каким дружила.

Юра помолчал, а потом еще сказал:

— Леша!..

Глупый, глупый Юра. Она простила его сразу, как только он подошел.

Лена догадалась, почему Тыбик вертелся сегодня около нее: вел подготовку, как она — не сердится на друга? Можно подойти к ней?

Конечно, можно. Всегда можно. Ох эти неотмоделированные мальчишки в девятых классах!..

— Леша, — повторил Юра, но тут зазвенел звонок к началу урока.

— Никогда не бросай трубку. Ладно? — просто сказала Лена.

— Не буду. Я потом звонил. И вечером... тебя не было.

— Я ходила к Инне.

— А в театр?

— Нет.

Опять зазвенел звонок.

— Когда звонят, — сказал Юра, — с той стороны кто-нибудь есть.

— Да. Большей частью.

Подошел Тыбик. Конечно, чтобы проверить, как идут дела у Юры и Лены. Помирились или нет. Увидел, что все в порядке.

— ДБС!

Ну до чего Витя добрый и внимательный! Не случайно лучший вожатый в районе. Лучшее ответственное лицо. Слуга народа!

— Ты знаешь, — сказал Юра, — мы пошли на каток, а там вся его компания малышей. Как начали вокруг носиться, падать, вскакивать... У меня голова закружилась.

— Привыкай работать с массажи, — сказал Тыбик.

В конце коридора показался учитель физики Василий Тионович. Ребята шмыгнули в класс.



И тут Лена вспомнила, что не принесла журнал из учительской. Вдруг почувствовала — кто-то подсовывает его под руку.

— Я предусмотрела, — улыбнулась Жирафчик.

7

После уроков Лена осталась в классе заполнять дневники.

В классе тихо. И в школе тихо. «Синтез самого себя». Юра придумал. Специально для ее тетради высказывания на современном уровне.

Юра пошел домой — надо помочь тете Гале отвезти в починку пылесос. Потом зайдет в школу.

Лена раскрыла журнал и начала переносить из журнала отметки в дневники.

Селиванова (это Жирафчик)... По истории — три, по алгебре — четыре. Борис Ярочкин... По обществоведению — три (Лось двойки не ставит, но сплошные тройки), по географии — пять, за сочинение-миниатюру — пять, и добавлено: «в превосходной степени» (Александра Викторовна, кто же еще, это она ставит такие отметки — «пять в превосходной степени»). Борис — редактор стенгазеты. Умеет сочинять миниатюры. Скурихина Майя... По обществоведению — четыре (Лось раскошелился на четверку!), по астрономии — тоже четыре. А по акробатике — пять. Майка здорово занимается акробатикой. Фигурка у нее хорошенькая, ничего не скажешь. И лицо хорошенькое. Вырезала овалы и круги из бумаги и прикладывает к ушам. Считает, уши у человека некрасивые, надо усовершенствовать. Придумала локти в таз с горячей водой опускать, чтобы не огрубели за зиму. На парту лишний раз не поставит. Мисс «Школа № 74»!

Лена продолжала переносить в дневники отметки и расписываться в графе за классную руководительницу. Самоуправление. Никаких локтей не хватит!..

Витка Тыбик распустился, не заполняет дневник совсем. На старосту надеется. Лена заполнила дневник и написала: «ОВП» — Отсутствие Всякого Присутствия.

В коридоре затарахтели ведра. Это дежурные мыли полы. Труднее всего отмывать нижний зал и коридор: там бегают малыши и за день извозят даже стены.

Сегодня главный дежурный Лось. Будет принимать от ребят школу.

Что-то не идут дежурные по классу. Майя — ответственная. Сидит в радиорубке, слушает «музыкальные консервы». А пора бы приступить к уборке. Лось, он ничего не скажет,

а запишет на бумажку. Хотя он Майку любит. Обеспечена удовлетворительная оценка за уборку.

Лена раскрыла дневник Юры. Вот уж не хотелось раскрывать... Надо поставить двойку по алгебре и двойку по химии. Событие на грани скандала! Для класса, для Юры и для нее, конечно, для Лены. С Юрой нельзя ни о чем сейчас говорить. Не слушает, не хочет. Или отшутится, или наглубит. Может быть, только Вера Николаевна...

Лена вздохнула и поставила двойки. Незаметно, в углу клеточек. Расписалась. Что она еще может сделать?

Пришла Майя с остальными дежурными.

— Цитрона!.. Цитрона!.. Цитрона!.. — пропела Майя. — Ленка, на первом этаже один родитель парту красит. Интеллигентный вид, в очках, пиджак снял и в нейлоновой рубаше. Сын исцарапал парту, а родитель пришел красить. Вера Николаевна заставила. Если, говорит, ваш сын не в состоянии этого сделать, то красить будете вы. Он и пришел. Думал, шуточки, а ему — кисть в руки и банку с краской... Ребята! — тут же закричала Майка. — А давайте класс мыть снегом! Чего воду таскать! Откроем окна — и снегом. Вон сколько его на подоконниках и в каптерке на флигеле!

Класс 9-го «А» соединен дверью с небольшой комнатой, которую ребята называют «каптеркой». В каптерке сложены старые чучела зверей, швабры, ведра, а посередине стоит аквариум. Тоже очень старый, с полупрозрачными стеклами. В аквариуме постоянно горит лампочка.

Ребята чего только для Майки не сделают! Открыли окна и начали сгребать с подоконников снег и рассыпать по классу. А в каптерке открыли окно и там тоже начали сгребать снег с крыши флигеля, который вплотную пристроен к школе.

— Теперь швабры! — командовала Майка. — Разотрем, и все!

— Будет вам всё... Лось дежурный, — напомнила Лена. — Вадим Нестерович — душка!

В классе приятно запахло снегом. Майка накрыла плечи Лены шарфом, который лежал у нее в парте.

— Замерзнешь с дневниками.

Шарф был нежный, легкий и очень теплый. Лена завернулась в него.

— Майя, а ты бы надела шубу «бибифок»?

— Конечно! У моей мамы такая.

— А я бы не надела.

— Почему?

— Не надела бы, — уклончиво ответила Лена.

— Приходи, дам померить. Чудо!

— Нет. Не надо.

Майя схватила классный журнал.

— Как брошу! В окно!..

— Майка! — испугалась Лена и подскочила к окну.

Во дворе стоял Юра. Он удивленно смотрел на открытые окна класса. Лена махнула рукой: иду!

Юра кивнул в ответ.

Лена отобрала у Майи журнал, сунула ей шарф, собрала дневники и побежала в канцелярию. Дневники она допишет вечером. Зайдет в школу и допишет.

На первом этаже в классе увидела мужчину без пиджака, в нейлоновой рубашке. Мужчина красил парту.

Лена улыбнулась и побежала дальше.

— Цитрона!.. Цитрона!.. Цитрона!..

8

Вера Николаевна сидела у себя в кабинете, прослушивала запись на магнитофоне утренней физзарядки. Вошла завуч Антонина Дмитриевна.

— Ящик «вопросов и ответов» полон. Как будем отвечать? — Завуч положила на стол пачку записок.

— Я просмотрю. Спасибо.

С Антониной Дмитриевной отношения официальные, служебные. Она не очень одобряет идею «вопросов и ответов». Антонина Дмитриевна ушла.

Вера Николаевна начала читать записки. Вопросов было много: и о генетике, и о лауреатах Нобелевской премии, о комбинаторике, о гербах древних русских городов, о каком-то порошке молодости, об обращении «сударыня» в магазине к продавщице... Создает ли привычка поступок, поступок — характер, характер — судьбу? Каждый человек — свой собственный конечный авторитет или это неверно? Что такое здравый смысл?

Вера Николаевна с удовольствием прочитывала записки. Ребята спрашивали и требовали ответов — ясных, конкретных, полных.

Были вопросы о «Песни песней Соломона» из библии, как примере романтической любви. Это Миша Воркутинский из десятого, выпускного. Он читает древние тексты. Разбирается в живописи. И гербы древних русских городов, наверное, знает. Грамотный мальчишка!

А это, конечно, Эрик Харжиев: «Что можно узнать нового о резиновых надувных самолетах?»

А были и прямые предложения по реконструкции школы. Отменить текущие оценки и выставять только в конце четвертей, итоговые, как в институтах. Назначить «бытовой пат-

руль». Он должен контролировать красоту быта в школе. Включить новые предметы — стандартизацию, например, или машинное поведение. Следят ребята за дискуссиями!

Какого цвета должна быть доска — черного, коричневого или зеленого? Какой должна быть форма для старшеклассников и, главное, для старшеклассниц? А прическа? А туфли?

Вера Николаевна вложила записки в дневник школы — пускай ознакомятся учителя. Кстати, за последнее время в дневнике появились интересные записи. Василий Тихонович — за большую самостоятельность учеников. Татьяна Акимовна настаивает на изменении изучения химии в девятых классах: начинать предмет с современного строения атомов элементов. Ольга Борисовна пишет: «Надо создавать на уроках проблемные ситуации». Александра Викторовна Ракузина добавляет в записи Ольги Борисовны, что «знания должны приобретаться не памятью, а мыслью» и что надо навсегда покончить с «футлярной педагогикой».

«Шевелитесь — не то вас заменят кнопкой!» Кто это — Юра или Миша. Воркутинский? Мастера афоризмов.

В дверь заглянула секретарь комитета комсомола Нина Гриценко.

— Заходи. У тебя что — нет занятий?

— Контрольная. Уже написала. Вера Николаевна, ребята просят устроить бал. Эскиз бала, новогоднего. Деньги есть — заработали на овощной базе и на почте.

В дверь всунулась голова Артема, заведующего сектором культмассовой работы.

— Входи. Тоже написал контрольную и свободен?

Артем кивнул и сказал:

— В плане записано: к каждому мероприятию должен быть составлен эскиз. Новогодний бал — мероприятие? Эскиз надо составить? Надо. Закон. Давайте и составим, чтобы достойный нашей школы!

— Законники, — улыбнулась Вера Николаевна.

— Чтим и выполняем, — парировал Артем.

— Что предлагаешь?

— Съезд гостей. «Кто там в малиновом берете с послем испанским говорит?..» Старинные фонари навесим. В подвале веляются. Цветов накупим живых. Лотерею устроим. Деньги есть, заработали!

— Вам что, эти деньги руки жгут?

— Жгут, Вера Николаевна.

В кабинете директора за столом сидит вовсе не директор, а девчонка из 9-го «А». И сидит-то она не за столом, а на валике дивана. Постукивает о зубы тоненьким карандашиком. Директор боится этой девчонки, потому что девчонка согласится на

этот гала-эскиз. Фонари старинные. Съезд гостей... «Кто там в малиновом берете...» Права Антонина Дмитриевна, что относится с осторожностью.

В кабинет вошел Вадим Нестерович Лось.

— Простите,— обратился он к Нине и Артему.— Мне надо поговорить с директором.

Ребята вышли.

— Хочу сообщить результаты моего дежурства по школе. Ученик Лекомцев ведет себя недопустимо. Грубит мне как преподавателю. Я прошу довести до сведения родителей. Мог бы не беспокоить вас, но в девятом «А» нет классного руководителя. Самоуправляются. Так сказать, бесклассовое общество...

9

Вера Николаевна стояла у окна, смотрела на школьный парк. Она любит свой кабинет в эти вечерние часы. Где-то раздается стук молотка: школьный плотник Романушкин подгоняет осевшую дверь или ремонтирует перила.

Подъехал грузовик. Из кабины выпрыгнула Любовь Егоровна. И тут же ей навстречу выбежали ребята. Начали выгужать из грузовика новые парты.

Директор спустилась вниз, вышла на крыльцо.

— Всем одеться!

— Нам не холодно!

— Марш! Марш!

— А вы сами без пальто!

— Я директор. Мне можно.

Она вернулась в школу. Пошла посмотреть, чем занят Романушкин. Он долбил в одном из младших классов стену.

— Романушкин?

Романушкин поднял голову. Перестал стучать.

— Что вы делаете?

— Выполняю заказ.

— Чей заказ?

— Паренька. Побежал на улицу.

Вера Николаевна решила обождать — выяснить, что происходит.

Вскоре явился Тыбик.

— Понимаете, жалуются маленькие — утром плохо видно, что написано на доске. Не проснулись как следует. Я и придумал — укрепить лампу. Конструкторскую, на гармошке. Можно поворачивать, освещать доску.

Вера Николаевна посмотрела на Тыбика. Улыбнулась. Вадим Нестерович говорит, что в наше время нет настоящих ребят. Что все они скептики, отрицатели...

— Где лампу достанешь с гармошкой?

— Есть уже. Я бы и пробки для нее сам забил. Шлямбур нет. Романушкина пришлось просить.

— Готовы тебе пробки.— Романушкин собрал инструмент и ушел.

Витя откуда-то из угла вытащил лампу с гармошкой. Приставил к пробкам.

— Удобно? Шнур поверху натяну, где филенка.

— Мы и в других классах сделаем. Отличное будет ДУ. Достигание Учащегося,— сказала Вера Николаевна.

Витя смущенно улыбнулся:

— ВВ. Весьма Вероятно...

— Ты дружишь с Юрой Лекомцевым. Какие у него отношения с отчимом?

— По-моему, нормальные.

— А где сейчас отец?

— На Севере. Далеко. Забыл, как называется место.

— Пишет Юре?

— Пишет. Редко.— Витя подумал и добавил: — По-моему, редко. Почта оттуда...

— Узнай, пожалуйста, адрес и скажи мне. Хорошо? Узнай тактично. Не у самого Юры и не у мамы.

— У бабушки Фроси спрошу. Мы у нее завтра собираемся. Редколлегия.

Вернулся Романушкин.

— В девятом «А» надо менять парты. Когда будем?

— Во всех классах уже поменяли?

— Во всех.

Вера Николаевна медлила с 9-м «А». И каптерку надо переоборудовать, отдать Василию Тихоновичу под дополнительный кабинет физики.

Однажды Лена застала в классе Веру Николаевну. Лена пришла со стопкой дневников и классным журналом.

— Вы проверяете чистоту?

— Нет, Леночка.

— Свет зажечь?

— Зажги.

Лена положила на стол дневники и журнал. Зажгла свет.

Доска была густо исписана иксами, зетами в кубе, в четвертой степени.

— Саша Троицкий. Решает великую теорему Ферма.

— В наше время тоже решали теорему Ферма. И на этой самой доске.

— Как?

— Я училась в этом классе.  
 — Как? В нашем классе? Вы? Правда, Вера Николаевна?  
 — В девятом «А». Перед войной.  
 — Свет погасить? — вдруг спросила Лена.  
 — Я на минутку. Ты садись, занимайся делами. И у меня дела. Я пойду.  
 — Вера Николаевна, в классе все так же было, как сейчас?  
 — Да.  
 — Каптерка? Чучела стояли? Аквариум?  
 — Все так же было.  
 — А Григорий Петрович, он с вами учился? Витя его нашел со своим отрядом. Как героя войны. Совсем недавно. — Лена смутилась. — Мы к нему ходим — и не знали. Он тоже учился в нашей школе?

— Учился.  
 — А мама Юрина?  
 — И она, — кивнула Вера Николаевна как-то поспешно.  
 И Лена вдруг поняла, что не надо было задавать этот вопрос и вообще расспрашивать обо всем этом. Вера Николаевна сама могла бы рассказать Тыбику о Григории Петровиче и о других. Но ничего не рассказала. Может быть, поэтому и с Леной говорит о Юре так, как никто другой в школе?.. Есть причина? Лена это давно почувствовала и не ошиблась, значит.

И ей вдруг показалось невежливым оставаться дольше в классе.

— Я пойду. — И еще раз спросила: — Свет погасить?  
 — Как тебе хочется.

Лена свет погасила и тихонько вышла из старого 9-го «А», в котором осталась сейчас Вера Николаевна.

## 10

Только что закончилось классное собрание. Кричали, спорили. Лена боялась собрания, потому что будет разговор о Юре — правда, не об успеваемости, а о дисциплине. Поругался с Лосем. Наговорил ему такое, что Лось написал в дневник школы и еще куда-то. Требуется решительных мер.

Двоек у Юры нет. То получал двоек, то все исправил. Ольга Борисовна поставила ему недавно пять за ту же самую теорему об условном неравенстве и сказала: «Лекомцев, надеюсь, с вашим двоечным юмором покончено».

Юра кивнул и ответил, что повторяться в шутках — это уже неинтересно, он понимает. Поэтому придумает что-нибудь новенькое, хотя бы с теми же пятерками. Эдакий пятерочный юмор.

Ольга Борисовна засмеялась и сказала в допетровском варианте, на «ты»: «Лекомцев, ты прекрасен в своей дерзости!»

И с Татьяной Акимовной у Юры состоялся разговор. Татьяна Акимовна — человек другого плана. Редко шутит. «Прошу доказать, что в состав соляной кислоты входят ионы водорода, ионы хлора. Прошу отметить физические свойства галогенов». И все это без улыбки. И только однажды слегка улыбнулась, когда прочитала в сатирическом листке: «Вы не видели Натрий? Ушел с Хлором к Сере...» Юра сумел ответить Татьяне Акимовне на все «прошу». Татьяна Акимовна, удовлетворенная, кивнула и сказала: «Прошу учиться нормально».

За столом президиума сидели Варя с Леной и секретарь комитета комсомола Нина Гриценко. Она пришла на собрание.

— Лекомцев, что у тебя произошло с Вадимом Нестеровичем? — спросила Варя.

— Частная беседа.

— То в коридоре, то в буфете... А теперь еще в раздевалке.

— А у вас с ним ничего не происходит?

— Что ты имеешь в виду?

— А все!

Ребята зашумели: Лось не вызывал симпатии.

— Но ты ведешь себя недостойно. Так не спорят и не доискиваются истины.

— Шалевич сам водрузил чай на лоб, — вмешался Витя. — И потом, все это ерунда. Не серьезно.

— А в раздевалке? — настаивала Варя. — Тоже ерунда, потвоему, Беляев?

— Я не знаю, что было в раздевалке.

— Девочки, — вдруг сказала Майка, — чтобы иметь правильную осанку, надо положить на голову книгу и ходить.

В классе засмеялись. Даже президиум засмеялся.

— Майка! — спохватилась Варя. — Прекрати!

— Я прекратила. — И Майка сделала невинные глаза. — Я в порядке ведения собрания.

— Скурихина! Прекрати наконец!

— Молчу, Варечка.

— Хотите доискаться истины, пригласите Вадима Нестеровича, — сказала Нина Гриценко.

— Истина, где ты?

— Лекомцев, Беляев! Ефремова! Остановитесь!..

— Логическое мышление... Инспектор Варнике.

Жирафчик засмеялась.

Варя поглядела на Нину: «Я же предупреждала, что с этим вопросом будет трудно». И Нина знала, что с этим вопросом будет трудно. Она говорила Вере Николаевне.

А Вера Николаевна сказала, что Вадим Нестерович чело-

век сложный и ей тоже бывает нелегко его понять, но она стремится это сделать. И они должны.

Юру строго предупредили за некультурность поведения в общественном месте, а именно — в раздевалке. Юра выслушал предупреждение, потом встал и направился к выходу.

— Привет, пескодоры!

Ну что с ним делать? Он всегда так... А теперь еще при Нине Гриценко.

Саша-ферматист закричал:

— Вернись! Нехорошо, Юрка!

Юра улыбнулся:

— Ку-ку, Сашенька. Один бухгалтер приближается к премии.

Тому, кто докажет или опровергнет теорему Ферма, будет вручена премия в сто тысяч марок. Ольга Борисовна рассказывала.

Юра ушел.

Варя взглянула теперь на Лену: «Выручай, что-нибудь придумай». Лена ничего придумать не могла. И Варя продолжала вести собрание.

— Сережа, у тебя двойка по географии.

— Я занимаюсь, но оно как-то все мимо.

— Предупреждение было?

— Было.

— Надо исправлять двойку.

— Обидно, когда плывешь, а берега не видно,— вздохнул Гена Хачатуров.

— «О мать Нейт! Простри над нами свои крылья!..»

— Дополнительный вопрос по географии: с какой полоски начинается зебра?

— Комбинаторика!

— Лена! Ефремова! Скажи ты им...— взмолилась Варя.

— Ребята, перестаньте!

— Хачатуров все. Тайм-аут.

— Мне врач сказал, у меня соки в рост идут. Не могу нормально учиться. По некоторым предметам...— улыбнулся Борис.

— Так я тоже расту! — закричал Сережа, подмигнув Борису.— И соки у меня тоже!

Борис учится нормально по всем предметам. Сказал это для того, чтобы выручить друга. Обратил все в шутку.

— Человек современного общества должен развиваться в комплексе,— буркнул Сашка-ферматист. Он сидел, считал на логарифмической линейке.

— Где достать царский трон? — вдруг спросил Витя.

— Ты что?

— Мои ребята ставят сказку.

— Сходи в театр.

— Верно. Из головы вылетело.

— Опять отвлеклись от темы! — постучала рукой о стол Варя.

— «Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло...»

— Борис!

— Девятый «Б» пишет сочинение в стихах!

— Врешь!

— Честно! Ходят, рифмы ищут.

— Мы первыми должны были писать. Александра Викторовна обещала.

— Напишу пьесу,— заявил Борис.— Действующие лица и исполнители: мать Гамлета — Вера Николаевна, Офелия — Майя Скурихина.— При этом Борис встал и поклонился в сторону Майки.

Майка в ответ тоже встала, поклонилась и положила на голову книгу.

Класс засмеялся.

— Первый могильщик...— Боря не успел ничего сказать, как класс хором закричал:

— Вадим Нестерович Лось!

Дверь открылась, и на пороге появился Лось. Рядом с ним Юра. Это было настолько неожиданно, что все — кто где стоял и сидел — застыли на местах. Майка — с книгой на голове.

Наступила тишина. Она повисла в воздухе живая. Ощущая.

Лось тоже молча повернулся и вышел. Когда дверь за ним закрылась, ребята накинулись на Юру:

— Не предупредил! Ну надо же, а!.. Теперь — метеоритная обстановка! Борьба миров!

— Я сам его привел... Вы же говорили...

Витя, Юра и Лена шли вдоль Москвы-реки.

Большой Каменный мост горел голубоватыми огнями. Над открытым плавательным бассейном клубился пар. Поблескивали в снежном сумраке купола кремлевских церквей. На углу высокого серого дома горела надпись из красных стеклянных трубок: «Театр эстрады».

— Кто по барьеру до Большого Каменного?

— Скользко, Юра, зимой,— сказал Витя.

— Глохни.

И Юра впрыгнул на парапет набережной. За Юрой вскочил Витя. Дал руку Лене. Она тоже поднялась на парапет. Отправились гуськом, балансируя портфелями. Вдруг кто-то кричит:

— Лекомцев! Беляев! Ефремова! Остановитесь!..  
 Ребята остановились. К ним подошла Вера Николаевна.  
 — Что за выдумка? А у тебя, Лена, нога слабая. Забыла?  
 Ребята спрыгнули с парапета.  
 — У меня лучше нога.  
 — Лена растянула связки. И серьезно. Мальчишки, безответственные вы!  
 — Так она молчит.  
 — Ленка, чего ты молчала?  
 — Отправляйтесь, — кивнула Вера Николаевна. — По тротуару, как нормальные люди.  
 — И они отправились в смущении.  
 — Вас смутитъ.  
 — Нет, почему же... Иногда...  
 — Не выдумывайте!  
 Ребята засмеялись и отправились по тротуару, как нормальные люди.  
 Около театра толпился народ: официальная премьера того самого спектакля — двое спорят...  
 — Я пошел, — сказал Витя.  
 — Куда?  
 — За троном. Договориться надо.  
 — Не пробьешься.  
 — Пробьюсь.  
 И Витя врзался в толпу.  
 — Василий Тихонович говорит, что работают установки, которые уничтожают тучи, туман. Облака уничтожают. А мне жаль, — сказала Лена.  
 — Облака?  
 — И облака, и снег. Тогда его не будет. Я и дождь люблю.  
 — Дождь не люблю, а снег люблю. — Юра положил на сугроб портфель и сел на него.  
 Лена положила портфель рядом и тоже села.  
 К театру подъехало такси, и из такси вышел известный артист.  
 Народ узнал, захопал.  
 Его любили.  
 — Мне он нравится, — сказала Лена.  
 — И мне.  
 — Как ты думаешь, кого будет играть?  
 — Одного из тех двоих, конечно.  
 И вдруг совершенно неожиданно Юра спросил:  
 — Когда была жива твоя мама... ну, ты прости... она с тобой часто разговаривала?  
 — Что? — не поняла Лена.  
 — Разговаривала нормально, понимаешь?

Лена помолчала, потом сказала:  
 — Почему обижаешь Витю иногда?  
 На вопрос Юры она не ответила.  
 — Он всегда прав.  
 — И меня поэтому обижаешь? — Последние слова Лена сказала совсем негромко.  
 Юра вскочил:  
 — Мать свою я не люблю! Ее никто не любит!..  
 — Зачем ты так?  
 — А что? Она и тебя не любит. Отца не любила. И Ваню не любит. Она себя любит!  
 — Юра! — Лена тоже встала с сугроба. — Ты не смеешь так о матери!  
 — Смею!  
 — Нет! — Лена взглянула ему в лицо. — Часто говоришь и делаешь такое, о чем потом жалеешь.  
 Юра ничего не ответил.  
 — Ждешь писем?  
 Юра молчал.  
 — Инна обижается, что не приходишь. И бабушка Фрося.  
 — Странно. Мой отец учился в этой же школе, а я не знал.  
 Странно. Верно, Леша?  
 Она сняла перчатку, подула на пальцы.  
 — И мать училась. В параллельном. И тоже молчала.  
 Лена сказала:  
 — Давно было. Как и война давно была.  
 — Чего о войне заговорила?  
 — Девятый «А» ищет девятый «А».  
 — Сейчас придумала?  
 — Да. Но так должно было быть. А то один Витя со своими следопытами.  
 — Надень перчатку.  
 Лена надела перчатку.  
 — Замерзла?  
 — Нет, что ты!  
 — Великий ученый Шампольон еще мальчиком сказал: «Я прочту это, когда вырасту». И первый в мире прочел египетские письмена.  
 Лена улыбнулась.  
 — А мои письма ты читаешь в своем дневнике?  
 — Прочту, когда вырасту! — Юра схватил Лену и посадил в сугроб.  
 — Ты с ума сошел! Юрка!  
 — Ничего подобного! — Юра и сам повалился в сугроб. — А великий ученый Шлиман еще мальчиком сказал: «Я найду Трою». И нашел ее!

Лена сидела, мотала головой, отряхиваясь от снега. Громко смеялась.

— И вообще, Майка Скурихина перед тобой просто фанера Милосская! И ничего больше!

— Юра, перестань. К нам, кажется, идет милиционер.

— Не милиционер к нам идет, а Витька.

К ним шел Тыбик.

— Чего сидите в снегу и орете?

— Диктую высказывания ученых. От формации к формации.

11

— Вано, можно к тебе?

— Да, конечно.

«Вано» — это была видимость дружеских отношений со стороны Юры, потому что сам Иван Никитович хотел быть с Юрой в настоящих дружеских отношениях. Но он понимал, что не имеет права добиваться этого. Этого должен был захотеть Юра.

Вано в теплом замшевом пиджаке сидел за своим рабочим столом, читал информационный бюллетень по культурному обмену. Значит, будет очередная встреча: «Дамы и господа, мы собрались, чтобы...»

— Вано, ты любишь мою мать?

Некоторое время Вано продолжал сидеть неподвижно. Потом медленно закрыл бюллетень. Сейчас скажет: «Не понимаю тебя».

Вано поднялся из-за стола.

— Мне бы хотелось, чтобы наш первый серьезный разговор начался не с подобного вопроса, — наконец ответил он.

И действительно, у Юры с Вано никогда не было серьезного разговора.

— А с какого?

Юра был несправедливо агрессивен.

— Я знал, что ты спросишь у меня обо всем, что случилось. Вырастешь и спросишь. Вот ты и вырос, если спросил.

— Но я спросил тебя не об этом?

— Ты спросил меня об этом, Юра.

Юра промолчал, потому что на самом деле спросил об этом. И Вано поступил честно и не сказал: «Я не понимаю тебя». Так бы ответила мать.

Юра продолжал стоять посередине комнаты. Он ждал.

На кухне совсем мирно разговаривала сама с собой тетя Галя. Мамы дома не было, она ушла.

Вано подошел к Юре и положил ему на плечи руки. И вдруг

Юра понял, что на честность Вано он должен ответить тоже мужской честностью. Он поставил Вано в затруднительное положение, и Вано не испугался, не начал отговариваться пустыми фразами.

— Я знаю: ты не виноват, Вано.

— Юра, здесь нет правых и неправых.

— Есть.

— Нет, Юра. Ты не ищи. Я вижу — ты ищешь. — Иван Никитович опустил руки, взглянул на Юру.

— Мать виновата перед отцом.

— Это ты так решил?

— А перед кем она виновата?

— Я повторяю тебе: здесь нет правых и неправых.

— Скажи, Вано, а какое отношение имеет Вера Николаевна к моему отцу? Она училась в одном с ним классе? Перед войной?

— Училась. Да.

— Мать никогда не говорила. Почему? И она из этой школы, только из другого класса. Параллельного.

— А отец? Говорил?

— Нет.

— И ты хочешь, чтобы я...

— Ты сам сказал, что когда-нибудь спрошу у тебя, что случилось. Вот я и спрашиваю. А ты говоришь: здесь нет правых и неправых.

— Юра... — позвала мать. Она стояла в дверях. Она вернулась из города.

Юра поглядел на нее. Морщины стянули глаза. Снег растаял в волосах, и мокрые волосы прилипли к щекам. Лицо от этого сделалось особенно худым и бледным. Уголки губ дрожали. Недокрашенные помадой, они тоже были особенно бледными.

Она слышала конец разговора между Юрой и Вано.

— Если ты ищешь виноватых, то это я. Одна я! И не надо ни о чем спрашивать Ивана Никитовича.

«Ты часто говоришь и делаешь такое, о чем потом жалеешь...» — И Юра выбежал из кабинета.

Он не хотел больше ничего знать!..

12

Василий Тихонович дал программированные вопросы по инфразвуку и молекулярному движению. Кто закончил отвечать, мог заниматься чем хотел.

Лена писала письмо Григорию Петровичу, отцу Юры. Как староста класса.

«Мы все очень любим Юру и поэтому беспокоимся за него. Он такой...» Лена подумала и написала: «нервный», и приба-

вила: «сейчас». И потом дальше: «Мальчики, они неровные в эти годы. Оправдываются, что...»

Лена остановилась, подумала и зачеркнула «оправдываются, что...».

Вера Николаевна просила Лену написать письмо. Вначале хотела сама, а потом передумала. Вызвала Лену. О письме никто не должен знать. Ни в классе, ни вообще.

Лена и Юре ничего не сказала. А зачем? Начнет кричать, что опять вмешиваются в его личную жизнь...

Когда человек не может разобраться в близких ему людях, в их поступках и тем более когда эти близкие — собственные отец, мать и отчим, он мучается сам и мучает других близких, хотя бы друзей по школе.

Лена достала из портфеля тетрадку, в которой собирала высказывания писателей, ученых и общественных деятелей. Нашла слова Хемингуэя и переписала их в письмо: «Каждый, кто ходит по земле, имеет свои обязанности в жизни». Она уважала Хемингуэя, и он должен был помочь ей. И еще она уважала Сент-Экзюпери. «Любить — это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении». «В любви нет больше и меньше» (Л. Толстой). «Смейся, и я скажу, кто ты» (М. Ларни).

Много хорошего в тетрадке.

Юра не пришел в школу. Может быть, заболел, а может быть, не подготовился к вопросам по физике.

Занятие Василий Тихонович проводил совместное — 9-й «А» и 9-й «Б». Неподалеку от Лены сидел Шалевич. Около него — Генка Хачатуров. Ответы на программированные вопросы они уже закончили и тихонько говорили о своем. Конечно, о баскетболе.

— Надо сдублировать противника. Создать сборную из своих игроков, вроде это противник, и играть с ней.

— У них в зале жесткие кольца. Мы не привыкли. И стартовая пятерка была не та.

— Смотри, у меня таблица. Я сделал. Штрафные броски — сорок восемь процентов, броски со средних дистанций — двадцать пять процентов, подбор мячей на чужом щите — тридцать процентов.

— Наша команда не дошла до пика спортивной формы.

«Опять проиграли, оправдывается», — подумала Лена.

Василий Тихонович ушел из класса. Сказал: кто не закончил ответы — пускай заканчивает и принесет в учительскую.

В школе дискутировали, как лучше все делать по-новому, по-современному. А Василий Тихонович уже не дискутировал, а поступал так, как считал правильным. Ввел программирование. Сбирал на свои занятия оба класса — 9-й «А» и 9-й «Б».

«Настоящий современный ученик, — говорил Василий Тихонович, — школьную программу-минимум должен пройти быстро и работать самостоятельно над внепрограммными темами. Учиться надо в будущем времени! Наши несовершенства — это испытание нашей жизнеспособности!»

Он не запрещал Саше заниматься на своих уроках решением теоремы Ферма. И даже спорил с Сашей о теории чисел и о пифагоровых тройках. Саша не сдавался и выдвигал свою теорию чисел и пифагоровых троек. Говорили, что на педсоветах завуч Антонина Дмитриевна жаловалась на Василия Тихоновича — он объединенными занятиями путал ей расписание.

И в дневнике школы он делал свои резолюции. Подменял директора этими резолюциями. Вера Николаевна только смеялась, постукивала о зубы тоненьким карандашиком. Ведь никто не знал, что это смеялась и девчонка из 9-го «А»...

К Шалевичу и Хачатурову подошла Майя. Поглядела на их баскетбольные проценты:

— Жалобы турка!

— Знаешь что... — закричал Шалевич. — Знаешь что...

— Ап! — засмеялась Майя и подошла к Лене: — Не кончила?

— Кончила. Письмо пишу. Деловое.

— Бал будет. Слыхала?

Лена убрала письмо. Если подошла Майка, то уже не напишешь ничего.

— Платье сошью. И туфли к нему золотые.

— Как — золотые?

— Покрашу бронзовым порошком. Продается в хозяйственных магазинах.

— Ну Майка!..

— Старенькие летние туфли покрашу, и все. Эскиз. Только ты молчи.

— Лена, — толкнул Лену сзади Сережа, — электроновольты в эргах?

— Соображай, ребенок! — засмеялась Майка.

— У меня все соки в рост, Маечка.

— Шалевич возьмет в команду. У них с процентами что-то.

— Опять! — вскипел Шалевич. — Выкатывайся из класса и не мешай...

— «На тебе сошелся клином белый свет...» — пропела Майка.

Потом снова начала говорить Лене о платье и туфлях.

— Летом у меня были сиреневые с полосатым каблукком. Это я сама. Акварельными красками.

— О чем вы здесь, девочки? — подседа на край парты Жирафчик. Она тоже закончила работу.



— О платье. Для бала.  
 — Придумай для меня платье, Майя.  
 Сзади спросил Сережа:  
 — Поправочный коэффициент четыре в последнем вопросе?  
 — Четыре,— быстро сказала Майка.— И как только тебе доверили в банк ходить?  
 — А я там палец прикладываю.  
 — Платье видела в журнале мод,— продолжала Майка.— Из темно-желтых кружев и белых. И бусы сделаны в тон: половина низки белая, половина — темно-желтая. А пуловер видела — черный с красным по бокам. Руки опущены — красного не видно. Поднимаешь руки — видно... И неожиданно получается.— Майка развела руки, чтобы было понятно, где по бокам красное и как это видно.  
 — Научусь вязать,— сказала Жирафчик.— Моя мечта.  
 — Свитер еще, с рисунками с картин Пикассо.  
 — Меня все это не волнует,— сказала Лена.  
 — Что ты? — удивилась Жирафчик.  
 — Какая-то равнодушная. Не знаю.  
 — Может быть, и бал не волнует?  
 — Бал волнует.  
 — Тебя, Ленка, я одену — любишь или не любишь одеваться. И Жирафчику милому придумаю что-нибудь!  
 — Работаете над внепрограммными темами? — сказал Сережа.  
 — Молчи, коэффициент!  
 Майка учится легко, и все у нее в жизни всегда легко — ап!..

### 13

Работали весело — выносили из класса старые парты и ставили вместо них новые. Это были уже не парты, а современные столы из светлого полированного дерева.

Менялась мебель и в каптерке. Появились новые шкафы, скамеечки, которые вращаются, верстак, стеллаж для папок и чертежей. Приборы по термодинамике, скорости света, интенсивности излучения частиц. Завхоз Любовь Егоровна переживала: сколько потрачено денег!..

— Деньги надо тратить,— утешали ее ребята.— Народно-хозяйственный оборот!

Старые парты складывали во дворе. Их скопилось много из всех классов. Они стояли высокой горой.

В классе к каждому столу подводили электричество, чтобы можно было включать различные приборы. Руководил монтажом Витя. В этом он разбирался: недаром полностью электри-

фицировал класс своих малышей. Даже из роно приезжали и смотрели: дополнительное освещение доски, розетка для фильмоскопа, импульсная лампа, которая включалась на ночь и убивала микробы, дезинфицировала класс. Вите помогали тогда заниматься монтажом Юра, Боря и Сережа. Работали с «массами». А Гена Хачатуров попутно занялся преподаванием спорта: надо ведь растить смену. В баскетболе. Начал с того, что взвесил башмаки с ботами, в которых малыши ходили, и выяснил, что каждый ботинок с ботом весит килограмм. Разве вырастишь смену, когда на ногах у нее килограммы!

В 9-м «А» постепенно так увлеклись переоборудованием, что вообще начали делать ремонт. Взяли у Любовь Егоровны кисти, банки с краской (как тот родитель в нейлоновой рубаше) и покрасили двери, подоконники, батареи. Линолеум настелили. Цветной, модный, с рисунками.

Майка говорила: «Пикассо. Эстетика быта».

Оставили только старую доску, хотя очень хотелось заменить на новую, зеленую. Пикассо так Пикассо!..

Но Любовь Егоровна все-таки доказала, что зеленая доска — это лишние затраты, и ребята уступили.

И в других классах начали ремонтировать, что-то перестраивать. В кабинете химии у Татьяны Акимовны «усовершенствовали» периодическую таблицу: сделали фотографии с портретами Берцелиуса, Глаубера, Деви, Фаворского, Ленца, Бора и приклеили около элементов в таблице. Очень здорово получилось — настоящее наглядное пособие.

В классе математики Ольга Борисовна повесила высказывания. Гаусс: «Арифметика — царица математики». Пушкин: «Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии». Ломоносов: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». Галилей: «Математика — наука опасная: она разоблачает обманы и просчеты».

Юра был уверен, что это не обошлось без тетрадки Лены.

И вдруг случилось то, чего уж никто не ожидал: Вадим Нестерович потребовал у Веры Николаевны, чтобы был организован кабинет обществоведения. И должна быть написана история школы. А история у школы есть. Это может подтвердить сама Вера Николаевна, настаивал Вадим Нестерович. Она здесь училась и многое знает. А Виктор Троицкий? Он со своим юным отрядом собирает материалы об учениках, которые участвовали в Отечественной войне. «Вы собираете, Виктор?» Тыбик сказал: да, собирает. У него есть гвардейские значки, письма, нашивки за ранения, фотографии.

Собранные экспонаты будут храниться в комитете комсомола.

Лось проявлял теперь интерес ко всему новому, хотя и про-

должал соблюдать какую-то сдержанность. Не отказался до конца от своих принципов обыкновенного человека, обыкновенного учителя. Новое еще не обрело для него прочную и оправданную форму. Но жизнь школы тормозила его и даже веселила. Он вместе со всеми смеялся, когда Витин отряд принес из театра царский трон.

С этим троном началась потом история для истории школы.

Никто не знал, куда его поставить, чтобы случайно не сломать. Ребята постарше начали всем его показывать. Все садились, примерялись. А сзади ходил артист, который должен был играть царя в сказке, и требовал, чтобы старшие отдали трон, потому что он, сам «царь», ни разу еще на нем не сидел.

Трон в конце концов забрала Любовь Егоровна и заперла на складе.

Представление сказки должно было состояться на приступке в 9-м «А».

Витя занимался репетициями. Но пока без трона, чтобы не таскать со склада и на склад. И «царь» пока сидел на обыкновенном стуле и очень горевал.

Майка приставала к Вите — она сыграет в сказке царицумать. Платье для бала готовится и вполне сойдет для царицы. Тем более Борис так и не написал своего «Гамлета».

Витя отмахивался от Майки, но Майка не отставала. Нельзя царицу, тогда, может быть, волшебница нужна или еще кто-нибудь. Она желает поработать с «массами», с «начальной школой». У нее проснулось сознание.

Лена слушала Майку и смеялась. Она и сама была не прочь посидеть на троне в длинном платье, и чтобы перчатки выше локтя, и на перчатках браслеты. И чтобы туфли золотые. И пускай Юра смотрит, удивленный и притихший. Пускай восторгается, говорит стихами, теми самыми хотя бы, которыми написал сочинение по заданию Александры Викторовны.

В класс пришла начальная школа, которая должна была репетировать сказку, и собственноручно притащила трон. «Царь», очевидно, их заставил. Надоело ему сидеть на стуле. Добился наконец своего.

Майка сказала Вите:

— Ну и занимайся просветительством.

Ей нравился Тыбик. Лена это знала. И Майка сердилась на Витю, что он вечно возится с малышами.

— Ты куда сейчас? — спросила она Лену.

— К Антонине Дмитриевне. Василий Тихонович расписание сбил.

Антонину Дмитриевну Лена нашла возле ящика «вопросов и ответов». Здесь были и Вера Николаевна, и Василий Тихонович, и Лось. Перед ними выступал Шалевич. Вертелся, под-

прыгивал. Это он оправдывался за очередное поражение баскетбольной команды.

Вера Николаевна смеялась. Громко, как девчонка из 9-го «А». И Антонина Дмитриевна смеялась, но как завуч, потому что стыдливо прикрывала рот дневником школы, с которым опять, наверное, шла к Василию Тихоновичу выяснять, почему он очередной своей резолюцией подменил Веру Николаевну.

Василий Тихонович недавно сказал Антонине Дмитриевне:

— Беспокойтесь за авторитет директора, посадите ее на царский трон.

А когда встретил в коридоре Любовь Егоровну, шепнул ей, что Антонина Дмитриевна якобы велела царский трон поставить в кабинет к Вере Николаевне. Там для трона надежное место. Любовь Егоровна поверила и заставила ребят нести трон к Вере Николаевне.

После этого случая Любовь Егоровна обиделась на Василия Тихоновича и даже отказалась для его нового кабинета доставать еще кое-что из оборудования. Но надо знать Василия Тихоновича: он отправился к Любви Егоровне мириться в тот самый день, когда она составляла ведомость на зарплату по новой тарификации и была, конечно, в прекрасном настроении. Василий Тихонович тут же помирился с ней, а вскоре получил и дополнительное оборудование.

Лена решила сейчас не спрашивать у Антонины Дмитриевны в отношении физики, потому что хватит и того, что Василий Тихонович огорчен проигрышем баскетбольной команды. А тут еще ему придется поспорить с Антониной Дмитриевной и опять огорчиться, что она вроде бы симпатичная женщина, но педант. Хотя и сам Василий Тихонович понимает, что в работе завуча должен быть педантизм.

Василий Тихонович увидел Лену, отозвал в сторону и сказал, что в конце недели будет сводный урок для девятых и десятых классов. В актовом зале. Приедет профессор Зайцев. Неужели тот самый, которому Инна сдавала курсовую работу?.. Любопытно будет у него спросить об этом... линейном ускорителе. Может быть, скажет об Инне что-нибудь? Старост других классов Василий Тихонович, оказывается, уже предупредил. Теперь говорит ей.

Лена улыбнулась.

— Ты что?

Лена сказала, что теперь Василий Тихонович подменяет Антонину Дмитриевну.

— Надо в каптерке кое-что подобрать для встречи с профессором. Приборы, таблицы. Собираюсь заняться, да вот этот... — Василий Тихонович показал на Шалевича, — расстроил меня. Пойдем, поможем.

И они пошли по коридору к классу. На пути попался кто-то из баскетбольной команды. Увидел физика и мгновенно исчез. Все знали, как он болезненно относится к спортивным неудачам.

Когда Лена и Василий Тихонович вошли в класс, то в классе уже не было начальной школы, а была Майка. Она сидела на царском троне. И был еще в классе Витя, который сидел на стуле и слушал то, что говорила ему Майка. Она, конечно, прервала репетицию, выгнала «царя» и захватила трон.

Лена незаметно от Майки подмигнула Вите и тихонько сказала:

— Плохи твои дела, Витя.

Тыбик смущенно улыбнулся в ответ.

А Василий Тихонович, когда увидел трон, сказал:

— Он уже здесь.

Майка весело крикнула:

— А правда, он мне идет, Василий Тихонович?

— Кто?

— Трон.

— Н-да,— сказал Василий Тихонович.— Плохи твои дела, Витя.

Василий Тихонович услышал слова Лены. Понимает! Хитрый старик.

14

Тетя Галя, растерянная, стояла перед Таисией Андреевной.

— Вы знали, что он уедет?

— Я не знала.

Тетя Галя действительно не знала, для чего Юра взял у нее деньги. Сказал — вскоре отдаст. Вот и все. Но разве сейчас можно было убедить в этом Таисию Андреевну? Она была уверена, что и Лена помогала Юре уехать к отцу, ну, если не помогала, то знает, во всяком случае, для чего он это сделал. Таисия Андреевна послала в школу к Лене Ивана Никитовича.

Лена заполняла дневники. Сидела одна, грустная, в классе. Юры не было уже несколько дней. Лена звонила к нему домой (она староста и должна знать, почему учащиеся пропускают занятия), но к телефону все время подходила Таисия Андреевна, и Лене не хотелось с ней говорить.

За Леной в класс прибежал «царь», сказал, что ее спрашивают внизу, просят спуститься.

Лена подскочила к окну, глянула вниз во двор, думала, что это наконец Юра. Ждет ее. Он часто исчезал и потом появлялся. Он ведь такой. Уплыл один на речном трамвае и где-то провел два дня, на каком-то острове. Все переволновались дома, а он

вернулся и пришел прямо в школу. Вызвал вот так Лену. Может быть, и сейчас сидел на каком-нибудь острове?..

Во дворе Юры не было. Лена побежала вниз. Внизу стоял Иван Никитович и разглядывал стенгазету, которую они недавно выпустили: сатирический листок.

Иван Никитович кивнул и сказал:

— Простите, вы не сможете пройти к нам домой?

— Юра просил?

— Таисия Андреевна вас просит зайти.

— Я сейчас.

Лена поднялась снова в класс, взяла журнал и дневники и понесла в канцелярию. Канцелярия была заперта. Лена заглянула в кабинет к Вере Николаевне:

— Я положу у вас.

У Веры Николаевны стоял старый шкаф (из каптерки), в который учителя складывали теперь свои учебные вещи, когда канцелярия была закрыта. Вера Николаевна допоздна сидела в школе.

— Что-то с Юрой случилось,— сказала Лена. Она понимала, что должна сказать об этом Вере Николаевне.— Иван Никитович пришел за мной.

— Юра давно в школу не ходит?

— Со среды. Иван Никитович говорит, что Юра уехал к отцу.

Лена и Иван Никитович вышли за ворота школы. Лена машинально взглянула в окно Веры Николаевны. Вера Николаевна стояла в окне и смотрела им вслед. И Лена поняла, что она идет узнавать о Юре не только от себя лично, но и от Веры Николаевны. Лена даже забыла, что Иван Никитович сказал, что Таисия Андреевна сама хочет что-то узнать от Лены о Юре...

15

С каждым днем все ближе школьный бал.

Ответственными комитет комсомола назначил Нину Гриценко и Артема.

Заказали в цветочном магазине цветы — тюльпаны и левкои. Цветы дорогие, самые лучшие. Купили всякие смешные игрушки из папье-маше, дерева и керамики. Сувениры для беспроигрышной лотереи. Купили еще бенгальский огонь и хлопушки. В особенности все обрадовались хлопушкам, потому что они были заряжены «сюрпризами».

Татьяна Акимовна, когда узнала, что купили бенгальский огонь, предложила сделать самым «мерцающие звезды». Немед-

ленно нашлись добровольцы, которые заперлись в химическом кабинете и приступили к изготовлению «звезд».

Лена-Жирафчик попросила учителей не приходить с утра в нарядных платьях, а прийти вечером, чтобы чувствовалось, что они пришли на бал. С утра в школе еще рабочее настроение, отметки текущие будут ставить. Ольга Борисовна засмеялась: обязательно!

Предложение Жирафчика всем понравилось. И Вера Николаевна тоже сказала, что это правильно. И только Василий Тихонович запротестовал: он будет в своем обычном костюме и днем и вечером. Потому что привык к нему. А вот отметок он в этот день ставить не намерен! Бал так бал! Да-с!.. Миша Воркутинский оценил это как человеколюбие.

Артем достал у бабушки Фроси настоящий самовар и древесных углей: вместо традиционного кофе будет русский чай. Завсектором культмассовой работы. Вот он, конечный авторитет! Самовар Любовь Егоровна заперла на складе, как и царский трон.

Ребята решили записать на магнитофон музыку для танцев. Новую. Музыка запишет Боря и Сережа. Пойдут к Майке. У нее много пластинок. Майка сказала, что принесет пластинки в школу. Но ребята сказали: не надо, лучше перепишут. А то можно случайно разбить. Бал все-таки!

Майке очень хотелось, чтобы пришел переписывать пластинки Витя. И тут ей помогла Лена. Узнала день, когда Боря и Сережа собирались к Майке, и тоже пошла и привела с собой Витю. А потом незаметно ушла без Вити. Это Майя для него надевает свои «алюски» и шарфики. Гладит волосы утюгом. Платье на бал готовит. А Витя, он ничего не видит. Или делает вид, что не видит, не замечает.

Если он не с Леной и Юрой, то возится с малышами. Все говорят, что Вите надо идти в педагогический институт. Он и сам об этом подумывает. Вера Николаевна сказала, что педсовет выдаст ему специальную производственную характеристику.

Витя в своей работе с малышами прошел через все: через подтрунивания, иасмешки, снисходительные улыбки, через дружеские шаржи и карикатуры в сатирическом листке: «Кому каждая подворотня в районе говорит «здравствуй»?»

Майка, та просто негодовала, если шла с Витей. Малыши здоровались, а потом говорили:

— Можно с тобой, Витя, пройтись?

Один раз столько набралось этой начальной школы, что Майка от злости впрыгнула на парапет и побежала.

— И ты думаешь, он за меня испугался? — рассказывала потом Майка. — Нет. За них. «Непедагогично. Будут подражать и тоже лазить». Идет и говорит: «Брось ретроспективный

взгляд на свой поступок...» А я говорю: «Не буду бросать никаких взглядов». Применила прессинг против его компании!

...Ретроспективный взгляд... Юра теперь далеко. У отца. Какое он примет решение? Останется или вернется? Там сейчас друзья Веры Николаевны и Григория Петровича. Случайно выяснилось. Бывшие ученики бывшего девятого «А». Строят электростанцию на берегу моря.

Лена видела, как в школу пришла Таисия Андреевна. После разговора с Леной. Очень долгого и грустного. Лена впервые пожалела Таисию Андреевну. Неожиданно для себя. Таисия Андреевна сказала, что в свое время не помогла Григорию Петровичу, а теперь не может помочь сыну. Лена ожидала, что Таисия Андреевна будет сердиться, даже обвинять Лену, но Таисия Андреевна вдруг заговорила о себе. Она вмешалась в чужую жизнь, а вмешиваться нельзя. В чужую дружбу, в чужую любовь...

— Нельзя! Нельзя! — повторяла она с каким-то отчаянием. — Нельзя ничего разрушать!..

Лена сидела робкая. Юрина мама впервые с ней разговаривала, и вот так. Обычно не замечала. Это в лучшем случае. И Лена старалась ходить к Юре в дом как можно реже. А теперь вот сидит, когда Юры нет, когда он ушел отсюда, и слушает Таисию Андреевну. И понимает, что нужна сейчас Таисии Андреевне.

— Иван Никитович считает, что виновных нет. А я знаю, что виновата я! И сказала об этом Юре! Пусть принимает решение, какое найдет нужным...

— Почему вы никогда не приходите к нам в школу? — вдруг спросила Лена.

Таисию Андреевну удивил вопрос. Неужели эта девочка не поняла, о чем ей только что она говорила?

— Я виновата не только перед Юриным отцом.

— Я знаю. А вы все-таки придите, — настаивала Лена. — Вам будет легче...

И Таисия Андреевна пришла. И Лена видела, как это было. Сняла шубу в раздевалке. «Бибифок». Во всяком случае, Лена такой представляет себе эту модную шубу. У Таисии Андреевны шуба должна быть самой модной.

В раздевалке был Вадим Нестерович. Он спросил у Таисии Андреевны:

— Вы к кому?

— К директору. Я мать Юрия Лекомцева.

— Вам давно следовало прийти.

— Да, — покорно ответила Таисия Андреевна.

Лена испугалась — вдруг Лось скажет еще что-нибудь такое, некстати. Ведь он ничего не знает...

Но Вадим Нестерович ничего больше не успел сказать, потому что с криком и воем прибежали в раздевалку малыши группы продленного дня. Вадим Нестерович спустился вниз, чтобы присутствовать при одевании маленьких. И ему пришлось вмешаться и наводить порядок. А Лена спустилась вниз, потому что из окна увидела Таисию Андреевну. Хотела к ней подойти, но помешал Лось. И Лена как-то растерялась и не подошла.

Спустился в раздевалку и Витя. Помогал в какой-то группе продленного дня, создавал, очевидно, новую постановку. Сказку уже «сыграли», и трон был возвращен в театр.

Лена хотела поговорить с Витей о Таисии Андреевне, но когда ты окружен начальной школой, толком не поговорить. Необходим прессинг, Майка права.

16

Лена идет одна из школы.

Устала. Вместе с Варей они переделали кучу дел: помогали Антонине Дмитриевне переписать расписание, привели в порядок ведомость по сбору комсомольских взносов, а потом пришел уполномоченный по вторсырью и Лена объяснялась с ним (ей поручил Витя, потому что спешно куда-то ушел), сдавала тюки макулатуры, которую собрали его малыши. Похоже, они тоже начали заниматься финансовыми операциями.

Попробовала сегодня рассказать классу, куда и зачем уехал Юра. Хотела, чтобы это сделал Витя, но потом решила сама. Лучше ее никто не объяснит. И Варя посоветовала. А может быть, Вера Николаевна сказала Варе, чтобы так было? Лене не сказала, а Варя сказала? Потому что Вера Николаевна сама никогда не говорила о Юре с Леной.

Класс слушал внимательно и напряженно. Надо решать, что делать. Юра пропускает занятия «без оправдательных причин». А тут в «Комсомольской правде» начали еще обсуждать какого-то «конфликтующего Пашку» из одной московской школы.

Этот «конфликтующий Пашка» своим поведением очень напоминал Юру. То обвинил класс в узости и пассивности интересов, кричал: «Эй вы, инертники!», то написал домашнее сочинение всего из двух слов: «Нет темы», то, начитавшись непрограммных книг, получал сплошные пятерки, то ничего не читал и получал сплошные двойки. Газета спрашивала: что это — самобытность или тщеславие?

В классе думали вначале, что Юра тоже выкинул свой очередной номер. Он ведь всегда конфликтующий. Но потом

поняли, что Юра в настоящем конфликте. И дело здесь не в самобытности или тщеславии. Даже Сашка выступил за Юру:

— Человек должен сам понять свою жизнь целиком, без всяких поправочных коэффициентов!

А Жирафчик встала и сказала:

— Юра все преодолееет. Юра... он... — но тут она, смущенная, замолкла.

Класс постановил: не выносить никакого решения, обождать, что Юра сам предпримет.

Юра сильный. Лена знает и верит в него. И ребята верят. Они его тоже знают. И поэтому вынесли такое решение. Сказали Вере Николаевне.

...Большой Каменный мост горит голубоватыми огнями. Кружит метель. Снег летит густой, быстрый. Сегодня его не унесешь в газетах!

Лена шла и смеялась. Она верила в хорошее. ВВ — Весьма Вероятно.

Все бегают, совещаются в отношении бала. Приглашен духовой оркестр. Лось по своей инициативе связался с училищем военных дирижеров, и оттуда придут курсанты, у которых сейчас практика на духовых инструментах.

Майка веселилась:

— Я говорила — Вадим Нестерович душка! Пригласил военных!

Правда Вера Николаевна — Лось человек сложный. И понять его нелегко, но надо стремиться это сделать.

Девушки решили обзавестись книжечками для танцев, записывать, кто с кем будет танцевать какой танец. Бал ведь на высшем уровне, без «музыкальных консервов». Магнитофон с пленками теперь не нужен.

Боря предложил просто расписать «все это дело» по дневникам. И пускай «это дело» распишут старосты классов, кто с кем танцует.

В кабинете химии, соблюдая секрет приготовления, по-прежнему создавались «мерцающие звезды». Федерация факиров! Парапсихология! Татьяна Акимовна ходила совсем загадочная и неприступная. Консультировалась о чем-то с Василием Тихоновичем. Межпредметные связи.

А буфетчица Стеша Ивановна купила к «самовару» метров десять на веревочке баранок. Если уж русский чай, то пусть он будет таким, каким положено.

Антонина Дмитриевна смеялась, говорила, что для обслуживания бала надо создать бригаду «натянутых троечников». Это значит: методикой осторожного опроса из двоечников сделать троечников, которые в знак благодарности будут выпол-

нять любую черновую работу. Может быть, даже самовар ставить.

Навстречу Лене попадают Витины малыши. Они повсюду. Только и успеваешь здороваться. Они полюбили Лену, потому что она теперь часто помогает Вите заниматься с ними. А то и сама занимается. Просветительская работа. В особенности ей нравились Маша и Ванечка. Маша уже читала солидные книжки, только с полоской бумаги, которая помогала ей не перескакивать со строки на строку, а Ванечка мечтал быть прачкой. И еще Лене нравится «царь». Он ревновал Витю к Майе, и это было очень смешно наблюдать. Он даже Майкин прессинг выдерживал.

Возле Театра эстрады толпился народ. Выступали польские артисты.

Лена подошла к сугробу, который дворники намечают на одном и том же месте, и плюхнулась в него. Это был тот самый сугроб, в котором они сидели с Юрой.

Лену окликнул Витя. Он вышел из подъезда театра.

— Ты чего здесь в снегу сидишь?

— Сажу и сажу. А ты чего в театре делал?

— Так. Одну вещь заказал...

— Опять?

Витя ничего не ответил, помог Лене встать из сугроба. Лена взяла портфель и пошла с Витей.

Снег летел густой, быстрый и там, где мост, тоже голубоватый.

17

У дверей кабинета стояла женщина. Она повернулась на звук шагов, и Вера Николаевна тут же ее узнала.

— Я пришла к тебе, — сказала Таисия Андреевна.

— Конечно, — ответила Вера Николаевна, как будто они расстались недавно. Хотя не встречались с тех пор, как все вместе — Тая, Гриша и она — стояли на площади Свердлова на том месте, где когда-то складывали сбитые немецкие самолеты.

Гриша был в старой, без погон шинели и в старых кирзовых сапогах. У ног лежал вещевой мешок.

Никакого разговора тогда не произошло. Вера Николаевна и так все поняла. Она повернулась и пошла. И Гриша даже не окликнул ее, не задержал, не остановил! Он уже не вправе был этого сделать...

Таисия Андреевна вошла в кабинет к Вере Николаевне, села в кресло.

На столе у Веры Николаевны, как всегда, лежали конспекты, дневник школы, который Вера Николаевна взяла из учительской, чтобы просмотреть записи, лежали схемы по внешкольной работе, свежая почта.

Таисия Андреевна сказала:

— Приятно быть учительницей.

— Да, — кивнула Вера Николаевна.

— Это все заново.

— Да. Все заново.

О ком начнет Тая говорить? О себе? О Грише? О Юре?

Вера Николаевна уже позаботилась о Юре. Даже не она, а бывший девятый «А». Друзья ее и Григория. Они помогут Юре и Григорию. Не столько Григорию, сколько Юре, потому что понять отца — это не значит приехать к нему и, может быть, остаться с ним. Это значит — понять его жизнь, трудную и несложившуюся. Понять и свою мать. Их обоих.

У Таисии Андреевны жизнь тоже не сложилась. Она тоже несчастная женщина, если сидит здесь, у Веры Николаевны. Если она пришла к ней.

У каждого свои представления о прошлом. Своя память. У каждого прошлое уже зависит от его настоящего. А если не зависит и он ближе всех к прошлому, то неизвестно, счастлив ли он от того или наоборот — несчастлив, потому что не ушел оттуда, откуда другие уже ушли. А может быть, все-таки счастлив, как был счастлив в своем девятом «А»!..

18

Лена заметила, что дед участвует в каком-то заговоре с Витей и его малышами. «Царь» приходил два раза, и Маша с Ванечкой. Дверь им открыла Лена. Ребята смущались и говорили, что они к деду.

— Проходите.

— Нет. Пусть он выйдет на площадку. Сюда.

— Не выдумывайте! — сердилась Лена.

Но дед, слышав голос ребят, сам спешил к ним. И потом они стояли на лестничной площадке и о чем-то разговаривали.

— Ты что, дед? — спрашивала Лена, когда ребята уходили.

— Шефство надо мной.

— Странное какое-то шефство.

— Ничего странного. Ты занята, а они свободны и приходят. Газеты, журналы покупают.

Дед совсем недавно рассматривал журнал. Иностранный. Лена заметила: журнал мод. Лена была поражена — зачем он оказался у деда?..

В школе Лена спросила у Майи, где ее журнал, тот самый, который она обещала показать?

— Кто-то взял, когда приходили музыку переписывать.

Лена промолчала. Явно этот журнал она видела у деда, потому что в нем были те самые пуловеры и платья, о которых рассказывала Майя.

— Ты не волнуйся, — сказала Майя. — И без журнала все помню. Скоро начнем шить. Ты, я, Жирафчик, Варя. Все вместе. С закройщицей уже договорилась.

— Я не волнуюсь.

А потом начались и еще странности — пропала из дома материя, которую дед подарил ей на платье.

— Ты что ищешь? — спросил он Лену.

— Материю. Где она?

— У меня ее попросили... — замаялся дед. — На время. Скоро отдадут.

— Что все-таки происходит?

— Ничего.

— Как ничего? А ну-ка, признавайся!

— Это взял... «царь»...

— «Царь»? — Лена была совсем поражена. — Зачем, де-душка?

— Сбор у них какой-то, и он взял.

— На вторсырье, что ли? — засмеялась Лена.

Конечно, это был заговор. И Лена в этом больше не сомневалась.

Любовь Егоровна жаловалась, что она погибает теперь от телефонных звонков. В школу звонили из училища военных дирижеров, из театра, из цветочного магазина, пошивочного ателье, столов заказов и бюро доставок. Требовали к телефону Нину, Витю, Артема, Мишу Воркутинского, Майю... Срочно, немедленно! Вот и изволь отыскивать каждого на перемене.

Витя прикомандировал к Любви Егоровне своих малышей из группы продленного дня. И они бегали по школе — фельдгегери. «Натянутых троечников» Вера Николаевна все-таки запретила создать.

Даже Романушкина требовали часто к телефону. Он доставал для бала огромную доску: Артем придумал подвесить большие качели, бал ведь будет в физкультурном зале. И после танцев можно будет покачаться на качелях. Зав. культмассовой работой, конечный авторитет...

Стеша Ивановна, кроме десяти метров баранок на веревочке, купила апельсины и конфеты.

Деньги выделил родительский комитет. Сережа Ваганов сходил в банк и получил.

Чем ближе бал, тем Лене становилось грустнее. Она не поддавалась грусти, а становилось грустнее, и все. Юра по-прежнему далеко, где-то там, где рождаются айсберги. И писем от него нет. И вообще никаких сообщений. Письмо Григорию Петровичу Лена так и не послала. Откладывала со дня на день, со дня на день. И правильно, наверное, все-таки сделала. Юра теперь сам поехал к отцу.

Сувениры, викторины, книжечки для танцев, качели, военный оркестр, польские артисты, которые приглашены, — вдруг все это перестало радовать, как радовало совсем недавно. Хотя бы вчера... И нога начала болеть. Лена прихрамывала немного. Даже о платье она как-то не заботится. Материю унес Витя, и ладно. С Майкой, очевидно, о чем-то договаривается.

Но тут Майка сама подошла к Лене, спросила, почему не приносит материю. Уже совсем не остается времени. Что она, в самом деле?

— А разве материя не у тебя?

— Нет, конечно. Откуда у меня?

— А я думала...

— У меня ничего нет. — И Майя убежала, потому что торопилась к телефону: прибегала фельдгегерская связь. Майка теперь даже локти не бережет. И уши у нее не закрыты волосами и торчат неусовершенствованные.

Все мальчишки тоже готовились к балу. Некоторые купили модные галстуки «метелики» — красные и синие. Шалевич попытался отпустить бородку.

— Это что? — спросила Вера Николаевна.

— Орнамент.

— Не смейся людей.

И бородка у Шалевича исчезла; она действительно сместила людей, прозрачная и немогущая, хотя для убедительности Шалевич попытался покрасить ее тоже акварельными красками. Саша-ферматист попросил Варю записать его на первый танец.

— Ты умеешь танцевать?

— В процессе выяснится.

Кто-то сказал, что книжечку принесли и Вере Николаевне и Миша Воркутинский записался на танец. Пришел специально в кабинет на прием и попросил. От имени и по поручению коллектива и... от себя лично. И Вера Николаевна как будто записала его.

Эти книжечки вообще доставили девушкам дополнительные хлопоты, потому что к платьям надо будет пришивать кармачики. Майка распорядилась. А то куда девать? Правда, можно будет еще привязать ленточкой к руке или к поясу, у кого платье будет с поясом.

Лось изъявил желание дежурить во время бала. И это ему поручили: никто лучше его не умеет дежурить. Опять могут произойти какие-нибудь стычки между ним и ребятами — «борьба за свободу». И может быть, опять произойдет потеря контактов, которые уже возникли. Ну, а может быть, и ничего не произойдет. Веру Николаевну попросили договориться с арендаторами (школьное помещение на вечерние часы сдавали в аренду курсам медсестер), чтобы они не занимали школу, когда будет бал.

Вера Николаевна обещала все сделать. Она понимала ребят. В этот вечер школа должна принадлежать им целиком. Антонина Дмитриевна согласилась с Верой Николаевной, и только Любовь Егоровна вздыхала, предвидя все возрастающую статью расходов.

Витя сам сказал Лене, где ее материя: она в театре!.. Да. Витя и его малыши заказали платье в театре у модельеров. Кто же лучше сошьет бальное платье?.. Это ведь не просто ателье...

Журнал мод ребята показывали деду, чтобы тоже принимал участие в выборе фасона. Деду, конечно, почти все платья понравились, а модельеры сказали, что сошьют сами. Журнал им не нужен.

«Царь» и Маша с Ванечкой бегали все время к деду — держали в курсе событий. Платье очень деда интересовало, а он не знал, каким оно получится без журнала.

Лена была тронута подарком. Она понимала, сколько это стоило хлопот. И главное, она поняла, для чего собиралась макулатура. И Лена напала на Витю: какое он имел право так поступить? Зачем он это устроил? К чему?

Витя сказал:

— Хочешь их обидеть? Обижай. Они сами предложили сделать тебе такой подарок. И все сами. Понимаешь? Мечтал об этом! О волшебном платье для тебя! Они твои друзья. И если хочешь обидеть их и меня, то обижай!..

Лена подумала и смирилась.

Витя сказал:

— ДБС! Сегодня платье будет готово!

— Кто же ходил на примерку вместо меня? Не «царь» в самом деле? И не ты?

— Варя ходила. У нее фигура как твоя. Мы так решили.

— С начальной школой?

— С начальной школой, — смутился Витя.

Славный Тыбик... Ну зачем он ее любит и обижает этим Майю, которая любит его? Почему нельзя устроить все так, чтобы всем всегда было хорошо... Неужели нельзя? Может быть, это как теорема Ферма с «пифагорейскими числами», которую все решают и не могут решить?..

Лена пишет письмо Юре.

Она думала, он скоро вернется, а он все не возвращается. И неизвестно, что он будет дальше делать, где жить. Мог бы сам написать, хотя бы одно-единственное письмо, но не написал до сих пор. А может быть, ему некогда? Все там новое — и люди и события. Строится электростанция на берегу моря. Будет работать от морских приливов и отливов. И как там у него с Григорием Петровичем? Ведь он поехал и не предупредил его...

И Лена решила сама послать письмо. У нее в семье все просто и ясно (дед и она), а у Юры не просто и не ясно.

Она не написала: «Здравствуй». Они давно договорились, что никогда не будут прощаться и слово «здравствуй» им не нужно. Может быть, Юра поэтому так и уехал? Прощаться не надо... Они договорились...

19

В школе горят старинные фонари. Опробует с мороза инструменты военный духовой оркестр. Приглушенная разногласица труб зарождает волнение, суету. Девочки листают, просматривают книжечки с танцами. Мальчики поправляют галстуки «метелики». Приготовлен стол для лотереи, приготовлены «мерцающие звезды». Когда их зажгут, они поднимутся к потолку и будут светиться высоким небом. Современная химия и старинные фонари. Комплекс эпох и ощущений. Подвешены огромные качели на цветных канатах. Расставлены в корзинах тюльпаны и левкои. Дымит во флигеле самовар — русский чай среди баранок и хлопюшек. Учителя в нарядных платьях. Гости. Съезд гостей! «Кто там в малиновом берет...»

Неожиданно Лену вызывают на крыльцо школы. Лена в бальном платье. В кармане, рядом с книжечкой для танцев, письмо Юре. Еще не опустила в ящик. Опять медлит, как и с тем, первым, письмом к Григорию Петровичу. Когда пишет письмо — она решительная. А потом робеет, начинает сомневаться, чтобы не сделать кому-нибудь неприятное. И в особенности Юре.

Он стоял на школьном крыльце. Пока ждал, вытоптал в снегу букву «Л». Что это — «Лекомцев»? «Леша»?

Вера Николаевна знала, что Юра приедет; это она устроила, сообщила бывшему девятому «А», что в школе бал, что Юру очень ждут. И он должен приехать! Прилететь!..

Юра стоял в меховой куртке и в большой меховой шапке. Возмужавший сразу за эти дни. Пил мифическое цельное молоко?



Юра увидел Лену в бальном платье с большим золотым бантом внизу, на подоле. И прическа была «Босфор» или «Дарданеллы». Юра смотрел удивленный и притихший.

— Юрка? — засмеялась Лена. — Я написала тебе письмо!

Юра снял меховую куртку и накинул ей на плечи.

— Вот, — сказала Лена и вытащила из кармана конверт. — Загадала, что отправлю сегодня после бала.

Юра схватил письмо и побежал к почтовому ящику, который был у входа в школу. Бросил письмо в ящик и вернулся.

— Зачем ты это сделал?

— Письмо мне?

— Да.

— Я его прочту.

— Где?

— Я сейчас нужен отцу. Я решил это.

— А потом?

— Часы бьют пять раз и еще два, — улыбнулся Юра.

Часы действительно показывали семь — начало бала.

— Когда звонят у дверей, то обыкновенно кто-нибудь есть, — ответила Лена.

— Твое счастливое число? — спросил Юра.

Лена задумалась.

— Девять.

— Я буду здесь девять раз.

— А потом?

— Ты будешь там девять раз.

— А потом?

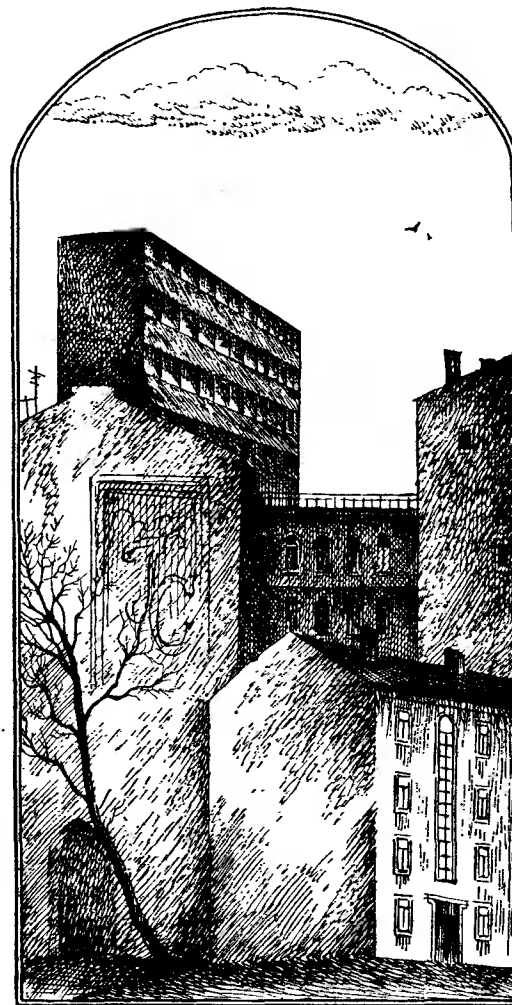
— А потом ты придумаешь новое счастливое число.

# Бульвар под либнем

/МУЗЫКАНТЫ/

Роман





## *Книга первая*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

По городу шла девочка. Локтем крепко прижимала к себе ученическую папку. Дворник только что провел в снегу лопатой, и девочка шла по дорожке от лопаты. Она торопилась, как будто ей не хватит дня, который она и без того начинает совсем рано, с первыми лопатами дворников, медленными еще светофорами и редкими автомобилями.

В коридоре музыкальной школы сидела комендант Татьяна

Ивановна, раскладывала пасьянс. Карты были потрепанными, и Татьяна Ивановна долго каждую из них разглядывала, чтобы разобрать масть.

Хлопнула входная дверь, и торопливые шаги сбегали вниз, в полуподвал, где была раздевалка. Пришла девочка с папкой. Она оставила пальто в раздевалке и подошла к коменданту: в коричневом школьном платье, в зимних ботинках, на руках варежки. Она их не сняла. Это Оля Гончарова, но все в школе зовут ее Чибисом.

Татьяна Ивановна привыкла, что Оля Гончарова приходит первой каждый день, и это уже давно.

— Доброе утро, Татьяна Ивановна.

— Доброе утро, Чибис.— И Татьяна Ивановна протянула Оле ключ, а заодно показала карту, которую не могла разобрать.

— Король,— сказала Оля.— Пиковый.

— Хитрец,— сказала Татьяна Ивановна.— Маскируется.

— Пика — это что? — спросила Оля.

— Для тебя еще ничего.

— А для вас?

— А для меня уже ничего.

— Тогда пусть маскируется.

— Пусть его,— сказала Татьяна Ивановна.

— Какой пасьянс вы сегодня раскладываете?

— «Картинную галерею». В одном ряду должны получить-ся валеты, в другом — дамы, а потом — короли. Все картинки. Иди, нечего тебе около карт время терять.

Оля поднялась по лестнице и вошла в большой класс, где был установлен учебный орган. Только здесь она сняла варежки и положила их на подоконник. Сняла зимние ботинки, достала из папки тапочки, надела. Подошла к органу, вставила ключ и отперла высокие дверцы шпильтыша: мануальные клавиатуры (белые и черные клавиши, как у фортепьяно), регистры, лампочка, справа — узенькое на подставке зеркальце. Снизу выдвинула большую раму (педальная клавиатура), подтянула специальную скамейку. Сбоку скамейка регулируется по высоте. Оля прибавила высоту на два пальца: так ей удобнее сидеть, чтобы доставать до педальных клавиш. Клавиши лежали теперь на полу густым широким рядом. Таких клавиш нигде больше нет — только у органа. К ним надо привыкнуть, уметь быстро дотягиваться до самых крайних. Иногда по несколько минут приходится играть только на этих самых крайних. Держишься за скамейку крепче руками и давишь их, давишь, и чтобы не сбиться, чтобы не соскользнула нога, чтобы не потерять темпа, ритма, и чтобы никто не догадался о твоих усилиях, о твоей работе, а только бы ощущал музыку, прикасал-

ся бы только к ней. Оля думает об этом и в школе, и когда уходит домой из школы, и когда опять идет в школу по темному еще и тихому городу, в котором снег уже пахнет дождями и теплыми влажными деревьями. Оля снег не любит, от одного вида снега ей всегда делается холодно, и всю зиму она ждет весну.

Оля вынула из папки ноты, поставила на шпильтыш. Рядом положила ластик и карандаш. Села на скамейку и сидит, неподвижная, напряженная. Андрей Косарев со струнного отделения сказал про нее — антенка транзисторного приемника. Он сказал так один-единственный раз. Больше он никогда ничего такого не говорил, но Оля запомнила эти его слова: они нужны были ей, хоть такие, даже случайные.

Оля сидела неподвижная и сосредоточенная, проверяя свою готовность к предстоящей работе. Застыли и приготовились вокруг нее огромные сильные звуки. Она должна была сейчас выбрать из них те, которые записаны в нотах. Должна была сделать музыку, но чтобы никто не почувствовал, что музыка сделана; музыка должна повиснуть в воздухе, отделиться от инструмента. Она должна начать короткую и самостоятельную жизнь и каждый раз должна рождаться заново.

За окнами класса светало. Чугунная ограда, покрытая густой изморозью, побелела и разлохматилась. На крышах соседних домов обозначились в снегу неровные строчки птичьих лап. Зажглись наружные стеклянные лифты.

Оля Гончарова все сидела и не нажимала кнопку. Если кнопку нажать, то неслышно запустится мотор в органе, и все его трубы — от больших, как деревья, и до самых маленьких, как вязальные спицы, будут послушны Оле, клавишам под ее пальцами и педалям. И не может быть просто удачи или слепого случая, а предстоит сложная, тяжелая работа.

Вначале Оля хотела быть пианисткой, но потом произошла ее встреча с органом. Орган привезли из Германии в больших ящиках, на которых было написано: «Зауэр, ГДР, Опус-19». Начали монтировать. Это длилось несколько месяцев. Когда сборку закончили, Чибис придвинула к органу скамью и села, нажала клавиши, потом попробовала ногами педали. Рванул звук, и Оля ощутила его мощь. Орган открыл ей музыку, с которой она прежде не встречалась, а потом и первый испуг: орган не подчинялся, она не могла с ним справиться. Трудно было с педалями, она путалась в собственных ногах, и еще регистры, и еще дополнительные педали копулы, и, главное, не было привычного фортепьянного затухания ноты, а нота резко прерывалась, когда Оля убирала ноги с педалей и пальцы с клавиш мануалов.

Оля чувствовала, что у нее сплошная работа и никакой му-

зыка, и она всерьез задумывалась: а не остаться ли только при фортепьяно? На фортепьяно она занималась с тех пор, как ее дедушка помог ей придвинуть стул, взобраться и сесть за инструмент. Ей было тогда четыре года.

Каждое утро Оля опять приходила к органу, и все начиналось заново: «ми» надо брать носком левой ноги, а потом пяткой, а потом правой ногой «си-бемоль», а потом «соль» левой ногой и потянуть подольше. Оля расписывала карандашом в нотах правую и левую ноги: куда ей удобнее какой ногой прийти, пяткой, носком. И опять руки на мануалах, а потом опять только ноги на педальных клавишах, и она ухватится за скамейку руками и будет давить, давить педали. Должны появиться мощные, густые голоса. Она докажет, что может и должна быть органисткой, и она не сдастся, не уступит, и ей нельзя теперь без органа, он ее единственная и окончательная необходимость.

Все чаще стучала входная дверь школы: спешили к началу занятий ребята. Многие приехали на троллейбусах. Остановку ребята называли «Музыкант», хотя на самом деле это были Никитские ворота.

Татьяна Ивановна прикрыла свою «картинную галерею», следила за порядком, объясняла, кто сегодня и в какой класс перемещается, — а всегда кто-то куда-то перемещался, — выдавала ключи, мел, почту. Совсем маленьким ребятам помогала развязывать шарфы, платки, тесемки на шапках-ушанках.

Татьяна Ивановна принимает участие в жизни школы не только на посту коменданта, но и творчески. У нее имеется приятель — бетховенист-текстолог Гусев. Гусев учится в пятом классе. Он разгадывает тайны Бетховена. Дело в том, что великий композитор неразборчиво записывал произведения, потому что часто писал ночью при свече. Теперь его рукописи разбирают ученые, и каждый по-своему доказывает, трактует. Гусев этим занимается. Достал фотокопии тетрадей Бетховена, большое увеличительное стекло и тоже трактует. На всю школу прославился, даже за ее пределами, потому что состоит в переписке с учеными. У Бетховена ближайшим помощником, секретарем был его друг по фамилии Цмескаль. У Бетховена был Цмескаль, у Гусева — Татьяна Ивановна. Гусев держит ее в курсе исследований. Увеличительное стекло, между прочим, принадлежит Татьяне Ивановне.

По коридорам школы с грохотом помчались составленные поездом нотные пульты и стулья: дежурные ребята доставляли таким способом в зал снаряжение для оркестра. На стульях лежали клавиры и партитуры.

Поезда проходили повороты, пересекали перекрестки, точно попадали в двери зала. Правда, после этого даже самые крепкие и новые стулья начинали скрипеть и создавать дополнительный

аккомпанемент, а пульты теряли свою первобытную стройность и напоминали подсолнухи с поникшими головами.

Один из поездов все-таки едва не врезался в раздвижную лестницу. На ней стоял часовщик, он налаживал электрические часы, которые висели в центре коридора. В музыкальной школе нет звонков, а в коридорах и в каждом классе — часы. Их много, они нуждаются в постоянном надзоре.

Часовщик удержался на лесенке, покачал головой вслед промчавшемуся поезду: что поделаешь — таланты, а он, так сказать, поклонник, рядовой часовщик. Его забота — чтобы один талант вовремя сменял в классе другой и тем самым подерживалось бы вечное движение в музыке от девяти утра до девяти вечера.

В коридоре сидели ребята. В руках у них были инструменты, и все это гудело, жужжало, попискивало, посвистывало. Разминка. Требовалось подготовить себя к тому, чтобы в «нотной пустыне увидеть мираж», чего так упорно добиваются преподаватели. Мираж — конечно, хорошо, но он, к сожалению, не всегда посещает нотные листы учеников, в особенности с утра, потому что в учениках еще живут приятные воспоминания об одеялах и подушках. Девушка баскетбольного вида отчаянно хлопала струнами на контрабасе. Кое-кто заткнул пальцами уши и смотрел в нотные тетради, разложенные на коленях. Это были теоретики. Некоторые резко дергали над тетрадями правой рукой, потом вели руку плавно, потом опять резко дергали вверх, вниз. Скрипачи. Некоторые давили тетради пальцами, откинули высоко головы, закрыли глаза, шевелили губами. А еще можно встать лицом к совершенно пустой двери класса и дирижировать, и всем понятно, что этот человек учится на дирижерско-хоровом отделении и что стоит он лицом вовсе не к пустой двери, а перед ним хор или даже оркестр, и сзади него вовсе не школьный исцарапанный коридор, а благодарные и взволнованные слушатели, которые, может быть, увидели мираж.

Подъезжали троллейбусы, привозили ребят. Чем меньше оставалось времени до начала занятий, тем гуще становился поток в раздевалку и тем шустрее приходилось работать Татьяне Ивановне, потому что совсем маленькие ребята дольше всех остальных спали дома и появлялись в школе в самые последние минуты.

Родители, которые их привозили, спешили на работу и с радостью и стремительностью сдавали ребят на руки коменданту, чтобы комендант затем передала их уже преподавателям.

Татьяна Ивановна любила свою добавочную работу в раздевалке, потому что она любила всех ребят, в особенности маленьких, самых юных музыкантов, сочувствовала им в нелегкой жизни.

В учительской комнате был длинный стол для заседаний педагогического совета. Сбоку за маленьким столом, покрытым цветной бумагой, исписанной множеством номеров телефонов и каких-то музыкальных фраз, сидела диспетчер-секретарь Верочка, коротко стриженная, в пиджачке, пальцы испачканы пастой шариковой ручки. На стене объявления: «Хоккей. Духовики — струнники», «Анализ музыкальных форм», «Результаты городской контрольной по физике». Были приколоты мишени победителей стрелковых соревнований с дырочками от пуль, в которые для наглядности воткнули спички. Злые языки утверждали, что наиболее удачные дырочки были сделаны не пулями, а просто спичками. Злые языки есть в любой школе, в музыкальной тоже. Отдельно была приколата записка с надписью «масло». Висела еще большая афиша, в которой сообщалось, что в Малом зале консерватории будет отчетный концерт школы.

Перед началом занятий в учительской собрались учителя и аккомпаниаторы.

— Я настаиваю,— сказала Кира Викторовна, преподаватель скрипки. Она ходила вдоль учительской широким шагом, твердо стучала каблуками. На руке у нее были надеты мужские часы; она их сердито поправляла.

— Кира Викторовна, вы сделали ансамбль скрипачей. Отлично вас понимаю, но...— Это сказал директор школы Всеволод Николаевич. Ему лет тридцать пять, он в замшевой куртке, на шее повязан неяркий мужской платок — мафл.— ...Брагин и Косарев вызывают у меня тревогу. В канун концерта особенно.— И при этом директор покосился на афишу, он ее побанвался.

В разговор вмешалась учительница сольфеджио Евгения Борисовна. Она возбужденно размахивала руками, очевидно, потому что преподавала сольфеджио и ей часто приходилось требовать от учеников: «Все вместе повторим аккордики».

— Ладя Брагин — продукт нефти! — сказала Евгения Борисовна. Она любила точные формулировки.— Вспыхивает ежедневно. Только успевай оглядываться.

— Он и Андрей Косарев все-таки несовместимы в ансамбле,— сказал директор. Точными формулировками директор не обладал. Он человек, который чаще сомневается и от этого мучается прежде всего сам.

— Они ненавидят друг друга! — сказала Евгения Борисовна.— Вспомните турнир «Олимпийские надежды».

В школе был устроен необычный турнир скрипачей, который в шутку называли «Олимпийские надежды». Победитель тот, кто сыграет быстрее и, конечно, не фальшивя. Выступали и Ладя Брагин с Андреем Косаревым. Они стояли рядом. В отчете о забавном турнире в стенгазете «Мажоринки» было написано:

«Скрипачи в финале вышли на финишную прямую одновременно: они исполняли «Вечное движение» Рисса. Брагин начал наращивать темп и уходить от соперника. Но Косарев слишком серьезный претендент на победу. Он тоже начал наращивать темп и сокращать разрыв. Публика вскочила с мест, кричала и подбадривала соперников. Косарев стремительно врывается в код и настигает Брагина. Публика в азарте кричит, как на стадионе. Брагин и Косарев идут смычок в смычок. Кто же победит? Кому удастся первому коснуться финишной ленточки? И все же это сделал Брагин: рывок у самого финиша, и он обходит Косарева».

— А я, как педагог, настаиваю, чтобы Ладя и Андрей были в одном ансамбле,— говорит Кира Викторовна.— Они две краски, два акцента!

— Вот именно,— подхватывает Евгения Борисовна.— В ансамбле они исключают друг друга.

— Но ансамбль — это коллектив. Они не должны исключать себя в коллективе. Все собственное, индивидуальное неотделимо от коллективного.— Каблуки Киры Викторовны стучали все громче и энергичнее. Она даже наскочила на преподавателя музыкальной литературы, «музлита». Он пошатнулся, совсем как часовщик на лесенке.— И работа ансамбля будет завтра продемонстрирована. А значит, и моя тоже! Простите, Илья Захарович.— Кира Викторовна взглянула на «музлита».

— Пожалуйста,— пробормотал Илья Захарович, придерживая на голове тубейку.

— А все-таки,— сказал директор,— может быть...

— Поздно! — вдруг прозвучал резкий голос Беленького Ипполита Васильевича, старейшего педагога школы. Беленький сидел в старинном кресле, которое не совпадало с современной мебелью учительской и было похоже на средних размеров карету. Его личное, «ипполитовское».

— Ипполит Васильевич, что вы имеете в виду? — спросил директор.

— То, что сказал. Поздно не для нее,— и старик показал на Киру Викторовну,— а для всех нас! — Потом вдруг совершенно неожиданно закончил: — И хорошо! Краски при смешивании рожают новый цвет. Турнир «Олимпийские надежды» был великолепен. Я люблю бокс.

— Вы это серьезно? — спросила Евгения Борисовна.

— О боксе? Конечно.

Хотя и кажется, что старик шутит, но в том-то и дело, что это и есть самый серьезный разговор, и как начинает Ипполит Васильевич его неожиданно, так неожиданно и заканчивает. Никогда нельзя предугадать, с чего он его начнет и на чем закончит. В школе только одна Евгения Борисовна пытается

сомневаться в том, что Ипполит Васильевич все время говорит серьезно.

В учительскую вбежала пожилая аккомпаниаторша, маленькая, в пестром, почти летнем костюме. Туфли на ней тоже яркие, почти летние. Очевидно, ей было все равно, совпадает ее одежда с временем года или не совпадает. Она не придавала значения подобным условностям, она была выше этого. Пожилая аккомпаниаторша, ни на кого не глядя, устремилась к окну и с шумом открыла первую раму.

— Вы что, Алла Романовна? — спросила Верочка, которая переписывала набело сводку успеваемости.

— Забыла вчера масло взять.

Между рамами окна лежала пачка масла. Алла Романовна взглянула на масло, приподнялась на цыпочки — при этом туфли как бы самостоятельно остались стоять на полу. Достала из сумки пачку творога и положила возле масла. С шумом закрыла окно.

В учительской после слов Ипполита Васильевича возникла неестественная тишина. Алла Романовна не обращала на эту тишину никакого внимания, как она вообще ни на что не обращала внимания.

— Верочка, у кого я с утра?

— У контрабасистов.

— Мне казалось, у виолончелистов.

— Алла Романовна!.. — Верочка с укоризной посмотрела на аккомпаниаторшу. — У виолончелистов вы были вчера.

Кто-то из молодых преподавателей потоптался, покашлял и начал осторожно звонить по телефону, который стоял у Верочки на столе, в кабинет звукозаписи.

— Сим Симыч, вы подобрали Римского-Корсакова?

— Готово, — ответил из аппаратной заведующий кабинетом.

— У меня занятия в классе... — преподаватель отошел от стола Верочки, насколько позволял эластичный телефонный шнур, и посмотрел в расписание, — двадцать первом. Включите пленку.

Алла Романовна приколола еще одну записку с надписью «творог» и, сверкая яркими туфлями, исчезла за дверью.

Кира Викторовна молча покинула учительскую. День у нее предстоял тяжелый. Ушли и остальные преподаватели. Самые молодые, больше похожие на учеников, чем на преподавателей, направились к репетиционному залу. По пути негромко разговаривали.

— Вчера Дима Назаров из второго класса говорит, да кому — Ипполиту Васильевичу, что ему не нравятся у Рамо украшения. «Можно, — говорит, — я их сниму».

— И что Ипполит?

— Снимите, господинчик мой, если не нравятся.

— Ну и он?..

— Снял.

— Ипполит двойку поставил?

— Сказал, что отметку выставит года через два-три. Или через пять!

— А меня Гусев измучил. Я его боюсь.

— Отправьте к Ипполиту Васильевичу.

— Уже.

— Что?

— Отправила и получила обратно.

— Что сказал?

— Что сказал... «Не преступно, но некрасиво».

Преподаватели тихонько засмеялись.

В контрольном динамике кабинета звукозаписи раздались первые такты «Шехеразады» Римского-Корсакова для двадцать первого класса. Сим Симыч, шуплый подвижный человек в рабочей блузе, надетой поверх пиджака, все всегда слушает у себя в кабинете в контрольном динамике. Он видит свою молодость, своих друзей-оркестрантов в маленьких черных галстуках-«гаврилках» на эстраде сада «Эрмитаж» в Москве или в Летнем саду в Петербурге. Иногда он берет в школе у кладовщика дежурную виолончель, снимает рабочую блузу и один поздно вечером поднимается на эстраду школьного репетиционного зала. Играет. Он не грустит, ему приятно и радостно от всего этого. И ему еще радостно, что он продолжает служить музыке — работает в школе и что вокруг него юные музыканты, которые еще только наденут свои первые черные галстуки.

На всех электрических часах стрелки показывали девять утра.

Ипполит Васильевич Беленький медленно шел по коридору. Под мышкой у него была кавказская палочка. Рядом с Ипполитом Васильевичем шел юный композитор. Это друг Гусева. Ипполит Васильевич держал раскрытую нотную тетрадь.

— У вас два «ре» и бас, — говорил Ипполит Васильевич. — Куда пришлось разрешение этой ноты? М-м... Интересное сочинение. А тут обозначено что-нибудь или не обозначено? Хотя Скрябин и сказал, что точно записать музыку нельзя. Но все же...

И старик опустил тетрадь на уровень юного композитора. Юный композитор был остроносый, лохматый, в клетчатой рубашке. Он боком заглянул в тетрадь, кивнул — точка обозначена. Он уже начал писать так же неразборчиво, как Бетховен. С той только разницей, что приходится самому расшифровывать свои рукописи. Еще при жизни.

— Позвольте выразить удовольствие, — сказал Ипполит Васильевич. — А здесь пауза?

Композитор посмотрел в тетрадь. Отрицательно качнул головой — паузы нет.

— Справедливо. А то бы публика решила, что музыка кончилась, и ринулась бы в гардероб.

Композитор в отношении гардероба промолчал — гардероб не входил в его планы. Лохматая голова — это другое дело.

Старик и композитор продолжали не спеша свой путь по коридору. Так же не спеша скрылись в дверях класса теоретико-композиторского отделения.

К дверям другого класса, на другом этаже, шла Кира Викторовна. Она еще не успокоилась после разговора в учительской. Завтра отчетный концерт и для многих учеников — первое серьезное выступление на публике. А она экспериментирует, и это уже не забава. Кира Викторовна совсем не старейший педагог школы, а рядовой преподаватель струнного отделения. Именно все так и есть. Но она не отступится от своего решения.

У дверей класса Киру Викторовну ждали ученики.

Ганка — плотная, высокая девочка, самостоятельная, решительная. Она приехала с Украины, из села Бобринцы. Франсуаза приехала из Парижа. Модная юбочка, кофта, браслетик — простое серебряное колесико. По отцу Франсуаза родом из Прованса, из Камарги, где живут черные быки. Ее отец гардиан — он хозяин черных быков, разводит их. Носит красную фетровую шляпу и короткие сапоги со шпорами. Серебряное колесико — подарок от отца.

Маша Воложинская удивительно светлая и открытая девочка, стесняется, что вынуждена ходить в очках. Звук ее скрипки чистый и наивный. «Если бы это удалось сохранить», думала Кира Викторовна. Маша ни о чем таком не думала, и, может быть, в этом было ее счастье. Встречается в исполнительском искусстве такая особенность: когда что-то поймешь до конца, это «что-то» вдруг может исчезнуть. Не всегда ремесло помогает, иногда оно что-то отбирает у тех, кто начинает заботиться только о ремесле и возлагать все надежды только на него. У Маши в будущем может сложиться именно так, что ее чистоту и наивность подменит ремесло. Для Маши оно может оказаться сухим.

Стоял Дед — Павлик Тареев. Он любит всех учить жить, поэтому и кличка у него такая. Недавно сказал, что у него много дней впереди, но уже много и позади. И что жизнь прожить — не поле перейти. Философ и педант. Умудрился отрастить даже брюшко. Вот и сейчас что-то объяснял «оловянным солдатикам». «Оловянные солдатики» — самые маленькие ребята в ансамбле, из подготовительной группы. Стояли слушали Деда, ловили каждое слово. Дед выпятил живот, разглагольствовал.

Кира Викторовна еще издали заметила — нет Лади, нет Андрея. Ни того, ни другого.

Они появились в конце коридора. Смычки держали будто шпаги.

«Что-то уже произошло», — с тревогой подумала Кира Викторовна. Начинается день, начинается борьба. Но она должна их победить во имя их же самих. Сейчас они ее не понимают, но потом поймут.

— Андрей, Ладя!

Оба подходят.

— Опять?

Внешне Кира Викторовна спокойна, даже невозмутима. Но это только внешне.

— Что? — Ладя смотрит на Киру Викторовну невинными глазами. — Мы вот тут встретились.

Андрей продолжает молчать. Потом тоже говорит:

— Встретились.

Андрей всегда немногословен, а теперь еще и угрюм.

Кира Викторовна взглянула на одного, на другого. Ничего больше не сказала. Слова ни к чему, и она это понимает.

— На ансамбль. Быстро!

Она не вникла в детали происходящего. Она знает основное, и этого вполне достаточно.

В классе стояли все восемь человек.

— Займите места!

Ребята выстраиваются — Андрей, Дед, Ганка, Франсуаза, Ладя и Маша. Отдельно впереди — «оловянные солдатики». Андрей и Ладя — ведущие первых и вторых скрипок, первых и вторых голосов. «Оловянные солдатики» — они еще никакие голоса. Они слишком молодые скрипачи и будут исполнять в ансамбле главным образом пиццикато. Пиццикато (как написано в учебнике «Музыкальная грамота») — извлечение звуков из струнных инструментов пальцами, щипком, без применения смычка. Но смычок при этом продолжаешь держать в руке, так как ты скрипач, и это всем видно.

Главные в ансамбле — Андрей и Ладя, концертмейстеры. И если Ладя пока что охвачена невероятной жаждой узнавания окружающей жизни, Андрей стремится кратчайшим путем взойти на вершину музыки. Он для этого достаточно честолюбив. Кира Викторовна поставила его первым, сделала дирижером. Уступка с ее стороны? Возможно. Или это естественное место Андрея, и она понимает, но не признается себе в этом.

Кира Викторовна подошла к Ладе и Андрею:

— Я надеюсь. — В голосе ее уже не приказ, а просьба. — Ваша задача, чтобы ансамбль не разъехался. Все остальное забудьте. Ясно?

Несколько минут она ждет, чтобы все успокоились.

— Никаких вялых репетиций, только на полную отдачу. Вы меня понимаете? Относится ко всем. Чтобы без всяких сомнений — выдержу или не выдержу. Скрипки опущены, смычки тоже. Опустили. Маша, не опаздывай. Ганка, встань ближе к Павлику, но локтем не мешай. Андрей подает сигнал, и вы поднимаете скрипки, смычки. Все прекрасно вам известно. Еще сигнал Андрея, ауфтакт, и вы начинаете. Подрепетируем скрипки и смычки. — Каждое слово Кира Викторовна говорит отрывисто, даже резко. Она сейчас не учит, а приказывает. — Скрипки! Смычки! Опустить! Еще раз! Солисты, вы не сразу поднимаете смычки, а когда будет ваше вступление. — Так Кира Викторовна называет «оловянных солдатиков», потому что они стоят впереди всех. — Но краешком глаза поглядывайте на Андрея. Не забывайте, как репетировали. Еще раз скрипки, смычки. Теперь начали мелодию.

Андрей подает сигнал, и ансамбль зазвучал.

— Павлик, не вцепляйся в струны. Маша, энергичнее. Так. Хорошо. Длинными смычками. Не раскачивайтесь, стойте ровно. Франсуаза, плотно ощущай гриф.

Кира Викторовна отошла в дальний угол класса. Послушала, как звучит ансамбль оттуда. Вернулась, хлопнула в ладоши:

— Сначала.

Ансамбль начал сначала. И опять все до конца, и опять все сначала. И опять удар в ладоши, и опять...

Проходят минуты, проходят часы, проходят дни. В этом жизнь каждого музыканта. Древнее искусство, и трудно пока что внести в него изменения. Да и зачем? В нем есть и своя вечная радость, только не сразу и не все музыканты ее понимают.

Дверь класса приоткрывает Верочка:

— К телефону, срочно. Междугородная, Париж!

Франсуаза кричит:

— Maman! C'est maman!<sup>1</sup>

— Vas aves moi, Françoise,<sup>2</sup> — говорит ей Кира Викторовна. — Репетируйте дальше сами. — Это она говорит ребятам.

И Кира Викторовна, а за ней и Франсуаза выбегают из класса.

Франсуаза бежала по коридору, весело подпрыгивала. Вместе с ней весело подпрыгивала юбочка и браслет на запястье — серебряное колесико.

Ребята стояли в классе. Неизвестно было, с чего начинать

репетицию и, главное, кто начнет. Вдруг Ладья голосом диспетчера Верочки объявил:

— Отчетный концерт школы! Мелодия!

Сел на кончик стула, скрипку зажал между коленями и начал играть на скрипке, как на виолончели. Потом вскочил, поставил скрипку на стул и начал ритмично хлопать струнами.

— Романс без слов! Класс педагога Ярунина. — Теперь Ладья копировал девицу с контрабасом. Крутил коленями в своих истертых белесых джинсах.

— Как ты смеешь! — Андрей схватил Ладью за руку и повернул к себе. Они опять были друг перед другом вплотную.

— А что? — Ладья это говорит умышленно небрежно.

— Ты... со скрипкой так!.. — Андрей с трудом выговаривал каждое слово. Голос его дрожал от предельной ненависти, которая накапливается в нем постоянно помимо воли. — Ты... — Андрей замолчал, потому что почувствовал, что не выдержит и сорвется, сегодня уже обязательно, если сам не удержит себя.

Ладья перешел на красивое протяжное звучание. Смычок его казался бесконечным. Он его тянул и тянул, и смычок все не кончался. Ладья едва не зацепил Андрея смычком. Случайно или не случайно — понять нельзя было. И Ладья после красивого и протяжного легато перебрал смычок за подставку скрипки, где концы струн крепятся к держателю, потом — обратно, где смычок занимает на скрипке свое обычное место: скрипка смешно вскрикнула по-ослиному.

Павлик смотрел на Ладью с восхищением, хотя и понимал, что подобный поступок не должен заслуживать одобрения. Маша отошла к «оловянным солдатикам». Она будто хотела защитить их от того, что могло произойти. Очки на ней перекошились, и это еще больше подчеркивало ее собственную беспомощность. Глаза были широко, естественно открыты.

— Стану трубадуром, — сказал Ладья. — Буду слагать песни о любви. «Спустилась ночь над Барселоной...» Или что-нибудь о прекрасном Провансе.

— Перестань паясничать, дурак! — Губы Андрея были плотно сжаты, лицо побледнело. Глаза сделались узкими и зелеными. Слова эти он сказал совсем тихо, едва слышно, почти не разжимая губ.

— Тыфу на вас! — крикнула Ганка и решительно двинулась на Андрея и Ладью.

За Ганкой двинулся и Дед.

Распахнулась дверь класса, и в дверях появилась Кира Викторовна. Ладья и Андрей опять стоят — смычки в руках, будто шпаги. Между ними стоит Дед, выпятил живот, на лице гордость — в решительную минуту он показал себя решительным человеком. Так, во всяком случае, должна подумать о нем

<sup>1</sup> Мама! Это мама! (франц.)

<sup>2</sup> Пойдем со мной, Франсуаза (франц.).



Кира Викторовна, потому что Ганка скромно отошла в сторону.

— Значит, опять ослиный мост?

Кира Викторовна подошла к Ладе и Андрею. Они молчали. И она молчала. Потом достала из кармана ключ и спокойно сказала Ладе:

— Как в прошлый раз? К директору?

Ладья кивнул. Надо соглашаться.

Павлик подошел к Ладе и пожал ему руку. Павлик все умел делать вовремя. И «оловянные солдатики» были счастливы: авторитет Деда остался незабытым.

Андрей смотрел на все это молча. Сколько раз он давал себе слово в столкновениях с Ладькой оставаться невозмутимым, но не мог он: не получалось у него это и не получается, наверное, никогда. Он терпит, а потом вдруг в нем сразу что-то не выдерживает, и тогда он готов кинуться на Ладьку, убить его тут же, на месте. Немедленно! В ту же секунду! Он даже не помнит, когда это началось впервые между ними, он только знает, из-за чего — скрипка и все, что связано со скрипкой. Это у Андрея так. А может быть, дело и не только в скрипке, а еще в чем-то, необъяснимом и ставшем постоянным за последнее время.

Кира Викторовна и Ладя шли к кабинету директора. Ладя нес скрипку, пачку нот. Смычок повесил на палец, покачивал им из стороны в сторону.

Ладю и Киру Викторовну встретила Евгения Борисовна. Взглянула и пошла дальше. Ладя — нефтепродукт, и Евгения Борисовна не думает отказываться от своих слов. Но Ладя знает, что он сейчас совсем другой человек и никакого отношения к продуктам из нефти не имеет. Пытается быть таким. Это его истинное намерение в данный момент. У него все всегда в данный момент. Утомлять себя планами, загадками, надеждами? Музыка — это хорошо, интересно, а сама жизнь — еще интереснее, потому что она интереснее любой музыки. Его отношение к Андрею? Он сам не знает. Любопытно все это, подогревает как-то или просто веселит, какая разница? Дома, когда собирается идти в школу, он ни о чем таком не думает. Живет Ладья, можно сказать, один, вполне достойно самостоятельного человека, потому что старший брат, единственный его прямой родственник, все время в археологических экспедициях, а соседка тетя Лиза, которой брат поручил присматривать за Ладькой, жить Ладе, в сущности, не мешает. Ладькин домашний быт вполне соответствует его собственному, Ладькиному, характеру: как говорится, Ладьке кровь никто не портит. Чего не скажешь об Андрее — его мать достаточно хорошо знает в школе, а если кто и не знает, то наслышан о ней от других.

Кира Викторовна открыла ключом кабинет директора и пропустила в кабинет Ладю.

— Я ухожу, — сказала она.

— Заприте меня, — попросил Ладя. — Будет лучше.

Из-за двери директорского кабинета зазвучала скрипка: Ладя начал упражнения. Кира Викторовна постояла, послушала. Скрипка звучала все мягче, все естественнее. Кира Викторовна представила себе, как Ладя уютно устроился на скрипке щекой и сам слушает, как звучит его скрипка. У Лади нет строгого ежедневного постоянства. Он специально создан для неорганизованности.

О чем Ладья сейчас думает? Только не о предстоящем концерте, и не потому, что он не хочет думать, а просто незачем, рано еще. Как говорит тетя Лиза, «еще не вечер».

Кира Викторовна вернулась в класс, оглядела ребят. Дед, как всегда, что-то объяснял «оловянным солдатам», и они от восторга открыли рты. Ганка потирала правую руку. Маша учила Франсуазу русскому языку или, наоборот, Франсуаза учила Машу французскому языку. Во всяком случае, обе они стояли и шевелили губами. Маша очень старается, она хочет сделать приятное Франсуазе. И потом, она мечтает, чтобы к ней относились как ко взрослой «оловянные солдатики». Она ревнует их к Павлику Тарееву, а французский язык должен ее возвысить над Павликом, хотя бы на какое-то время. Маша тоже хочет разбираться в жизни.

Франсуаза в русских словах выделяет последние буквы, произносит их очень твердо и отдельно: «мо-с-т», «гор-о-д», «музыка-н-т», «све-т», «зву-к». Маша пытается отучить ее от французской привычки.

Андрей отвернулся, глядел в окно. Пусть постоит, успокоится. Честолюбие ему пока что во вред, слишком оно не отпускает его от себя. Кира Викторовна подошла к Ганке, взяла ее правую руку и начала массировать.

— Не больно?

— Нет.

— Завтра утром попросишь девочек в общежитии, чтобы сделали то же самое.

Кира Викторовна подошла к «солдатам», показала — расправить плечи. Молодцы! Вполне самостоятельные люди. «Солдатики» с готовностью кивнули.

— Вырастешь, будешь выступать в длинном вечернем платье. — Это Кира Викторовна сказала Маше Воложинской.

Маша улыбнулась. Сквозь сильные стекла очков были видны ее глаза. Мир входил в них еще совсем детский. Маша радовалась ему тихо и незаметно.

Кира Викторовна повернулась к Франсуазе:

— Не бегай вечером, не вертись. Отдохни, потом за работу. Поиграй, позанимайся спокойно. Не чик-чирик.

Франсуаза засмеялась — «чик-чирик» понятно на любом языке.

— Что вечером в Большом театре? — неожиданно спросил Андрей.

— Премьера балета. А что?

— Так... Ничего.

— Андрюша, сегодня еще поработаешь. Пожалуйста, подумай над содержанием второй части.

— Я останусь упражняться здесь, — сказал Андрей.

Кира Викторовна подозрительно взглянула на него.

— У меня час свободного времени, — просто ответил Андрей.

— Конечно. Тогда останься.

— И у меня, — сказал Дед. — Я останусь.

— Ты позаботься о струне, мой милый. Сходи на склад.

Павлик развел руками: само собой разумеется, как же иначе. На склад он сходит обязательно и сменит струну.

Кира Викторовна пошла в учительскую. Кажется, все закончила: Ладя под замком, Андрей с Дедом репетируют, остальных отправила домой.

В коридоре встретила Олю Гончарову. Потрепала по голове. Чибис в ансамбле будет исполнять партию органа.

— Скажите, Андрей еще в школе? — спросила Чибис.

— Да. Он тебе нужен?

— Хотела с ним порепетировать. Алла Романовна согласилась помочь на регистрах.

— Где ты будешь?

— У Сим Симыча. Мне ведь надо... ауфтакт с Андреем, — опять сказала Чибис. Этот разговор ее смущал, она пыталась закончить его и никак не могла.

— Пришлю его. Иди.

Чибис пошла вниз в полуподвал, в кабинет звукозаписи. Кира Викторовна вернулась в класс, подозвала Андрея:

— Тебя хочет видеть Оля, порепетировать. Пойди договорись — она у Сим Симыча.

— Опять зеркальце, — сказал Андрей. — Уже репетировали.

— Не нужно так с Олей. — Кира Викторовна тронула Андрея за рукав. — Я договорилась, что она будет аккомпанировать нашему ансамблю. Ты концертмейстер, с тобой ей надо работать специально. Она волнуется.

— Ладно. Можно посетить.

— Не очень подходящее слово. Ты не находишь?

— Извините.

— Хорошо. Но лучше так больше не говорить, чтобы не извиняться хотя бы передо мной.

Кира Викторовна побежала в раздевалку. Она сегодня торопится: в Большом театре премьера, выступает ее муж.

Григорий Перестиани. Он солист балета. Надела шубу и снова побежала — теперь к выходу из школы. По пути положила на стол коменданту ключ от директорского кабинета.

— Выпустите Брагина, когда придет Всеволод Николаевич.

— Под замком?.. — спросила комендант, не поднимая головы. Она еще что-то сказала, но Киры Викторовны уже не было в школе.

Татьяна Ивановна раскладывала пасьянс. На этот раз «Могила Наполеона». Этажом ниже, а именно в полуподвале, в нотной библиотеке, сидел ее друг Гусев и рассматривал сквозь увеличительное стекло фотокопию с тетради Бетховена, на которой было написано: «Гейлигенштадт». Название города. В нем жил и работал Бетховен. Сегодня днем Гусев появился в школе с этой фотокопией. Подлинник хранился в Москве. Тетрадь потом исчезла. Где была — неизвестно. Ее нашли в одном архиве после революции. Совершенно случайно. Гусев решил взяться за эту тетрадь: вдруг по ходу изучения что-нибудь выяснится интересное из ее прошлого, что-нибудь таинственное. Татьяне Ивановне он показывал следы воска от свечей и совершенно неразборчивые точки и черточки: они должны были обозначать ноты. Конечно, подумала Татьяна Ивановна, можно было бы забрать у Гусева увеличительное стекло и разбираться в своей «Картинной галерее» и «Могила Наполеона», но Гусев занимается наукой, и его нельзя лишать технических средств. Он объяснил Татьяне Ивановне, что Бетховен стремился так же быстро записывать музыку, как она звучала у него в голове. Гусев прочитал об этом в одной книге. Он бетховенист и должен прочитать все о Бетховене. Не сразу, конечно, постепенно. В течение своей жизни. Гусева не надо держать под замком в кабинете директора, чтобы он работал. Гусев не такой человек. Он сам работает.

В студии звукозаписи, в комнате для прослушивания, сидела Чибис. Горела низкая рабочая лампа, но Чибис сидела в стороне, и свет лампы едва до нее дотягивался.

В аппаратной у Сим Симыча вращался большой студийный магнитофон. Тонкая магнитная лента медленно проходила через звукосниматель и наматывалась на пустой диск. На рабочем столе были разложены инструменты, баночки со специальным клеем, пустые коробки из-под пленки. Контрольный динамик был выключен. Сим Симыч запустил магнитофон, а сам, очевидно, ушел к Ипполиту Васильевичу. Он любит поговорить со стариком и попить с ним кофе. Кофе он заваривал сам. Для этого у него была медная кастрюлька, которую он называл «турочка». Сим Симыча часто видели в коридоре с этой кастрюлькой.

С Ипполитом Васильевичем они разговаривали о композиторах, о некоторых современных течениях в симфонической и

камерной музыке. Допустим ли новый звуковой пейзаж, когда запускают на магнитофонах два ролика с одинаковой музыкой в прямом и обратном направлениях и получают особую магнитофонную полифонию или вводят в музыку различные посторонние шумы. Сим Симыч и старик Беленький сходились на том, что основной при любых условиях всегда остается «диалектика души», а не «диалектика звуковых сигнализаций».

Чибис сидела в студии. Она хотела сидеть в темноте, чтобы свет рабочей лампы едва до нее дотягивался.

Андрей открыл звуконепроницаемую дверь, и навстречу ему рванулся орган на высоких чистых регистрах. Чибис сидела потерянная, несчастная. Руки сложила на коленях, голову опустила так низко, что подбородком касалась груди.

Андрей относился к Оле не то чтобы сдержанно, а скорее пренебрежительно, он не мог этого скрыть и не пытался, хотя и понимал, что несправедлив, что она беззащитна. Но ее беззащитность раздражала еще больше. Даже ее руки в варежках его раздражали. И этот орган, который она сейчас слушала, спрятавшись в темноту, не доверяя себе и своим силам. Так, во всяком случае, она действовала на Андрея теперь.

— Ты чего? — спросил Андрей.

Чибис смутилась. Она всегда смущалась, когда видела Андрея, когда ей надо было с ним заговорить.

— Чего ты хотела?

Орган переключился с высоких регистров на низкие, протяжные и медленно затих где-то на дне больших труб.

— Я никогда не буду так играть, — сказала Чибис. Слова эти она сказала помимо воли, не могла их удержать в себе.

— И это все? — Андрей постоял немного, потом повернулся и вышел из студии.

У Чибиса дрогнуло лицо, она начала тереть его варежками. Как ей хотелось быть сильнее обстоятельств, научиться этому! Ей было стыдно за себя и за свои слова. Вообще за все, что с ней происходит в присутствии Андрея. С каждым днем это отчетливее, конечно, заметно. Ребята видят, и все, все.

Андрей возвращался в класс и думал, к чему он сказал Оле: «И это все?» Опять был несправедлив к ней. Чибис, по сути, никогда ни в чем не мешала, она только хотела присутствовать там, где был Андрей, и Андрей это понимал. Он ведь тоже хочет присутствовать там, где бывает совсем другая девочка. К музыке эта девочка не имеет никакого отношения, а вот Андрею она нужна, необходима. Когда он это почувствовал, его начала раздражать Оля, и с каждым днем все больше. Особенно ее беззащитность. Она обязана была защищаться, а она не только не защищалась, а покорно теряла остатки воли и этим как бы возлагала всю ответственность на Андрея.

Хватит об этом думать, надоело. Чего он должен как-то там заботиться о ней, когда он сам о себе толком не может позаботиться. Отстоять себя и в музыке, и во всем остальном. Он сам в этом мире неустроен, сам боится — если быть совершенно ответственным — и хочет на кого-то понадеяться, сделать ответственным за себя. И не потому, что это удобно, а потому, что иначе не может. Но ведь он не показывает это ни перед кем. Так почему другие должны это показывать ему. Ну действительно!

Андрей разозлился, и теперь ему было легко оправдать любой свой поступок в отношении Чибиса, любые свои слова, сказанные ей. Входя в класс, он еще громко стукнул дверью. Павлик, который стоял посредине класса, взглянул на Андрея и ничего не сказал. Сатисфакция между Андреем и Ладей сегодня не произошла, и уже хорошо.

Андрей встал недалеко от Павлика. Вместе они повторяют вторую часть концерта, над которой Андрей должен поразмыслить, о чем просила Кира Викторовна. Андрей никак не мог войти в нужное ему состояние, чтобы сосредоточиться на концерте. «А может, она сильная потому, что считает себя слабой?» — опять подумал он о Чибисе. Она заставляла его иногда думать о музыке так, как это было свойственно ей, хотя он и не признавался себе в этом.

...Ладя бодро прохаживался со скрипкой по кабинету директора и на ходу играл.

В кабинете стоял письменный стол, фортепьяно, диван, книжные шкафы. В шкафах, кроме книг, были грамоты, дипломы, сувениры, кубки за спортивные успехи школы, лежал гипсовый слепок руки знаменитого музыканта. Краем верхней крышки фортепьяно были зажаты ноты по отдельным листкам. Ладя приспособил. Он изредка подходил, смотрел в ноты. На пяти линейках записана музыка. Забавная все-таки штука. Можно записать все: облака, деревья, соловья, пчелу, боль, гнев, танец или как забивают гвоздь в стену. Или катят пустую бочку. Или еще теперь записывают явление физики: флуоресценцию, например. Один поляк записал. Пендерецкий.

Ладя дал слово — и он занимается. Но это не мешает ему улечься со скрипкой на диван, закинуть ногу на ногу и полежать так, поразмыслить над жизнью, над флуоресценцией. Или подойти к шкафу и начать разглядывать кубки и грамоты, или поиграть в футбол пустой соломенной корзиной для бумаг. Обязательно весной пораньше запишется в футбольную команду струнников. Не забыть бы только. В хоккейную забыл записаться пораньше и уже не попал, сказали — состав укомплектован. Приходится играть расческами на парте, вместо шайбы — копейка.

Ладя, не выпуская из рук скрипки, присел у запертой двери и начал заглядывать в замочную скважину: есть там кто-нибудь живой в коридоре? Смотреть в замочную скважину, держа в руках скрипку, затруднительно, но возможно, как выяснилось. Надо только не терять равновесия, балансировать.

Этого ничего, конечно, не могла видеть Кира Викторовна. За многие недели она впервые отдыхала, сидела в парикмахерской. Киру Викторовну причисляли.

Еще по-зимнему быстро стемнело. Она любила вечерний город: возникал новый деловой ритм. Она лучше всего себя чувствует все-таки в деловом ритме. И еще неизвестно, действительно ли ей приятно быть в парикмахерской. Кира Викторовна не терпит однообразия, успокоенности, тишины. Двигаться самой и приводить в движение все вокруг себя доставляет ей подлинную и большую радость. Жизнь ее не угнетает ни в каких своих проявлениях.

Кира Викторовна смотрит на себя в зеркало: задумчивый силуэт, мягкие линии, синяя продолговатость глаз — все это как-то не для нее. Она пыталась это себе привить, и не получилось. А надо бы. Нельзя пренебрегать модой. Мода тоже в чем-то новый ритм, в особенности для женщины. Кто-то из преподавателей в школе сказал, что стареть начинаешь в тот момент, когда тебя начинает удивлять, как одеваются молодые девушки и как они обходятся с косметикой.

Из парикмахерской Кира Викторовна пришла домой.

Она с мужем жила в небольшой двухкомнатной квартире. Фотографии — Кира лет пятнадцати, где-то за городом, держит охапку листьев. Совсем взрослая, в длинном платье, первое серьезное выступление. На фотографии надпись: «Музыка требует декламации». В те годы хотелось быть эффектной. Она самовольничала и никого не слушала. Она почувствовала вкус эстрады, первого успеха и решила, что он будет принадлежать ей всегда. Но она ошиблась. Музыка не требует декламации и нагромождений. Ее нельзя наряжать. Она хотела и добилась успеха, но потом поняла, что усилия должны быть в работе с инструментом, но не в добывании успеха. Если ты не можешь до конца и по-настоящему победить инструмент (и знаешь об этом только ты один), значит, и твой успех до конца не настоящий. В борьбе за него ты постепенно утратишь себя, свое достоинство, свое уважение к музыке. Кира Викторовна ушла с эстрады. Больно было? Да. Очень. Ревела, когда оставалась одна и можно было реветь. Обидели, разрешили уйти. Сначала было все так. Да и не только сначала — ревела она еще долго и потом. И сейчас может, но уже совсем по другой причине — теперь для нее самое главное ее ученики, ее ансамбль, за который она сражается в школе, и не только в школе, но и дома со

своим мужем Григорием Перестиани. На стене висит и его фотография. Он в театральном костюме — танцовщик.

Кира Викторовна идет на кухню, ставит чайник. Открывает дверцу холодильника, разглядывает, что имеется на полках. Это легко сделать, потому что холодильник в основном пустой и, как говорит Перестиани, часто рычит от голода. Кира Викторовна не Алла Романовна, она не забывает продукты в школе, она вообще забывает их покупать. Григорий даже вывесил однажды лозунг: «Мойте руки вместо еды». Кира Викторовна вытаскивает плавленный сыр и отыскивает остатки хлеба.

С бутербродом идет в спальню, открывает шкаф. Ест и разглядывает платья. Решает, какое надеть сегодня в театр. Потом бежит на кухню — закипел чайник. Сыплет в чашку растворимый кофе, наливает кипятка. Она не Сим Смыч с его «турочкой».

Не присаживаясь, пьет кофе и доедает бутерброд. С чашкой идет в спальню к платьям — надо все-таки выбрать, какое надеть. Но неожиданно берет с тумбочки детектив. Кира Викторовна присаживается на кровать, раскрывает книжку. Сейчас Кира Викторовна очень похожа на Ладью.

«— Можете ли вы зарегистрировать эти два чемодана?»

— Извольте, вот ваша квитанция».

Кира Викторовна торопливо переворачивает страницу: детектив — ее тайная страсть.

«— Поезд будет на вокзале через десять минут».

Кира Викторовна вскочила с кровати. В конце концов, какое надеть платье? Уже пора бежать в театр.

И так вот всегда — вскакиваешь, и бежишь, и бежишь. Везде ты нужна, а если не нужна, то тебе что-то нужно или кто-то нужен. И все обязательно срочно. Неужели люди когда-то приходили домой, садились и пили чай из самоваров? А если куда-то спешили, то только на извозчиках? Удобная, счастливая жизнь. Нет, не для Киры Викторовны. Она бы была несчастной от такой жизни. Определенно.

Как там себя чувствует Ладя? Директор небось уже вернулся, и комендант выпустила Ладю из кабинета. Вот уж за кого не надо волноваться — кабинет директора для него все равно что собственная классная комната, только более приспособленная для индивидуальных занятий: можно добровольно находиться под замком и не волновать ее, Киру Викторовну. Именно все так и было. Волновать Киру Викторовну Ладя не хотел, поэтому действовал самостоятельно и сугубо конфиденциально.

Ладя смотрит в замочную скважину. Пусто. Никого. Вдруг показалась тетрадь с музыкальным сочинением. Кто-то ее держал в руках и разглядывал отметку. Лохматая голова, клетча-

тая рубашка. Композитор. Юрка Ветлугин. Друг Гусева. Прекрасно.

— Полифония!.. Иди сюда,— зашептал Ладя.

— Чего тебе? — У композитора был точный слух, и поэтому композитор сразу понял, что с ним разговаривают через замочную скважину.

— Слушай...

Была установлена связь с живым человеком. Теперь двое разговаривали через замочную скважину — разрабатывали план побега. Разрабатывал, собственно, Ладья, а композитор больше кивал своим длинным носом.

Ладья взобрался на спинку дивана, дотянулся до полукруглой фрамуги, которая сверху украшала дверь кабинета, нажал на фрамугу, и она открылась.

Композитор сбежал и принес лестницу часовщика.

Ладья пролез через фрамугу. Композитор приставил к дверям лестницу, держал ее. Ладья захлопнул фрамугу, быстро спустился по лесенке в коридор. И вскоре мимо Татьяны Ивановны прошел человек и пронес электрические часы и лестницу. Направился в полуподвал, в раздевалку.

Татьяна Ивановна была занята пасьянсом. «Могила Наполеона» можно раскладывать сутки напролет, чтобы добиться такого положения, когда карты из двух колод окажутся сложенными только в восемь кучек и все кучки будут прикрыты только тузами и королями. Татьяна Ивановна вскинула глаза и, не сомневаясь, что это часовщик, продолжала хоронить Наполеона.

В раздевалке Ладя быстро натянул свою куртку, нахлобучил шапку и, как происходит в детективных романах, пулей выскочил наружу.

Обычно Ладья в шапке, как в ведре, носит все свои школьные принадлежности, даже учебники иногда. Как он это делает? Связывает тесемки, получается ручка — и ведро готово. Нагрузайте его. А если ничего нести не надо, шапку, соответственно, надеваете на голову, и она, соответственно, перестает быть ведром. Сейчас ему ничего нести не надо было, и поэтому шапка была просто шапкой.

Ярко горели вечерние огни. На улицах былолюдно: кончился рабочий день, и стояли очереди на троллейбусы, на автобусы.

Ладья пытался втиснуться без очереди в троллейбус, в автобус. Не получилось. Отовсюду вытаскивали, стыдили. Тогда Ладья, взъерошенный, растерзанный, возмущенно закричал:

— Где же меценаты?! — и все-таки влез без очереди в автобус. Тем более, это сделать было легко: скрипка осталась в кабинете директора. Только бы успеть, только бы автобус не очень долго «шлюзовался» на перекрестках.

Это была просторная комната, в которой собирались ребята обычной, не музыкальной школы. Они собирались у Риты Плетневой, своей одноклассницы. Потанцевать, повеселиться, передохнуть от занятий, которые к весне делаются все более серьезными и ответственными. Об этом говорят учителя, и все ребята знают, что это правда, но легче от этого не становится. Двадцатый век — это век больших скоростей, компьютеров и алгоритмов; нейтрино и генетических моделей; футурологии и наследственных свойств. А школьные вечеринки остаются такими, какими они были, может быть, со времен ледникового периода и первых наскальных рисунков.

Гремела радиоло, гремели голоса, которые ни в чем не уступали радиоле. Мебель в комнате жила своей самой активной жизнью. Двое играли в шахматы, Иванчик и Сережа. Шахматную доску держали в руках, потому что играли стоя. Вокруг них танцевали. Иванчик и Сережа иногда поднимали шахматную доску высоко над головой, чтобы танцующие случайно не смахнули фигуры. Иванчику и Сереже кричали:

— Фракционеры! Изоляционисты!

Еще их называли «гроссами» — это значило «гроссмейстеры». Это была их настоящая кличка, уважительная.

Кто-то в коридоре зацепил головой висячую лампу, кто-то показывал на своем пальто вешалку, которую он сделал из толстой цепочки, у кого-то ботинки следили, как грузовик, и его не выпускали в комнату, и он стоял подсыхал.

Пришел Андрей Косарев.

— Привет,— сказала ему Рита весело.

— У тебя гости? — нахмурился Андрей.

В квартире становилось все шумнее, все громче звучала радиоло. В танце выделялся высокий паренек — круглое широкое лицо и забавный курносый нос, слишком маленький для такого лица. Витя Овчинников. Танцевал с девочкой, на которой были эластичные брючки и «битловочка».

— Витя, кочегарь! — кричали ребята.— Включай ускоритель!

— Наташа, не уступай! — кричали девочки и сами приседали и в такт прихлопывали.

Витя Овчинников ловко в танце проскользнул под шахматной доской.

— Двойной сальхов!

Тогда и Наташа вслед за Витей проскользнула под доской и еще сумела дополнительно крутнуться на месте.

— Двойной тулуп!

— Витя, прибавь в коленях.

— Зачем? Бей интеллектом!

«Гроссы» невозмутимо продолжали играть. Андрей стоял в стороне. Он Ритин друг. Знаком с Ритиными одноклассниками, но все-таки он здесь чужой. Андрей начал жалеть, что пришел, и поэтому злился. Он хотел видеть только Риту. Но ему совершенно не хотелось быть в гуще веселья.

— О великом думаешь? — спросила Рита. — А мы просто танцуем.

— Ну и что? — небрежно сказал Андрей.

— Ничего, — спокойно сказала Рита. — Танцевать будешь?

— Не буду. Страусиный оптимизм.

— Соизволишь кофе выпить?

— Нет.

— Сладкий пирог? Приобретен в кулинарии «Будапешт».

— Нет. — Андрея злило, что Рита не одна.

— Тогда в шахматы. Сережа! Иванчик! Хочу с ним сыграть. — И Рита показала на Андрея.

— Не люблю твоё такое настроение, — сухо сказал он и отвернулся.

— А мы обычные смертные! — Рита тоже рассердилась. — Мы не таланты!.. — Риту всегда раздражало в Андрее нежелание скрывать настроение и свою какую-то надменность — не в отношении ее, а вообще как свойство его характера.

— Успокойся, — сказал Иванчик Рите. — Нехорошо.

— Не успокоюсь!

— Андрей, не обращай внимания.

Андрей вежливо улыбнулся. Из всей Ритиной компании ему нравились Иванчик и Сережа. Они были ему понятны.

— Я думал, у тебя никого нет, — сказал Андрей примиряюще. — Пригласить хотел.

— Куда?

— Тут... на завтра. — Андрей замолчал. — Концерт. Я буду выступать.

— Ребята, меня приглашают на концерт. Вот он! — Рита показала на Андрея. Потом повернулась к нему: — А я приглашаю тебя сыграть со мной в шахматы. И сегодня! — Рита уже не хотела ничего прощать Андрею. — Длинный вон танцует... — Она кивнула на Витю. — Влюблен в меня с третьего класса. Все сделает, что потребую.

— А ты?

Рита откинула голову и посмотрела на Андрея.

— А ты? — повторил он.

— Играй на скрипке, если не хочешь в шахматы. Сейчас играй! Для всех. Ты ведь их не приглашаешь! — Рита показала на ребят. — Они тебе не нужны...

Ребята понимали, что Рита, может быть, и не права, но

Андрей для них был все-таки «человек не из нашей школы».

— Заказывают твист! — крикнула Рита.

Тот, у кого следили ботинки, незаметно вошел в комнату, негромко спросил:

— Музыкально-литературный утренник, а?

Иванчик опять сказал:

— Не надо, Рита.

— Надо, — упрямо ответила Рита.

Выключили радиолу, и в комнате образовалась тишина, та самая, при которой не знаешь, куда девать руки или куда деться вообще самому. Подобная тишина возникает в жизни непредвиденно и быстро делается безвыходной для того, по чьему поводу она возникла.

Рита стояла перед Андреем, дерзкая, насмешливая. Андрей побледнел, губы его превратились в узкую полоску. Грудь его была неподвижной, и казалось, Андрей не дышит совсем.

— Витя, дай скрипку, — сказала Рита.

Витя принес из коридора скрипку и смычок Андрея. Рита взяла и держала теперь сама скрипку и смычок.

— Ладушки, ладушки... Где были — у бабушки... — Витя начал прихлопывать в ладоши и пошел по кругу.

Андрей побледнел еще больше. На лице только слегка подрагивали ноздри. Руки были опущены, застыли, и только слегка тоже подрагивали кончики пальцев. Он должен был принять какое-то решение. Немедленно! Это все понимали, и прежде всего сам Андрей.

Рита держала скрипку и, совсем как Ладья, покачивала на пальце смычок. Так. Небрежно. Коричневый прут.

Андрей выхватил у нее скрипку и начал отпускать на колках струны. Вдруг сорвал одну струну, и она повисла, как простая проволока... Вторую, и она тоже повисла, как простая проволока...

— Зачем ты это? — попытался вмешаться Иванчик. — Что ты делаешь!

Андрей не обратил на Иванчика никакого внимания. Еще рывок — и оборвана третья струна. Потом он выхватил у молчавшей Риты смычок, поднял скрипку и провел смычком по единственной оставшейся струне. Он будто швырнул звук к ногам Риты. Андрей вначале не думал срывать струны, а хотел их только спустить с колков, кроме одной. Но так получилось... Он не владел уже собой.

— Танец на одной струне, — объявил Витя.

Андрей полным смычком и на полную силу начал играть ритмичный танец. Он посчитается за все, что с ним произошло в школе, потом здесь, в гостях у Риты!

Смычок прыгал, кувыркался. Андрей перебрасывал его за

подставку, и опять за подставку, и опять обратно. А потом пальцами по корпусу скрипки, как по барабану, а потом опять смычком — и-а-а!.. И опять пальцами... Андрей оскорблял скрипку и себя. И пусть... И пусть... Вундергайгер! Ослиный мост!.. Но так он сейчас защищался и ничего другого придумать не мог. Он никогда ничего не мог придумать.

Ребята молчали. Только Витя Овчинников крикнул:

— Андрюшка гений!

Рита смотрела на Андрея. Она чувствовала себя виноватой во всем, что случилось теперь вот со скрипкой, с Андреем. Она знала, что умеет быть виноватой, но тоже ничего не могла с собой поделать. Никогда вовремя. И в особенности в ее отношениях с Андреем. Она их еще сама не понимала и не хотела заставить себя это сделать. Почему-то для этого требовались усилия, и это ее смущало.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По коридору шел Всеволод Николаевич, директор. Он только что вернулся из консерватории, где обо всем окончательно договорился — помещение для распевки хора, орган, рояли, артистическая комната, раздевалки, буфет. Надо предусмотреть и проверить все до мелочей. Лучше всего попытаться это сделать самому, так спокойнее. Хотя бы в той степени, в которой вообще может быть спокойным директор школы.

Всеволод Николаевич подошел к двери кабинета, толкнул дверь — заперто. Пожал плечами и отправился дальше.

Директор заглядывал в классы, показывал руками — не отвлекайтесь, репетируйте. Сейчас нет чинов и званий, все равны в своей ответственности перед завтрашним днем. В одном классе — фортепьянный ансамбль. В другом — арфы. Бежали под пальцами струны, будто мелкие волны на ветру. В репетиционном зале собрался школьный хор. Также все были очень серьезными. Горел свет в нотной библиотеке. Там, известное дело, сидел Гусев. Директор решил в библиотеку не заглядывать — Гусева ему и без того хватает, — и он направился в учительскую. Только открыл дверь, как к нему подскочила диспетчер Верочка и начала обеспокоенно говорить:

— Звонил Савин-Ругоев. Приедет на концерт. Страшновато как!

— Вы перепутали, Верочка, Савин-Ругоев, очевидно, просто приедет в консерваторию по своим делам.

— Он спрашивал, когда начало концерта.

Из другого конца учительской прозвучал голос Ипполита Васильевича:

— Это я его позвал.

Старейший педагог школы сидел в своей среднего размера карете, и было непонятно, дремал он или о чем-то думал.

— Ипполит Васильевич, как вы могли... — опять обеспокоенно заговорила Верочка. — Пригласить знаменитого композитора так вот... К нам. — Верочка при этом взглянула на директора, ожидая поддержки, но директор молчал.

Ипполит Васильевич выглянул из кареты и качнул головой:

— Пускай послушает злодеев.

Голос у него был насмешливым. Насмешливыми были и его глаза под седыми низкими бровями. Брови были похожи на козырьки, опущенные в солнечный день над витринами.

— Юный господинчик показал мне свое сочинение. 'Полифонией увлекается. Имеет собственные мысли о Беле Бартоке. В учительскую заглянула комендант Татьяна Ивановна:

— Всеволод Николаевич, я вас повсюду ищу. Ключ от кабинета у меня. Там сидит Ладя Брагин. Занимается.

— Где Кира Викторовна?

— Премьера у ее мужа.

— Ах да... Я забыл.

— Всеволод Николаевич, так его можно отпирать?

— Кого?

— Брагина.

— Еще один злодей, — сказал Ипполит Васильевич.

— Идемте. — И директор поспешил выйти из учительской.

По коридору директор шел быстро, но Татьяна Ивановна все же сумела его обогнать и первой оказалась перед дверью кабинета. Поворачивается ключ в замочной скважине. Татьяна Ивановна и директор входят в кабинет. В кабинете никого.

— Куда же он подевался? — Татьяна Ивановна растерянно смотрит по сторонам, а затем почему-то на потолок.

Директор тоже удивлен. Ладонью потер подбородок, сказал:

— «Картинная галерея» сошлась, надеюсь, Татьяна Ивановна?

— «Могила Наполеона» я раскладывала.

— «Могила» — самый сейчас подходящий пасьянс.

В полуподвале, как раз под кабинетом директора, располагается склад музыкальных инструментов. Окна узкие, темноватые, почти у потолка. Сквозь все помещение тянутся длинные деревянные полки, на которых громоздятся ящики, коробки, футляры от инструментов. Два огнетушителя украшают собой толстый опорный столб, покрашенный, как и весь полуподвал, неопределенной серой краской.

В углу склада, будто египетская пирамида, возвышалась гора скрипок. Среди скрипок лежало много маленьких, которые

не больше школьного пенала. На скрипках мелом было начерчено «списать» и поставлены номера. Подобная надпись и номер были на рояле, который стоял без крышки, без клавишей, струны завязаны в пучок. Вдоль стен выстроились большие медные трубы, которые надевают через плечо и которые способны заглушить оркестр, черные кларнеты, красные фаготы. Присел в углу контрабас: он сегодня много потрудился. Его даже пытались возить на стульях вместе с партитурами симфоний и клавирами.

Павлик Тареев смотрел на старые, покрытые пылью скрипки, и в глазах его были растерянность и недоумение.

— Их выбросили? — спросил Павлик у кладовщика.

Кладовщик, с худым обиженным лицом на длинной шее, плоскогрудый, невзрачного вида человек, разбирал скрипки.

— Больше не нужны.

— Как узнали, что больше не нужны?

— Утиль.

Кладовщик взял скрипку, повертел, а потом разломил надвое, как сгнившее яблоко, и швырнул обратно. Взметнулась пыль над пирамидой. Стук эхом отозвался в больших медных трубах. Покачнулись и снова застыли черные задумчивые кларнеты, сверху донизу застегнутые на металлические пуговицы-клапаны.

— Перепилили. Такие вы тут артисты.

Кладовщик взял ручку с обыкновенным пером, макнул в чернильницу и, склонившись над ведомостью, вычеркнул из нее номер уничтоженной скрипки.

— А тебе, собственно, что?

Павлик молчал, потрясенный.

— Зачем пришел?

— Струну получить.

— Можно. Пойдем. Струны в шкафу в коридоре.

Но Павлик не двинулся с места. Он все еще не отрывал взгляда от скрипок.

Кладовщик вышел в коридор, отпер шкаф, достал пакет со струнами, но Павлика в коридоре не было. Кладовщик вернулся к дверям склада, толкнул дверь — не поддается. Удивленно посмотрел и подналег плечом. Ни с места. Тогда начал стучать кулаками.

— Открой! Эй!

— Не открою, — сказал Дед.

— Как же понимать? — растерялся кладовщик.

— Не открою, и все.

Из-за дверей послышался резкий скрип: Павлик сдвинул с места рояль, он хотел забаррикадировать дверь. В решительную минуту он решительный человек. Личность. Павлик вспотел,

словно опять был на уроке. Он изо всех сил упирался ногами в пол и медленно двигал рояль по направлению к двери.

Кладовщик грозился, просил, убеждал, но Павлик был неумолим. Он не допустит, не позволит, чтобы на его глазах ломали скрипки.

Павлик вел сражение с кладовщиком, а у Франсуазы были свои заботы: она пыталась научиться кататься на коньках, хотя бы стоять. Для чего это надо было, она не знала, но очень хотелось этого. Неужели такая неспособная, что ничего не получается? Это сердило и огорчало. В школе в Париже она играла в ручной мяч, в стрелы «дартс», и потом, у нее лучше всех трещали шары на веревочке, «бульданги». Встряхиваешь шары, и они друг о друга стучаются, у кого дольше. Все ребята в Париже увлекаются «бульдаигами». И в конце концов, ее отец гардиан, и он научил ее не пугаться черных быков. В Париж отец никогда не приезжает. В Париже Франсуаза живет только с мамой. Почему это так? Ей неизвестно.

На спортивной площадке во дворе музыкальной школы горели огни. Летом на площадке играют в баскетбол, зимой залит каток. Несмотря на приближение весны, к вечеру подмораживало, и еще можно было кататься.

Ребята гоняли шайбу в одни ворота, тренировались. Ворота ми служил ящик из-под апельсинов. На другом ящике сидела Франсуаза. Она долго надевала коньки, примерялась, встала на лед и сделала несколько шагов. Но опять ничего не получилось — Франсуаза упала. Подъехал один из мальчиков, протянул клюшку:

— Держись.

— *Mersi bien!* Спасибо!

Франсуаза ухватила за клюшку. Мальчик показал — смелее, вперед!

Франсуаза отпустила клюшку.

А минут через десять в школе раздались протяжные рыдания. Всеволод Николаевич замер. На лице его был испуг.

— Уби-ился наш француз!..

Теперь директор узнал еще и голос Татьяны Ивановны.

Первой в кабинет директора вбежала Франсуаза. За ней Татьяна Ивановна. У Франсуазы было оцарапано лицо, вспухла на лбу шишка, по щекам бежали слезы, перемешанные с талым снегом. Волосы рассыпались по плечам, и в них тоже был снег.

— Я учился коньки...

— Тебе больно?

— Выступать... Non! Non! — закричала Франсуаза и показала на свое лицо.



— Тебе больно?

— Non,— упрямо сказала Франсуаза.— Выступа-ать...  
Oh, non!

Перед директором была настоящая француженка, которая прежде всего была потрясена испорченным лицом.

Всеволод Николаевич растерянно смотрел на Франсуазу.

— Где же Кира Викторовна? — задал себе вопрос директор и сам ответил: — Ее не будет. Non.

Директору бы сейчас походить из угла в угол кабинета широким шагом, постучать каблукками, но он это не умеет. Он ничего такого не умеет, хотя он и директор.

Появилась Верочка.

— Я вызвала такси,— бодро сказала она.— Не волнуйтесь, Всеволод Николаевич.

Через несколько минут Франсуаза оказалась в такси. Мелькали за окнами машины светофоры. Куда ее везут? — думала Франсуаза. Что с ней будут делать?

Такси резко остановилось. Франсуаза увидела большое здание, узнала проспект Калинина. Так она совсем рядом со школой! Они с Машей ходят сюда в магазины за красивыми открытками и еще покупают диски — грампластинки.

До половины окна здания были задрапированы белым. Пусть только попробуют положить ее в больницу, она такой крик устроит, погромче еще, чем в школе кричала! Она пожалуется правительству! Она не хуже Деда разбирается в жизни, будьте спокойны! Завтра концерт, вот что ужасно. Кто ее теперь успокоит? Мама далеко, а то бы она сказала: «*Bonne nuit. Dors bien. Je te raconterai le contenu du film*»<sup>1</sup>. Мама — комментатор парижского телевидения. А если бы мамы не было дома, Франсуаза включила бы телевизор, и тогда мама, возможно, появилась бы на экране.

Год назад мама провожала Франсуазу в аэропорту Орли, когда отправляла ее сюда, в Россию. Уже подкатил к дверям самолета выдвижной коридор, по которому прямо из вестибюля Орли входил в самолет, а мама все не отпускала Франсуазу, крепко прижимала ее к себе...

В приемной Института красоты стоял аквариум с золотыми рыбками, росли финиковые пальмы в кадushках, в большой клетке бегала белка. Несколько женщин негромко разговаривали, обсуждали рецепт диеты на очки: булочка — двадцать пять очков, кусок сыра — пол-очка, макароны — тридцать семь очков, а гусь почему-то ноль очков.

Освещенная большой лампой, Франсуаза сидела в кабинете врача. На высокой табуретке перед ней — врач-косметолог.

<sup>1</sup> Спокойной ночи. Хорошо спи. Я тебе расскажу фильм (франц.).

Тампонами, щеточками, кисточками обрабатывала лицо Франсуазы, гладила маленьким утюгом, но только утюг был не горячим, а, наоборот, совершенно холодным. Франсуаза понимала, что она в Институте красоты. Ей здесь очень нравилось, и она успокоилась. Морщила нос. А как же: пусть врач обратит внимание на морщинки, лишних нет? Не завелись еще? Стареть совсем не хотелось, а хотелось научиться кататься на коньках.

Пока Франсуаза сидела в кресле в институте, в школе, в полуподвале, разгорался скандал: кладовщик стучал в дверь склада все громче:

— Открой!

— Не открою.

— Что случилось? Я струну тебе подобрал.

— Ничего мне от вас не надо,— угрюмо отвечал Павлик.

На шум прибежал директор.

— Вот! — И кладовщик показал директору на закрытую дверь.

— Почему вы, Тареев, так странно себя ведете? — сказал директор скорее не Павлику, а закрытой двери.

— Никому не открою,— категорически заявил Павлик.

— Но мы не понимаем, что произошло! Разумные люди должны разумно объясниться. Вам не кажется? — Всеволод Николаевич с надеждой посмотрел на дверь.

Но дверь голосом Деда закричала:

— Скрипки ломают! Говорят, пилите, пилите... Не хочу пилить!.. Мы скрипачи. Музыканты!

Директор беспомощно стоял у двери. надо было что-то предпринимать, а что? Сказать Павлику воспитательную речь или стучать в дверь кулаком?

Прибежала Верочка.

— Француженку отправила,— сказала Верочка.

Но директор показал ей на запертую дверь:

— Вот!

— Что? — не поняла Верочка.

— Не «что», а «кто»,— сказал директор.

Верочка, как всегда, была на высоте: постучала в дверь одним пальцем и без всяких меморандумов сказала:

— Вызову пожарных.

Послышалась возня, и дверь открылась. На пороге появился Павлик, он поглядел на кладовщика и сказал:

— В суд подам. Товарищеский.

Кладовщик в удивлении открыл рот, потом закрыл: никаких ответных слов у него не нашлось. А Павлик, гордый, удалился.

В кабинете директора взглянул на гипсовый слепок руки знаменитого музыканта и, может быть, вспомнил, что и он был знаменитым музыкантом. До того памятного дня, когда его пригла-

силы в Мосгорно и предложили быть директором. «А музыка?» — спросил Всеволод Николаевич. «Можно быть музыкантом и директором», — сказали в Министерстве культуры.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В Большом театре шел балет, красочная премьера — принцессы, пажы, заколдованные звери.

Это если смотреть из зала на сцену, на премьеру. Кира Викторовна смотрела так вот, из зала. А если смотреть на премьеру сквозь узкую щель, которая бывает в рыцарских шлемах, то видно все совсем иначе, по частям. Рыцарь перевел взгляд со сцены в оркестр. Оркестр огромный и разнообразный по составу. Рыцарь внимательно следил за дирижером. Ему это не надо было по ходу спектакля — он весь спектакль всегo-навсего героически стоял на месте. Просто когда через щель смотришь вдаль, то видно разного очень много.

Закончился первый акт балета. Медленно и торжественно опустился занавес. Занавес — это действующее лицо в театре, персонаж. За кулисами возникла суета: началась подготовка декораций ко второму акту.

Кира Викторовна вошла в служебный буфет. За столиками расположились феи. Сидела лягушка, курила сигарету и беседовала со стрекозой. Большой серый филин вязал на спицах. Заколдованное дерево вслух читало еженедельник «За рубежом» своему соседу — заколдованному пню.

Вдруг Кира Викторовна, как ей показалось, увидела знакомую физиономию. Но позвольте! Кулисы Большого театра и... Не может быть. Обозналась. Померещилось... Лягушки, филины, стрекозы, черти — и теперь... Кира Викторовна в задумчивости наскочила на курящую лягушку.

— Простите.

Лягушка что-то квакнула и выпустила струйку дыма.

А в буфете был Ладя Брагин. Он быстро захлопнул на шлеме забрало. Ладя не сомневался, что увидел Киру Викторовну. Теперь была надежда только на рыцарские доспехи. Ладя затих внутри брони.

Буфетчица протянула Ладе стакан лимонада, а Ладя стоял перед буфетчицей в доспехах с опущенным забралом, не двигаясь, молчал. Как и полагалось ему по ходу спектакля. Буфетчица откинула забрало, и в ту же секунду Кира Викторовна перестала сомневаться.

— Брагин! — И еще раз громко окликнула на весь служебный буфет: — Ладя!

Ладя, гремя доспехами, кинулся прочь из буфета. Кира

Викторовна, потеряв Ладю из виду, отправилась в гримерную собственного мужа, куда она шла с самого начала: ей нужен был муж, и пусть он теперь перед ней предстанет.

Григорий Перестиани спокойно сидел перед зеркалом, закрыв глаза, чтобы не выходить из образа, но в этот момент к нему вошла Кира Викторовна.

— Представляешь, иду и вижу Брагина!

— Какого Брагина?

— Моего Ладю Брагина. Здесь!

— Поменьше надо читать детективов. — Перестиани все еще надеялся не выйти из образа.

— Он был в буфете, — сказала Кира Викторовна. — И у него была секира.

— У кого?

— У Брагина. Удрал из-под замка.

— Послушай, Кира, имей совесть. Дома только и слышу о скрипачах. Теперь в театре. На моей премьере! — Из образа пришлось не то что выйти, а просто выпасть.

— Зачем в рыцари их берете? Отвечай! — Кира Викторовна начала ходить по гримерной, как по учительской. — Что молчишь? Я тебя спрашиваю.

— Вот где твои Паганини! — Григорий показал ребром ладони на собственное горло. У него дрогнул и начал плавиться на лице грим. — Вот, понимаешь! — закричал он. — Сам хочу куда-нибудь под ключ! Добровольно!..

По радио объявили, что до начала второго акта пять минут.

— Достань мне Брагина. — Кира Викторовна остановилась перед своим знаменитым мужем, строго на него посмотрела. — Истерик. Между прочим, Паганини играл еще и на гитаре.

Прибежал помощник режиссера.

— Ты готов? — спросил он Григория.

Кира Викторовна не сошла с места. Повторила:

— Достань, и все. Слышишь, Гриша?

— Он достанет, — сказал помощник режиссера и попытался вежливо направить Киру Викторовну из гримерной. — Все достанет после спектакля.

В кулисах толпились рыцари — мимический ансамбль.

Спешил и Григорий. Сзади едва поспевал помощник режиссера.

Григорий на ходу сказал помощнику:

— Одного из рыцарей зовут Брагиным. Его нужно выдать моей жене. Он ее собственность.

— Надеюсь, после спектакля?

— Не знаю. Когда сумеем поймать.

Кира Викторовна заняла свое место в зрительном зале.

Включили свет лампы. Медленно поднялся занавес. Начинался второй акт балета. В глубине сцены стоял рыцарь. Он боялся Перестиани, который танцевал совсем близко от него. И рыцарь с секирой, вместо того чтобы героически стоять на месте, как ему и следовало, медленно, шаг за шагом, двинулся среди заколдованных пней и деревьев по направлению к оркестру. Потом увидел, что так просто в оркестр не спустишься, надо с какой-то другой стороны. Рыцарь остановился в задумчивости.

Перестиани с принцессой закончили дуэт. Раздались аплодисменты. И пока принцесса низко и красиво кланялась, Григорий быстро подошел к рыцарю с секирой и незаметно схватил его за шиворот. Со стороны получилось — рыцарь тоже кланяется.

Но тут снова заиграла музыка. Публика просила повторить дуэт. Григорий отпустил рыцаря. Вынужден был это сделать. Рыцарь двинулся в противоположный конец сцены, опять к оркестру. В оркестре его спасение, это точно. Зачем он поступил в мимический ансамбль? Лучше бы занимался тетрадами Бетховена. Сидел тихонько в библиотеке. Кстати, надо будет спросить у Гусева в отношении Бетховена — неужели Бетховен был учеником Сальери? Какая несправедливость. Хотя чего удивляться — на глазах у всех человека на сцене травят. Это справедливо? И позвать на помощь нельзя — наверняка не убежишь, а, наоборот, тебя поймают. Парадокс? Конечно. Как Бетховен и Сальери. А Моцарт в четырнадцать лет был избран «кавалером филармонии», и папа римский с ним встречался. Тоже парадокс? Конечно. Потому что Ладьке тоже сейчас четырнадцать, а где сейчас Ладька?

Спектакль в Большом театре закончился. Сцена очистилась от декораций и опустела. Занавес был закрыт. На сегодня он тоже отыграл свое, перестал размахивать тяжелыми кистями.

Внутри оркестровой ямы, между пультами, пробирался на четвереньках Ладька. Он все еще был в костюме рыцаря, только шлем снял и расстался с бумажной секирой. Из оркестра уходили последние музыканты. Пристегнутые ремешками за грифы, контрабасы выстроились вдоль стены. «Как верблюды», — подумал Ладька.

Он добрался до пульта первой скрипки. Сел. Примерился. Мимо прошел один из оркестрантов. Он торопился. Не разобравшись, кто сидит за пультом, сказал:

— Мое почтение.

Ладя сполз со стула и на четвереньках двинулся дальше. Так сказать, сила обстоятельств.

Вдруг Ладька увидел колокола. Настоящие! Не бумажные! Они таинственно мерцали в полумраке. Древний и незнакомый инструмент.

— Мое почтение! — сказал Ладька и теперь, решительно выпрямившись, двинулся вперед. Померкли все страхи. Снова пробудилась в человеке личность, жажда познания. Риск и независимость.

И вскоре мощный гул древнего и незнакомого инструмента раскатился по затихшему на ночь Большому театру. Так звонили на Руси, когда видели полчища врагов, или в Новгороде, когда вольнолюбивый город собирал свое вече.

Охрана театра онемела, приросла к месту. Потом очередной всплеск колокольного звона, будто вихрем, подхватил охрану, и она, стуча сапогами, понеслась по коридорам и лестницам, спотыкаясь в темноте и врезаясь головой в бархатные портьеры. Свистки, крик, шум. Замигали индикаторные сигналы, как в музеях, когда кто-нибудь вздумает похитить ценную картину.

В раздевалке замечались перепуганные зрители, не успевшие уйти из театра.

— Нефтепродукт... — прошептала Кира Викторовна.

— Что? — не понял Григорий. — Какая нефть? Откуда?

— Моя нефть.

Григорий решил дальше на эту тему не говорить. Он вообще не предполагал, что его премьера закончится милицейскими свистками.

Часто в жизни возникают неожиданные обстоятельства, и, казалось бы, простые грамматические предложения вдруг сразу превращаются в сложноподчиненные или сложносочиненные, и тогда требуется новый взгляд на обстоятельства и новые пути к их преодолению. Это в полной мере относилось сейчас к Григорию Перестиани и к директору школы Всеволоду Николаевичу. Им было над чем поразмыслить. Обоим. Директор сидел в своем кабинете за письменным столом, обхватив голову руками. В кабинет вошла Алла Романовна.

— Я обещала, кажется, поработать с органом и скрипачами, — сказала она.

Директор поднял глаза и посмотрел на Аллу Романовну безнадежным, отсутствующим взглядом.

— А куда они все подевались? — спросила Алла Романовна. — Бегаю по этажам.

— Бегать не надо. Идите домой. Ночь уже.

— А скрипачи?

— Скрипачи... — повторил директор и, как комендант Татьяна Ивановна, посмотрел на потолок. — На складе, например, в Институте красоты или звонят в колокола...

У Аллы Романовны от удивления расширились глаза. Она молча прикрыла за собой дверь директорского кабинета.

Всеволод Николаевич сидел неподвижно, потом встал из-за

стола и подошел к дивану. Взобрался на спинку дивана и толкнул фрамугу. Она, конечно, с легкостью поддалась.

Директор просунул голову в коридор, и тут лицо его преобразилось: на лице было счастье, торжество победы. Может быть, впервые директор почувствовал, что способен понимать своих учеников, ход их мыслей, их возможности. Значит, он был директором где-то глубоко в душе.

На Всеволода Николаевича со стороны коридора смотрели Татьяна Ивановна, Верочка и Алла Романовна, которая приподнялась на цыпочки, и поэтому ее туфли как бы самостоятельно остались на полу.

В конце коридора показался часовщик с лестницей. Он крикнул:

— Что? Еще один лезет? — Часовщик уже слышал о происшедшем.

Часовщик не отгадал в директоре директора. Но главное, Всеволод Николаевич отгадал в себе директора и был счастлив этому, как никогда, тем более день прошел и быть директором было уже безопасно.

Перестяни скромно шел рядом с Кирой Викторовной. У него не было нового взгляда на обстоятельства и новых путей к их преодолению. Он еще не почувствовал, что способен понимать Киру Викторовну и всех ее Паганини. Где-то в глубине души, кроме просто терпеливого человека, он никем еще не был — воспитателем, экспериментатором или руководителем ребячьего коллектива. Скромно мечтал о тишине, о нормальной жизни и о своей нормальной работе, пока еще, к счастью, не связанной с грядущим поколением.

Возвращался домой Андрей Косарев. Ни о ком и ни о чем ему не хотелось думать, хотелось, чтобы все оставили его в покое. Но виноват был во всем сам, и это угнетало еще больше. Нелепость за нелепостью. Идиотство какое-то.

Андрей поднялся на лифте и резко позвонил в дверь. Это был старинный кирпичный дом с лепными украшениями, где в квартирах жило по несколько семей, где двери еще хранили фамилии жильцов на металлических пластинках, написанных через букву «ять», и круглые отверстия от механических звонков-вертушек. В таких квартирах часто живут потомственные москвичи. Это называется — жить в черте старого города.

Дверь открыла женщина в теплом стеганом халате, в матерчатых, потерявших цвет туфлях. Мать Андрея Косарева.

— Я изнервничалась! Тебя нет весь день. Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

В коридоре появился сосед. Он был небольшого роста, из-под рукавов пиджака торчали несвежие манжеты, которые до

половины закрывали ладони коротких рук. Сосед был слегка пьян.

— Обнаружился сын? — спросил он.

— Да, Петр Петрович, — сказала мать Андрея сдержанно.

— Талант — он беспощаден. — Соседу хотелось поговорить. — Талант служит только прекрасным... э-э... музам... пегасам... парнасам...

Из-за дверей просунулась женская рука и утянула Петра Петровича в комнату.

— Где ты был? Прошу тебя... — сказала мать Андрею. Она беспрерывно теребила ворот халата пальцами. У нее было худое болезненное лицо, вокруг глаз большие темные круги. Она возлагает на сына все свои надежды и, очевидно, часто говорит ему об этом.

— Служил прекрасным музам. — Андрей направился в ванную комнату мыть руки.

Мать пошла за ним.

— Не надо шутить, Андрюша. Ты у меня один.

— Я не шучу. И я знаю, что я у тебя один. — Андрей пустил в раковину сильную струю воды, так что брызги полетели на пол.

Мать смотрела на него. Молчала. Андрей это чувствовал, что она смотрела. Он устал от этого ее взгляда изо дня в день. Она ждала от него того же, чего он ждет сам от себя. Но лучше бороться за себя, чем ежедневно чувствовать на себе этот взгляд, молчаливый и упорный. Видеть руки, которые беспрерывно теребят ворот халата. Андрей до сих пор даже не знает, что такое для матери музыка — средство к пониманию мира или средство к завоеванию мира. Или она любит музыку, как дорогую вещь, которая случайно оказалась в комнате. Может быть, он сегодня просто несправедлив? К матери, к себе, к соседу, к Рите. И даже к музыке. Ко всем и ко всему.

А на другом конце города в длинной ночной рубашке и в очках стояла на кровати Маша Воложинская и держала на плече скрипку. Волосы, которые рассыпались по плечам, касались скрипки и были с ней одного цвета. Воротник ночной рубашки был поднят, как у вечернего платья, и Маша придерживала его свободной рукой, чтобы был еще выше.

В комнату вошла мать.

— Почему не спишь?

— Как я буду выступать, когда вырасту? В очках и в вечернем платье? — Маша все еще не отпускала воротник ночной рубашки. Скрипка лежала у Маши на плече и была до половины прикрыта волосами.

— Вырастешь, и поговорим. Сейчас — спи.

«Я уже выросла», — подумала Маша. Дома этого не замечают.

Она отдала скрипку, легла под одеяло. Мать сняла с нее очки, положила рядом со скрипкой. Никто в семье очков не носил, только одна Маша. С детства.

— Я слышала, вы ссоритесь в школе?

— Из-за Моцарта и Сальери, мама. Сальери отравил Моцарта, ты в это веришь?

— А в это надо верить или не верить?

— Конечно. Как же еще, мама?

— Поэтому деретесь?

— Следующий раз я буду драться, — сказала Маша. — Не испугаюсь!

Мать ничего не ответила. Может быть, она подумала о том, что дочка выросла и произошло это в один день, а именно — сегодня, и без всякого вмешательства родителей. Скрипка, казалось бы, такая неприметная, скромная вещь, а в ней запрятана не только музыка, но и восприятие всей жизни, и уже вполне серьезное и самостоятельное, требующее определенных взглядов, и никто не властен над этим, кроме скрипки. Даже родители.

— Мама, а ты знаешь, кто мой любимый композитор?

— Спи, ты уже сказала.

— Разве?

— Конечно.

— А когда папа купит мне шкаф для нот?

— Теперь обязательно купит.

Маша засыпает, покорная все-таки детству, потому что это был только один, первый день из ее первого повзросления.

Снится ей маленький скалистый остров в Средиземном море. Франсуаза рассказывала, остров напротив марсельского порта. Совсем близко. Франсуазу возил туда на лодке друг ее отца, рыбак. На острове крепость. Теперь это музей, а раньше была страшная тюрьма, где долгие годы просидел в заточении граф Монте-Кристо. Любимый герой Маши. Называется крепость Иф. Монте-Кристо умел постоять за себя. А Моцарт? Если бы он был таким, как граф Монте-Кристо, он был бы несокрушим. Но почему Моцарт и граф не встретились? Тогда бы Моцарт не погиб. Ничего бы с ним не случилось. Монте-Кристо не допустил бы этого.

На острове продают открытки крепости и ставят на память штамп. Когда Франсуаза поедет во Францию на каникулы к отцу, она пришлет открытку со штампом. Обещала.

Оля отперла шпильтыш, вытянула педальную клавиатуру, придвинула скамейку. Отрегулировала высоту. За орган надо уметь садиться, чтобы сразу обе ноги ловко попали на педали; и вставать из-за органа надо уметь, круто повернуться и спрыгнуть со скамейки тоже на обе ноги одновременно.

Оля вынула из папки ноты, поставила на шпильтыш. Села на скамейку. Оставалось только нажать кнопку пуска мотора, и тогда — первые клавиши под первыми пальцами. Как будто в первый раз. У всех так или у нее одной? Когда это кончится? Или никогда? И этому надо радоваться и бояться, если вдруг все сделается по-другому, нестрашным, привычным и доступным. Когда будешь знать всегда, как ты начнешь и как ты закончишь; будешь владеть собой постоянно и одинаково уверенно и, значит, будешь играть всегда одинаково, как и спрыгивать со скамейки. Оля недавно прочитала, что исполнитель не возобновляет музыку, а рождает ее заново для себя и для других. Значит, так было и так будет.

В учительской — короткое совещание перед концертом. Последнее. Больше ни одного совещания провести не удастся: не будет времени. На совещании идет разговор тоже о времени, о минутах.

— Вы сказали — четыре с половиной минуты? — переспросила Верочка преподавателя по классу трубы.

— Да, — ответил преподаватель. Он носил военную форму, но без погон. Недавно был демобилизован из армии. — И я уверен, мой воспитанник с честью преодолеет первый в жизни редут.

Он закончил выступать и сел на место.

Все преподаватели были достаточно напряжены и чувствовали это друг в друге. Каждый раз концерты учеников, да еще на большой ответственной эстраде, — это беспрерывные волнения от начала до конца. Возможны любые происшествия, как мелкие (вышел со скрипкой и забыл в артистической комнате смычок), так и крупные (оставил дома ноты своей партии, в последний момент сломал трость — нечто в виде деревянного мундштука, сделанного из свежего камыша, — без чего нельзя играть на кларнете или гобое, или просто разбил лицо, как это случилось с Франсуазой).

Всеволод Николаевич поглядел в блокнот.

— Люда Добрякова, «Романс без слов», класс педагога Ярунина. «Мелодия» Кабалевского — Петя Шимко. Сюита Синдинг — Женя Лавришева, и партию второго фортепьяно — Дима Саркисов. Сколько получается минут, Верочка? — И, не ожидая ответа Верочки, директор начал сам подсчитывать: —

Семь... Семнадцать... И еще надо прибавить... Понятно. А как Дима Саркисов? Как его руки?

— Может быть, только левая рука в полной мере меня не удовлетворяет,— ответил педагог фортепьянного отделения.

Кто-то из молодых учителей тихонько сказал:

— Левая рука... левая нога...

Кто-то еще тихонько добавил:

— Руки как ноги... а голова...

Голову подняла Верочка и укоризненно взглянула на молодых учителей. Они замолчали.

— А как с хором младших школьников? Кто у них дирижирует?

С места встал руководитель хора:

— Зоя Светличная из шестого класса. Тоже первый редут.

— Это что — совет в Филях? — прозвучал насмешливый голос Ипполита Васильевича.

Все замолчали.

И без того в воздухе еще сохранилось напряженное состояние после вчерашних событий со скрипачами. В особенности после колокольного звона.

— А что вы ждете, генералы? Юный Рахманинов, как вам известно, провалился со своей первой симфонией. У Вагнера на премьеру оперы в Магдебурге пришло три человека. Провалился с треском.

Всеволод Николаевич сказал:

— Ипполит Васильевич, вы как-то, извините, не туда, может быть.

— И Скрябин на концерте не попал на клавиши.

— Что вы, Ипполит Васильевич, с утра прямо начали,— сказала Верочка расстроено.— Не буду писать в протокол.

Старик улыбнулся:

— Уже записано.

— Где?

— В протоколе истории, уважаемая Вера Александровна.

— Вы хотите, чтобы и мы все в историю? — не сдавалась Верочка, пощелкивая шариковой ручкой, как винтовочным затвором в тире.

— Помилуйте, Вера Александровна, при жизни нам всем стыдно на это претендовать, не этично.

Верочка промолчала.

— В колокола звонят... так сказать, вечерний звон! — Старик покрутил в воздухе палочкой, будто погонял возницу своей кареты. Он был в прекрасном настроении.

Кира Викторовна вскочила и взволнованно сказала:

— Моя вина! Но я продолжаю настаивать...

— Успокойтесь,— сказал директор.

— Мы все уже уладили,— сказала Верочка.

— Да-да. Мы это быстро,— кивнул директор.— С утра прямо извинились перед театром.

— И Управлением общественного порядка,— сказала Верочка.

— Да-да. Очень милые люди. Имеют собственный духовой оркестр.

— Мои скрипачи будут выступать! Первый редут... последний! «Олимпийские надежды». Мне все равно! — Кира Викторовна села на место, решительная и непреклонная.

Директор уже опять не хотел быть директором.

— А мне нравится, когда колокола,— прозвучал насмешливый голос Ипполита Васильевича.

— Надо воспитывать, а не только экспериментировать,— сказала Евгения Борисовна.— Я предупреждала Киру Викторовну, эксперимент... психология...

— Психология — тоже воспитание. А еще и двойки ставить надо.

— Ипполит Васильевич,— вмешался в разговор преподаватель музыкальной литературы, «музлит», — вы Юре Ветлугину поставили двойку за сочинение по полифонии. Переживает.

— У меня других отметок нет — два или шесть. Вот моя фортификация!

— Ну а... — начала было Верочка.

— Что, Вера Александровна?

— Вы говорили, он увлекается полифонией. Имеет собственные мысли о Беле Бартоке. Вчера только.

— Я музыку преподаю, а не стрельбу по мишеням. Можно десять очков выбить без огорчений. А музыка требует огорчений, и Кира Викторовна права, когда она их так вот... не по шерстке. Права. Одобряю! Шуман сказал: «По отношению к талантам не следует соблюдать вежливость». — Старик сердито ударил палкой об пол.— Никакого сюлентяйства! Тогда рождается индивидуальность. Вот он знает, учился у меня.— Ипполит Васильевич показал на директора.— Двойки имели, Сева?

— Имел,— сказал директор и слегка по привычке вздрогнул.

— То-то,— сказал Ипполит Васильевич.

Директор, как и Верочка, на всякий случай промолчал.

— Кто может сразу на шесть, тот получает два, потому что старается продемонстрировать хороший вкус к музыке. А подлинный талант должен научиться плевать на так называемый хороший вкус! Тогда я спокоен за его будущее. Вы самобытный музыкант, Сева, и, кажется, самобытный директор тоже.

Старик закрыл глаза и отключился от происходящего, поехал куда-то в карете. Его любимое занятие — так уезжать со всех заседаний и педагогических советов.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По главной лестнице Малого зала консерватории поднимались композитор Савин-Ругоев, органист-англичанин, переводчица и официальные лица — работники Госконцерта.

— Мистер Грейнджер никак не может привыкнуть, что у нас органы не в храмах, а в концертных залах, — сказала переводчица, изящная белокурая девушка. — Органист рядом с публикой, для которой играет, и он артист; поверьте, — это большое удовольствие. Органист — подлинный участник концерта. — Переводчица улыбнулась. Она не только передавала содержание того, что переводила, но старалась передать и эмоциональную окраску.

Мистер Грейнджер энергично кивнул. В темно-синем камзоле, высокий, сухощавый, коротко стриженный.

— И потом, аплодисменты... В храмах они запрещены, — сказала переводчица. — Мистер Грейнджер счастлив был выступать в Советском Союзе. Он постоянно чувствовал публику. Был прямой контакт. Орган приравнен к концертным инструментам.

Мистер Грейнджер опять энергично кивнул.

Савин-Ругоев, мистер Грейнджер и официальные лица вошли в Малый зал. Навстречу им направились Всеволод Николаевич и Ипполит Васильевич.

В глубине сцены была полуоткрыта дверь, и через нее в зал смотрели молодые аккомпаниаторы. Обсуждали.

— Читала беседу с журналистами? Его спросили: «А разве Баху не понравился бы рояль?» Он ответил: «А разве Рембрандту не понравился бы фотоаппарат?»

— Посмотрите на Ипполита: кавалерист!

К наблюдательному пункту подошла Евгения Борисовна:

— Серьезнее надо быть.

— А мы серьезные, Евгения Борисовна.

— Не чувствуется. — Евгения Борисовна посмотрела на Киру Викторовну.

Кира Викторовна нервничала и не пыталась этого скрыть. Около Киры Викторовны стояла старушка, преподаватель хорового класса. Прижимала к груди пачку нот, футляр с очками и камертон.

— Этот мистер... — бормотала старушка. — У ребят руки и ноги отнимутся. Кирочка...

Евгения Борисовна подошла к Кире Викторовне:

— Снимете своих из программы?

— Нет.

— Ладя Брагин еще не пришел. Я проверяла.

— Знаю. Я тоже проверяла.

— Снимите.

— Благоразумие губительно для музыки. — Ничего иного Кира Викторовна сейчас ответить не могла.

— Господи, Кирочка... — бормотала старушка. — Отчаянная вы душа.

У наблюдательного пункта толпа увеличивалась. Всем любопытно было поглядеть в зал. Концерт на высшем уровне. Не Москва ль за нами!

— Как ваш трубач? Жив? — спросили преподавателя в военной форме.

— Трубач — это воин, — сказал преподаватель. — Меч он носил с обломанным острием специально, и единственным его оружием была труба.

Говоря эту храбрую речь, преподаватель не отрывал глаз от щели в дверях.

— Трубачи, вперед! — пошутил кто-то.

— Пора. Давно пора! — неожиданно проскрипел голос старика Беленького.

Все в страхе оглянулись. Еще бы! Только что своими глазами видели старика рядом с Савиным-Ругоевым и мистером Грейнджером, и тут... нате вам!

Но это подошел «музлит» и проскрипел голосом Ипполита Васильевича. Как всегда, он был в тюбетейке.

— Не преступно, но... — засмеялись молодые аккомпаниаторы и посмотрели на всякий случай, где Евгения Борисовна.

А в зале гости, Ипполит Васильевич и директор обменивались рукопожатием, звучали слова приветствий.

— Мистер Грейнджер говорит, — сказала переводчица, — что в детстве у него имелось только пианино и он учился на нем, как на органе. Мануальная клавиатура соответственно была...

Мистер Грейнджер провел в воздухе пальцами, исполнил пассаж.

— А педалей не было, конечно. И мистер Грейнджер вынужден был просто ногами давить пол вместо педалейных клавиш.

Органист смешно запрыгал, нажимая в пол то пятками, то носками ботинок.

— И еще петь партию ног, — сказала переводчица, улыбаясь. Казалось, она едва сдерживалась, чтобы не запрыгать, как мистер Грейнджер. — Или заставлял петь отца, кото-

рый сидел рядом. В органной музыке, говорит мистер Грейнджер, очень важны ноги. Надо правильно думать ногами, если ты хочешь быть исполнителем, а не просто гудеть на органе.

Англичанин казался добродушным, веселым. Его танец ног всех рассмешил.

— Мистер Грейнджер хотел увидеть ваших... злодеев, — сказал Савин-Ругоев Всеволоду Николаевичу. — Я счел возможным пригласить его.

Органист энергично закивал.

— I'm glad that I've come<sup>1</sup>.

— И я очень рад, — вежливо улыбнулся Всеволод Николаевич.

— Он, конечно, очень рад, — подтвердил Ипполит Васильевич. — Вчера даже звонил в колокола. Переводить не обязательно. — Это Ипполит Васильевич сказал уже переводчице. Она ему нравилась.

Один из работников Госконцерта попросил сказать мистеру Грейнджеру, что в Советском Союзе только за последние годы построено тринадцать больших органов и четыре учебных.

— Поразительно! — воскликнул англичанин. — Меня это не перестает удивлять.

Но тут в лице его произошла перемена, голос начал звучать резко. Переводчица спешила за словами мистера Грейнджера. На ее лице тоже произошла перемена.

— Но чтобы не снизить ответственность учеников перед инструментом! Он требует необычайной серьезности. Как сказал Матисс, когда рисуешь дерево, надо чувствовать, как оно растет... Это в полной мере относится и к органу. Я беспощаден, если чувствую непонимание инструмента. Фальшь! Готов закричать петухом!

Переводчица закончила перевод. Но мистер Грейнджер повторил почти угрожающе:

— Да! Петухом, джентльмены!

Всеволод Николаевич, кажется, был вполне согласен, что надо кричать петухом, а Ипполит Васильевич, беспечно постукивая палочкой, отправился вдоль кресел выбирать себе место.

В артистической комнате единственный рояль был завален запасными смычками, перчатками, букетами мимозы, дамскими сумками. Но это не мешало аккомпаниаторам присаживаться к роялю. Они вытесняли друг друга со стула, говорили:

— Дай прикоснуться.

На внутренней лестнице, которая соединяла балкон Малого зала с артистической, стояли ребята с инструментами. Кто упражнялся беззвучно, кто тихонько тянул смычком по стру-

нам, кто подклеивал ноты клейкой лентой. Девушка баскетбольного вида дышала на гриф контрабаса и на струны — разогревала инструмент. Литавристы барабанили палочками с войлочными наконечниками по футлярам от виолончелей. Мальчик с флейтой наблюдал за литавристами. У него был забавный шнурочек первых усиков. Этот шнурочек помогал ему быть снисходительным. Мальчик спросил литавристов:

— Ученые зайцы, а спички вы умеете зажигать?

Литавристы молча продолжали барабанить. Двое пианистов разговаривали, тоже пытались шутить:

— Я что, я за себя не волнуюсь.

— Ты за композитора волнуешься?

— Сопереживаю.

Ребята подходили, и каждый просил: «Дайте ля», и подстраивал инструмент. Нота «ля» звучала повсюду. Она кружилась в воздухе, как большая назойливая муха.

Прошел мальчик с трубой, а с ним преподаватель в военной форме. Оба были полны достоинства, решительности; мужчины идут совершать ратный подвиг. Звуков трубы всегда боялись побежденные, как величайшего позора. Почувствуют ли себя побежденными гости в зале? А вдруг не захотят?

Павлик Тареев был в белой рубашке и в маленьком черном галстуке — подлинный музыкант, артист оркестра.

Перед Павликом стоял рабочего вида человек, большой, сильный. Одет он был в новенький костюм и в новенькие ботинки. Павлик по-деловому оглядел его.

— Ну как? — с беспокойством спросил человек.

— Гармонично, папа.

Если сын был преисполнен солидности, то отец, напротив, был растерян, потому что оказался в незнакомой обстановке. Павлик первым в истории семьи стал музыкантом, и семья никак к этому еще не привыкнет. Тем более, Павлик и дома учит жить, провозгласил единовластие и заставил всех полюбить скрипку или подчиниться ей.

Промелькнула Алла Романовна с хозяйственной сумкой, раскрыла окно и положила между рамами свертки.

— Я родителей не привел, — сказал юный композитор друзьям. Сегодня он сделал уступку обществу — он был не таким лохматым, и вместо клетчатой рубашки на нем была белая, и тоже с маленьким черным галстуком.

— А мои сами пришли.

— Мои сами не придут. Не рекомендовал, и все.

В это время раздался несмелый женский голос:

— Юра...

— Тетя? — сказал композитор. — Я же не рекомендовал! — И он сурово взглянул на тетю.

<sup>1</sup> Я рад, что я пришел (англ.).



— Извини, ты забыл носовой платок. Мы с дядей вынуждены были...— Сзади тети маячила фигура дяди.— А мама с папой...

Тут на тетю очень выразительно взглянул дядя.

— Ты не рекомендовал, и они не придут,— поспешно сказала тетя.

Появился Гусев. Погрыз ноготь на указательном пальце, сказал:

— Концертируете? Одобряю.

Подергал своего друга, юного композитора, за черный галстук и ушел. Может быть, опять в библиотеку, может быть, в Государственный музей, в отдел музыкальной культуры, может быть, в Центральный музыкальный архив, а может быть, в архив Дома Глинки. Татьяне Ивановне он разрешил присутствовать на концерте. Она ему сейчас не нужна. Бетховен тоже иногда предоставлял Цмескалю свободу.

Сидела в артистической Чибис. Вместо привычных зимних ботинок она была в туфлях на каблуке. Чибису сегодня хочется быть нарядной. Хотя играть на органе в туфлях на каблуках очень неудобно.

Чибис смотрела в сторону Андрея, который стоял у окна. Она понимает, надеяться не надо — Андрей не обратит на нее внимания. Но что поделаешь. Кто-то умеет быть сильнее обстоятельств, она не умеет. Пыталась столько раз! Давала себе слово. Самое решительное, последнее. А может быть, никто никогда и не борется с обстоятельствами, а только делает вид, что борется?

Андрей стоял мрачный и неразговорчивый. Ему не давало покоя его вчерашнее поведение. Кому и что он доказал? Себе самому что-нибудь доказал? Рите? Только на Овчинникова произвел впечатление. С чем вас и поздравляем. Рита сидит в зале. И ребята сидят. Что они думают о нем! А тут еще опять этот Ладья. Все на месте, его нет. Трубадур.

На Франсуазе сегодня не было сережек и браслета — серебряного колесика, а был повязан огромный бант, сверкал, переливался. Но на щеку пришлось наклеить пластырь. Правда, Франсуаза надеялась, вдруг случится чудо: зрители за бантом не увидят пластыря. Франсуаза примерялась, укладывала на плечо скрипку. Маша помогала ей, поворачивала бант, словно пропеллер самолета, чтобы не мешал скрипке. А Маша сама была в белом платье, легком и коротеньком и чем-то напоминавшем маленький абажур на тонкой стеклянной свече. От волнения Машины щеки покрыты румянцем, руки тихонько дрожат, и поэтому тихонько вздрагивает бант, который она поворачивает на голове Франсуазы.

Павлик втолкнул в зрительный зал своего отца. Сказал ему.

— Не волнуйся.

Отец кивнул. Он постарается не волноваться.

В зале было много народу. В основном родители и всех степеней родственники. Похоже на школьное собрание, на котором прочтут отметки. Родители и родственники достали носовые платки, нервничали.

Сим Симыч проверил на ребятах — на ком был маленький черный галстук, — как галстук надет. Такой же галстук был и на самом Сим Симыче, конечно. В нем он ходил уже с утра.

Сидели бабушка и дедушка Чибиса. Одеты были старомодно и очень аккуратно. На бабушке — темное гладкое платье, сверху накинута шаль. Дедушка — в поношенном костюме, но отпаренном, чтобы не блестели швы.

— Оля печальная, молчит,— сказала бабушка.— Все последние дни такая.

— Человек молчит, значит, человек думает. Мыслит,— решительно сказал дедушка.

— Сложное вступление в шестом такте. Не успеет взглянуть в зеркальце на первую скрипку,— не успокаивалась бабушка.

— Это место знает наизусть. И будет смотреть только в зеркальце.

— Туфли надела новые. На каблуке.— Бабушка понимала, как это опасно, когда играешь на органе на педальных клавишах и туфли у тебя новые и на каблуках.

Старик начал раздражаться:

— Туфли я потер наждаком. И хватит. Прекрати!

Сидела Рита Плетнева с друзьями — Сережей, Иванчиком, Наташей, Витей Овчинниковым. «Гроссы» незаметно играли в шахматы. У них был шахматный блокнот. Рита сидела независимая, в руках у нее был театральный бинокль. Он ей, по существу, не был нужен, и она его вертела в пальцах, забавлялась.

В артистической по-прежнему летала нота «ля», колотилась об оконные стекла. Хотелось ее прихлопнуть, чтобы наконец наступила тишина.

— Кто-нибудь видел Брагина? Павлик? Ты видел? — спрашивала Кира Викторовна.

— Нет,— сказал Павлик.— Я его не видел.

Сказать для Павлика «нет», «не видел», «не знаю» — не так просто.

— А ты, Маша? Не звонил он тебе?

— Не звонил,— сказала Маша.

— И нам не звонил,— сказали «оловянные солдатики».

Ладя иногда звонит «оловянным солдатакам» Просто так. Для смеха. Говорит что-нибудь такое: «Господинчик мой,

твоего золотого папочку вызывают к директору, потому что недостаточно, а-ам, ешь канифоли».

— Поднимите плечи,— это Кира Викторовна сказала «оловянным солдатам»,— отведите назад. Выпрямитесь. Чтобы так стояли на сцене.

Кира Викторовна сняла шерстяную кофту, набросила на плечи одному из них. Второго увернула в чей-то платок, который взяла с крышки рояля.

— Андрей, не спеши. Дай всем одновременно взять первую ноту. Должен ясно показать. Оля? Гончарова? — Кира Викторовна хотела сказать Оле, что в зале присутствует знаменитый органист, но заметила, как беспокойны Олины руки.

Кира Викторовна ничего не сказала об органисте.

— Булавки есть? — спросила она.

Оля отрицательно покачала головой.

— Принесите булавки, Ганя, у меня в сумке. Найди сумку.

Ганка отыскала на крышке рояля сумку, принесла булавки. Кира Викторовна приколола Оле плечки фартука к платью, чтобы не свалились и не мешали играть.

— Где же, в конце концов, Ладя? — Кира Викторовна в который раз с надеждой посмотрела на дверь артистической.

— Вечно его штучки! — Андрей изменился в лице.— Парazit!

— А кланяться когда? — вдруг спросил «оловянный солдатик», на котором был кофта.

— Когда хлопать будут,— сказал Павлик.

— А если не будут? — спросил другой «оловянный солдатик», повернутый в платок.

— Мы скрипачи. Артисты,— сказал Павлик.

«Оловянные солдатики» вытянули шеи и попытались поклониться. Это было нечто среднее между поклоном и падением, когда говорят: «Он все-таки устоял на ногах».

На асфальте лежала скрипка. На нее надвигались колеса грузовика. Казалось, случится непоправимое, но шоферу удалось пропустить скрипку между колесами. Ее только обдало выхлопным газом и мелкими комочками снега.

Ладя изучал автомобиль «Мерседес-240», который стоял посредине мостовой на резервной зоне. Все для Ладьки куда-то исчезло.— Малый зал, ансамбль, Кира Викторовна. Ладька не был плохим человеком, нет. И он никого не хотел подводить, но Ладьку помимо воли непрерывно что-то отвлекало от того основного, чем он обязан был заниматься.

Ладя детально разглядывал «мерседес» снизу. Он знает, с чего надо разглядывать любой автомобиль. Ладька почти лежал на асфальте, подсунув под «мерседес» голову. Скрипку

он положил на проезжую часть сзади себя. О ней он тоже сейчас забыл. Его интересовал «Мерседес-240». Вместо рессор — пружины, глушитель покрыт асбестом, коробка скоростей под пломбой. Крылья снизу обработаны чем-то вроде каучука, чтобы не ржавели.

В кармане куртки Ладя носил «Правила уличного движения». Требовалось выучить наизусть. Новое и вполне серьезное увлечение. Может быть, на всю жизнь. Однажды Евгения Борисовна объясняла тональную секвенцию и увидела на парте у Ладьки вместо нот таблицу знаков уличного движения. Что потом было, вспомнить страшно! Целый урок Евгения Борисовна заставила Ладьку петь аккорды и писать на доске секвенции. Ладька повис тогда на волоске — получил три с минусом. Через два дня пришел исправить отметку и исправил: Евгения Борисовна зачеркнула минус. Еще через два дня пришел — Евгения Борисовна прибавила к трем плюс, хотя Ладька к секвенции прибавил еще и каденцию.

Раздался милицейский свисток. Совсем как в Большом театре. Ладя вдруг понял, куда он положил скрипку и что вообще ему давно пора быть в консерватории.

Близко подъехал велосипедист — первый, весенний, с надетой через плечо запасной покрывкой. С любопытством поглядел на Ладьку и на скрипку на асфальте.

— Разочаровался? — спросил он Ладю.

Ладька хотел ответить ему что-нибудь подходящее, но с перекрестка уже шел регулировщик.

Ладька схватил скрипку и как пуля исчез с глаз милиционера. Вот так всегда он вынужден поступать в решительные минуты жизни.

В артистическую вбежала Верочка в своем пиджаке, тоже как пуля.

— Нигде не нашла!

— А в буфете смотрели?

— Смотрела. И на улицу бегала. Нигде нет.

Кира Викторовна стояла неподвижно. Даже Андрей перестал заниматься окном. У «оловянных солдатиков» на лицах было величайшее отчаяние — они, как никогда, были готовы к выступлению. Дед что-то прошептал «оловянным солдатам», потом развел руками: обстоятельства бывают сильнее людей, даже самых опытных в жизни, таких, как Павлик.

Вдруг Кира Викторовна помчалась вниз в раздевалку, схватила шубу и выскочила на улицу. Тоже... как пуля. Кире Викторовне сложнее всех, потому что все кончается на ней: Кира Викторовна ответственная за события. В школе, говоря в шутку об учителях, называют их авторами — автор такого-то виолончелиста, трубача, барабанщика, теоретика. Она автор

этого ансамбля, и переполненный зал ждет, какое она выставит «произведение».

На сцене Малого зала консерватории тишина, и в зале наступила тишина. Так бывает перед началом концертов. Начало все угадывают, и те, кто в зале, и те, кому выступать. Это особое свойство концертов, когда зал и те, кто в артистической комнате, начинают понимать, что именно сейчас все и начнется. Что больше отмалчиваться нельзя.

Свет в зале погас, а на сцене, наоборот, вспыхнули добавочные лампы, и сцена сделалась выпуклой и опасной. Она перестала быть просто деревянным возвышением, она сделалась центром внимания, эстрадой. Сейчас она будет превращать школьников в самостоятельных артистов.

На эстраду вышла Верочка и громко объявила:

— Начинаем отчетный концерт учащихся детской музыкальной школы... будут принимать участие... младшие и старшие...

Время концерта наступило, и даже Верочка ничего другого не могла придумать, только объявить так вот длинно и официально, чтобы выиграть еще несколько последних секунд. Последние секунды часто решают все: можно окончательно победить или окончательно проиграть.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кира Викторовна мчалась, только уже на такси. Потом она звонила в двери каких-то квартир. Если долго не открывали, стучала кулаком. Лади нигде не было. А соседка по квартире сказала: «Никогда не знаю, где он со своей скрипкой ходит». Ладья жил со старшим братом. Брат — археолог, работал в экспедиции, «копал антику и средние века». Поручил соседке присматривать за Ладей, и соседка присматривала как могла.

Кира Викторовна вскочила в будку телефона-автомата и позвонила мужу. Потребовала от него помощи, а он в ответ, конечно, закричал: «Опять твои Паганини! На край света сбегу! К вечной мерзлоте куда-нибудь или еще дальше!»

В Малом зале на эстраде выступал трубач. Маленький, но все-таки смелый. Может быть, в звуках трубы иногда и звучала тревога, а может быть, это только казалось тем, кто знал о событиях, происходивших в артистической.

Маленький трубач ушел под громкие аплодисменты: он победил. За кулисами трубача ждал счастливый преподаватель — его войско справилось с поставленной задачей.

На сцене выстроился хор младших школьников. Еще одно войско. Еще одна тактическая задача. Дирижер — Зоя Свет-

личная, ученица выпускного класса. Тихонько голосом Зоя дала начальную ноту, подняла руки. Хор начал песню. Сообщая сражаться не страшно.

Концерт двинулся от номера к номеру. Руководила концертом Верочка. Ее задачей было, чтобы концерт, как мчащиеся по утрам пульта и стулья, миновал все опасные повороты и перекрестки и не угодил бы в тупик.

Директор сидел среди уважаемых гостей. Был спокойным, благодушным: Рахманинов провалился, Скрябин не на те клавиши попал, у Вагнера — три человека в зале, а здесь — верные ноты и зал полный. Может, и скрипачи отыграют прилично. Кира Викторовна, очевидно, их там, за кулисами, накачивает, разогревает. В конце концов подлинное высокое искусство всегда рождается в муках.

...Кира Викторовна, сама разогретая, бежала по внутренней лестнице консерватории. Шубу в раздевалке не сняла — некогда. От вчерашней прически ничего не осталось: голова была такой же лохматой, как у юного композитора.

Киру Викторовну встретила Верочка:

— Ладя на месте! Номер объявила.

Кира Викторовна побежала дальше, в зал, на балкон.

На балконе густо стоял народ, были забиты все проходы. Кира Викторовна пробралась вперед, увидела сцену. На сцене «оловянные солдатики» и все участники ансамбля. Но Ладя даже не потрудился переодеть брюки, и стояли рядом два красавца: Ладя в джинсах — пришелец с Дикого запада — и Франсуаза с огромным роскошным бантом и пластырем на щеке — колониальная барышня из того же фильма. Да еще Дед в «гаврилке». Ничего себе мизансцена!..

За органом Чибис. На регистрах Алла Романовна.

Сзади Киры Викторовны появился Григорий Перестиани. Тронул ее за рукав шубы. Кира Викторовна, не оглядываясь, сняла шубу, отдала мужу. И Григорий остался стоять с шубой.

Поднялись скрипки. Смычки. Сверкнули под светом прожекторов. У Киры Викторовны мучительно сжалось сердце. Она вдруг сразу ощутила усталость этого дня и всю его важность для нее. А может быть, на самом деле благоразумие губительно для музыки? И расчетливость и предусмотрительность? Без взрыва никогда не оценишь тишины...

Кивок Андрея. Оля Гончарова видит это у себя в зеркальце на органе. Ауфтакт. Зазвучал орган. Зазвучали скрипки.

Андрей ведет Павлика, Ганку. Ладя ведет Франсуазу и Машу. Вступление и начало разработки темы. Первые голоса, вторые. Все как будто нормально: играет оркестр, коллектив. Все скрипки вместе. Но Ладя и Андрей оба тяжело дышат. Между ними опять произошло столкновение. Да какое! Ниче-

го подобного по своей непримиримости еще не случалось. Ладя пытается после всего сохранить спокойствие, независимость. Андрей напряжен до предела, глаза зеленые, и лицо застыло вызывающе. Тоже пытается сохранить спокойствие. Он ненавидит сейчас Витю Овчинникова, Риту, себя! Всех! Но главное — Ладьку. Это все из-за него. Только из-за Ладьки! Каждый день выкидывает очередное шутовство, и все ему нипочем. Схватит смычок и играет легко, без всякого напряжения. Никакая не работа. Забава. И все тут. И сегодня причмчался в последние секунды, и вот теперь стоит, играет как ни в чем не бывало. Что ему усилия, пот, нервы — чихал он на все это.

Шаг за шагом спустилась с эстрады музыка и наполнила зал вполне точным звучанием. Медленно и серьезно разворачивался орган. Исполнили свое пиццикато «оловянные солдатики», и оно отстучало, будто капли с крыши. Казалось, еще один выстрел — и готов результат.

И вдруг что-то надломилось, хрустнуло: это Андрей ударил смычком — раз, два. Не сфальшивил, но ударил резко, в какой-то тупой ярости. Потом еще и еще. Заволновался Павлик. У невозмутимой, всегда спокойной Ганки на лице растерянность — она не понимает своего концертмейстера. Темп скрипки Андрея возрастает. Андрей никому ничего не показывает ни смычком, ни движением головы, будто забыл, что он стоит на эстраде, что он дирижер, руководит оркестром. Опять начался турнир между ним и Ладькой. И Андрей выходит на финишную прямую. Ладя пытался вести Франсуазу и Машу в обычном ритме, но сбилась, ошиблась Франсуаза. Или это бант виноват... У Маши в глазах, сквозь очки, испуг, и смычок дрожит.

Чибис смотрела в зеркальце на органе: судорожные взмахи смычков, будто ансамбль прыгает через лужи — кто, где и как сможет.

Мистер Грейнджер нервно нажимал в пол то пятками, то носками ботинок. И ноги Чибиса на pedalной клавиатуре — носок, каблук, опять носок. Чибис не знает, как ориентироваться: по Андрею, по скрипке Лади или играть самой, чтобы они подстраивались.

Алла Романовна шепчет:

— Лови!..

Но кого ловить? Нет в зале скрипок, ансамбля.

— Славно играют, — сказал один из работников Госконцерта. Он сидел, прикрыв глаза. Его толкнул сосед.

— Вы что?! — сказал он ему в самое ухо. — Проснитесь!..

Тот открыл глаза, посмотрел на англичанина, и лицо его сразу изменилось. На Кире Викторовне вообще уже не было никакого лица..

Чибис усилила свою партию, и голос органа возрос, до отказа наполнил зал. Орган перекрывал сейчас всех своим мощным волевым голосом. Орган призывал музыкантов собраться, найти друг друга, понять. Этого добивалась Чибис, худенькая и одинокая за клавишами и педалями. Чибис будто хотела удержать Андрея, побороть его, вернуть оркестру дирижера. Ансамбль исполнял концерт для двух скрипок. Андрей резко изменил темп. Он вдруг очнулся, услышал орган, услышал и сам себя. Понял, что он делает. Не кто-то другой делает, а лично он... сейчас... на сцене... В зале консерватории.

Остановилась Франсуаза, потом Ганка, последний раз дернула смычком и прекратила играть Маша. Остановились Павлик и Ладья. Тогда и Андрей оборвал музыку на полупhrase, резко опустил смычок, откинул скрипку от плеча.

Теперь звучал только орган — он просил, убеждал, извинялся или становился резким, непримиримым, жестким от отчаяния, и опять просил, убеждал и опять извинялся. Это продолжала мужественно и одиноко бороться Чибис. Она пыталась импровизировать на тему концерта и заставить вступить скрипки, ансамбль.

Каблуки ей мешали, и она сбросила туфли. Играла в одних чулках, давила и давила pedalные клавиши, упорная и, как никогда, сильная.

Мистер Грейнджер не спускал с нее глаз, ноги его тоже продолжали беспокойно двигаться.

Орган звучал, все еще на что-то надеялся. Он спасал не себя, он спасал других, но потом и он, совершив последнее и отчаянное усилие, остановился. Корабль, который ткнулся носом в мель.

В зале была тишина.

Чибис теперь старалась найти туфли, но они куда-то закатились. Маша взяла в рот головку скрипки и тихонько ее грызла. Вот как она впервые выступила на эстраде. Не повезло ей. Очкарик она, и все. Несчастливым очкариком и останется. Франсуаза положила скрипку на грудь и быстро, под скрипкой, перекрестилась. Павлик перевернул скрипку, вытер лоб подушечкой и посмотрел на Андрея: Андрей сломал ансамбль, как кладовщик ломает скрипки. Смотрел на Андрея и Ладя. Маленькие скрипачи неуверенно подняли плечи и отвели назад. Потом проделали нечто среднее между поклоном и падением.

Андрей ни на кого не смотрел. Скрипка и смычок опущены, свет прожекторов на них не попал, и казалось, Андрей стоял без скрипки и смычка.

Тишина. Хотя бы кто-нибудь номерок от пальто уронил. Нет. Тишина.

Андрей первым повернулся и пошел. За ним — остальные. Бегство в полном молчании. Войско, потерявшее знамя. Осталась только Чибис у пульта органа. На нее был направлен бинокль: Рита Плетнева рассматривала Чибиса детально, не спеша — коричневое форменное платье, белый фартук, булавки на плечиках фартука и побледневшее лицо с появившимися уже к весне на щеках мелкими веснушками.

Мистер Грейнджер повернулся к Савину-Ругоеву и о чем-то его спросил. Потом громко сказал по-русски:

— Хорошие... ребята! — И вдруг начал аплодировать громко и серьезно. С каким-то удовольствием разрушал эту затвердевшую тишину. И повторил по-английски: — Your kids are very nise!

Тогда его поддержал весь зал. Вначале робко, потом уже активно.

Оля стояла без туфель, в чулках, и совершенно одна. Готова была отвечать за все случившееся перед всеми и до конца. Готова была вынести знамя с поля боя.

На сцену вышла диспетчер Верочка и невозмутимо сказала:

— Антракт!

Объявлять длинно ничего не надо было: концерт угодил в тупик.

Кира Викторовна с трудом выбралась из толпы и побежала в артистическую. За ней устремился муж. Шуба была у него в руках, она мешала ему, но он и вовсе теперь не знал, куда ее деть.

Перед входом в артистическую тоже была толпа: родители, преподаватели, аккомпаниаторы, пожилые и молодые. Конечно, здесь был и Всеволод Николаевич.

Киру Викторовну пропустили вперед — ее премьеры, которой она сама добивалась. Работа коллектива была продемонстрирована. Две краски; два акцента.

— Кира, успокойся. Не надо, Кира, — сказал Перестиани. Она обернулся к нему:

— Гриша, повесь ты ее где-нибудь. — Это относилось к шубе.

Перед Кирой Викторовной ее коллектив — Павлик, «оловянные солдатики», Ганка, Франсуаза, Маша. «Оловянные солдатики» ковыряют наканифоленными смычками пол. Дед стоит рядом, но он не может сейчас никого научить жить, потому что сам не знает, что будет дальше с ними со всеми. Франсуаза отклеивает от щеки пластырь и машинально приклеивает его к скрипке. Ганка низко опустила голову, чего никогда с ней прежде не бывало. Нет только Лади и Андрея

Отвечайте! Где они?

— Андрей убежал, — сказала Маша.

— И Ладя, — сказала Ганка, не поднимая головы.

— У вас в руках музыка, и это дано не каждому. Вы обязаны доставлять людям радость. Вы не имеете права так глупо враждовать! Никто из вас! — Голос Киры Викторовны суров и непреклонен. Он звенит от гнева, от боли, от обиды. — Вы — ансамбль, а не случайные люди! Где ваша исполнительская дисциплина? Каждый отвечает за другого. Каждый!

— Виновата эта девочка! — крикнула мать Андрея и показала на Олю Гончарову. Ее худое, болезненное лицо нервно дергалось, и палец, которым она показала на Олю, тоже нервно дергался.

Чибис стояла уже в туфлях. Она посмотрела на мать Андрея изумленными, открытыми глазами. Попыталась что-то сказать — и не смогла. Слабо и беспомощно изогнулась, чтобы сразу уйти от всех. Куда-нибудь, только уйти.

— Не говорите глупостей! — воскликнула Алла Романовна. Она не позволит обижать Чибиса.

Но мать Андрея настаивала на своем:

— Она виновата. Она их всех потеряла!

— Шесть! — прозвучал голос с порога артистической.

Все обернулись. На пороге стоял Ипполит Васильевич Бельский, торжественно подняв кавказскую палочку.

— Я ставлю ей шесть!

На него взглянула Евгения Борисовна, хотела, очевидно, спросить — не шутит ли он? Но потом вспомнила, что старик никогда не шутит. И правильно сделала. Старик не шутил, он выставил отметку.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Улица перед консерваторией. Автомобили, троллейбусы, пешеходы — нормальная жизнь.

Андрей — пальто нараспашку, в руках футляр со скрипкой. Перед Андреем — Рита, пальто тоже не застегнуто, на голове пушистая яркая шапочка. Длинный теплый шарф повязан вокруг шеи. Один конец шарфа свисает на грудь, другой переброшен за спину.

— Ты подвел всех! Ты виноват! Хочешь славы на одного. Газеты, радио, телевидение. Массовая информация.

Андрей стоит не двигается. Лицо Андрея непроницаемо.

— Молчишь?

Рита дразнит Андрея и говорит почти правду о нем.

Андрей круто поворачивается и уходит. Рита кричит ему вслед:

— Ты об этом мечтаешь! Я знаю! И это ты завалил свой оркестр! Ты один! — опять крикнула Рита.

Андрей шагает по улице. Никого и ничего не видит. Губы сжаты. Кровь отлила от щек. Каждый шаг отдается в груди, и кажется, что в груди гулко и пусто и что так будет теперь всегда. Что он был обречен на все случившееся, и теперь это стало реальностью. Андрей идет без шапки. Шапка торчит в кармане пальто.

Сзади Андрея шел Ладя Брагин. Он был впервые серьезен. И по-настоящему. Он принял решение. Принял на сцене, когда молчал весь зал.

Кольцевое метро: поезда все время в движении, все время в них пассажиры. Нет конечных остановок и тупиков. Обрывки чужой жизни, чужих разговоров. Андрей ездит в вагоне по кольцу. Гудят колеса, потом мягкое шипение дверей, потом стук дверей, потом гудение колес, потом шипят двери. И так беспрерывно. И так ему лучше всего сейчас. Может быть, лучше, потому что он не знает, что ему сейчас лучше, а что хуже.

Андрей ездил по кольцу уже давно. Он хотел одиночества, тяжелого и обидного, чтобы потом себя пожалеть или даже оправдать. Во всяком случае, попытаться это сделать. Будет следствие. Хватит об этом. Не думать. Перестать думать. Хватит.

В вагоне было уже совсем немного народу. Город успокаивался после вечерних добавочных скоростей: театры, кино, кафе. Андрей не заметил, как из соседнего вагона за ним наблюдал Ладя. Уже давно.

Андрей задремал, запутавшись в следствиях и причинах. Потом он почувствовал, что кто-то вплотную сидит около него. Андрей открыл глаза.

— Ты?

— Я,— сказал Ладя.

Андрей дернул плечом, ничего не ответил. Проехали станцию. Помолчали.

— Дед боится, ты застрелишься.— И Ладя улыбнулся.

Андрей улыбнулся слегка, одними губами. Не Ладе, а себе самому.

— Ты бы мог встать просто в партию, не концертмейстером? — спросил Ладя.

Андрей резко поднял голову, взглянул на него.

— Я бы мог,— сказал Ладя, не замечая взгляда Андрея.— Хочешь, к тебе встану?

Андрей ничего Ладе не ответил, а дождался, когда на станции откроются двери, взял скрипку и вышел из вагона. В дверях он обернулся, и, пока двери оставались открытыми, сказал:

— Ты забыл, ты сделан из материала виртуозов!

Когда-то Ладя это сказал, но сам забыл об этом. Андрей не забыл. Он никогда ничего не забывает.

Андрей шел домой. Во дворах дворники жгли мусор, сметенный в большие кучи, очищали дворы к весне. Андрей опять старался ни о чем не думать, идти просто так. Просто так возвращаться домой. Но удавалось ни о чем не думать всего лишь мгновения, короткие секундные удары. И то неправда, не было этих секундных ударов. Он думал все об одном и том же. Он думал о себе, о том, что произошло с ним. Сейчас. Только что. Он даже чувствует, как он это делает опять и опять... Струны под пальцами, и кажется горячими, натертыми пальцами, и смычок, и звук у самого уха, а потом отвращение ко всем и к себе. Он не хотел себя жалеть или оправдывать. Он ненавидел себя за то, что был побежденным в который раз, и перед всеми, и навсегда! Он сам себя унизил и сам себя победил!.. Как музыкант не существует. Не должен существовать. Он противен сам себе. Сальери, вот кто он! Тот Сальери, которого все придумали, каким Сальери должен быть. И он был и есть такой Сальери! Да, да и еще раз — да.

...Слепые музыканты — он видел их в детстве, когда умер отец. Они медленно поднялись по лестнице друг за другом туда, где был орган и место для оркестра. Они все были слепыми, и органист тоже, потому что только они могли тут работать, играть в этом специальном зале. Каждый день играть. А чтобы они играли, надо было заплатить в кассу. Мать послала Андрея, и он заплатил в кассу, и увидел тогда музыкантов. Они сидели сзади кассира на длинной деревянной скамейке с темными точками от погашенных о скамейку сигарет. Кассир им что-то сказал, и они встали и пошли медленно друг за другом вверх по лестнице. Андрей подумал тогда, как же они могут так, каждый день... и понял, что они слепые. А он, сам он — не слепой скрипач? Теперь! Сейчас! Кому и зачем он играет?

Андрей сокращает путь, идет дворами, хотя он не знает, для чего ему надо спешить домой. Что ждет его дома? Что вообще его ждет? Андрей остановился у очередной кучи горящего мусора, вытянул руку и вдруг легко и просто опустил футляр со скрипкой в огонь. Будто пачку ненужных газет. Решение пришло мгновенно, когда казалось, что ни о чем не думал.

Андрей поднялся на лифте. Позвонил в дверь.

Кто-то стоял в коридоре, поэтому дверь сразу открыли. Андрей не понял, кто это был. Он вошел не глядя. Он приготовился к встрече с матерью. Когда поднял глаза, увидел, что перед ним Рита. В своей пуховой яркой шапочке и в теплом шарфе. Она смотрела на него. Она стояла прямо перед ним

и смотрела. И только теперь он ее как следует увидел. Вначале яркую пуховую шапочку, а теперь как следует. Потом он увидел маму. Она стояла сзади Риты, в стеганом халате, в матерчатых, потерявших цвет туфлях.

— Тебя давно ждет мама,— сказала Рита Андрею.— Я теперь уйду. До свидания.

Рита сняла с вешалки пальто и быстро его надела.

— Провожу тебя,— сказал Андрей.

— Нет. Я сама. Я приходила к твоей маме, а не к тебе.

Андрей не успел что-нибудь ей сказать, как Рита уже открыла дверь лифта, села в лифт и поехала вниз. Щелкали тормозные устройства на этажах, а потом внизу громко стукнула дверь. Рита вышла из лифта.

И почему-то только теперь Андрей понял, что он без скрипки, что ее с ним нет. И не случайно, совсем нет. Что он вернулся без нее совсем... Он даже не знает, в каком дворе он ее бросил в горящий мусор. Все правильно. Все-все правильно. И не надо больше ни о чем думать. Ни теперь, ни потом. Все-все было правильно.

Андрей никогда еще не пил вина. Не пробовал. Взять бы и попробовать с соседом какого-нибудь портвейна, или вермута, или что там пьют.

Андрей прошел в ванную комнату, пустил в раковину сильную струю воды и начал умываться. Мать стояла рядом, молчала. Она не сказала еще ни слова. Но потом она заговорит. Надо к этому подготовиться. Ни к чему он больше не будет готовиться. Андрей, вытирая лицо полотенцем, спросил:

— Зачем приходила Рита?

— Она побыла со мной,— сказала мать.— Просто так.

— Ты ее позвала?

— Она пришла сама. Сказала, что ты тоже скоро придешь и чтобы я не волновалась.

— И все?

— Все. Но мне было очень приятно, что она пришла. В такой день.

Открылась дверь у соседей, и выглянул Петр Петрович. Конечно, он был слегка пьян. Счастливый человек.

— Девушка ушла? — спросил он.

— Ушла,— сказал Андрей.

— Ага. А ты уже пришел?

— Пришел.

Сквозь двери просунулась женская рука, и сосед исчез.

По-ночному очень резко зазвонил телефон. Трубку снял Григорий Перестиани.

— Тебя, Кира,— сказал он.

Кира Викторовна взяла трубку.

Говорила мать Андрея. Ее голос Кира Викторовна сразу узнала. Вначале не могла понять, о чем она говорит.

— Он уничтожил скрипку...

— Как — уничтожил?

— Я у него спрашиваю, где скрипка? А он говорит, нет ее совсем. Я растерялась. Я вот к вам прямо ночью... Я не понимаю, как мне... как ему...

— А где он сам? — спросила Кира Викторовна. Она вдруг почувствовала, что тоже растерялась. Может быть, впервые в жизни.

— Он дома. Он сказал, что с музыкой у него все покончено. И больше не захотел говорить.— Слышно было, как она борется со слезами.— Кто в этом виноват? Я не понимаю! — вдруг закричала она с болью в голосе и уронила на рычаг трубку.

Кира Викторовна медленно положила трубку, потом встала и начала быстро одеваться.

— Ты куда? — спросил Перестиани и схватил ее за руку.

— Андрей Косарев что-то натворил. Я должна немедленно поехать к ним.

— Не смей. Во-первых, двенадцать часов ночи. Во-вторых, успокойся. Хватит экспериментов.— Григорий едва не силой отобрал у нее шубу.— Кира, успокойся. Сядь.

— Я не могу. Я должна...

— Ты должна подумать вообще, что ты делаешь. Я давно хотел с тобой поговорить. Ты сама неровный, экспансивный человек. Ты навязываешь им свою волю, свое понимание и отношение к музыке. Запрягла этих двоих в одну упряжку, потому что тебе так хочется. Тебе хочется видеть их в таком качестве. Тебе, а не им самим. Кира, ты меня слышишь?

Она сидела на круглом табурете на своей шубе. Она была похожа на девочку, которую привели с вечернего спектакля, и теперь она очень устала.

— Я слушаю тебя,— сказала она.

— Хорошо, в другой раз.

— Что — в другой раз?

— Поговорим о тебе.

— Сейчас поговорим.

— В другой раз.

— Нет, сейчас. Другого раза не будет, потому что я опять буду прежней. Принеси сигареты.

Григорий принес сигареты, и она закурила. Он сел напротив на круглый табурет. Пепельницу он поставил на пол.

— Говори, я слушаю.

— Сегодня я наблюдал за тобой.

— Ну?

— Ты помнишь, как ты ушла со своего последнего выступления?

— Помню.

— И я помню. Это похоже на то, что произошло сегодня.

Она не ответила. Стряхнула с сигареты пепел.

— Не в такой степени, конечно. Но все-таки. Ты повернулась и пошла за кулисы. Ты отказалась от исполнительской деятельности. И сразу. А теперь ты что делаешь? Ты заставляешь их выступать в таком качестве, как тебе того угодно. Бегаешь, разыскиваешь. Ты их выволакиваешь на эстраду. Составляешь ансамбль.

Она продолжала молча курить.

— Тебя предупреждали не делать этого. Изменить в крайнем случае состав. Или вообще выпустить от класса одного исполнителя. Они должны быть исполнителями. Это прежде всего. Я так понимаю. Ты должна готовить солистов. Ты сама была солисткой.

— Я была плохой солисткой,— сказала она.

— Неправда.

— Правда. Им я этого не позволю.

— Что?

— Быть плохими музыкантами.

— Прости, что же ты им позволишь? Им лично?

— Быть хорошими музыкантами.

— Когда же?

— Когда они станут людьми. Поймут, что музыка не терпит личных счетов. И что только от общего, совместного можно прийти к индивидуальному.

— Ты, ты, ты.

— Да. Я, я, я! Больше я ничего не умею!..

— Я устал от твоих постоянных проблем. У меня даже юмор кончился на эту тему.

— Ты устал, а я не устала.

— Но ты сама...

— Что?

— Создаешь проблемы сама.

— Замолчи, пожалуйста. Ведь я тебя как раз за юмор и полюбила.

— Кира, мы поссоримся.

— Замолчи, тогда не поссоримся.

Кира Викторовна и Григорий сидели в прихожей без света, и только вспыхивал огонек сигареты.

Чибис подошла к Татьяне Ивановне:

— Доброе утро.

— Доброе утро, Чибис.

Оля смотрела на карты, которые лежали перед Татьяной Ивановной.

— Хочешь что-то спросить?

— Нет. Я просто так.

— Ты была молодец вчера.

— Не надо, Татьяна Ивановна.

— Ключ.— Комендант протянула Чибису ключ от органа.

— Не знаю.

— Что? — удивилась Татьяна Ивановна.— Что не знаешь?

Оля поспешно взяла ключ и пошла наверх к органу.

Она думала об Андрее, обо всем, что случилось. Кто в этом виноват? Андрей? Он один? А Ладя? Он что же? И потом, мать Андрея. Она такое крикнула. За что?..

Не может Оля сегодня играть. Она стояла совсем как вчера, одна. Как трудно быть одной, как вчера. И опять такая же тишина. А как уходил с эстрады Андрей. Она старалась не видеть этого, но все-таки увидела. И теперь видит, как он идет и как он хочет поскорее уйти. И ей хотелось остановить его и крикнуть всем в зале, какой он музыкант, какой он замечательный скрипач! Вы его послушаете, только не сейчас. Потом. Когда он не будет таким, как сейчас...

Чибис повернулась и подошла к органу, туда, где была небольшая дверца. Она ее открыла и вошла внутрь органа. Узенькая деревянная лестница. Чибис начала по ней подниматься. Зажгла свет. Вспыхнули длинные матовые лампы. Чибис шла осторожно среди молчаливых труб и низеньких ванночек — увлажнителей с водой. Если снаружи орган современный, то здесь было его таинственное прошлое, и не напрасно орган настраивают гусиным пером.

Как-то в детстве, когда Чибис с дедушкой и бабушкой жила на окраине города в доме с печным отоплением, ей поручили сложить во дворе поленья. Она их сложила в виде сказочного замка. Но потом этот березовый замок постепенно истопили, и было очень жаль: сказка кончилась.

Чибис придумывает сказки и живет в них, и ей гораздо легче быть в сказке. Она здесь всех побеждает. Она красивая и удачливая. Вот и сейчас она помогает Андрею быть таким же счастливым, как она, потому что она здесь все может. Она сильная и знает, что делать, и умеет это делать. Она добивается всего для себя и для других. Умеет быть рядом с другими, с кем ей хочется. Но только здесь, когда одна, когда никого нет и не



может быть. Этот огромный деревянный замок принадлежит ей — лестницы, мостки, переходы, башни. Она может взять лейку и ходить, наполнять увлажнители водой. Может взять старенький веник и подметать мостки и переходы. Замок будет таинственно скрипеть, и в увлажнителях будут отражаться, плавать длинные огни фонарей, и будут в башнях прятаться загадочные тени, и трубы будут мерцать, как высокие зеркала.

Она хозяйка в этой сказке, придумывает свою собственную жизнь. Здесь люди клянутся и умирают от любви, совершают невиданные подвиги, и тоже во имя любви. Здесь Оля не боится тишины, даже такой, какая была вчера. Она придумывает свою сказку и сама живет в ней. Но даже в своей сказке она все-таки не знает, как помочь Андрею, хотя он и не захочет от нее никакой помощи. Вовсе.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В кабинет директора школы вошла Кира Викторовна.

— Извините, Всеволод Николаевич, вот,— сказала она и положила перед директором лист бумаги.

— Что это? — спросил директор.

— Заявление. О моем уходе с работы.

Всеволод Николаевич встал из-за письменного стола и подошел к Кире Викторовне. Она стояла перед ним, прямая и непреклонная.

— Отказываюсь понимать,— сказал директор.— Отказываюсь,— повторил он.

— Я плохой педагог. Мой ученик сжег свою скрипку. Андрей Косарев.

— То есть как сжег?..— Директор запнулся.

— Сжег,— повторила Кира Викторовна.— Я разговаривала с его матерью.

— На него это... надо воздействовать... педагогически надо... как-то воздействовать...— Директор говорил первые попавшиеся слова. Он пытался осознать случившееся.

— Теперь я больше не буду воздействовать,— сказала Кира Викторовна.— Об этом я пишу в заявлении.

Директор стоял и молчал. Он должен был принять решение, определенное, директорское, и прежде всего по поводу заявления Киры Викторовны, которое лежало сейчас у него на столе. Если он успешно справится с этой задачей, то он уже (с помощью Киры Викторовны, конечно) справится и со второй задачей — Андрей Косарев.

Всеволод Николаевич вернулся к столу и тихонько отодвинул подальше заявление.

— Прошу, присядьте,— сказал он Кире Викторовне.

Она села в кресло. Директор прошелся по кабинету, потом вдруг остановился около фортепьяно, открыл его.

Кира Викторовна следила за директором.

Всеволод Николаевич сел за фортепьяно. Обернулся и спросил:

— Вы позволите?

Она с некоторым недоумением сказала:

— Да-да, конечно.

Директор тронул клавиши, потом заиграл. Он играл великолепно. Взглянул на Киру Викторовну, улыбнулся. Она не могла не улыбнуться в ответ. Просто не могла. Перед ней был блестящий пианист. Она уже несколько лет не слушала Всеволода Николаевича в концертах, да и концертов-то не было. Конечно, давно не было. Когда же она слушала его в последний раз? Года три или четыре назад? Он тогда кланялся, но как-то неумело. Кира Викторовна обратила на это внимание. Вспомнила «оловянных солдатиков». Всеволод Николаевич — и ее «оловянные солдатики». Что-то есть общее. Дикая мысль, конечно. Но почему-то Кире Викторовне стало от дикой мысли весело.

Всеволод Николаевич кончил играть.

— Пожалуйста,— сказала Кира Викторовна,— поклонитесь.

Теперь Всеволод Николаевич с некоторым недоумением взглянул на Киру Викторовну.

— Я серьезно. Пожалуйста. Публика просит.

— А заявление заберете? — спросил директор. Потом встал и поклонился.

Ну конечно же, не умеет. На лице беспомощность и беззащитность. Шею тянет, как и они тянут. И перелаывается как-то совершенно неожиданно.

— Я заберу заявление,— сказала Кира Викторовна.— Вы на меня воздействовали.

Он воздействовал, подумал о себе директор, когда Кира Викторовна ушла из кабинета. Но никто не знает, как дается Всеволоду Николаевичу сохранение пианистической техники, сохранение своего личного творчества; временами он почти ненавидит школу, и ему становится обидно за себя как за музыканта. Он выводит на эстраду учеников школы, а сам он давно не выходил на эстраду даже в Малом зале.

В его кабинете есть фортепьяно, но все привыкли, что оно просто стоит. Настройщики сюда не заглядывают. А Всеволода Николаевича захлестывает школа, он оказывается в незатихающем ритме дел и обязанностей, и опять он растерян, и опять как будто бы счастлив. А может быть, и счастлив? Бестолковое, глупое противоречие, и он никак не может из него выбраться

В коридоре, недалеко от кабинета директора, стоял Гусев. Он сказал Маше Воложинской:

— Слышал, как вы отличились.

Гусев держал письма, которые ему только что вручила Татьяна Ивановна. Гусев стоял посередине, чтобы никто не прошел мимо него. Он желал, чтобы каждый убедился, какой он ученый и какой он исследователь.

Маша взглянула на него:

— Что ты слышал?

— Как вы вчера выступали. Кто в лес, кто по дрова.

— Замолчи,— сказала Маша. Ее глаза под очками были строгими и боевыми.— Не твое дело.

— А чье же?

— Наше. Мы выступали. И мы сами...

Гусев лениво обмахнулся письмами, как веером.

— Говорят, ты стояла и грызла скрипку. Гр-гр... На весь зал было слышно.

— Как ты смеешь так о скрипке! — Маша побледнела и стояла бледная и непреклонная, совсем как граф Монте-Кристо.— Ты не музыкант! — Маша не знала, что еще сказать, но потом все-таки сказала: — Если бы услышал такое Бетховен, он бы у тебя все свои тетради отобрал.

— Ты Бетховена не трогай! — закричал Гусев.

Тогда Маша впервые в своей жизни закричала:

— А ты нас не трогай!

Кира Викторовна вышла из кабинета директора и наблюдала за Машей. Тихая, застенчивая Маша — и вдруг такая решительность и такая серьезность. Человек определяет себя в жизни, свое отношение к себе и к другим. И это совсем не просто. Кире Викторовне вдруг стало совестно за то, как она повела себя,— написала заявление об уходе. В таких случаях говорят — минутная слабость.

Первые часы занятий у Андрея и Лади — сольфеджио. Значит, урок Евгении Борисовны. Сказать Евгении Борисовне об Андрее, почему его не будет на занятиях? Она и так узнает. Нет, лучше самой сказать.

Кира Викторовна направилась в учительскую. Но тут ее окликнул Ипполит Васильевич. Он покрутил в воздухе палочкой и сказал:

— Влюбленный вскочил на лошадь и поскакал в разные стороны!

Кира Викторовна засмеялась. Не могла сдержаться.

— Откуда вы это взяли, Ипполит Васильевич?

— Не знаю. От злодеев, очевидно. Хотите, поделюсь еще афоризмами. Шли черные коты — все в кепках и с топорами...

Кира Викторовна опять громко засмеялась.

В коридоре показалась Евгения Борисовна. Она удивленно взглянула на Киру Викторовну. Смеется, веселится, когда такое с ее учениками. Кира Викторовна прочитала это на лице Евгении Борисовны. Фу ты, до чего все нелепо.

Ипполит Васильевич отправился дальше как ни в чем не бывало. Вот уж кто форменный злодей, не хватает только топора и кепки.

В коридор из учительской выглянула Верочка:

— Кира Викторовна, к телефону. Мать Андрея Косарева.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Андрей Косарев сидел в классе за одним столом с Иванчиком и Сережей. Впереди сидели Витя Овчинников, Наташа и Рита. Шел урок географии. Андрей никогда бы не подумал, что с утра он опять окажется в школе, будет сидеть на уроке, почти таком же общеобразовательном, как и в их школе. Классный журнал, ведомость о посещаемости, дежурный, «сотрите губкой с доски, последняя парта — не разговаривайте, я с вами миндальничаю, а вы не вытаскиваетесь из троек. Стыдно! Кто еще не сдал реферат? Не вижу вкуса к общественной работе. Последняя парта, прекратите наконец разговаривать».

Рита появилась на следующий день рано утром. Андрей еще спал, он ведь решил никуда больше не идти. Матери заявил об этом. Никуда не пойдет. Все! Пусть мать не задает ему никаких вопросов.

Вдруг рано утром появилась Рита.

— Теперь я к тебе, а не к маме,— сказала она.— Вставай, пойдем со мной.

— Куда это?

— В школу.

— Я кончил с музыкой. Ты понимаешь?

— Понимаю. С музыкой кончил, но со школой ты не кончил, и ты пойдешь в мою школу.

Андрей смотрел на Риту.

— Нет!

— Да!

Андрей, конечно, пошел. Для Риты он готов на все.

В школу Андрей отказался сразу входить. Но потом вошел. Все-таки это были не музыканты, и, главное, этого хотела Рита.

Андрея окружили ребята, и никто из них ничего не сказал о вчерашнем, ни слова. Может быть, здесь не обошлось без Риты или «гроссов». Но все выглядело, во всяком случае, совершенно естественным. Рита побывала у директора и договорилась с ним, что Андрей будет заниматься в их классе. Андрея знают

все ребята, они ручаются за него. Не может человек быть просто так на улице. Пусть он прекратил заниматься музыкой, но вообще-то ему надо заниматься? Временно хотя бы в их школе, хотя бы сегодня. Рита не хочет, чтобы он был предоставлен самому себе. Директор подумал и согласился.

Андрей сидит в классе, и ему ничего, вполне даже сносно. Даже хорошо. Никаких старых проблем и никаких еще новых. Очень заманчивое состояние, пускай и недолговечное, но необходимое ему сейчас, когда можно вот просто так жить — и все. Ребят он знает, не такой он чужой. Рита около него. На переменах. Она ни о чем не говорит, а только рядом с ним.

Девочки из параллельного класса поглядывали на нее и на Андрея, о чем-то, конечно, шептались. Рита не обращала внимания. Она умеет ни на кого не обращать внимания и защищать не только себя.

На уроке обществоведения Андрей даже развеселился: Наташа делала доклад на тему о религиозных суевериях и гаданиях, разоблачала. Ей помогал Витя. Был ассистентом. Андрей вспоминал Татьяну Ивановну. Здесь, в школе, Татьяне Ивановне пришлось бы туго, даже несмотря на то, что она выучивает пасьянсы из журнала «Наука и жизнь».

Наташа рассказывала о спиритизме. Это мистическая вера в возможность общения с умершими людьми, с их духами. Возник спиритизм в семье американца Фокса в 1848 году. Из Америки в Европу спиритизм был перенесен в 1852 году неким Гайденом.

Андрей вспомнил композитора Йозефа Гайдна. Андрею всегда нравилась его музыка.

Наташа продолжала рассказывать о спиритизме и о некоем Гайдене. Он объявил себя медиумом — человеком, который является посредником между людьми и духами. В 1912 году в России было до двух тысяч кружков спиритизма. Участники сеанса садились за круглый стол, клали руки — кончики пальцев — на край стола. И молчали.

А потом на очередной перемене в столовой все положили руки на стол и шутили, кричали, что стол двигается. Витя Овчинников кричал, что он медиум, и доказывал, что с ним кто-то общается, какой-то дух. Сейчас даст стакан компота.

Андрей молчал. Он старался привыкнуть к новой школе. Ему надо привыкать. Может быть, здесь он будет учиться потом.

Витя подошел к нему и спросил:

— Ты с музыкой завязал?

Андрей кивнул. Отвечать Вите не хотелось. Тем более, Витя это спросил как-то вполне серьезно, что на него было мало похоже.

— Ее, знаешь, полно,— сказал Витя.— Крути пластинки.

Андрей опять кивнул. Может быть, Витя и прав: если так все думают, значит, крути пластинки. Андрей тоже будет крутить пластинки.

Рита ни о чем не спрашивала. Андрей ждал, когда она что-нибудь скажет о его новом положении. Но Рита отнеслась к этому с полным молчанием. Не шутила, не смеялась. Как будто Андрей никогда не был скрипачом, музыкантом. Почему-то было даже обидно. Андрей не выдержал и рассказал Рите, что у него случилось со скрипкой. Он должен был это кому-то рассказать. Это его мучило. Рита выслушала молча.

— Хватит на сегодня. Ты сам сказал, что с музыкой у тебя все кончено.

— Кончено,— сказал Андрей.

Но тут откуда-то вынырнул Витя.

— Подумаешь, концерт там и все такое. Вроде двойки на контрольной. С кем не бывает.— Витя услышал, что разговор опять о музыке.— Сегодня двойка, а завтраходишь в зону четверок!

Когда Кира Викторовна в учительской взяла телефонную трубку и услышала слова матери Андрея, она растерялась.

— Как — он в школе?

— Пришла Рита и увела его в свою школу.

— Какая Рита?

— Рита Плетнева. Он с ней давно дружит.

— И она смогла его увести в школу?

— Смогла. И я не знаю, хорошо это или плохо.

Кира Викторовна тоже не знала, хорошо это или плохо. Прежде всего это было неожиданно. Появляется какая-то Рита Плетнева и с легкостью уводит Андрея в свою школу. Непонятно. Кира Викторовна ждала со стороны Андрея совсем другого, правда, здесь вмешались новые, неожиданные силы.

В учительской появилась Алла Романовна. Увидела Киру Викторовну:

— Как ваши?

— Ничего мои,— ответила Кира Викторовна неопределенно. Трубку она положила. Она не знала, что же все-таки делать с Андреем? С чего все начинать?

— Встретила Ладю Брагина. Гуляет.

— Как — гуляет? — переполошилась Кира Викторовна.

— Гуляет. У дверей школы.

Кира Викторовна выскочила на улицу.

Ладя подбрасывал и ловил монету.

— Где твоя скрипка? — спросила Кира Викторовна с испугом.

Ладя показал на скамейку, где лежала скрипка. На скамейке стояла и шапка-ведро, наполненная учебниками.

— Ты кого ждешь?

— Я?.. Никого не жду.

— У вас сольфеджио.

— Знаю.

— Иди в класс. Опоздаешь.

— Но еще не все пришли,— сказал Ладя.

— Все, кто должен прийти, уже пришли.

— А что, кто-нибудь не должен прийти?

— Иди в класс. Я тебя прошу, Брагин.

Ладя повиновался. Кира Викторовна вместе с ним спустилась в раздевалку. Ладя разделся молча. Потом опять спросил:

— А кто не должен прийти?

— Ты ждал Андрея?

Ладя пожал плечами. Он сам не знал. День должен был как-то начаться.

— Вы оба слишком дорого мне стоите! Из-за вас я...— Но тут Киру Викторовну кто-то осторожно взял за локоть. Она оглянулась.

Это был преподаватель в военной форме.

Ладя поспешил уйти, а преподаватель примиряюще сказал:

— У каждого из них в сумке маршальский жезл.

Когда Андрей вернулся домой, его подозвал сосед Петр Петрович. Он завел Андрея к себе в комнату и, смущенно откашливаясь, спросил:

— Я слышал, скрипка у тебя куда-то делась.

Андрей сказал:

— Делась.

— Ее можно того... купить, а? Какого она размера? — Петр Петрович развел руки в стороны.— Или побольше?

Андрей посмотрел на Петра Петровича и не знал, что ответить, чтобы не обидеть.

— В магазине-то они продаются? Я куплю.— Петр Петрович придвинул Андрея за пуговицу совсем близко к себе; Андрей почти на голову был выше его.— Не буду пить, а куплю. Размер укажи.— Петр Петрович опять развел руки. Несвежие манжеты до половины закрывали ладони.

«Я ни разу ему не сыграл,— подумал Андрей.— Пусть даже когда он бывал подвыпившим. Он несчастный человек. В войну погибли жена и маленькая дочка под Смоленском, в обозе с беженцами. Он рассказывает о дочке, когда выпьет. Маме на кухне. Дочке нравилось беседовать по телефону, и она всегда говорила: «Это не «аллэ», а это Катя». И еще она пела песни о танкистах, любила праздник Первое мая и прыгать на одной ноге».

— Ты хоть на глазок прикинь размер,— говорил Петр Петрович.— В магазин — это я сам.

А ведь скрипки действительно нет. Андрей ощутил это как-то очень ясно. Обычно в это время он занимался, играл. И это его регулярное время занятий наступило в первый раз с тех пор, как у него не стало скрипки. Никто никогда не поймет, что ты испытывал, когда у тебя в руках бывала скрипка! Ее легкость и тяжесть, опасность и бесконечность. Бесконечность ее возможностей пугала, потому и делала скрипку опасной и необходимым. Скрипка — это одинокая линия за горизонт, постоянный вековой путь. Андрею казалось, что он не пройдет лучшую часть этого пути, не сумеет. Не хватит сил. И он был экономным. Он боролся за себя. Кира Викторовна хотела от него уверенности, хотела развития, а он стремился прежде всего сохранить то, что уже добыл. Он хотел закрепиться. А чего такого особенного он добыл? Что сделал такого в музыке? Если честно, откровенно, без громких фраз? А может, и не было у него никогда настоящей музыки, ее понимания и ее исполнения?

Петр Петрович все еще стоял перед Андреем, и тянул его за пуговицу.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Тебя зовут Дедом? — спросила Павлика высокая стройная девочка. Она шла из полуподвала, очевидно, из школьной раздевалки.

— Меня,— сказал Павлик. Эту девочку он видел в школе впервые.

— Меня зовут Ритой.

Дед кивнул.

— А где найти Киру Викторовну?

— Ее нет. Ушла к одному нашему ученику.

— К Андрею Косареву?

— Да. (Откуда эта девочка знает об Андрее и о том, что его, Павлика, зовут Дедом?)

— Тогда поговорю с тобой.

— Поговори,— сказал Дед.

— Об Андрее Косареве. Что ты так на меня уставился?

— Ничего.

— Я была вчера на концерте. Понял?

— Понял.

— И я все знаю. А сейчас Андрей...

— Он застрелился,— сказал Дед.

— Кто?

— Андрей,— едва смог прошептать Дед.

— Вы все тут такие! — сказала Рита. — Музыканты! Иди сюда, а то всех перепугаешь.

Рита отвела Павлика в сторону, подальше от стола коменданта.

— Он сейчас у меня в школе, в моем классе, — сказала Рита.

— Кто?

— Андрей. Но он должен быть у вас. Ты понимаешь? Он должен к вам вернуться. Вы должны его вернуть. До чего ты непонятливый.

Это он, Павлик-то, непонятливый? Примчалась тут откуда-то. Красавица! Да Франсуаза в сто раз красивее!

— Но он никогда не вернется, если у него не будет скрипки. Ты меня слушаешь или нет?

— Какой скрипки? — опять оторопел Дед.

— Обыкновенной, на которых вы играете. У него теперь скрипки нет.

— А куда она делась?

— Застрелилась скрипка! — зло ответила Рита.

Дед и все остальные ребята ничего не знали о том, что Андрей скрипку сжег. Кира Викторовна и директор молчали об этом. Они совещались, где найти такую скрипку, которую бы взял Андрей. Что это должна быть за скрипка? Она должна будет нести в себе предельную ценность, но совсем не материальную, а какую-то психологическую.

Рита направилась обратно в раздевалку. Она была зла на себя и на этого Деда. Нет, не с тем человеком она начала такой важный разговор. Поторопилась.

Но Дед уже бежал за ней.

— Не уходи, — схватил он ее за руку. — Не хочешь со мной, подожди Киру Викторовну.

Лицо Павлика было несчастным. Он боялся, что эта девочка уйдет, а вместе с ней уйдет и что-то важное для судьбы Андрея, а значит, и для них всех.

— Хочешь, покажу нашу школу? — предложил Павлик, заметив, что Рита колеблется: уходить ей или остаться и обождать Киру Викторовну. — У нас композиторы свои есть, теоретики. Один рукописи Бетховена разбирает. Орган тебе покажу.

— Орган не хочу, — сказала Рита.

— А здесь кабинет звукозаписи, — сказал Дед. Он всячески стремился задержать Риту. — Нотная библиотека. Там партитуры и клавиры всех в мире симфоний.

— Прямо всех?

— Ну, много... сто или тысяча.

Мимо прошла группа ребят. Осмотрели Риту. В особенности один, с усиками. Чуть шею не отвертел.

— Духовенство, — сказал Дед.

— Что?

— На духовых инструментах играют.

Рита засмеялась. И Павлик засмеялся. Кажется, теперь Рита и Павлик понравились друг другу.

После сольфеджио Ладя пошел в органный класс: может быть, Чибис знает что-нибудь об Андрее? Так, интуиция подсказывала, что такое возможно. Случайные наблюдения над жизнью.

Андрея в школе нет, и никто не мог толком сказать, где он. Вчера в метро Ладька сделал все возможное, чтобы они с Андреем поняли наконец друг друга. Хотя бы в чем-то. Поначалу. И вообще, и так далее, содружество наций.

Ладька открыл дверь органного класса. Тишина. Никого. Вдруг где-то услышал звук льющейся воды. Струйками вода льется. Ладька прислушался. Потом увидел, что сбоку от шпильтыша открыта дверца. Ладька подошел к дверце, заглянул, вошел в дверцу и начал подниматься по лестнице. И увидел Олю Гончарову. Она держала в руках лейку. Вода тихо шелестела в низенькой ванночке, и казалось, что в органе идет дождь.

Ладя сказал:

— Привет.

Оля вздрогнула от неожиданности, поставила лейку и поглядела вниз.

— Это я, Брагин, — сказал Ладя.

— Только ты осторожно, — попросила Оля.

Ладя поднялся к ней. Взглянул на длинный ряд труб. Они здесь были видны все целиком. Рычаги, переключатели, разноцветные провода.

— Машина, — сказал Ладя.

— Трубы трогать нельзя, собьешь настройку, — предупредила Чибис.

— Ясно, — сказал Ладька и полез дальше по лестнице. — Сколько труб?

— Восемьсот. Есть орган и на восемь тысяч труб.

— Машина, — опять повторил Ладька. — Слушай! — И Ладька, не соблюдая осторожности, скатился вниз с лестницы. — Сыграй сейчас, а? Или нет, дай я попробую. Никогда не играл на органе.

Ладька уже забыл, для чего он пришел к Оле. Он только знал, что перед ним великолепная машина, что в ней восемьсот труб. И что он должен попробовать, как все это звучит, восемьсот труб, лично у него. Где он только раньше был!

А Рита и Павлик уже окончательно обо всем договорились. Они по-прежнему стояли в коридоре. Павлик сказал «да» и пошел к дверям склада музыкальных инструментов.

Кладовщик при виде Павлика глубоко вздохнул.  
— Мне надо с вами поговорить,— сказал мальчик.— Вы один здесь?  
— Один. Кому ж еще быть?  
— Разговор секретный.  
Кладовщик кивнул. При этом попытался загородить собой кучу скрипок в углу.  
Павлик плотно прикрыл дверь.  
— Мне нужна...— начал Павлик.  
— Струна,— сказал кладовщик.  
— Скрипка. Чтобы вы ее сделали.  
Павлик обошел кладовщика и показал на кучу старых скрипок.  
— Из этих одну можете сделать?  
— Не пойму я что-то тебя,— подозрительно сказал кладовщик.— Скрипки списаны и ни на что не пригодны.  
— Только вы можете нам помочь.  
Кладовщик продолжал подозрительно смотреть на Павлика.  
— Скрипач погибает, вы это понимаете? — вдруг закричал Павлик.  
— Вот-вот. Опять за свое!  
— Хотите, кровью распишусь?  
— Чьей кровью?  
— Своей.  
— Это зачем еще?  
— Клятву дам, что скрипач погибает.  
Павлик взял со стола кладовщика обыкновенную ручку с обыкновенным пером.  
— Положи ручку,— сказал кладовщик неуверенно.— Давай это... без крови.  
— А вы «быть или не быть» знаете? Гамлета, принца Датского знаете? — не успокаивался Павлик.  
— Ладно,— вдруг сдался кладовщик.— Гамлета знаю и всю его семью.  
— А Косарева Андрея вы знаете?  
И Павлик рассказал кладовщику все об Андрее.  
— Иди занимайся,— сказал кладовщик и пошел к горе скрипок.  
Он долго стоял и молчал, разглядывая скрипки. Молчал и Павлик. Он хотел понять, о чем думал кладовщик.  
— Попробуюсь,— тихо сказал кладовщик.  
Павлик вышел со склада. Отыскал Риту. Она читала стенгазету «Мажоринки».  
— Все о'кэй,— сказал Павлик. Ему хотелось, чтобы Рита окончательно поверила в его силы и возможности и что в школе он не второстепенная личность.

Рита засмеялась, может быть, «о'кэю», а может быть, чему-то в стенгазете «Мажоринки». Павлик не понял.

А через час у кладовщика сидели Кира Викторовна и Всеволод Николаевич.

— Если что-нибудь нужно, вы предупредите,— сказал Всеволод Николаевич кладовщику.— Клей, инструмент.

— Я могу попросить в мастерской Большого театра,— сказала Кира Викторовна.

Кладовщик молча разбирал старые скрипки. Он был очень серьезен. Перед ним на столе лежали головки, шейки, деки, струнодержатели. Он тихонько пощелкивал по деревянным частям, подносил их к близоруким глазам, к уху, слушал. Он слушал свое прошлое, он вспоминал его. Сейчас он не списывал инструмент, а возрождал его. И возрождал себя. Из прошлого.

— Вы не беспокойтесь,— сказал кладовщик.— Лак я достану сам, почти кремонский. Я знаю, где его можно найти. Там меня еще помнят. Грунт хороший достану.

— Может, не надо такой грунт и лак? — сказала Кира Викторовна.

— Да,— сказал директор.— Скрипка не должна быть в богатой одежде. Ни в коем случае.— Всеволод Николаевич сам начал простукивать разложенные на столе части.— Все, как есть здесь, все таким пусть и останется. Вы понимаете?

— Будут видны швы. Склейки.

— Пусть будут видны.

— Но получится инструмент, на котором пилила вся школа...

— Вот именно.

— Они обижаются, когда им говоришь об этом. Который кричал из них больше всех, он мне и заказ сделал. А теперь еще инструмент такого вида я ему дам... Позвольте сделать скрипку. Я видел скрипки Чернова, работал когда-то у Витачека. Вы же знаете.— Кладовщик полез в карман пиджака, достал потемневшую по краям от пальцев записную книжку и вынул из нее листок, похожий на обертку от лезвия безопасной бритвы.— Этикет Чернова. Храню.

Это был фирменный знак, который мастера клеили внутри сделанных ими инструментов. Кладовщик убрал бумажку в записную книжку.

Директор взглянул на Киру Викторовну. Кира Викторовна не знала, что сказать. Кладовщик, сутулый, близорукий, с длинными нескладными руками, стоял перед ними и был похож на тех певцов-иллюстраторов, которые приходят в школу и поют, помогают ребятам в занятиях по классу аккомпанемента.

Кира Викторовна никогда не могла спокойно смотреть на этих бывших певцов и певиц. Они пели с трудом, и у них было такое неподдельное волнение, такое желание не уходить от

рояля, чтобы не сидеть с клубками шерсти или с книгой «Рыболов-спортсмен» в коридоре, в ожидании, когда они снова понадобятся, что Кира Викторовна старалась никогда не видеть их глаз, их неуверенных улыбок. Они работали на будущее, а сами были из далекого и часто неудавшегося прошлого. Теперь они надеялись на чужое будущее. Это было их жизнью.

Когда Кира Викторовна и Всеволод Николаевич уходили от кладовщика, он стоял над разложенными частями скрипок. Он надеялся на чужое будущее, и это стало жизнью для него, хотя бы на эти дни.

...«Что же такое музыка в судьбе человека? — думала Рита. — Или судьба человека в музыке? Разве только тщеславие, популярность, экран телевизора, эстрада? Внимание людей, которые тебя слушают и которыми ты в данный момент владеешь, если ты, конечно, настоящий талантливый музыкант? Но можно ли этим заниматься, планируя успех, славу? Потому что можно добиваться всего, только надо очень захотеть. Андрей, он что — захотел славы в музыке?» Рита никогда не давала ему возможности поговорить с ней серьезно, да и сама не думала об этом серьезно. Как сейчас. И это сделал Андрей теперь, своим поступком. Подобный поступок нельзя запланировать. Андрей его совершил в определенную минуту, потому что многое совершается именно в данную минуту, и настоящего и лживого. Может быть, Андрей совершил что-то настоящее, хотя и очень тяжелое для себя? И для других тоже? Но прежде всего — для себя. Может быть, музыка в нем тоже была не настоящая, а лживая, запланированная? И теперь он от нее освободился, и ему стало легко, ну, не стало еще легко, а станет легче? А Рита пытается вернуть его к тому, от чего он уже отказался?

Рита стояла за столиком в кондитерской, ела пирожное. Она зашла в кондитерскую погреться, потом купила пирожное, потому что хотелось еще и подумать. Просто стоять и думать — глупый вид. А так, ешь пирожное и думаешь. И согреваешься заодно. Пирожное вкусное, черное, с орехами, думать приятно. О'кей. Ну надо же, этот Дед их! Потешная личность. Волосы гладко расчесаны на пробор, лицо важное, и держит себя серьезно, надувается изо всех сил.

Рита застегнула пальто и вышла на улицу.

Она энергично вмешалась в судьбу человека, и это уже не шутка, за это надо отвечать. Музыка или не музыка, какая разница, важно, что решается судьба, как бы заново все. И чего ей больше всех надо! Есть там эта самая девочка, органистка. Ясное дело, влюблена. Клавиши давит и не может от них оторваться, побеспокоиться, узнать, где Андрей, что с ним. А то вот надо приходить из другой школы и устраивать все эти дела. Нет, что-то она опять не так и не о том. Ей, конечно, льстило, что

Андрей ею «интересуется», — это так Наташа говорит. Уж не влюблена ли Рита сама в Андрея? Ну это... не интересуется ли она сама им? Интересуется, все-таки не то слово. И неважно сейчас, какое слово тут должно быть, важны действия. А она всегда действовала, она не из тех, кто считает до десяти, а потом открывает глаза.

Рита неожиданно остановилась посередине тротуара. Медленно отошла в сторону. Парень с плетеной сумкой, в которой у него лежали пакеты с молоком, едва не наскочил на нее. Взглянул на Риту:

— Ты заболела?

— Нет, — ответила Рита одними губами, пытаясь сохранить спокойное, ровное дыхание, чтобы побороть эту всегда стремительно возникающую в груди боль. — Ничего. Со мной бывает.

— Что бывает? — Парень опустил на тротуар сумку с пакетами молока. — Грипп перенесла на ногах, что ли?

Рита прислонилась к дереву. Расстегнула верхнюю пуговицу на пальто, раздвинула на груди шарф. Парень остался стоять около нее.

— А ты зачем столько молока пьешь? — спросила Рита.

— Хочу и пью, — ответил парень. — Кому какое дело.

— Купил бы уж лучше корову.

Парень обиделся и ушел.

Рита еще немного постояла. Поправила шарф, застегнула пальто. Вначале пошла медленно, потом быстрее, а потом уже пошла так, как всегда. Как будто ничего с ней и не было.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В учительской собралось заседание педагогического совета — обсуждались итоги прошедшего концерта. Висели мишени, только новые, с новыми пробоинами. Висели новые объявления: «Настольный теннис», «Пианисты — квартеты». Висели продуктовые записки Аллы Романовны. Текст их не изменился.

— Я полагаю, — сказал Всеволод Николаевич, — что в общем и целом мы справились с поставленной задачей. Школа продемонстрировала определенный уровень исполнительской культуры, возможности учеников, их техническую оснащенность, зрелость.

Сидела Верочка и писала протокол.

— Мы можем отобрать ребят для нового выступления. Мы располагаем такими учениками. Нам есть, что показать.

Преподаватели взглянули на стену, на то место, где недавно висела афиша и где в скором времени должна была появиться новая, но на ней будет уже написано не «Малый зал», а «Большой зал».

шой зал консерватории». Поэтому сегодня разговор не только о прошедшем концерте, но и о предстоящем, более ответственном.

— Мы проделали серьезную работу,— продолжал директор,— но предстоит еще более серьезная и ответственная.

Евгения Борисовна листала свои записи, готовилась к выступлению. Ипполит Васильевич сидел в кресле и дремал или делал вид, что дремлет. Преподаватель в военной форме без погон ждал случая, чтобы самому отметить выступление своего ученика, что было справедливым. Поэтому, когда он уловил паузу в словах директора и спросил: «Что вы скажете о моем воспитаннике, Всеволод Николаевич?», все восприняли его вопрос как вполне закономерный.

— Очень способный, и вы с ним на верном пути.

Тут директор как-то смущенно замолк. Очевидно, потому, что произнес слова в отношении верного пути. Он будто почувствовал, как вздрогнула Кира Викторовна. Она сидела на пед-совете очень настороженная.

— Я думаю, что могу усложнить программу и подготовить с моим воспитанником что-нибудь более серьезное для Большого зала.

— Но он же ребенок! — не выдержала Евгения Борисовна.

— Я вас не понимаю,— сказал преподаватель.

— Это я вас не понимаю! — не успокаивалась Евгения Борисовна.

Кто-то из молодых преподавателей сказал:

— Напрасно мы боимся усложнений программы.

— Ребята уходят далеко вперед, выступая в классах. Федченко, например, каждую неделю приносит мне по одному этюду Шопена.

— А Юра Ветлугин...

— Оля Гончарова!..

— Они смелее нас.

— В музыке недостаточно одной смелости,— опять вступила в разговор Евгения Борисовна.— Я бы сказала молодым преподавателям, что их ученики часто прячутся за обилием нот и сложных конструкций. Забывают об осторожности. А вещи...

Ипполит Васильевич поднял голову и сказал:

— Один грузчик мебельного магазина заявил, что когда в узкую дверь квартиры протаскивают шкаф, то люди делятся на две категории: первые кричат «Осторожно, полировка!», вторые — «Осторожно, руки!» Это я так, к слову о вещах.

Евгения Борисовна никогда не знала, как надо спорить с Ипполитом Васильевичем. Впрочем, это происходило не только с ней.

Всеволод Николаевич начал опрашивать преподавателей, кто с каким учеником выступит и с какой программой.

— Хор в том же составе,— сказал руководитель хора.

— С какой программой?

— Включим две новые русские народные песни.

— Виолончелисты?

— Петя Шимко, конечно. Я подготовлю с ним сонату Бетховена,— сказал преподаватель класса виолончели.— У него есть все для Бетховена — интонации, горделивая энергия.

— Очень способный ученик,— сказал директор.— Мне кажется, мы должны усложнить программу. Я думаю, что все-таки правы наши молодые преподаватели, которые говорят, что ребята уходят далеко вперед в своих работах в классах. Будем смелее! — И при этом Всеволод Николаевич взглянул на Ипполита Васильевича. Может быть, ему хотелось, чтобы старик поставил ему сегодня шесть.

Но старик промолчал, или он все-таки уснул в своей карете. Из принципа.

— Кто еще? — спросил директор.— Какие у кого есть еще предложения?

Кира Викторовна поднялась с места. К ней повернулись все. Как будто с самого начала ждали от нее каких-то слов.

— Выступлю с ансамблем скрипачей в том же составе! — сказала она.

Всеволод Николаевич обмер, потом громко закашлялся, как будто бы подавился костью. Евгения Борисовна вытянулась вся и окаменела. Даже Ипполит Васильевич проснулся. Кажется, он сейчас выставит ей одну из своих оценок. Только какую?

Верочка улыбнулась Кире Викторовне и записала ее слова в протокол.

## ОЛЯ — О СЕБЕ И ОБ АНДРЕЕ

Утро у меня начинается, как всегда: звонит будильник, и я сразу встаю, хотя никому сразу вставать не хочется — так рано, и еще зимой. Бабушку я не беспокою и все на кухне делаю сама.

Кухня у нас маленькая, поэтому можно дотянуться одной рукой до плиты, другой — до шкафа с чашками и тарелками. Я сижу на круглом вертящемся стуле. Это стул для фортепьяно. Теперь такими стульями пианисты не пользуются: они неустойчивые. Дедушка приспособил стул на кухне: покрасил белой краской, и он сделался кухонным. Сидишь и поворачиваешься на нем, то к плите — здравствуйте, чайник, то к буфету — здравствуйте, чашка, здравствуйте, тарелка.

Так я сижу, поворачиваюсь, накрываю себе на стол. Потом мне надо сбегать вниз, в подъезд, принести дедушке свежие



газеты. Газеты «Вечерняя Москва» и «Известия» лежат внизу в подъезде с вечера. Я их приношу, чтобы, когда бабушка встанет, газеты были уже дома. Он их прочитывает, как только открывает глаза. Если рядом со мной будильник, рядом с ним всегда газеты. Я осторожно кладу их на столик, потому что газеты всегда громко шелестят.

Бабушка у меня всю жизнь работал на заводе «Мосмузрадио» настройщиком-интонировщиком. Давал голоса новым пианино и роялям. У него точный слух, профессиональный. Бабушка способен уловить разницу звучания до нескольких колебаний в секунду.

Недавно я, как всегда, осторожно вошла в комнату, чтобы положить газеты. Вдруг бабушка поднял голову. «Что с тобой?» — спросил он. Я сделала вид, что не понимаю. Он повторил вопрос и поглядел пристально на меня. Как я могла объяснить об Андрее... о себе... Теперь вот Андрея нет в школе, а я не знаю, что мне делать, как ему помочь. А ему надо помочь. Его мать тогда кричала, что я виновата, что он тогда на сцене повернулся и ушел. Что все так получилось. А сам Андрей? Он меня не замечает, а если замечает — старается обидеть. Но я ведь никогда не мешаю ему, даже лишний раз не обращаюсь.

Сейчас Андрея нет в нашей школе. Где он? И надо было бы пойти к нему домой или хотя бы поговорить с Кирой Викторовной или еще с кем-нибудь. Но с кем? Лада вот приходил. Я думала, он заговорит об Андрее и обо всем, что случилось, а он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Легче всего промолчать. Я понимаю, это многим людям легче всего. И надо было с Ладой поговорить. Но не поговорила.

В день концерта в артистическую — перед тем как нам выходить на сцену — примчался Лада, красный, запыхавшийся, вытащил из футляра скрипку, сказал: «Дайте ля». Ему дали. Он подстроился, и тут вдруг Андрей подскочил к нему. Если бы не Алла Романовна, то и неизвестно, вышли бы мы все на сцену.

Я еще не видела Андрея таким. Даже тогда, в раздевалке, когда я случайно толкнула вешалку и вешалка упала на меня и на Андрея, завалила нас пальто. Он был в ярости. Но что это по сравнению с тем, каким он был в артистической. Должна была начаться драка, и такая, от которой страшно становится. Бывают такие драки. Ну и потом все остальное на сцене, в школе. Преподаватели делали вид, что ничего не произошло, но мы все знали — Андрея нет. Исчез.

Вот почему я не знала, что сказать бабушке. Бабушка понял и не стал больше ничего спрашивать. Я была благодарна ему. Он у меня с сильным характером. Он даже бывает суровым стариком. Непреклонным. Вот бы мне его суровости. Вообще, нехорошо мне. И раньше было нехорошо, когда видела Андрея

почти ежедневно, и теперь, когда не вижу его, когда он пропал. Даже теперь хуже.

Дома я меньше занимаюсь, не идет у меня сейчас музыка. Не идут руки, когда сажусь за фортепьяно, потому что думаю о другом. Не хочу, а думаю.

Если я отправляюсь рано утром в школу, то потому, что привыкла, и еще потому, что лучше мне уходить из дому рано. Чтобы все было, как было. Хотя бы внешне. Скорее бы только весна, настоящая и уже без снега. Зимой мне всегда грустно.

После уроков я пошла в библиотеку, чтобы переписать ноты для занятий, и тут вспомнила, что в папке у меня лежит книжка. Я раскрыла ее и начала читать. Это была книга о любви, как любовь понимали поэты Рима, Индии, Аравии, как ее понимали Гейне, Шекспир, Маяковский, Бунин. Как понимают любовь теперь.

«...Почему именно этого человека ты хочешь видеть, должен видеть, не можешь не видеть?»

«Любовь — это не только любовь, а еще и свобода, и истина, и красота, и справедливость... И когда человек любит, он не только любит — он обретает какую-то свободу, добывает какую-то красоту, творит какое-то добро, постигает какую-то истину».

Я читала книжку и не могла от нее оторваться. Я только заметила, что неподалеку от меня сидел Гусев. Он, конечно, занимался изучением тетрадей Бетховена. Мы были с ним сейчас похожи друг на друга, потому что читали самые важные для нас книги, занимались самым важным для нас делом и выясняли главные вопросы своей жизни.

Я так волновалась, что слова у меня прыгали перед глазами, и каждое из них попадало в меня, только в меня одну. Я хотела остаться одна. Только бы кто-нибудь не подошел, не помешал бы мне. Я совсем низко опустила голову над книгой, чтобы никого и ничего больше не видеть.

«Можно ли любить в человеке не только его хорошие, но и плохие стороны?.. Но все мы знаем, что человек не разграфлен на черные и белые клеточки, душевные свойства его сложны, они неизменно переходят друг в друга...»

А я Андрея сфантазировала или люблю его таким, какой он есть? Не разделенным на черные и белые клеточки? Может быть, надо разделить на такие клеточки, и тогда белых останется совсем мало? И мне будет легче? Но я Андрея не фантазирую, я его люблю. Может быть, Рита Плетнева его фантазирует, а я нет. И высчитывать черные и белые клеточки тоже не буду.

И вдруг я прочитала:

*Король останавливается перед стражей в позе величественной и таинственной.*

Король. Солдаты! Знаете ли вы, что такое любовь?

*Солдаты вздыхают.*

(Е. Шварц. «Золушка»)

Я засмеялась и, наверное, громко, потому что Гусев взглянул на меня.

— Ты чего?

— Ничего.

Но Гусев увидел, что передо мной не ноты, а книжка.

— Чего ты читаешь?

— Я читаю сказку.

— Сказку? — удивился он. — А-а...

И Гусев снова погрузился в Бетховена.

Я решила увидеть Андрея во что бы то ни стало. Может быть, попросить Татьяну Ивановну разложить пасьянс, а я загадаю, так, для храбрости. Мы с Андреем вместе поступали в школу. Мы с ним должны быть все-таки друзьями, несмотря ни на что.

Вчера я видела Риту Плетневу. Она приходила к нам в школу. Она красивая, и это ей, конечно, помогает быть такой, какая она есть.

А я ушла. Незаметно. И потом я мучилась от этого. Ведь я у себя в школе, и почему я должна была уйти? А она независимая и уверенная в себе, и все вокруг нее бегают, даже Павлик. Наверное, Андрей состоит из одних черных клеточек и его Рита тоже, а я из одних белых, таких белых, что меня никто уже и не замечает!

Так мне и надо.

В то утро все было, как всегда: я пришла в школу, взяла ключ и поднялась наверх, в класс. Зажгла маленькую лампочку на шпильтыше. И тут вдруг в зеркальце увидела Андрея. Андрей вернулся! Он пришел! Он снова будет с нами!

## ЭПИЛОГ ПЕРВОЙ КНИГИ

В ансамбле было восемь скрипачей и органистка Оля Гончарова. Первыми, как самые старшие, школу закончили Ладя, Андрей, Оля и Ганка. И они первыми должны были поступать в консерваторию. Попытаться, во всяком случае. Но Ганка отказалась. Она заявила Кире Викторовне, что вернется в село, что она хочет учить музыке ребят у себя в Бобринцах. Что так она решила. Она всегда все решала сама.

У Оли умер дедушка. И она пошла работать.

Из ансамбля в школе еще остались учиться Дед, Машенька Воложинская, Франсуаза и, конечно, «оловянные солдатики».

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жизнь прекрасна, Ладья уверен в этом. Даже сегодня, когда предстоял такой непростой день. Об этом дне шел разговор и на выпускном вечере в школе — «торжественный акт, посвященный выпуску учеников», — и потом у Киры Викторовны в подмосковном поселке Марфино, где она прослушивала Андрея и Ладю, «облизывала», как она сама говорила, программы по специальности для поступления в консерваторию.

Такой «облизанный» Ладья шел по городу.

Первый звук смычка. Ладья его всегда особенно ясно ощущал. Смычок стремительно съезжал с плеча и снова стремительно наезжал на плечо, и звук вспыхивал перед глазами. Плечо гудело и целиком становилось скрипкой.

Ладя не обижался, если кто-нибудь из ребят во дворе или на улице говорил ему вслед, что вон идет скрипач, пилить будет. И сегодня он попилит. Надо, и попилит — кому свежих и горячих опилок с музыкой?!

Сегодня надо, чтобы все члены комиссии загудели, как твоя скрипка, чтобы ты засыпал их штрихами и пассажами, как опилками.

— Ты его не видел? — спросила Кира Викторовна Андрея.

Кира Викторовна и Андрей стояли в коридоре консерватории на втором этаже. В коридоре было много ребят. Они приехали из разных городов, и теперь каждый рассказывал свое, но в то же время одним глазом косился на большие белые двери: там сидела экзаменационная комиссия по классу скрипки.

Открылась большая белая дверь. Андрей обратил внимание, как блестела бронзовая ручка. Ее блеск как будто передавал весь накал сегодняшнего дня.

Вышла женщина со списком и прочитала фамилию очередного кандидата в консерваторию.

Кандидат взял инструмент, достал экзаменационный лист, оглянулся по сторонам, ища поддержки или хотя бы сострадания, и шагнул за дверь вслед за женщиной. Дверь бесшумно закрылась.

— Пошел на постамент, — сказал кто-то в коридоре.

— Важно улыбаться на входе.

— Нервишки?

- Угу.
- Пошаливают.
- Повизгивают.

Девушка в узеньком темном костюме крутила винт на смычке и о чем-то думала. Винт она крутила машинально. Кира Викторовна взяла ее за руку. Девушка перестала крутить, улыбнулась, но потом опять начала крутить. Кира Викторовна опять остановила ее. И девушка опять улыбнулась и кивнула. Андрею казалось, что девушка тоже думала об этой бронзовой ручке, ждала, когда ручка медленно повернется, тогда откроется дверь и выйдет тот, кто только что с надеждой вошел туда.

Вечно эта надежда. Андрей уставал от этого. Потому что всегда на что-то надеялся — на успех в школе, на успех на первых шефских концертах, на имя в первой афише. Жизнь подбрасывала новые надежды, и он иногда не выдерживал, срывался. Как тогда со скрипкой. Он освободился от всяких надежд, и ему казалось, что теперь будет легко жить дальше. Но все это не так. Все началось сначала. И опять, и опять надо было двигаться от надежды к надежде. Каждый раз преодолевать все более сложное препятствие. Более серьезное. А Ладья? Он не меняется. Неужели он и на самом деле просто живет и просто радуется? Или раньше это было так, а теперь это уже притворство?

По коридору высоко над головой пронесли какие-то списки. Может быть, так высоко пронесли, чтобы не помять, а может, чтобы ребята не пытались заглянуть в них.

Кира Викторовна вывела Андрея на лестничную площадку. Здесь народу было поменьше. Она молчала. Все было сказано в последний раз вчера у нее на даче. Они были там вместе с Ладькой. Кира Викторовна прощалась с ними как со своими учениками.

Был обычный подмосковный летний день. Стучали колесами электрички, и иногда прорезал воздух мощный голос электровоза. Они шли вдвоем по опушке леса. Молчали. Даже Ладья молчал.

Кира Викторовна шла в спортивных туфлях и в брюках. Она показала Андрею молодой, даже юной. Только глаза были грустными и совсем взрослыми.

Кира Викторовна вдруг сказала:

— Я прочитала у Сент-Экзюпери: ни в одном человеке не погиб до конца Моцарт.

Андрей вечером, когда они с Ладькой возвращались домой в электричке, думал, кого имела в виду Кира Викторовна: его, Андрея, Ладью или, может быть, себя? Она тоже когда-то выступала.

Кира Викторовна стояла на лестничной площадке консерватории. Открыла сумочку, достала пачку сигарет.

Андрей никогда не видел, чтобы она курила.

— Я могу спуститься посмотреть его, — сказал Андрей.

— Не надо.

Кира Викторовна курила. Андрей открывал и закрывал на футляре скрипки «молнию». В коридоре опять зашумели, задвигались, отчетливо была названа фамилия:

— Брагин!

Это женщина, которая выходит из-за высоких белых дверей, вызвала Ладю на прослушивание.

— Подлец он все-таки!

— Андрей! — резко сказала Кира Викторовна.

— Извините.

Кира Викторовна бросила сигарету.

— Прошу быть совершенно свободным от всего. Никаких внешних впечатлений. Ты слышишь? Могу надеяться на тебя, что... опять, чтобы... Иди в коридор, — вдруг сказала она. — Я скоро вернусь. Пожалуйста, Андрюша.

Кира Викторовна останавливает около консерватории такси. Вид у нее был такой, что шофер понимающе спросил:

— Экзамены?

— Да.

— Родители по всему городу документы возят из института в институт. Вам что теперь — из консерватории в Институт газа или нефти?

Кира Викторовна подумала: «Неужели опять вспыхнул!..»

Таксисту, очевидно, хотелось еще поговорить, потому что он начал рассказывать об очередях в нотариальных конторах, где все теперь снимают копии с аттестатов зрелости, но Кира Викторовна просила его только об одном: чтобы он побыстрее ехал. Адрес? Самотечная улица. Но таксист все-таки спросил:

— Вы мать?

— Я преподаватель. Ученик пропал.

— Испугался?

— Если бы испугался.

Дома Лади не оказалось. Дверь открыла соседка и, как всегда, сказала:

— А я не знаю, где он со своей скрипкой ходит.

Эту фразу Кира Викторовна слышала не однажды.

Таксист ждал ее у подъезда дома. Увидел, как она вышла расстроенная.

— Совсем, значит, пропал?

Она кивнула.

Ладька всегда шел по Цветному бульвару мимо цирка, выходил на Петровский бульвар, садился в троллейбус и ехал к Никитским воротам, а там и школа рядом и консерватория. Это его обычный путь. И необычные автомашины он сразу заметил. Они стояли недалеко от цирка во дворе. Ладька немедленно свернул во двор.

Автомашины напоминали дома на колесах. Ладька о таких много читал. За границей их называют трейлерами. В них путешествуют. Очень современный образ жизни. Ладька так считает.

Машины оказались на самом деле автодомами. Именно такие Ладька и видел в журналах. Выгнутые большие окна из напряженного стекла, лестницы, противосолнечные пластмассовые козырьки, подключен шланг, очевидно с водой, и еще какой-то тонкий кабель.

Стояли и просто грузовики. Крытые. В них что-то грузили в больших сундуках, перетянутых веревками. Но Ладьку покорили дома. Водить их, конечно, удовольствие. У Ладьки в кармане лежали права, он окончил курсы автолюбителей. Он-то знал, что делал: человек без прав на вождение автомобиля теперь не современный человек, абсолютный примат. Надо изучать семь свободных искусств. Вождение автотранспорта — тоже искусство.

В одном из фургонов отодвинулась на окне шторка.

У окна стояла девочка. Взглянула на Ладьку и его скрипку.

— Будете играть серенаду?

— А хотите? — И Ладька начал доставать скрипку. Ладьку так просто не купишь.

— Арчи, тут бродячий музыкант.

Рядом с девочкой появилась морда здоровенного пуделя. На Ладьку теперь смотрели двое.

— Сколько поросычких сил в тачке? — сказал Ладька и пнул ногой в колесо автодома.

— Между прочим, в тачке есть электрическая кухня, телефон. Кондишн тоже имеется.

Ладька и сам знал, что все это должно быть. Но девочка была пижонкой, а Ладька в принципе не любил пижонства.

— Арчи,— сказала девочка,— телефон.

Пудель исчез и тут же появился с телефонной трубкой в зубах. Трубка была на длинном эластичном шнуре. Девочка, конечно, велела принести телефонную трубку тоже ради пижонства.

— Я водил новенькую «Волгу», спортивную.— Ладька такую «Волгу» не водил, но хотел бы водить.

— У нас медведи это делают.

— У меня есть права.

— У них тоже. У одного международные. Получил в ГДР. Арчи, трубку положи. (Пудель исчез.) Интересуетесь, как медведь получил права?

— Допустим,— сказал Ладька.

— Во время репетиции выехал за ворота цирка и отправился по улице. На следующий день в полиции ему выдали права. Международные.

— А у вашего пуделя прав нет?

— Глупо. Отсутствует собственное воображение.

Девочка отошла от окна. Внутри автодома послышался шум, потом залаял Арчи.

Ладька понял, что он не может уйти: во-первых, не за ним осталось последнее слово, во-вторых, он должен побывать в таком доме. Ладька положил на ступеньку скрипку и аккуратно постучал в дверь. Он хотел быть вежливым.

Погрузка сундуков и ящиков продолжалась. Потом кто-то в рубашке и в тонких, на зажимах подтяжках выбежал из дверей полукруглого здания, откуда выносили ящики и сундуки, закричал, чтобы с грузом обращались как с посольской персоной, и снова убежал.

Открылась дверь в автодоме, и Ладька поднялся по лестнице. Маленький настоящий холл, в холле — никого. Ладька прошел дальше. Осторожно открыл еще одну дверь. Он увидел клоуна. Волосы были лубяного цвета, из мочала. Клоун сидел за столом и разговаривал по телефону. Рядом с клоуном стоял пеликан.

— Извините,— сказал Ладя.— Тут девочка и пудель...

— Что? — недовольно спросил клоун, прерывая свой разговор по телефону.

— Пригласили меня.

— Ты его приглашал? — Клоун спросил это у пеликана.

— Девочка и пудель,— повторил Ладя.

— Какая девочка, какой пудель? У вас что, молодой человек, нет глаз?

Ладька выбрался из автодома. Хотел взять скрипку с подножки. Теперь скрипки не было. Взглянул в окно — в окне была та же девочка. Она смотрела на него.

— Куда вы пропали?

— Я пропал?

— Ну да.— Глаза ее смеялись.

— А где скрипка? — спросил Ладя. Последнее слово за ним, очевидно, так и не останется.

— Заходите,— сказала девочка.— Что же вы?

Ладя поднялся в автодом. Клоуна и пеликана не было. На кресле лежала скрипка.

Появился пудель. Ладя покосился на него — не пеликан ли снова?

— Вы цирк-шапито?

— А вы очень догадливы. У нас шофер заболел. Врачи говорят, месяца на два или три. Язва желудка. Мы задержались, пока директор все выяснял.

— Возьмите шофером!

— А куда вы шли с этим предметом? — Девочка показала на скрипку.

— Тут. Недалеко. Слушайте, я серьезно.— Девочка была явно младше Ладьки, но и Ладька называл ее на «вы», чтобы все выглядело очень убедительным и чтобы она почувствовала, что он тоже вполне серьезный человек.— Не медведь же заменит водителя, на самом деле!

— Конечно,— сказала девочка,— медведь ездил по Германии на мотоцикле.

— У меня эти два-три месяца свободны! — Ладька расхаживал по автодому. Кабина водителя — широкие педали, серво-руль, четыре фары, прожектор с противотуманной лампой.

— Вы шутите,— сказала девочка.

— Нет, это вы шутили.— Ну и ну, вот девчонка! И Ладя показал на парик из мочала, который он увидел в кресле рядом со скрипкой.— Я серьезно. «Волгу» спортивную я не водил, но грузовик водил.

— Мы через всю страну поедem, с севера на юг. Арчи, подтверди.

Арчи наклонил голову и негромко твякнул. И еще хвостом что-то изобразил.

Или она трепачка, или говорит правду, подумал Ладя. Увидеть всю страну с севера на юг, да еще на такой первосортной тачке. Подарок небес! Фант раз в жизни!

Ладя вылез из автодома, но уходить не хотелось. Опять из полукруглого здания выбежал человек в подтяжках.

— Аркадий Михайлович! — закричала девочка в окно.— Я водителя нашла для «Тутмоса»!

Аркадий Михайлович остановился, взглянул на девочку потом на Ладю.

— Серьезно! — опять крикнула девочка.— У него права!

— Пусть зайдет ко мне.— Человек в подтяжках убежал.

— Наш директор. Иди к нему.

«А что,— подумал Ладька,— и пойду, черт возьми!»

Когда Кира Викторовна вернулась в консерваторию и вбежала на второй этаж, в коридоре по-прежнему толпились ребята. Андрея среди них не было. Но зато была Верочка. Она пришла из школы — узнать, как дела.

— Андрей там.— Верочка показала на белые двери.— Ваш муж только что звонил в школу. Спрашивал. Волнуется за вас.

— Ладя не появлялся?

— Нет. Не видела.

— Значит, пропал.

— Найдется. Здесь тоже есть директорский кабинет. Можно будет посадить на ключ.

Кира Викторовна стояла у дверей. Она прекрасно знала профессора Валентина Яновича Мигдала, училась у него. Он был председателем приемной комиссии по скрипке. Сидел сейчас там за столом. Можно было, конечно, войти, спросить разрешение и послушать Андрея. Кира Викторовна взялась за ручку двери, но остановилась — Андрей очень восприимчив, и даже ее появление может как-нибудь на нем отразиться.

Вдруг она увидела знакомую фигуру — Павлик.

Вот кто везде чувствует себя совершенно естественно и, так сказать, надлежащим образом. Если Дед не будет скрипачом, он будет директором — уже ходит сзади Всеволода Николаевича, как директор.

— Тареев!

Павлик подошел, вздохнул и сказал:

— Абитуриенты, а ведут себя, как зеленые новички.

— Ты по какому случаю?

— А если вам что-нибудь понадобится?

Кира Викторовна посмотрела на Деда. Она была ему признательна за эти простые его слова. Она даже не сказала ему, чтобы он подобрал живот.

Никогда Кира Викторовна не думала, что будет так волноваться. А почему она не должна волноваться — ее ученик поступает в консерваторию. В ее жизни это происходит впервые. И то, что она здесь, это неправда: она сейчас стоит там, перед Валентином Яновичем. Она видит, как Валентин Янович своими большими руками держится за отвороты пиджака, откинулся на спинку стула, высоко поднял голову и слушает скрипку. Он так всегда слушает. Он умеет очень внимательно слушать. Это не просто учитель игры на скрипке, а учитель музыки. Он всегда говорит: «Музыка — это поиск звука». И это от него она слышала: «Это еще не звук, а это уже не звук». Для Валентина Яновича музыкой прежде всего называлось то, что составляло искусство звука. Звук должен быть «закутан в тишину, должен по-коиться в тишине».

Что он скажет об Андрее? И как там Андрей? Только бы сыграл глубоко, сильно и точно. А для этого Андрею надо быть спокойным. Максимально. Кому перед выступлением требуется нервный толчок, а кому ни в коем случае этого нельзя. Андрей такой. Ему нельзя. А Ладе он нужен. Ладя создает самому себе

препятствие, и сам его преодолевает. Андрею это противопоказано категорически.

Кира Викторовна, решительно стуча каблуками, подошла к двери, взялась за ручку и не выдержала, открыла дверь. Андрей стоял — скрипка и смычок опущены. Он только что кончил играть. Валентин Янович сидел, откинувшись на спинку стула, руки — на отворотах пиджака. Все, как и представляла себе Кира Викторовна. Сидели члены комиссии.

— Знал, что войдешь, — улыбнулся Валентин Янович. — Приметил в коридоре.

— Валентин Янович, извините.

— Антонова. — Это профессор сказал членам комиссии.

Те кивнули.

— Косарев, вы свободны. Спасибо, — сказал профессор.

Андрей взглянул на Киру Викторовну и вышел из комнаты.

В коридоре его встретили Павлик и Верочка. Павлик держал футляр от скрипки.

— Ну как? — не выдержала Верочка.

Андрей подошел к раскрытому окну. За окном, во дворе, стояла его мать. Но ему сейчас хотелось видеть Риту.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Это был скоростной лифт. В лифте была молодежь, веселая и говорливая. Те, кто поступил в институты и сейчас хотел бы поделить свое счастье на всех. Счастье для них — величина постоянная, как и собственная молодость.

Рита была в летнем платье и в теплом шарфе. Шарф стоял по краям ее плеч, будто воротник. Рита сделала прическу, ее глаза были подкрашены. Это впервые.

Лифт остановился, мягко раскрылись автоматические двери, и Андрей и Рита вышли.

Потом они вместе со всеми сидели в небольшом зале. Широко виден был город. Огни. Кроссворд из огней — по вертикали и по горизонтали. И над этими пересекающимися огнями — он и Рита. Андрей подумал: там, где огни не горят, там в кроссворде незаполненные слова.

Им принесли два высоких стакана с зелеными трубочками. Трубочки были похожи на стебли травинок. Поблескивали кубики льда. Повисли дольки лимонов, специально зацепленные за края стаканов. Коктейль назывался «Двое».

— О чем ты думаешь? — спросил Андрей Риту.

— Что у тебя так все хорошо.

— Я играл удачно. Пальцы пошли и смычок.

— Ты играешь, а что ты испытываешь? О чем ты думаешь?

— Я начинаю играть в уме, где-нибудь еще в коридоре. Я играю раньше, чем начинаю еще играть. Почему ты спросила об этом?

— Меня пригласил музыкант, и я говорю о музыке.

— Перестань. — Андрей злился, когда Рита начинала так вот говорить. Когда нельзя было понять ее настоящих мыслей и слов.

Рита отпила несколько глотков, качнула стакан и послушала, как стучит о его стенки лед. Взяла дольку лимона и опустила ее в коктейль.

— Я не думал, что ты все-таки пойдешь в технический институт, — сказал Андрей. Ему хотелось перевести разговор на Риту и поговорить серьезно. — Ты сделала это из-за отца? Ты должна была пойти в Институт международных отношений, например.

— Или иностранных языков. — Рита взглянула на Андрея, и нельзя было понять, что скрывалось за ее словами, потому что в глазах ее таилась улыбка. — Давай чокнемся, — сказала Рита.

— Коктейлями?

— А что?

— Давай.

Они чокнулись, допили коктейль.

— Здесь есть оркестр? — спросила Рита. — Скучно без оркестра.

— Только ничего не придумывай.

— А я не могу начать думать раньше, чем что-то придумаю. Но за тебя я рада. Очень! — Было похоже, что это она сказала совершенно искренне. И Рита встала и направилась к выходу.

Они шли по Садовому кольцу, по Смоленскому бульвару.

— Куда мы идем?

— Какая тебе разница!

— Не люблю, когда ты такая.

— «Я трогаю босой ногой прибор поэзии холодный...» — сказала Рита.

— Перестань.

— «А может, кто-нибудь другой — худой, замызганный, голодный — с разбегу прыгнет в пенный вал, достигнет сразу же предела, где я и в мыслях не бывал...»

— Прошу, перестань.

— Чрезвычайность поэзии, — сказала Рита.

Дверь открыли, и на пороге оказался Витя Овчинников.

— Ха! — радостно воскликнул Витя. — Ребята!

Он искренне обрадовался.

Выбежали в коридор две девочки, две копии Вити. Одна

девочка — помладше, другая — постарше. Девочки вежливо поздоровались.

— Приняли в консерваторию,— сказала Рита, показывая на Андрея.

— Андрюшка, гений! — крикнул Витя.— Я это знал.

Девочки начали вежливо рассматривать Андрея.

— Прошу в мою рощу,— сказал Витя.— Мать, ко мне Рита и Андрей прикатили.

Вышла мать Вити. Андрей не ожидал, что у Вити такая мать: небольшая, в стареньком ситцевом платье, усталые тихие плечи и такие же усталые тихие руки. Из кармана платья свешивалась ленточка клеенчатого сантиметра.

— Очень приятно,— быстро сказала она, заталкивая в карман сантиметр.— Проходите. Витя, я поставлю чайник.

— Чайник я поставлю сам,— сказал Витя.— Чай будем пить с лепестками жасмина. Экзотика — моя слабость. Мать, где коробка?

— У меня на полочке.— И она вышла из комнаты.

— Колониальные товары собственного изготовления. Это верно, что «гроссы» махнули на завод?

— Верно. У них идея,— сказала Рита.— Год они будут познавать себя и окружающую действительность.

— А что? Уважаю.

— Я тоже хочу познать себя и окружающую действительность,— сказала Рита.— Но у меня простое любопытство.— Потом она подумала и добавила: — Очевидно.

Витя и Андрей молчали.

— Убери свои вещи.— Это вернулась и сказала мать Вити.

— Сейчас. И прошу тебя бодрее смотреть на жизнь.— Витя сказал это матери как-то строго.

Андрей хотел по-настоящему обидеться на Риту, что она его сюда привела, но после того, как он увидел мать Вити, его сестер и самого Витю вот так, дома, где он был совершенно другим, Андрею стало стыдно за все, что он думал о Вите. А Рита знала, какой Витя. Знала его настоящим.

Андрей заметил, что мать Вити чем-то расстроена, но старается не показать этого.

Витя потащил их к себе в комнату. Это была даже не комната, а отгороженная фанерной стеной часть коридора. Окна не было, но горела большая трубка дневного света. Стены украшены самыми неожиданными предметами — спасательный круг, древняя географическая карта, медная сковородка, переделанная в часы. Цифры наклеены из бумаги. Обыкновенный номерной знак, который висит на улицах, на домах. На знаке было написано: «Банановая роща, вход со двора». Вместо стульев на крашеном полу лежали цветные подушки. Стояла

низкая тахта, покрытая пледом. Овальный столик напоминал раму от старинной картины: картину вынули, а вместо нее вставили чистый лист фанеры.

Витя расчистил тахту от вещей, которые люди обычно берут с собой в дорогу, когда собираются уезжать из дому, сгреб в охапку и вынес из комнаты.

Рита выключила трубку дневного света и зажгла вместо нее лампочку в номерном знаке дома.

— Ты здесь все знаешь,— сказал Андрей.

— Конечно. Он в меня влюблен.

— С третьего класса.

— Именно.

Андрей снова начал злиться. На нее, на себя, на Витю. Не надо ему никакого чая с лепестками жасмина.

— Я уйду.

— Иди.— Рита уселась на тахте.— Хочешь обидеть Витю? Он тебе сделал что-нибудь плохое?

На кухне зазвенела чайная посуда, раздались голоса Вити и его сестер. Сестры помогали брату.

— Мне у них всегда очень хорошо,— сказала Рита.— Между прочим, я тоже поступила в институт, и у меня праздник.

— Извини.— Андрей сел рядом с Ритой на тахту.

Появилась с подносом старшая из сестер. На подносе стояли три маленькие чашки и фарфоровый чайник, прикрытый салфеткой.

Сзади шел Витя.

— Женьшень, а не чай,— сказал Витя и велел сестре поставить поднос на стол-раму,— Ты свободна. Остальное я продаю сам.

Сестра ушла. Но заметно было, как ей хотелось здесь остаться.

Витя снял с чайника салфетку и разлил чай по чашкам. Снова накрыл чайник салфеткой.

— Пилигримы,— сказал Витя,— вы всегда найдете должное внимание, «банановая роща» к вашим услугам.

Витя уселся на подушку. Рита взяла маленькую чашку, сделала первый глоток.

— Как фирма? — спросил Витя.— Соответствует международным стандартам?

Рита весело надула щеки и громко причмокнула.

— Рад слышать.

Андрей тоже попробовал чай. От него на самом деле исходил запах жасмина.

— Метр? — спросил Витя.

Андрей кивнул. Он все еще не мог определить своего отношения к Вите.

Открылась фанерная дверь, и вошла мать. Из кармана платья у нее опять свешивался сантиметр.

— Он уезжает, Риточка,— тихо и робко сказала она.

Витя вскочил:

— Мама!

— Уезжает,— повторила мать.— Был в военкомате, записался в военное училище. Прошел медицинскую комиссию сегодня.

Витя повернулся к Рите и к Андрею:

— «Банановая роща» остается к услугам друзей. Всегда.

— Рита,— сказала мать.— Может быть, ты повлияешь на него, чтобы он попозже уехал. Не сейчас.

— Мама, это армия. Как ты не понимаешь!

— Понимаю. Армия,— сказала мать.— Конечно. Если надо.

— Он будет офицером,— сказала старшая девочка Витя.

— У него будут голубые погоны,— сказала младшая девочка Витя.

Они незаметно проникли в комнату вслед за матерью.

— Определенно, сударыня,— сказал Витя.— Я буду воздушнодесантником.

Рита смотрела на Витю и ничего не говорила. Держала чашку с чаем.

Андрей сказал:

— Мне нужно уйти.

Он поднялся, поставил на стол свою чашку. Рита взглянула на него.

— Правда,— сказал Андрей.— Очень срочно.

— Да куда ты? — засуетился Витя.— Такой день!

— Я бы с удовольствием посидел еще, но вот надо. Забыл я... одно дело.

— Пусть идет,— сказала Рита.— Если надо.

— Провожу,— сказал Витя.

Он проводил Андрея до дверей. Рита осталась сидеть на тахте. Андрей слышал, как к ней устремились сестры Вити. Очевидно, они любили Риту. И Рита уже смеялась, что-то им рассказывала.

Как же он забыл о Ладье? Он должен был выяснить, что с ним случилось. Обещал Кире Викторовне. Скотина все-таки Ладья. Сколько из-за него бывает суеты и беготни. Так всегда. И конца этому нет. Что-то еще придумал. В самый последний момент. И не явился. Совсем не пришел. Удивительный тип. Кого хочешь доведет до отчаяния.

Андрею показалось, что Кира Викторовна на Ладью серьезно обиделась, потому что попросила Андрея обо всем узнать. Сама не захотела.

Андрей сошел с троллейбуса на Самотечной площади. Даль-

ше надо было идти пешком. Андрей спешил. Он знал адрес Ладьи, но никогда не был у него дома.

Без труда отыскал дом, поднялся на четвертый этаж. Позвонил. Никто как будто не идет к дверям. Андрей постучал. Понимались шаги. Дверь открыла пожилая женщина, которая, не глянув на Андрея, начала что-то искать в коридоре. Андрей не знал — входить ему или как.

— Вот он,— сказала женщина и подняла с пола клубок ниток.— Там он.— И она махнула куда-то неопределенно рукой. (Андрей не понял, к нему это относится или опять к клубку ниток.) — Иди, иди. Чего ты встал?

Андрей вошел и все-таки спросил:

— Ладя дома? Мне Ладю Брагина.

— А кого же. Там он, на кухне.

Показался и сам Ладья. Он что-то дожевывал.

— В самый раз. Чай будешь? — спросил он так, как будто они всегда по вечерам встречались у него дома и беседовали, как самые лучшие друзья.

— Не хочу,— сказал Андрей.— Уже пил. А ты что? Ты опять...

— Уезжаю,— сказал Ладья.— Да ты проходи.

— Некогда мне.

— Завтра уезжаю.

— Как? — Андрей только сейчас понял смысл Ладьиных слов.

— Утром.

— Вы что! Все! — закричал Андрей.— Все куда-то уезжаете!

— Кто все?

— Два дня назад ты не уезжал, а теперь уезжаешь! Так вот, сразу!

— Жизнь,— сказал Ладья.— Обстоятельства.

— Врешь ты все! Придумываешь! — Андрей начал злиться.— Вертишь. Крутишь. Ты обязан был явиться в консерваторию. Тебя ждали!

— Ты ждал?

— И я тоже. Представь себе.— Андрея, как всегда, задело поведение Ладьи: никому ничего не говорит и сразу уезжает. Обидеть людей — ему плюнуть. Даже Киру Викторовну.

Женщина перестала интересоваться клубком ниток и теперь стояла невдалеке от Андрея и Лади и слушала, кивала головой — она была согласна с Андреем.

— Ты должен быть в консерватории, ты это знаешь! — кричал Ладья.— А я не знаю, должен я или не должен. До сих пор ничего не знаю!

— Знал, знал, а теперь не знаешь?



— Да!

— Врешь!

Они стояли в полутемном коридоре друг перед другом. Вплотную. Уже давно они так не стояли друг перед другом.

— Может быть, ты и прав,— сказал Андрей.

— Может быть,— ответил Ладя.

— Что я твоему брату скажу? — вдруг спросила женщина.

— Музыкальную школу я закончил. Он велел ее закончить, и я закончил. Теперь буду собирать коллекцию кирпичей. Один уважаемый товарищ собирает.

— Я пошел,— сказал Андрей.

— Кире Викторовне я напишу,— сказал Ладя.— И вообще консерватория расположена в доме номер тринадцать. Меня это смущает.

Андрей уже на улице подумал, что даже не спросил, куда Ладька едет. Не к брату ли в экспедицию?

Глупый сегодня вечер. А так все было задумано хорошо. А потом все не получилось. Действительно, коллекция кирпичей.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Тутмос» — это старый «пикап» с клетками для пеликана Бори, десятка дрессированных голубей, енота-прачки (в цирке у него номер: он стирает белье). Енота звали Енот Егорыч. И еще в «Тутмосе» ездит морские свинки, они тоже дрессированные, и у них тоже номер: они машинисты игрушечного поезда. Имен у них нет, просто — машинисты.

Ладька вначале слегка растерялся, когда директор цирка Аркадий Михайлович подвел его к «пикапу» и спросил:

— Разбираешься?

Отступать было поздно. В конце концов, и у этого старого «пикапа» колеса вертятся, и он тоже движется по дороге. А это уже приключение.

— Шофером будешь по совместительству. Проведем по ведомости униформистом. Свободная ставка.

Ладька не возражал. Жизнь разнообразна и поэтому прекрасна. Хирург Склифосовский играл на виолончели, выводил новые сорта груш и купался в проруби. Какой-то француз сшил себе штаны из паутины. Франсуаза говорила. И потом, «Тутмос» вполне симпатичный шарабан. Не из паутины, во всяком случае. А то, что изредка гаснет одна фара, так это не беда. Важно, чтобы постоянно горела левая, тогда не будет осложнений с автоинспекцией. И вообще тише едешь — дальше будешь. Прописная истина. В школе они любили это кричать, когда таскали по коридору материальные ценности.

Первое Ладькино серьезное путешествие. Он даже волновался. Он ждал, когда же наконец перед ним развернется дорога с ее настоящими сложностями и без надписи на машине: «Учебная». Ладька много раз чувствовал начала всех дорог, но дальшие километров сорока—пятидесяти ему не удавалось по ним проехать. Даже как пассажиру. Теперь — полная безграничность.

Ладькино место было в середине колонны. Первым ехал Аркадий Михайлович в собственном новеньком «Москвиче». Он опять был в рубашке и тонких подтяжках на зажимах. Надел еще черный фетровый котелок. Аркадий Михайлович был похож на старинных циркачей, или, как прежде называли, циркистов. Не хватало тоненьких усов, закрученных кверху, как две перевернутые запяты, и какой-нибудь надписи над головой: «Зоопсихолог, фабрика рефлексов».

За машиной Аркадия Михайловича ехал первый автодом, потом грузовики с реквизитом, потом Ладька, потом еще три автодома. Внушительная колонна, хотя это и не весь цирк, а только его хозяйственная часть в основном.

Санди ехала в последнем автодоме со своей матерью и отцом. Они были жонглерами. Санди была клоуном, или, как говорят в цирке, коверным. Санди мечтала быть коверным и добивалась этого, потому что она была гимнасткой, иллюзионистом-эксцентриком и просто выдумщицей в одно и то же время. Училась в цирковом училище на вечернем отделении, сейчас проходила практику.

— Я единственная девочка-клоун,— говорила Санди.

— В Московской области,— говорил Ладька.

— В Советском Союзе,— говорила Санди.— Арчи, подтверди.

Арчи наклонял голову и негромко тявкал. Потом изображал что-то хвостом. Арчи тоже был коверным.

Полное имя пуделя Арчибальд. Ладя так его и называл, и, кажется, за это пудель сразу полюбил Ладьку. Он иногда догонял «Тутмос» где-нибудь в объездах, где машины совсем сбавляют скорость. Ладька открывал дверцу. Арчи впрыгивал в кабину к Ладьке, и они ехали вместе.

Арчибальд путешествовал так же охотно, как и Ладька. Движение колес радовало их обоих. На бензоколонке, которая расположена около Вязьмы, Ладька решил поразить Санди: он пригнулся в «Тутмосе» и незаметно подъехал к заправщику. У заправщика чуть кепка с головы не слетела, когда он увидел, как пудель подруливает к бензоколонке. Цирк цирком, но все-таки... Санди шутку вежливо оценила; Аркадий Михайлович не очень: цирк должен быть в цирке, а не в гуще транспорта.

Ладькины пассажиры были очень смирными. В пути они в основном дремали. Только пеликан Боря иногда начинал кри-

чать странным голосом. Ладькины вещи ехали в автодоме Санди. И скрипка ехала. Ладья испытывал полное наслаждение от того, что сидит за рулем, пускай даже и «Тутмоса». Но в руках руль, пускай и без сервиса, под ногами педали, пускай и не широкие. Дрожит у колена черный шарик на рычаге коробки скоростей. И вокруг непрерывное, незатихающее движение.

Люди сами виноваты, когда им скучно, когда они убивают свое время. Ладья никогда не будет убивать свое время. Он никогда не будет ничего ждать; он будет каждую минуту жить, а если он не знает, чего он достигнет скрипкой, он будет жить пока без скрипки. Скрипка — это струны, смычок и ты сам. А Ладья не знает, где он до конца сам, в чем? И он завидует Андрею, которому все понятно. Струны, смычок и он сам — вместе. А Ладья не вместе ни с кем и ни с чем. И пусть.

— Арчибальд,— сказал Ладья,— вы мне симпатичны, и я вас уважаю.

Пудель повернул голову к Ладье и приподнял одно ухо. Он умел быть внимательным.

— Член ДОСААФ СССР Брагин на двести восьмидесятом километре от Москвы беседует со своим лучшим другом и попутчиком Арчибальдом. Вы, Арчибальд, напоминаете мне некоего Павла Тареева. Вы разбираетесь в жизни, я это вижу. Хотя вы и коверный, и вообще несерьезная личность. Впрочем, вроде меня. Я вас когда-нибудь познакомлю с Павлом Тареевым. Он человек. И Ганка тоже человек. Она тоже знает, что делает. А я не знаю, что я делаю. Почему я оказался здесь, с вами, в этом легкомысленном экипаже, и везем мы Борю-пеликана и всех остальных личностей.

При имени Бори-пеликана Арчибальд поднял второе ухо.

— А может, во мне, Арчибальд, зарыт где-то на самом дне Чайковский? Соната, сонатина в переменном размере. Чем объясняется ваше увлечение переменным размером? Вопрос корреспондентов. Ответ — только движением встречных лимузинов. Как? На лицах корреспондентов удивление. Ответ — проходит машина, и это тактовая черта. А чем будут велосипедисты, Арчибальд? Не знаете? Я тоже не знаю. А Галлахер все знает. Вам не известен Галлахер, Арчибальд? Композитор, истинный лондонец, как и ваши предки, судя по родословной. Он сочинил симфонию о футболе. Можно сочинять музыку о явлениях физики, можно и о футболе. «Печальная симфония» называется. Посвятил ее проигрышу сборной Англии на первенстве мира в Мексике. Свистки арбитра, вопли болельщиков, вздохи футболистов после поражения. Все есть. А мы с вами, Арчибальд, не знаем, чем будут велосипедисты. Поглядим лучше на приборы — амперметр показывает зарядку, бензина полный бак, температура воды шестьдесят градусов. Бутлеров, ког-

да учился в пансионе, прятал у себя в спальне химические склянки. Однажды склянки взорвались, Бутлерова заперли в карцер. На обед водили с доской, на которой написали: «Великий химик». Смеялись над мальчиком. Но потом мальчик посмеялся над ними над всеми. Он стал великим химиком. Из программы для восьмого класса. Можете, Арчибальд, взять к себе в клоунаду. Я придумал, чем в сонатине будут велосипедисты — слабые доли такта. Вы, кажется, спите и не слушаете?

Арчибальд положил голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Он спал, а может быть, думал над словами Лади о Бутлерове, «Печальной симфонии» Галлахера, о Чайковском.

Вечером автопоезд остановился в кемпинге. Проехали за ворота и поставили машины на стоянке. Автодома выглядели внушительно. Получился настоящий поселок. «Тутмос» затерялся среди автодомов — так, дровяной сарайчик.

В кемпинге было еще много легковых автомашин. Они стояли в заездах около палаток. Палатки были разноцветными и напоминали флажки на веревке. Были врыты столбы, а вокруг них подковой — скамейки. Тоже разноцветные.

Ладья никогда не бывал в кемпингах. Здесь было как-то особенно оживленно — кто спешил в душ с перекинутым через плечо полотенцем, кто нес кастрюлю или чайник в летнюю кухню, сделанную под навесом, кто возился с машиной, и около него стояли добровольные консультанты и советчики, кто, разложив прямо на палатке, сушил белье.

Арчи немедленно отправился знакомиться. Он-то прекрасно знал, что такое кемпинг.

— Товарищи, через тридцать минут соберемся на ужин, — объявил Аркадий Михайлович.

Санди спросила Ладю, как он после первого большого переезда — не устал?

— Все в порядке, — сказал Ладья. — Зверей своих сейчас кормлю.

— Ты не сердись, что у тебя «Тутмос»?

— Что вы! Лимузин, о котором я мечтал. И главное, звери настоящие.

— Сердишься, — сказала Санди.

— Да нет же, право. Что вы... — Ладье нравилось говорить «вы» Санди и ее пуделю Арчибальду.

— Я люблю, когда люди смеются.

— Я тоже.

— Улыбнись.

Ладья улыбнулся.

— Громче, — потребовала Санди.

Ладья засмеялся, совсем по-настоящему.

— А ты знаешь, кто был праотцом клоунов? — спросила Санди.

— Нет.

— Аристофан.

— В Греции все есть, — сказал Ладя.

Санди убежала помогать готовить ужин. Эти совместные ужины были ритуалом. Ладя потом узнал. Все собирались, ели и обсуждали прошедший день, потому что наконец все были вместе и никуда не спешили.

Ладья накормил Борю, Енота Егорыча и насыпал зерен голубям и «машинистам». Вышел за ворота кемпинга. Большой луг, а на нем стога сена. У Ладья затекли ноги, он решил пробежаться до первого стога.

Он упал на сено, и его обдало запахом лета, вечернего солнца. Приятно ныли руки и плечи, как после хорошей работы. Он проехал триста восемьдесят километров, и ему казалось, что вся дорога была в нем, каждый километр. Ощущал ее мышцами плеч и рук. Было приятно, потому что дорога привела его на этот луг, к этому стогу сена, и Ладья лежал радостно-усталый и слушал, как в нем еще звучала дорога. У нее была своя мелодия, Ладья в этом не сомневался. Дорога не просто двигалась навстречу, она что-то отдавала человеку, который двигался по ней. Он лежал и слушал, как это звучит.

Прибежал Арчи. Наступил Ладе на грудь и заглянул в лицо. Ладя повалил его рядом с собой в сено.

— Привет, бульдог.

Арчи весело залаял, и тут появилась Санди.

— Куда ты пропал? Все беспокоятся. Новый сотрудник.

— И пропасть нельзя?

— Нельзя. Дисциплина.

— А мне нужна свобода. Я ее певец и выразитель!

— Немедленно вылезь из этого сена, выразитель. Мы ждем тебя ужинать!

Ладя поднялся и пошел вслед за Санди. Что тебя ждут, было приятно. Даже очень приятно, но Ладе не хотелось, чтобы это заметила Санди. Он вообще не хотел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь знал, как он дорожит простым человеческим вниманием. Дома Ладю никогда не ждали — брат был в экспедициях, то в одной, то в другой, а соседка только следила, чтобы он ел, все остальное не имело значения.

Родных Ладья плохо помнил — они погибли при землетрясении в Средней Азии. Отца меньше помнил, мать — больше. Ладя остался с братом. Жили они трудно, и это было долго, пока брат наконец не закончил институт. Скрипка в руках у Ладья оказалась случайно: зашли они с братом в комиссионный музыкальный магазин, и Ладья сказал: «Купи скрипку». Брат

купил за пять рублей. После гибели родителей это была первая Ладьякина просьба к брату. А если купили скрипку, значит, надо на ней играть. А если ты начал играть на скрипке, то иди и поступай в музыкальную школу. Брат отвел Ладью в музыкальную школу, и Ладья, на удивление брату и самому себе, в школу поступил. У Санди есть отец и мать, и это самое лучшее, что может быть у человека на всем белом свете. Ладья так считает. Но он об этом тоже никогда никому ничего не говорит.

Санди по-прежнему шла впереди. На ней было белое платье. Вдруг оно стало красным. Ладя даже не заметил, как это случилось; просто взглянул на Санди, и на ней было уже красное платье, а волосы — розовые.

— Репетируешь? — Он забыл сказать ей «вы» от удивления.

Санди ничего не ответила, шла себе как ни в чем не бывало.

Платье Санди засветилось синим, все сразу, будто покрылось фосфором. Уже вечерело, и платье в сумерках стало очень эффектным. У Арчибальда в зубах появились такие же синие перчатки.

— Аристофаны! — засмеялся Ладья. — Черти полосатые!

Утром снова длинный караван, и снова Ладя за рулем. Дорога, встречные машины — тактовая черта, конец тактовой черты, — басовые ключи автобусов, велосипедисты с граблями и удочками, мосты через реки, шлагбаумы и будки путевых обходчиков, заросшие цветами до самых окон, и облака на небе. Дует ветер, они плывут, куда дует ветер.

Под ногами у Лади подрагивают педали, подрагивает в руках руль: чувствуется дорога. Непрерывное, незатихающее движение. Левый локоть прижгло солнцем, потому что Ладя выставлял локоть в открытое окно. Санди пришлось смазывать ему локоть кремом от ожогов, а пудель Арчи пытался оказать помощь своим языком.

Один раз у Лади с грохотом лопнула крышка. Пеликан Боря даже не проснулся, а «машинисты» потеряли сознание от страха. Пришлось отливать водой. Водители с других машин сказали Ладье, чтобы он не перекачивал баллоны: днем от движения они разогреваются, и так все у него полопаются, тем более баллоны на «Тутмосе» старые. Ладья с водителями не мог не согласиться. А то, что «Тутмоса» украли из какого-нибудь государства Урарту, он не сомневался, да и водители с других машин не сомневались. Ископаемое.

С основным цирком соединились в Чернигове, небольшом городе. Он стоял на возвышении и был старой крепостью. Сохранились стены, монастырь, пушки с чугунными ядрами, столбы-коновязи. Мостовые были выложены крупным булыжником.

Шатер цирка был натянут недалеко от пушек, под двумя огромными дубами. И было похоже, что это разбили бивак русские гренадеры. Вот что такое археология. Ладья теперь понял.

Ладьякин «Тутмос» превратился в билетную кассу. Ладья ездил по Чернигову и окрестным поселкам и деревням, продавал билеты. Над кабиной «Тутмоса», на первом плане, он укрепил афишу, где был портрет Санди с Арчибальдом. Он хотел, чтобы основным артистом из цирковой фамилии Мержановых была Санди, потому что, если бы не трюки коверного Санди, он бы никогда не увидел, например, Чернигова, этих рвов, храмов и пушек. Он бы не носил сейчас в себе восемьсот километров дороги, все мосты, кемпинги, стога сена, железнодорожные переезды. И над ним никогда бы не проплывали такие белые облака. Многие в Москве видят облака? Или что-нибудь такое в этом роде?

Кира Викторовна получила первое письмо от Лади из Орши. Начиналось письмо с описания девочки по имени Санди. Имя это звучало с первых же строк. «Конечно,— подумала Кира Викторовна,— опять девочка». В судьбе Андрея — девочка, и в судьбе Лади появилась девочка. И так сразу и решительно. Ладья, который вообще никогда не придавал этому никакого значения, ну никакого, и теперь он где-то с каким-то цирком. Ездит на каком-то «Тутмосе». И конечно, ради этой девчонки.

Кира Викторовна не против спорта в школе, ни в коем случае. Она сама занимается лыжами. Но вот то, что Ладья увлекается машинами, в данном случае явление отрицательное. Он может повредить пальцы, когда возится с «Тутмосом», случайно, и кончена скрипка. Навсегда. Или вот в последнюю зиму Франсуаза — сколько из-за нее Кира Викторовна вынуждена была перенервничать! Франсуаза надевала коньки с чехлами и всюду ходила на коньках, даже в школе иногда. Занимается на скрипке, делает уроки, а сама стоит на коньках. И научилась не просто кататься, а даже начала играть в хоккей. Недавно опять ушибла лицо — на этот раз губу. Схватила с поля ледяную крошку и быстро приложила к губе. И все. Только бы не выбить из игры, из своей пятерки. Шайба — это теперь основное! Кричит партнерам: «Не бойсь!» Научили ее так кричать. В Франсуазе поселились два великих города — Москва и Париж, и она не желает ни одного из них упускать. Кире Викторовне приходится быть и преподавателем, и матерью, и опекуном.

А может быть, Кира Викторовна не права? И прав Гриша, когда говорит, что она делает с учениками то, что ей надо, а не то, чего они хотят? Уехал Ладья в один день, значит, ему это было необходимо. Значит, ему так хочется сейчас, и нельзя его неволить, даже консерваторией. Потому что, если бы он ничего

другого, кроме консерватории, не представлял себе, не мыслил, он был бы сейчас у Валентина Яновича. А он оказался где-то в цирке-шапито. И хотя Ладья и пишет, что скрипка с ним и всегда будет с ним, что он ее никогда не оставит, но что значит не оставит, если сейчас он днем торгует билетами, возит корм для животных, а вечером работает униформистом — чистит и заправляет манеж, дежурит во время представлений у форганга. Так, кажется, называется выход на манеж. Да, и еще ассистирует Санди и ее Арчибальду на репетициях. Может быть, написать директору цирка? Объяснить все-таки, в чем дело?

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Валентин Янович стоял посреди аудитории. На занятиях присутствовало много студентов. Как понял Андрей, с разных факультетов. Они пришли послушать профессора. Консерваторские студенты отличаются от студентов других вузов. Часто они мечтали о консерватории, когда им было лет семь или восемь, когда многие из них впервые прикоснулись к инструменту, ощутили музыку.

Валентин Янович, грузный, с большой головой, с большими руками, стоял и смотрел на аудиторию.

Было тихо. Все молчали. Ждали его слов.

Андрей даже не знал, привык ли он уже к мысли, что он не школьник, а студент консерватории, что он сейчас находится в этой знаменитой аудитории, у этого знаменитого скрипача и педагога.

Перед началом занятий Андрей ходил по консерватории, по ее старинным темноватым коридорам. Ради этого дня он столько провел дней других, он столько передумал, столько принимал и отменял решений, и все ради того, чтобы когда-нибудь войти сюда со скрипкой.

Сейчас инструменты, портфели, папки были сложены, как в школе, на подоконниках и на стульях. Все ждали первых слов профессора, а он не спешил, стоял и молчал. Перед ним были вновь поступившие, и не только скрипачи, но и пианисты, и теоретики, и композиторы, и все они хотели сегодня встретиться именно с профессором Мигдалом.

— «Когда я должен был услышать его в первый раз,— вдруг совершенно неожиданно начал говорить Валентин Янович,— я думал, что он начнет небывало сильным звуком. Но он начал так слабо, так незначительно».

Студенты слушали, хотя и не понимали, о ком рассказывает профессор.

А он говорил:

— «Люди теснились друг к другу все ближе, он стягивал их все крепче, пока они постепенно не слились как бы в единого слушателя, противостоящего мастеру, как один человек воспринимает другого». Так записал Шуман свое впечатление от встречи с Никколо Паганини. — Профессор опять замолк, постоял, тяжелый, на тяжелых ногах. Потом продолжал: — Если Делакруа был живописцем девятнадцатого века, который осмелился писать красками, а не раскрашивать свои мысли, то Паганини был скрипачом, который стал играть, а не петь на скрипке. И я хочу, чтобы вы точно уловили разницу между словами «играть на скрипке» и «петь на скрипке». Технику мы будем совершенствовать, но я с вами попытаюсь еще усовершенствовать стиль. А усовершенствовать стиль, звук — значит усовершенствовать мысль. У нас должна быть рука, повинующаяся интеллекту: «La man che ubedisce all intelletto». Это сказал Микеланджело.

Профессор Мигдал прошелся по аудитории. Половицы скрипели, и он медленно и тяжело нес свою большую седую голову. Опять остановился, поднял глаза на слушателей.

— Слово «техника» происходит от греческого слова «технэ» — «искусство». Это часто напоминал своим ученикам профессор Нейгауз. Любое усовершенствование техники есть прежде всего усовершенствование самого искусства, а значит, это помогает выявлению содержания исполняемого вами произведения, его поэтической сущности, того смысла, который вложил в него композитор. Беда в том, что некоторые уже вполне прославленные исполнители под словом «техника» подразумевают только беглость, быстроту, ровность, а не технику в целом, как ее понимали греки. Вот почему у очень одаренных музыкантов так трудно вам провести точную грань между работой над техникой и работой над музыкой. Нет и не может быть настоящей игры ради игры, а должна быть и есть только игра ради музыки. Это настоящая игра, а иначе вы будете петь на скрипке, исполнять, а не играть. И смычок для вас — это все равно что кисть для живописца. Поэтому вам будут сейчас понятны слова Рубинштейна, которые он сказал своему ученику, когда однажды прослушал его исполнение на фортепьяно одной и той же фразы: «В хорошую погоду можете играть ее так, как сыграли, но в дождь играйте иначе». Толстой говорил, что художник должен обладать тремя качествами: искренностью, искренностью и искренностью. А искренность — это простота, правдивость, торжество самого искусства. Некоторые мои ученики пытались играть интересно, в чем-то по-своему стильно, и мне стоило больших трудов заставить их потом играть просто и правдиво. Играть просто совсем непросто, потому что для этого надо мыслить. Прежде всего. Это вот именно и есть то самое, что записал Шу-

ман о Паганини: «...я думал, что он начнет небывало сильным звуком. Но он начал так слабо, так незначительно...»

Андрей испытал странное чувство — он отчетливо видел, что у профессора нет в руках скрипки, но он слышал ту скрипку и того гениального скрипача, о котором рассказывал профессор, все время возвращаясь к нему.

Андрей знал его по портретам, гравюрам и литографиям. Худощавый, с нервным тонким лицом. Правая нога выставлена и чуть согнута, пряди длинных волос, острый профиль. Локти сложены на груди. Левое плечо резко приподнято, и он прижимает к нему подбородком скрипку. Он удерживает скрипку плечом и подбородком, и поэтому левая рука у него тоже свободна, и он легко и просто совершает ею скачки на большие интервалы. Но Андрей прежде это только видел, а сейчас он слышал, как это было все у Паганини, как это все должно быть у музыканта.

— Паганини сказал: «Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали», — продолжал говорить профессор. И он уже не был для Андрея тяжелым и неподвижным, не казался таким. Он говорил стремительно, сильно.

Андрей теперь часто бывал в Малом зале консерватории. Он видел его и ранним утром, когда в зале было еще темно и только горел свет около органа и кто-нибудь из студентов сидел за органом и занимался. Он бывал днем, когда тоже кто-нибудь занимался, например, фортепьянный ансамбль. Зал был среди классов консерватории и сам был одним из классов. Андрей навсегда запомнил этот зал в тот самый момент, когда ансамбль замолчал и орган тоже. Тишина. И когда Андрей поворачивается и уходит при полнейшей тишине. Он навсегда запомнит эту тишину. Он не может вычеркнуть из памяти и забыть того, что случилось потом во дворе одного из домов. Двора он боится еще больше. Во дворе он остановился тогда, разжал пальцы, повернулся и пошел. И все. Так ему казалось, что все, что он свободен. От всего, что на него было возложено им самим, его матерью, музыкальной школой. Свободен и принадлежит себе так, как никогда не принадлежал, потому что всегда была сверхзадача. А теперь сверхзадачи нет и не будет. Никакой борьбы, никакого желания успеха... Ты — и просто жизнь вокруг тебя. Но теперь Андрей знает, что так вообще не может быть, потому что для него нет жизни без успеха, а успех — это борьба. А если сверхзадача не будет в тебе, то не будет ее и в струнах твоей скрипки, никакой «звучащей атаки», как говорит профессор Мигдал. А вот Ладья, он не думает раскрывать жизнь, но он это все время делает. Легко и естественно. Все-таки жаль, что его нет здесь сейчас, вдруг подумал Андрей. И не удивился, что подумал так. Лично ему Ладья так же необходим, как Ладье необхо-

дим, очевидно, и Андрей. В определенные минуты жизни они необходимы друг другу. А может быть, и всегда? Он думает сейчас о Ладке, потому что думает о себе?

Андрею нравились темноватые коридоры консерватории, двери с бронзовыми ручками. Теперь все эти двери принадлежали ему. Он мог войти в любую из них. Нравилась ему консерваторская библиотека — поблескивающие тяжелыми корешками старинные книги. Раскрываешь такую книгу, а она слегка потрескивает в корешке и пергаментными прокладками перед иллюстрациями. Дежурная на абонементе, с седой прической и вколотой в нее большой роговой шпилькой, дает книги и принимает их как-то не спеша, в обе руки, аккуратно.

Нравился Андрею на третьем этаже огромный и тоже старинный, покрытый черным лаком стол. Вокруг стола усаживалось сразу человек тридцать. Раскладывали тетради, учебники, ноты и занимались. Со стороны казалось, что заседает какая-то авторитетная комиссия. Стол в шутку назывался «котел культуры».

Между первым и вторым этажами висели расписания лекций и семинаров на всех курсах. Горели лампы, тоже в старинных абажурах, матовых и похожих на тюльпаны. Расписание первого курса висело под первой лампой. Последняя, шестая, лампа была аспирантской. Чаще других подходили к расписанию студенты первого курса, и поэтому их лампа горела чаще других.

Старые консерваторские деревья. Их всего несколько штук во дворе, но они видели студентов и профессоров многих поколений. Все, что было когда-то. Может быть, еще во времена этих поблескивающих тяжелыми корешками книг.

В особенности Андрею понравилось бывать в консерватории поздними вечерами, когда уже было пусто и тихо и можно было стоять у окна с низким подоконником и не спеша думать, отгадывать свое будущее. Очень это всегда заманчиво. Не отсюда ли гороскопы, пасьянсы, линии жизни на ладонях?.. Это удел слабых и сомневающийся. Никакого собственного движения, развития. Надо не отгадывать себя и свое будущее, а знать его! И с тех самых семи или восьми лет! Вот идеал для музыканта, чтобы не было потеряно ни одного дня, ни одного часа. Чтобы все успеть раньше. Это честная, открытая борьба. И надо побеждать, обязательно. Не отступаться, не падать, не пропускать никого вперед. Также честно. Вот как все должно быть, если не совершать ошибок. С самого начала. Ни одной ошибки, даже самой незначительной. Если бы людям позволялось возвращаться к детству, чтобы многое проделать заново, Андрей бы вернулся и начал все сначала, чтобы в самом начале и победить!.. И как можно доказательнее, чтобы не очень потом заниматься отгады-

ванием своего будущего. Никогда не чувствовать удела слабых. Даже тени! Даже намека! Слова! Взгляда! Ни в ком до конца не погиб Моцарт. Ни в ком! Да, да! Ни в ком...

Была середина зимы. Шел густой снег. Сквозь него едва пробивался свет уличных фонарей. Пешеходы с трудом отыскивали тротуары, а иногда и не отыскивали, а прокладывали тропинки, где и как им это было удобнее. Снег закрыл ступени, вывески магазинов, дощечки автобусных и троллейбусных остановок, огни светофоров, завалил бульвары и спуски в подземные переходы, и появился незнакомый город — летучий, бесшумный и загадочный.

Рита пригласила Андрея к себе в институт на концерт, встретила его в вестибюле, помогла отряхнуться от снега. На плечах у нее, как всегда, был теплый шарф. Концы его она завязала в огромный пышный узел.

Рита и Андрей не виделись уже больше недели: Рита была занята в институте, Андрей — в консерватории. Переговаривались только по телефону. Андрей обрадовался приглашению прийти и послушать выступление оркестра старинной музыки и встретиться с Ритой. Оркестр был недавно создан, исполнял музыку средних веков и эпохи Возрождения, в нем были собраны старинные инструменты. Об этом оркестре уже говорили специалисты.

В зал долго не впускали. Там устанавливали клавесин, высокие металлические подсвечники и еще какую-то мебель.

Студенты шутили:

— Амфир дяди Вани.

— Ренессанс с Помпадур.

— Столярка, — сказал кто-то басом.

Андрей все еще никак не мог привыкнуть, что Рита своя в этом институте, где на дверях написано: «Счетно-вычислительный центр», «Электромеханическая лаборатория», «Турбогенераторная». Хотя Рита была из семьи, как говорят, потомственных инженеров: ее отец работает инженером на заводе «Калибр», ее дед и, кажется, прадед тоже работали на каких-то московских заводах, но все равно Андрей был уверен, что Рита не должна учиться в техническом институте, что на ней техническая династия должна поменять свое направление на гуманитарное. Правда, Рите очень шел рабочий халат, и, когда Андрей впервые увидел ее в рабочем халате, он не удивился, что она такая изящная в нем. Она была такой всегда. Просто халат все это усилил, как это усиливал зонт в ее руках, или авиационная сумка, с которой она ходила в институт, или золотистая цепочка вместо пояса, которую она тоже часто надевала. Он бы многое мог назвать, потому что все это замечал и не забывал.

Рита ему очень нравилась, даже еще больше, чем прежде. Ритой восхищались и его новые консерваторские знакомые. Кто-то назвал ее «штучной девчонкой» — высшее признание красоты.

Пока готовили зал, Рита повела его в лабораторию, в которой она начала свою работу. В авиационной сумке Рита носила теперь такие книги, как «Справочник молодого токаря», журнал «Приборы и техника эксперимента». Однажды Андрей открыл «Справочник молодого токаря» в том месте, где была вложена закладка, и прочитал: «Предельные отклонения вала в системе отверстия второго класса точности...» Все-таки что общего между Ритой и молодым токарем, кроме условной семейной традиции? Рита говорила ему, что есть радиозвезды, радионебо, радиооблака. Андрей не представлял Риту с паяльником в руках или вот с лабораторной горелкой, которую она ему сейчас показывала. Дутик. Пусть ее отец, ее дед, прадед, но не она — штучная девчонка.

Рита зажгла дутик, и он вспыхнул длинным игольчатым пламенем.

— Запаивает стекло,— сказала Рита.

Она погасила дутик.

— Не интересно?

— Интересно,— сказал Андрей.

— Нет, неинтересно. Ты можешь дома поменять вкладыш в водопроводном кране?

— Представь, могу. Знаю, как устроен электрический утюг, газовая плита и мусоропровод.

Они опять едва не поссорились. Так, из-за пустяка, как это у них часто случалось. Но Рита первая сказала: «Пойдем в зал», и они пошли на концерт.

В зале на сцене стояли черные высокие подсвечники, и в них горело по шесть и по четыре белых свечи. Стоял клавесин с поднятой крышкой, стулья с кожаными подушками и высокими спинками и пюпитры. Были разложены старинные инструменты: виола да гамба по виду напоминала небольшой контрабас, только с шестью струнами, фagот дульциан, продольная флейта и флейта-пикколо. Свечи отбрасывали тени от инструментов, тени шевелились.

Вышел один из солистов и сказал, что будет исполнена французская музыка пятнадцатого века. Назвал исполнителей — певцов и музыкантов.

Андрей и Рита сидели в шестом ряду. Было все видно и слышно. Андрею казалось, что и их тени с Ритой тоже шевелятся на стене. Ему сделалось от этого как-то странно беспокойно.

Девушки на сцене были в длинных, до пола, платьях из темно-серебряной парчи; волосы подобраны высоко, украшены

искусственными камнями. Ребята — в черных костюмах. Двое — с короткими, клинышком, бородами. Ренессанс, Помпадур. Незаметно вышла к клавесину девушка, тоже в длинном темно-серебряном платье. Андрею показалось в ней что-то знакомое, в тех движениях, с которыми она усаживалась на стул, готовилась взять первые ноты. Но пока Андрей окончательно поверил, что это Оля, Рита уже узнала ее, и Андрей понял, что Рита узнала Олю, по тому, как у нее дрогнули ресницы.

— Она теперь не на органе играет?

— Она играет и на клавесине.

Струны клавесина зазвенели, как будто это была лютня. Мотив нежно подхватили продольная флейта и флейта-пикколо. Солисты раскрыли книжечки в черных переплетах и запели. Старинное мелодическое пение — на латыни. Это было удивительно — при свечах, при этих тенях, которые шевелились на стенах, будто складки гобелена. Со свечей иногда струйками сбегал воск и громко ударял по деревянному полу. Какое-то естественное дополнение музыки, эпохи, и все это в сегодняшнем летучем, бесшумном и загадочном городе.

«Воплощение поэмы»,— подумал Андрей. И Чибис, какая-то повзрослевшая, новая, затянута в длинное платье.

Когда она аккомпанировала на клавесине одной рукой, другая рука с кружевами у запястья свободно висела вдоль тела, и от этого пальцы казались особенно тонкими и чувствующими, как на полотнах старых мастеров. В этом выражалась сама Чибис и музыка, которую она исполняла. Подсвечники стояли и на клавесине, и Олины руки были хорошо видны. Плечи и лицо.

Потом оркестр исполнил испанскую музыку двенадцатого века. Играли Чибис и ударник. Ударник встал рядом с Олей, на шнурке висел маленький круглый барабан, в руках были палочки, как для игры на литаврах. Музыка была совсем необычной для клавесина, ритмичной, и ритм усиливал барабан.

— Красиво,— сказала Рита.

— Что? — спросил Андрей. Он спросил, чтобы Рита не подумала, что он очень увлечен исполнением этой музыки.

— Клавесин, и вся она кажется красивой.

Объявили перерыв, зажгли электрический свет. Исполнители ушли за сцену.

— Мне нужно подойти к старосте курса,— сказала Рита.— Дима! — окликнула она паренька. Он уже выходил из зала.

Рита ушла вместе с ним. Она это сделала нарочно, и Андрей был ей благодарен за это. Ему хотелось пройти за сцену, узнать, как живет Оля, поговорить с ней, но тут неожиданно на сцену вышла сама Оля и начала менять на клавесине свечи. Андрей подошел.

— Здравствуй.



— Здравствуй,— сказала Оля.

Андрей удивился, что она не удивилась встрече.

— Я тебя видела,— сказала Оля.

— Сейчас в зале?

— Да.

— Я не знал, что ты в этом оркестре.

— Мне надо было работать. Как ты живешь? — Она взглянула на него, и это была прежняя Чибис, но и повзрослевшая, в этом необычном платье, с необычной прической.— Ты учишься у профессора Мигдала?

— Да.

— Я так и думала.

Ей хотелось еще и еще говорить с Андреем. Она и менять свечи вышла, чтобы так вдруг, во время перерыва, оказаться около него, хотя и понимала, что не имеет на это никакого права. И никогда не будет иметь!

Новые свечи были уже вставлены в подсвечники. Андрей поглядел в зал. Рита не появлялась.

— Мне нужно подобрать ноты ко второму отделению,— сказала Чибис. Она уловила взгляд Андрея в зал.

— Конечно,— сказал Андрей и отошел от сцены.

Рита появилась в зале, когда уже погасили свет. Быстро скользнула вдоль ряда и села на свое место рядом с Андреем.

Потом Андрей провожал Риту домой, и они шли сквозь снег и ветер без всяких тропинок, через сугробы. С желтыми огнями ползли по улицам очистительные агрегаты, а к ним подстраивались очереди грузовиков со специальными высокими бортами для вывозки снега. Милиция командовала грузовиками через мегафоны. Город стремился обрести свои реальные черты, возобновить свою современность.

Рита иногда поворачивалась к снегу и ветру спиной, раскидывала руки и кричала, что улетит сейчас, как бумажный змей. Выше снега и выше всего!

— В радионебо, к радиозвездам,— смеялся Андрей.

Порыв ветра толкнул Риту совсем близко к Андрею. Руки ее были раскинуты. Андрей обнял Риту, почувствовал на лице холодный мех ее воротника, потом на губах почувствовал ее губы. Ему показалось, что она его поцеловала, но это он ее поцеловал, и не отпускал, и не хотел отпускать.

— Мастер, ты потерял голову.— Она смотрела на него. Она не вырывалась. Щеки и ресницы были в снегу. Губы прикрыла обратной стороной ладони. И тогда он поцеловал ее в ладонь, и тогда она убрала ладонь.

Кира Викторовна села писать Ладе непедagogическое письмо — она решила разжечь в нем честолюбие. «Села» — понятие для Кир Викторовны относительное. На кухне закипал чайник,

а Кира Викторовна устроилась на кровати перед туалетной тумбочкой. У нее было минут пятнадцать свободного времени, а потом надо было бежать на заседание профкома.

«Я отказываюсь тебя понимать»,— написала Кира Викторовна первую фразу. Она не терпела в письмах и в разговорах условностей, расслабляющих слов, которые тормозили мысль. Она говорила и писала всегда одинаково резко и ясно. «Пора повзрослеть и в конце концов отнестись серьезно к тому, к чему ты обязан относиться серьезно. До поры до времени музыка прощает невниманье к ней и даже легкомыслие, но потом это не проходит даром, если это продолжается. Да-да, слышишь? Можно так растерять все, что имел, и следов не останется. Ты меня понял, надеюсь, голубчик!» Но потом Кира Викторовна слово «голубчик» вычеркнула.

Она побежала на кухню, налила в чашку кипятка, бросила ложку растворимого кофе. Вернулась в спальню. Отпила несколько глотков, взяла ручку и продолжала писать. Она разжигала в Ладе честолюбие. Она как будто приглашала возобновить то, против чего так боролась в школе, что всегда мешало ее работе с Андреем и Ладей.

Пришел с репетиции Григорий Перестиани. Кира Викторовна быстро прикрыла письмо книжкой.

— Будешь пить кофе, а то я сейчас ухажу,— сказала Кира Викторовна Григорию из спальни.

— Буду пить, потому что тоже скоро ухажу,— сказал Григорий.

— Тогда налей. Кипяток в чайнике. Банка с кофе на столе.

— Чашка в шкафу,— продолжал Григорий.— Кира, а когда ты выйдешь на пенсию?

— Позже, чем ты. Не надейся.— Кира Викторовна открыла письмо и дописала фразу: «Руки почаще растирай шерстью и делай гимнастику для пальцев».

Андрей начал работу над Прокофьевым.

— Попробуйте разобрать его концерт,— сказал Валентин Янович.

Андрей уже знал, что он должен это сделать совершенно самостоятельно. Так работает с учениками профессор. Разговор происходил у профессора дома.

Валентин Янович стоял посредине кабинета и смотрел на Андрея, сидевшего на большом диване. На этот диван Валентин Янович усаживал ученика, когда урок бывал у него дома. Валентин Янович никогда не сидел, а стоял или медленно прохаживался. Но ученика заставлял сидеть, хотя бы какое-то время, пока тот не оказывался со скрипкой посредине комнаты.

Профессор отходил в угол, руки — на обшлагах пиджака



или за спиной, наклонял голову и слушал. Он был совершенно неподвижен. Иногда левой рукой закрывал левое ухо. Привычка, и только. Но в какой-то момент вдруг быстро подходил и клал ладонь на струны. Ученика отправлял на диван, а сам начинал говорить об исполняемой вещи так, как мог говорить только он. Начинались совершенно необыкновенные занятия.

Совсем недавно, когда Андрей работал над небольшим этюдом, все именно так и случилось. Профессор положил ладонь на струны и показал Андрею на диван. Подошел к книжному шкафу, открыл дверцу, достал с полки книгу. Полистал, нашел нужную страницу и сказал:

— Здесь есть интересный рассказ художника Бродского о его учителе скульпторе Иорини. — Профессор повел по строкам толстым пальцем: — «Это был очень требовательный учитель. Он по десятку раз заставлял учеников переделывать один и тот же рисунок. Иорини сумел привить любовь к делу, научить серьезному отношению к рисунку. Каждого поступающего в его класс ученика Иорини заставлял делать контурный рисунок куриного яйца, требуя абсолютно верного изображения. Заметив в рисунке какую-нибудь неточность, он перечеркивал его и заставлял делать новый. Над этой задачей многие просиживали по месяцу».

Андрей молчал.

— Надо услышать в пассажных фигурах, мелодических мотивах, даже отдаленных нотах столько же различий, сколько их увидел Иорини в контуре куриного яйца. Вы, Андрей, согласны со стариком Иорини?

— Да, — сказал Андрей.

— Видение художника узнается по точности, по ясности деталей.

В искусстве «почти да» все равно что «совсем нет»! Оттенки, грани, стороны — они и слагают законченное целое. Они и дают окраску, звучание, голос — все то единственное и неповторимое, что свойственно исполнителю. Надо уметь видеть, чтобы уметь запоминать, уметь запоминать, чтобы уметь воображать, уметь воображать, чтобы уметь воплощать!

Приходил следующий студент. Его осторожно вводила в кабинет концертмейстер профессора Тамара Леонтьевна. Профессор показывал пальцем на диван. Студент быстро усаживался и начинал слушать.

А профессор уже рассказывал о том, что художник Ге в памяти принес домой весь фон картины «Петр I и Алексей», с камином, с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со стульями, с полами и с освещением, хотя был всего один раз в этой комнате. И живописец Петров-Водкин говорил об умении видеть как о науке.

— Но! — И Валентин Янович вскидывал вверх толстый палец. — Но... музыкантом становится лишь тот, кто не только умеет видеть, но умеет и не видеть! Сознательно отвлечься от всего соседнего, чтобы сосредоточиться на ближайшей малой цели. Вот на этом чуть-чуть! Чуть-чуть аллегро, чуть-чуть пиано!

Профессор умолк. Тяжело постоял на своих тяжелых ногах, потом сказал:

— Урок на сегодня окончен. Для тебя, Андрей. А вы, — и он показывал следующему ученику на середину комнаты, — прошу.

Это означало, что очередь другого выходить «на постамент», и не исключено, что он только начнет играть, как профессор положит свою большую ладонь на струны и заговорит о том, что, казалось бы, с первого взгляда не имеет прямого отношения к скрипке, но, как выяснится, без чего нельзя быть не только скрипачом, но и музыкантом вообще.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Ладя и Санди шли по пляжу; серый, перемешанный с камешками песок хрустел под ногами. Попадались мелкие осколки стекла, обкатанные морем. Санди поднимала их и клала сверху на пальцы левой руки, на каждый палец по камешку: делала драгоценные кольца. Потом взмахивала рукой, и кольца улетали в море.

Ладя нес пластиковую с ручками сумку, в которой была свежая рыба, и еще он нес небольшой складной спиннинг.

В Крыму зима похожа на светлую подмосковную осень — повсюду желтые и даже просто зеленые деревья. Небо голубое и легкое. Сухо, тепло. Море прочерчено резко и отчетливо, и горы прочерчены резко и отчетливо; они продолжение моря, только повыше в небе.

На пляже было пустынно, лежаки убраны. Их сложили и обвязали веревкой, чтобы в сильный прибой не смыло в море. Фанерные кабинки для переодевания опрокинуты и засыпаны песком. Изогнутые трубы в душевых отсеках зияли одними широкими отверстиями: сетчатые наконечники были сняты. Груды металлических зонтов без полотняных накидок были похожи на обломанные соцветия укропа. Тоже обвязаны веревкой. Но, несмотря на все это видимое разрушение, на пляже было радостно, потому что море не сложишь, не обвяжешь веревкой и не засыплешь песком. Море живет, шумит, вскидывается солеными брызгами и стремится незаметно схватить тебя за ноги, чтобы ты весело подпрыгнул от неожиданности.

Арчи бегал по пляжу и хотел обмануть море: быть совсем вплотную около него и не попасть под брызги.

Ладья только что вернулся с рыбалки, поэтому у него и была в сумке рыба. Ставрида. Ладья плавал за пятьдесят копеек на катере в открытое море. Спиннинг ему одолжил шофер. Он работал на автокране, помогал натягивать купол шашита, когда цирк прибыл в Ялту и занял свое место на Московской улице. Ладья был возбужден: впервые в жизни ловил рыбу, и успешно.

— Крутишь катушку, понимаешь, крутишь... Чтоб леска не перепуталась с леской соседа. Понимаешь? Со мной рядом ловил тоже приезжий, из пансионата «Донбасс». Леска где-то там на глубине и тянется...

— Понимаю,— сказала Санди.— Ты крутишь, и сосед из пансионата крутит.

— А червей нет. Никакой наживки. Крючки пустые.

— Червей нет,— повторяла Санди.

— Вместо червей — цветные нитки или птичьи перья. На поводке у крючков. Да ты посмотри! — И Ладья попытался снова собрать спиннинг. — Серьезно говорю!

— Конечно, серьезно. Крути дальше.

— Сколько километров накрутил катушкой. А в море два балла. Чего смеешься? — Ладья от возмущения даже забыл сказать ей «вы».

Санди улыбнулась:

— Морской волк.

Ладья высоко поднял пластиковую сумку:

— А это что!

Подбежал Арчи.

— Что это, Арчибальд? — Ладья теперь держал сумку перед пуделем. — Отправимся с Арчибальдом в кафе «Якорь» и зажарим там рыбу.

Кафе «Якорь» было на берегу, среди зарослей тамариска, — дом со ступеньками и открытой террасой. Что-то шипело на сковородках. Распространялся запах подсолнечного масла.

— А-а, жарить! — воскликнула Санди, швырнула в море свои очередные кольца,хватила у Лади сумку и побежала в сторону «Якоря».

Арчибальд и Ладья погнались за ней. Ладья размахивал спиннингом как палкой.

Потом они все трое подпрыгивали от восторга. Арчи лаял, Санди и Ладья что-то кричали, каждый хотел перекричать другого. Всем троим было весело, и все трое были мокрыми от брызг, потому что за ноги их хватало море.

Они отнесли рыбу в «Якорь». Повар в белом чехле от морской фуражки, заменявшем ему колпак, взял рыбу и сказал, что он ею немедленно займется. В цирке на Московской он уже побывал. Цирк он любит и уважает, артисты цирка похожи на моря-

ков, смелые ребята. Он сам бывший моряк, отслужил сверхсрочную, вот так. И велел появиться через полчаса.

Ладья, выходя из «Якоря», сказал:

— Это все я. Вот так. Моя идея.

Санди сказала:

— «Старик и море».

Арчи тихонько пошел и обследовал помойку. Он понимал, что в «Якорь» они теперь свои люди. И еще он понимал, что они будут скоро есть свежую жареную рыбу, но чтобы пренебречь помойкой — это было выше его сил, и он не отказал себе в удовольствии, хотя и был весьма смущен и от смущения втянул голову в плечи.

Через полчаса Санди и Ладья сидели в «Якорь», перед ними на столе была тарелка жареной ставриды. Сверху ставриду повар присыпал зеленью лука и тонко нарезанным сладким болгарским перцем.

Это была еда!.. И на веранде, где был слышен прибой, где неподалеку стоял круглый, с остренькой крышей маячок, будто наполовину исписанный карандаш, где по-зимнему близко у берега летали чайки, где в крутых изгибах улиц лежала горками коричневая кожура от спелых каштанов — как сейчас горкой лежала на тарелке жареная ставрида, — где большие дома были как большие корабли, а маленькие деревянные — как сейнеры и шаланды, а цирк-шапито был как великолепный двухмачтовый парусник.

После ставриды Ладья и Санди продолжали путь по пляжу. Арчибальд нес в зубах пустую сумку, наслаждался запахом рыбы. Он ее тоже ел и тоже весьма оценил.

К пляжу, на окраине Ялты, спускался виноградник ливадийского совхоза. На винограднике — небольшие колья, между кольями натянуты проволоки. Шпалеры. Виноградные лозы висели на проволоках уже без листьев, голые, пустые, как обыкновенные корни. Листья пухло лежали между шпалерами, их было много, и они ярко светились.

Санди первой побежала вверх по откосу к виноградникам. За ней, конечно, Ладья и Арчи с сумкой в зубах.

— Сплетем что-нибудь из листьев, — сказала весело Санди. — Моя идея!

— Пелерину! — закричал Ладья и при этом стукнул удилищем по одной из проволок. Она громко загудела, как струна. Ладья прислушался и ударил еще раз.

— До... — сказал он. — Подстроить надо.

Ладья начал крутить и натягивать проволоку. Ударил.

— Точно. До.

Принялся за следующую проволоку на соседней шпалере. Даже раскачал, выдернул кол и переставил его.

— Ре!.. Фа!.. Ми... Ми...

Арчибальд бегал за Ладькой, но с сумкой не расставался. Сумка дарила ему наслаждение ничуть не меньшее, чем звучащий от края и до края виноградник. Ладька стучал по проволокам, выдергивал и переставлял колья.

Санди не обращала на Ладьку внимания: она занималась листьями, выбирала самые красивые и скрепляла их черенками друг с другом в неширокую ленту. Черенки были мягкими и податливыми.

Ладя был увлечен виноградником. Он у него звенел, как звенели когда-то в Большом театре колокола.

Санди закончила ленту, накинула ее на плечи. Ладя глянул, сказал:

— Парижанка.

— Это плохо?

— Нет, отчего же. Я знаком с настоящей парижанкой.

— Что в ней парижского?

— Наверное, все. Она скрипачка. Заводила, как и ты.

— И ты заводила. И кстати, о скрипке...

— Не мешай.— Ладя опять начал стучать спиннингом по проволокам.

— Не хочу слушать твои проволоки!

— А мне надоел твой виноградный воротник!

— Это боа.

— Мне все равно.

— Аркадий Михайлович сказал, чтобы я с тобой поговорила серьезно.

— Арчибальд, лично они...— Ладька при этом смешно оттопырил мизинец и показал мизинцем в сторону Санди,— они со мной будут говорить серьезно...

— Ну, держись, униформа! — Санди ринулась к Ладьке.

Ладька помчался вниз. По пути ударял по проволокам.

Арчибальд, застревая в виноградных листьях и не выпуская из рта сумку, бежал последним. Он знал, что у самой воды Ладя и Санди опять будут прыгать, что-то кричать друг другу. Будет прыгать и Арчибальд, а море будет хватать их всех за ноги. И еще Арчибальд знал, что его друга хотят уволить из цирка «по собственному желанию», потому что он оказался настоящим скрипачом, а не безработным шофером.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Всеволод Николаевич разрешил Чибису по-прежнему заниматься на учебном органе. Оле нужен был теперь Бах, серьезный и настоящий, которого она старается понять, над которым рабо-

тает. Занимается с ней Ипполит Васильевич. Часто кричит не на Олю, а вообще: «Бах школьный! Бах консерваторский! Бах аспирантский! Отрезают по куску, как пирожное!»

Оля старается понять такое монументальное произведение Баха, как «Высокая месса». Борьба за человека, за его счастье на земле. Безграничная любовь к человеку и желание уберечь его от несправедливого и часто жестокого мира. Оля слушала «Высокую мессу» в кабинете Сим Симыча. Ипполит Васильевич сидел рядом, и на пульте перед ним и Олей стояли ноты. Так он учил Олю понимать нового для нее Баха.

Сим Симыч включил пленки с фугами.

— Детская светлая радость,— говорил Ипполит Васильевич.— Поющие линии и пересекающие их аккорды. И не графически вычерченная структура, а живая интонация.

Оля сама теперь чувствовала эти поющие линии и пересекающие их аккорды. Во всем было что-то бесконечное, как бесконечна детская радость.

— «Magnificat»,— говорил Ипполит Васильевич.— Подлинная симфония счастья. Написал ее Бах на текст Евангелия от Луки. Но ничего общего с молитвами. Живая романтичность человека, который всегда мог уйти из церкви в винный погребок.

После занятий с Ипполитом Васильевичем, в своем органном классе, Оля включала кнопку «мотор», и под пальцами Оли и в педалях возникали поющие линии и аккордовые пересечения. Оля закрывала глаза и слушала не себя и не свой учебный орган «Опус-19», она слушала Баха, как он слышал и понимал себя таким же ранним утром: сидел за органом в пустой церкви, покуривая трубку, и гусиным пером записывал эту музыку, как детскую светлую радость. Он был скромным органистом и капельмейстером. Была у него большая семья, были долги и была постоянная трудовая жизнь. Когда он умер, человечество утратило часть своего детства, но тогда этого оно еще не понимало. Человечество не всегда сразу понимает свои потери.

Об этом сказал Ипполит Васильевич. И еще он сказал, что к Баху можно подниматься всю жизнь и никогда не подняться, так он высок и велик. Но идти к нему надо. Стараться.

— Бах неделим! — вдруг опять кричал Ипполит Васильевич и размахивал своей палкой.— Запомни это! И несть ему конца!..

Оля читала о Бахе книги. Очень развеселил ее протокол допроса, учиненный Баху его церковными начальниками. Протокол этот Оля читала дома в книге Хубова о Бахе, устроившись в старом кресле, почти таком же, как и кресло Ипполита Васильевича в учительской. Ты в нем совершенно проваливаешься, так что колени оказываются у самого подбородка.

«Допрашивался органист Новой церкви Бах о том, как он недавно уезжал на такое продолжительное время,— читала протокол Оля,— и у кого он на сие испрашивал разрешение». Протокол был написан длинным столбцом с латинскими словами.

«Ille (Он). Сказал, что был в Любеке, с целью научиться там кое-чему из своего искусства, на что испросил на сие сперва разрешение у господина суперинтенданта.

Dominus Superintendes (Господин суперинтендант). Он испросил таковое только на четыре недели, а в отсутствии пробыл чуть ли не в четыре раза больше.

Ille (Он). Надеется, что лицо, поставленное им за себя, вело игру на органе таким образом, что не могло быть никаких поводов к жалобам.

Nos (Мы). Ставим ему на вид, что он до сих пор вводил в хорал много странных Varitiones (вариаций), примешивал к оному много чуждых звуков, чем община была confudit'ована (приводима в смущение)».

Оля засмеялась. Она вдруг почувствовала, что перестает бояться Баха. Его подавляющего всех величия. Она продолжала читать протокол.

«...Сверх того, весьма неприятно поражает то обстоятельство, что по его вине до сих пор совсем не было (совместного) музицирования, поелику он не хочет сопруг'оваться (вести себя как следует) с учениками. Ввиду сего ему надлежит заявить, намерен ли он играть с учениками как Figural (полифоническую), так и choral (хоралы).

...Ille (Он). Пусть ему дадут добросовестного... Direktor'a (директора), а за игрой дело не станет.

Eodem (О том же). Появляется ученик Рамбах, и ему делается также замечание по поводу désordres (беспорядков), каковые до сих пор между учениками и органистом происходили.

Ille (Он). Органист Бах играл раньше слишком долго, но после того, как по этому поводу ему было сделано господином суперинтендантом замечание, перешел в другое extremum (крайность) и стал играть слишком коротко».

Оля опять засмеялась. Конечно, Бах был веселым и толстым человеком.

«Nos (Мы). Делаем ему выговор за то, что в прошедшее воскресенье он во время проповеди ушел в винный погребок.

Ille (Он). Признает свою вину и говорит, что сие больше не повторится и что господа священники уж и так сурово на него за это смотрели.

...Nos (Мы). Ему придется в будущем изменить свое поведение к лучшему, чем это было до сих пор, иначе он лишится всего хорошего, что ему предназначалось...»

Как тут было не развеселиться. Оля тихонько смеялась и смеялась, когда читала Actum (протокол). И колени ее были у самого подбородка.

Потом Оля прочитала книгу венгерского органиста и композитора Яноша Хаммершлага «Если бы Бах вел дневник». Прочитала Оля и переписку Баха с двоюродным братом Элиасом. Переписка дала ей возможность глубже познакомиться с домом Баха, его повседневной жизнью и занятиями. Как Бах играл на лютне и клавикордах. И как однажды прусский король взволнованно воскликнул: «Господа, приехал старик Бах!»

Оля завела себе свою собственную «Органную книжечку», куда она заносила произведения Баха, над которыми работала или собиралась начать работать. На первой странице книжечки написала высказывание Малера: «В Бахе собраны все семена музыки».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того как Ганка вернулась в свое село Бобринцы, она создала группу юных музыкантов.

Ганка вставала вместе с матерью. Мать спешила на ферму, а Ганка шла в школу, где собирались ее ученики. Ганка добилась от председателя, чтобы колхоз купил инструменты, тем более что скрипки для младших учеников стоят совсем недорого. Председатель купил. Так что инструменты были, и ноты, и учебники. И ученики были. Занимались в пустом классе, в дальнем крыле школы, чтобы не мешать. Ребята пяти и шести лет. Ганка всех прослушала и отобрала тех, у кого был слух. Из других сел тоже прислали ребят, когда узнали, что Ганка набирает учеников. Их привозили на попутных автобусах шоферы и передавали Ганке каждого ученика лично, с рук на руки.

Так набралось десять ребят.

Первые ученики первой молодой учительницы. Каждое утро, заспанные, вынутые из теплых тулупов, они стояли перед Ганкой, десять «оловянных солдатиков».

Ганка отогревала их, потом они брали скрипки. От скрипок уютно пахло свежим домашним хлебом и узваром из сухих фруктов. Обычный утренний запах многих хат.

Председатель спрашивал у Ганки: «Когда твой оркестр можно будет пригласить в клуб на праздник урожая? Союз серпа и смычка». — «Пригласите, когда мы тоже созреем», — отвечала Ганка.

Однажды прибежал тракторист и вполне серьезно начал просить, чтобы Ганка выставила оркестр на свадьбу. У него свадьба, и он просит что-нибудь сыграть. Он понимает, что оркестр еще очень молодой, поэтому он не будет возражать, если оркестр сыграет просто гамму покрасивее. Ганка долго смеялась вместе со своим оркестром.

Сегодня Ганка, как и всегда, выстроила учеников, и они стояли с маленькими подвязанными к плечу подушечками и смотрели на свою учительницу. Ганка смотрела на них. Они бегают летом босиком по траве, скачут, как жеребята, верхом на длинных прутьях, и пусть не все они будут музыкантами, но все они полюбят музыку. Ганка научит их этому. Музыка с детства будет у них под пальцами. Ганка счастлива, когда видит их лица, их смычки, сидящие на струнах, как птицы на проводах. Музыка приближает мечту. Это радостная и бесконечная тайна и для самых маленьких, и для самых взрослых людей. Даже слабым она дает силу. Ганка хочет видеть своих учеников сильными. Она сама была сильной. Старалась.

Под окнами класса расположились старики. Весна, и уже тепло. Старики беседуют, выясняют между собой, когда же эти барбосюги начнут працювать на скрипцах, а то они вона храпят, как разбитые кувшины. И потом все, дружно закулив сигарки, так что дымки протягивались струйками вдоль оконного стекла, соглашались, что все-таки раз-поз-раз и стасуеться оркестр. Учительница тюнюнюнькаться с ними понапрасну не станет. Не та дивчина. Уж она-то может такое спулить на скрипце, что на всем селе слышать будет.

Ганка подходила к окну, стучала в окно и говорила:

— Мешаете работать.

— О-се-се! — кивали головами старики и замолкали. Но оставались на местах. Слушали все гаммы терпеливо и настойчиво.

Ганка была в классе, когда в двери постучал Яким Опанасович, один из тех стариков, которые сидели под окнами.

— До тебя человек тут... Шукает. Музыкой занимается хочет, потому как с инструментом.

Ганка не успела ничего ответить Якиме Опанасовичу, как встал в дверях Ладя Брагин. В руках он держал футляр со скрипкой.

— Как дела? Годятся? — сказал Ладя так спокойно, как будто они только вчера расстались, а сегодня опять встретились на занятиях у Киры Викторовны.

— Ладька! — воскликнула Ганка. — Батюшки мои, здесь у меня Ладька! — и бросилась к нему.

Яким Опанасович покачал головой и проворно закрыл дверь. Он заспешил к приятелям, чтобы развить новую тему.

— Откуда ты взялся, Ладя? — тормошила его Ганка, поворачивала из стороны в сторону, разглядывала.

— Из цирка.

— Откуда-откуда?

— Из цирка.

— Дурачишься, как всегда?

— Серьезно. Гастролировал по контракту. Был униформистом — штаны с лампасами. Но вообще подменял больного шофера. Теперь остался без контракта.

В окне школы застыли лица стариков. Ученики Ганки тоже смотрели со своих мест, и в глазах их уже не было тишины.

— Твои? — спросил Ладя

Ганка взглянула на стариков в окне:

— Что ты, не мои!

— Да нет. Ученики

— Ученики мои, — улыбнулась Ганка. — Урок сольфеджио.

— Ну, ты даешь! — весело сказал Ладя, но Ганка показала ему глазами на ребят, и Ладя смущенно замолк.

Ладя подошел к первому столу и заглянул в раскрытый «Музыкальный букварь».

— Спой верхнее до, — сказал Ладя девочке, у которой косы торчали, как пшеничные колосья.

Девочка робким, но чистым голосом спела верхнее до.

— А какие звуки окружают ми? — спросил Ладя мальчика за соседним столом.

Мальчик очень хотел, чтобы его о чем-нибудь спросили: он подсказывал на месте.

— Ре и фа, — ответил быстро мальчик.

— Найди ноту фа и спой.

Мальчик нашел на нотных линейках фа и спел. Рот он открывал старательно, как будто показывал врачу горло.

— Выучишь упражнения Шрадика, этюды Мазаса, а их три тетради, сорок два этюда Крейцера, двадцать четыре каприса Рода, каприсы Донна, сыграешь Мендельсона и Брамса, Бетховена и семь концертов Моцарта, сыграешь Сибелиуса, Чайковского, ну и концерты Паганини, и готов скрипач.

Мальчик растерянно улыбнулся.

— Пустяки, — продолжал говорить Ладя. — Ну и каждый день спиккато, легато, стаккато, пиццикато, дэташе, мартэле.

Мальчик слушал и уже не подсказывал, сидел тихо. Глаза у него открывались все шире, и в них был искренний ужас.

— Ничего. Не отчаивайся. Дятел всю жизнь стучит по дереву. — И Ладя постучал пальцем по скрипке. — И живет.

— А потом наймешься шофером в цирк, — весело сказала Ганка. — Сядь за тем свободным столом и подожди меня. — Ганка боялась, что Ладя опять исчезнет.

Ладя с трудом втиснулся за маленький стол, положил на стол скрипку, на скрипку положил руки и опустил на них голову. Он ничего не сказал.

Яким Опанасович за окном сказал:

— Ревизор. Ноты пытае.

— Одежка на нем дюже расхлистанная,— засомневался кто-то.

— За председателем сельрады сбежать хоба за агрономом?

— Ганка сама отобьется,— сказал Яким Опанасович.— Она ему этих нотов насыплет цельный лантух.

Когда Ганка кончила урок и подошла к Ладе, он спал. Голова его по-прежнему лежала на руках, а руки лежали на скрипке.

— Ты поселишься у тетки Феодоры, маминой сестры,— сказала Ганка Ладе, когда они шли из школы по селу.— Она живет одна и будет рада, если кто-нибудь поселится в хате. Ты жил в украинской хате?

— Нет.

— Теперь поживешь.

— Можно, конечно,— согласился Ладя. В хате жил сам Тарас Григорьевич Шевченко. Да и с Ганкой спорить было бесполезно — типичная Кира Викторовна. Она уже все за него решила.

Ладя шел и пока в основном помалкивал. На свою жизнь он не жаловался — интересная жизнь, разнообразная. Открытая всем ветрам, как сказал поэт. Может быть, и не говорил поэт, но так говорят, что говорил поэт. Ладья подумал о всех ветрах, потому что увидел мельницу. Это был черный от времени ветряк, со смешными кустами, выросшими у него на крыше и торчащими, как поредевший чуб.

Дорога, по которой Ладя шел с Ганкой, была сухой, укатанной машинами. Идти было легко.

Ладю почти доездили к селу Бобринцы по автостраде, так что в самом селе он еще не был, только на окраине, где было новое здание школы. Ладя доехал в автодоме Санди и ее родных. За рулем «Тутмоса» уже сидел постоянный шофер. Да и Кира Викторовна в конце концов написала директору цирка, чтобы он отправил Ладю в Москву.

У Лади не было никакого плана, когда он ехал по автостраде с цирком. Он собирался вместе доехать до Запорожья, где должны были начаться очередные гастроли. Цирк возвращался из Кабардино-Балкарии, где побывал уже после Крыма. В Запорожье Ладя собирался сесть на поезд на Москву, но вдруг неожиданно прочитал на указателе дорог название села Бобринцы и тут он все вспомнил и все решил. Он сойдет. Он навестит Ганку. Конечно. Идея!

Санди и Арчи долго стояли и смотрели, как Ладя уходил по проселку в сторону села. И вся колонна цирка стояла. Ладю в цирке полюбили, и он полюбил цирк.

Ладя забыл взять скрипку. Вещи взял, а про скрипку забыл. Почему-то так получилось. Почему-то думал, что не уходит, а просто идет куда-то. Отнесет вещи и вернется. Так раньше он никогда не думал: раньше он всегда уходил. Идея — и все. А тут идея — но получилось как-то не все... Не до конца.

Санди что-то сказала Арчи — Ладя не слышал что, но увидел, как спешит к нему Арчи, а в зубах у него был знакомый потрепанный чехол, перетянутый резинкой. Арчи осторожно нес скрипку. Он понимал, что несет. У него душа артиста.

Стояла Санди, стоял Ладя, а между ними был Арчи со скрипкой.

Ладя взял скрипку.

— Спасибо, Арчибалд. Вы удивительная личность.

Арчи грустно смотрел на Ладю. Они оба помолчали. Потом Арчи что-то изобразил хвостом и пошел назад.

Ладя махнул Санди рукой, и ему показалось, что на Санди опять красное платье, которое было тогда в первый вечер в кемпинге, а волосы розовые. Жуткая чудачка и фокусница эта Санди!

Но сейчас Ладя шел с Ганкой. Не чудачкой и не фокусницей, а настоящей Кирой Викторовной.

— Нельзя жить там? — Ладя показал на ветряк. — Он не работает, конечно.

— Работает.

— Дон-Кихот.

— Я его люблю,— сказала Ганка.— Мой дед был мельником.

— Я не мельник! Я ворон!..— запел Ладя.

Ганка засмеялась.

— Напугаешь тетку Феодору.

Село было очень большим. Посредине села был ставок, в нем плавали, полоскались утки. Высоко поднялись тополя, охваченные легкой зеленью, а внизу, закрывая хаты, цвели вишневые сады. Казалось, что сады, как молоко в кастрюле, кипят, пенятся, текут через край. Ладя вспомнил, как Франсуаза учила их французской песне «Время вишен»: когда наступит время вишен, будут радоваться веселый соловей и насмешливый дрозд, и закружится голова, и придут сумасшедшие мысли. Кажется, так. Да, чего-чего, а сумасшедших мыслей Ладье хватает.

В отдалении плелись старики.

— Всемирные следопыты.

— Ты новый человек, им интересно.

Тетка Феодора обрадовалась постояльцу

— Який парубок, та ще со скрипцей. Проходьте в хату.

Она была в широкой темной юбке и в кофте, густо расшитой черными и красными нитками. «Паровозный дым, а в нем искры», — подумал Ладька. Косынка едва сдерживала ее волосы, в которых смело могла бы поселиться крупная птица.

В хате было чисто и просторно. Ладя впервые увидел русскую печь и всякие кочерги и ухваты. Рядами сушились на полке под печью глечики и миски, большим цветком были разложены деревянные ложки. На тонкой бечевке висел, сушился перец и еще какие-то листья, будто украшения индейцев. Таким же цветком, как ложки, были расклеены и висели на стене под стеклом мелкие фотографии.

— Скрипочку можно и в прохладу положить, — сказала тетка Феодора, — чтоб не у печи.

Она взяла футляр и положила его под окном на низенькую лавочку.

— Твой парубок? — вдруг спросила тетка Феодора и лукаво взглянула на Ганку.

— Что вы говорите? — вспыхнула вся до корней волос Ганка.

Ладя слышал, что так вспыхивают до корней волос, но сейчас он стал этому свидетелем. Он даже пожалел Ганку.

Ладя глянул в окно и увидел стариков. Они с любопытством смотрели в хату. Ганка тоже, конечно, увидела стариков, нахмурилась. Выбежала во двор. Старики мгновенно исчезли.

«С Ганкой как за каменной стеной», — подумал Ладя.

— Извиняйте, что не так сказала, — улыбнулась тетка Феодора, но Ладя понимал, что она умышленно так сказала. Хитрая эта тетка Феодора. — Вы, может, сослуживец Ганки? Учитель?

— Циркач, — ответил Ладя.

— Дывись. В цирке, значит, номер имеете?

— Швунтовая гимнастика на доппельтрапе. Могу и кордеволян и кор-де-парели. И с этой... з небеспекою для життя<sup>1</sup>.

— Значит, квит, — сказала тетка Феодора. — Смишки за смишки<sup>2</sup>.

Вернулась Ганка. Сказала:

— Он скрипач, и он...

— Успокойся, — остановила ее тетка Феодора. — Мы тут пошутковали маленько. Нехай твой швунтовый циркач помоется с дороги. Чугун в печке стоит с горячей водой. А я чего надо простирну ему.

Да, тетку Феодору напугаешь чем-нибудь. Как же! Тарас

<sup>1</sup> С опасностью для жизни (укр.)

<sup>2</sup> Шутка за шутку (укр.)

Бульба, а не тетя! Или кто там еще, какой атаман или гетман...

В хату проник Яким Опанасович. Незаметно, боком. Крякнул для порядка, чтобы начать соответствующий серьезный разговор, но тут появилась тетка Феодора, и ему пришлось снова крякнуть, чтобы тетка Феодора оценила серьезность его намерений. Но тетка Феодора не оценила серьезности намерений, а просто сказала:

— Не разводи копоть цигаркой. Гэть на двор.

В сенцах Яким Опанасович успел вернуть мучивший его вопрос:

— О це що за стрикулист припожаловал в село?

Чтоб за тысячу километров от Москвы от какого-то селянина и вдруг услышать такое!.. Ну знаете ли! Тут даже Ладька едва не выбежал и не закричал: «Гэть!»

Появилась Ганка, и Яким Опанасович окончательно был изгнан.

— Я этого деда прямо видеть не могу! — сказала Ганка. — Всюду под окнами торчит.

— А чей это дед? — спросил Ладя.

— Да ничей. Колхозный.

— Химерна людина, — сказала тетка Феодора.

— Слушай, — вдруг сказала Ганка, — чего же это я его прогнала... Ты у него будешь заниматься.

Ганка выскочила из хаты в погоню за «химерной людиной».

Ладя остался стоять, он ничего не понимал — чем он должен заниматься?

— Ты ей подчиняйся, — сказала тетка. Она, видимо, обратила внимание на выражение Ладиного лица. — Не то все равно она тебя заставит. И квит.

— Чего заставит?

— А вот на этом заниматься. — Тетка кивнула на скрипку. — Ганя мне уже сказала.

«Да тут целая Запорожская Сечь!» — подумал Ладя. Надо бы самому поскорее гэть со двора!

Ладя потянулся к скрипке. Вошла запыхавшаяся Ганка. И через минуту уже тащила его к Якиму Опанасовичу, который стоял на улице и поджидал их.

Яким Опанасович служил сторожем при кукурузном амбаре. Это было длинное деревянное помещение, до половины засыпанное початками. Ладя никогда в своей жизни не видел столько кукурузы сразу. Рядом был пристроен тамбурчик. В нем были стол, стул, лавка и репродуктор на гвоздике. Тамбурчик — это для сторожа. Ладя решил, что Ганка определила ему заниматься в этом тамбурчике. Но Ганка показала на амбар.

— Нигде нет такой тишины и изолированности.

Ладя занимался в ванной комнате (это дома иногда), в лиф-

те между этажами (это в Управлении археологии, куда он ходил получать посылку от брата и где застрял в лифте), в кабинете директора школы, в цирке, но в амбаре, среди кукурузы, еще никогда не занимался. Говорят, что Ойстрах занимался в аэропорту во время нелетной погоды. Но аэропорт все-таки не амбар.

От кукурузы все было пронзительно желтым. Какой-то кукурузный реактор.

— Тебе нравится? — спросила Ганка.

— Подходяще, — кивнул Ладя. Он думал уже о том, как бы ему сбежать из села.

Но Ганка знала Ладю, она сказала:

— Яким Опанасович будет сторожить кукурузу и тебя тоже.

— А меня зачем? — И Ладя сделал удивленное лицо.

— Я знаю зачем.

— Может, у него и ружье имеется?

— Имеется и ружье, — бодро ответил Яким Опанасович. — Но я его соержу в хате, чтоб кто не украл здесья.

— В какую же смену нам заступать?

— Сегодня заступишь.

— Пусть из дому ружье принесет.

— Ты что до ружья такой любопытный? — подозрительно спросил Яким Опанасович.

— Потому что при мне вещь дорогая. Скрипка.

Яким Опанасович подумал, как растолковать слова Лади: как шутку или как серьезные? Качнул головой:

— Стрикулист.

И тут Ладя окончательно понял, что в селе Бобринцы он навсегда останется стриккулистом.

На следующее утро Ганка забежала к тетке, чтобы проверить, отправился ли Ладя к Якиму Опанасовичу. Тетка Феодора была во дворе, развешивала на кольях глечики для просушки, нежно их похлопывала.

— Ладя ушел?

— Ни. У печи дияльность проявляет.

— Чем он занят?

— Вин обучается. Потребовал рогач и говорит, буду обучаться яечно жарить.

Ганка ворвалась в хату. Ладя стоял с рогачом на вытянутой руке и смотрел в печь.

В печке горел хворост. Ладя держал над хворостом на рогаче сковороду. Когда Ладя ее вытащил, в сковороде было полно обгоревших веточек.

— Дай сюда. — Ганка взяла рогач, установила руку на локоть и осторожно протянула рогач в глубь печи: сковорода была точно над пламенем, как над костром.

Ладя смотрел за Ганкой.

— Надо было вначале подмести печь.

— Я сам разводил огонь.

— Поэтому и говорю. А так будешь есть свою яичницу с черепьем.

— Ты знаешь, никогда не готовил в русской печи, — сказал Ладя, и глаза его смеялись.

— И никогда не будешь. Я запрещаю.

Ганка поджарила яичницу, вытащила и поставила на стол.

— Садись. Ешь.

— Жандармерия, — сказал Ладья. — Но все равно я с Якимом Опанасовичем договорился, что, как совсем подсохнет, мы с ним начнем рыть колодец. Он меня научит.

— Ешь и отправляйся в амбар.

Ладья молча жевал, обжигался.

— Ты не опоздаешь в школу? — спросил он с надеждой.

— Не опоздаю. Провожу тебя и тогда пойду.

— Может, я здесь позанимаюсь?

— Нет. В амбаре. Здесь тебе будут мешать. К тетке полсела приходит.

— А в амбаре кричат воробыи.

— Ешь.

Через минуту они с Ганкой уже шагали по знакомой улочке к амбару.

Яким Опанасович встретил Ладю радостным приветствием. Он сидел на пороге тамбура и слушал радио. Тут же рассказал, что ему принесли завтрак в платочке, и, пока он слушал политогляд<sup>1</sup>, ворон унес сало. Ганка, что называется, с рук на руки передала Якиму Опанасовичу Ладю, сказала:

— Не провороньте его, как свое сало, — и ушла в школу.

Ладя присел возле Якима Опанасовича. Ему хотелось поговорить о колодце, о сале, которое унес ворон, но не хотелось идти в амбар и браться за скрипку. Ладя развалился на пороге, как и Яким Опанасович. Бормотало радио, цвели сады, пахло теплым свежим молоком. Райские куши.

Вдруг прозвучал над самым ухом голос Ганки. Ганка уже сходила в школу, дала задание ученикам и вернулась проверить, как занимается Ладя.

— Вставай.

Ладя вскочил.

— Пошли.

— Куда?

— Я тебя сдам к маме на ферму. Люди построже, с дисциплиной. — И Ганка взглянула на Якима Опанасовича. Потом сказала: — Сами вы стриккулист

<sup>1</sup> Политический обзор (укр.)



Андрей не мог застать Риту дома. У нее была практика на заводе. Студенты первого курса убирали помещение, территорию. Так называемые разнорабочие. Сегодня Андрей решил поехать на завод сам. Ему казалось, что Рита избегает встречи с ним, не торопится его увидеть, даже не звонит. Может быть, потому, что она теперь очень занята? Но он тоже занят, и ничуть не меньше. Андрей ждал, ждал и решил действовать. А когда он решал действовать, то он не раздумывал больше. Ему хотелось немедленно видеть Риту, где бы она ни находилась: дома, в институте, на заводе. Он ее найдет.

Завод был на площади, в районе Серпуховской улицы. Андрей узнал об этом у родителей Риты. Назывался полностью — Московский экспериментальный завод крупногабаритных электромашин.

Когда Андрей приехал на Серпуховскую улицу и прошел до площади, он увидел высокий стандартный корпус с большим орденом Трудового Красного Знамени над входом.

Андрей не бывал на заводах, но он ясно представлял себе — двор, цеха, склады, кирпичные трубы и «еще что-нибудь железное». «Еще что-нибудь железное» — так говорил Ритин отец, когда шутил над Андреем. Андрей в ответ сдержанно улыбался. Он тоже мог бы, конечно, ответить шуткой людям, не интересующимся серьезной музыкой, а только «чем-то железным», но он всегда помнил, что перед ним Ритин отец, и сдерживался.

Андрей вошел в стеклянные двери завода и остановился, пораженный: холл, кашпо, кресла, пепельницы на высоких тонких ножках. На стене две прекрасные большие картины, выполненные маслом, — пейзажи средней полосы России.

Полная тишина.

Андрей растерянно стоял посреди проходной. Надо иметь пропуск. Да и куда именно ему идти?

Пробежали ребята в рабочих халатах, в спецовках. Очень было похоже на институт, где училась Рита.

Андрей отошел к стенду с перечнем цехов и отделов, чтобы сосредоточиться и принять решение, как он будет искать Риту и где. Обратиться в комитет комсомола — ищу сестру? Нет. Не годится. Почему сестру? Еще обязательно двоюродную. Просто прислали из института за Плетневой. Из комитета комсомола. Нет. Также не годится. Рите это может не понравиться. Наверняка даже не понравится.

Андрей начинал злиться. И, собственно, зачем он сюда примчался и стоит в проходной и читает совершенно непонятный ему перечень отделов и цехов! Выдумывает всякое, как мальчишка. Он музыкант, и это надо понимать. Он сейчас уйдет, и

это будет самое правильное. В конце концов, есть у него самолюбие или нет! Испарилось совсем!

— Это он.

— Ты ошибаешься.

— А я тебе говорю, он. Косарев! — позвал кто-то Андрея. Андрей повернулся. Перед ним стояли «гроссы».

Иванчик и Сережа хлопали Андрея по плечам. Они искренне радовались.

— Что ты здесь делаешь?

— Ищу Риту. — Андрей не мог лукавить перед «гроссами».

— Она у нас на станции. На испытательной, где мы работаем.

— Как бы ее повидать? Мне срочно.

«Гроссы» посоветовались и сказали:

— Пойдешь с нами на станцию. Сегодня запускаем машину.

Это очень интересно.

Иванчик побегал в бюро пропусков, потом вернулся.

— Документ у тебя есть какой-нибудь?

— Студенческий билет.

Они прошли через проходную и оказались на заводском дворе. Андрей снова был удивлен: просторный асфальтированный двор, цветники, даже фруктовые деревья. Цеха выглядели куда современнее многих зданий в городе. Окна сверкали чистотой.

— Идем, идем, — подталкивал Андрея в спину Иванчик.

Проехал автокар с катушками кабеля. За ним — второй автокар с большими белыми изоляторами. Ворота цеха сами открылись, автокары исчезли внутри, ворота сами закрылись.

— Фотоэлемент, — сказал Сережа.

Андрей кивнул.

Подошли к дверям, над которыми горело табло: «Испытательная станция».

— Шагай, — сказал Сережа, — не бойся.

Андрей шагнул, и дверь автоматически открылась.

Это был зал со стеклянным потолком и деревянным, уложенным мелкими кубиками полом. Стояли станки, ящики с деталями, приборы, похожие на телевизоры, черные квадратные трансформаторы. На полу были кабели. Они тянулись к машине, к электрическому мотору. Он возвышался посередине стенда и был окружен веревочкой с красными флажками. Около машины суетились люди в халатах.

Оба автокара уже стояли около веревочек. Рабочие сгружали изоляторы и кабели.

Андрей попытался издали отыскать глазами Риту, но не смог — на всех все одинаковое.

Иванчик, Сережа и Андрей подошли к ограждению.

— Подожди здесь.

Иванчик и Сережа вошли за ограждение.

Андрей разглядывал машину. На ней стояли буквы «СДМЗ» и цифра «30». Укреплена она была мощными скобами и болтами. Далеко торчала ось, замасленная, и на ней видны были отпечатки ладоней, потому что люди подходили, трогали ось, поглаживали ее. Андрей увидел Риту.

Окликнул ее. Рита подняла голову. Долго смотрела: не узнавала, кажется. Потом кинулась к Андрею. Она тоже была в длинном рабочем халате и в косынке. Хлопнула по плечу, совсем как Иванчик и Сережа.

Андрей засмеялся. Он был счастлив, что видит Риту, остальное ему было все равно. Она перед ним, несколько удивленная, веселая, красивая даже в этой рабочей одежде. Такой парень.

— Второй день толкнуть не можем, чтобы начала вращаться, понимаешь.— Рита показала на машину.

— Понимаю,— кивнул Андрей.— Потому что толкаете вручную.— И он показал на следы ладоней на стальной оси.

Рита засмеялась.

— Плетнева! — закричали из глубины.— Куда вы пропали!

— Иди. Тебе надо.

— Подождешь?

— Конечно.

— Рита! Где шестой кабель? — Это уже крикнул Сережа. Он стоял у щита с рубильниками и приборами.

Рита убежала.

Неподалеку от Андрея остановились двое. В руках у них был кусок фанеры, и они начали чертить на фанере какую-то схему: один обмылком, который он вытащил из кармана куртки, другой спичкой. Потом они отшвырнули фанерку, но тут же ее схватили и опять начали чертить.

Тут Андрей снова увидел Риту — она несла коробку с изоляционной лентой. Иванчик подключил новый кабель, который привезли на автокаре. Рита завязала на кабеле белую изоляционную ленту. На других кабелях были такие же узелки, белые и зеленые.

— Иванчик, у вас готово? — спросил тот, который вытаскивал из кармана куртки обмылок.

— Надо проверить обмотку.— Иванчик полез внутрь машины. Машина была такой огромной, что Иванчик спокойно помещался внутри ее обмоток.

Иванчику протянули коробок спичек.

Вскоре внутри машины вспыхнул огонек. Иванчик проверял обмотку, подсвечивал себе спичкой. Было смешно: внутри такой современной электрической машины — и слабый огонек спички.

— Иванчик, вы скоро?

Иванчик вылез из машины. В это время к Андрею подошел Сережа:

— Надо ввести машину в синхронизм, чтобы обороты ротора и магнитного поля статора совпали.

— В общем, чтобы начала вращаться?

— Именно.

— Узелки эти зачем?

— Для памяти, где питающий кабель, где под нагрузку.

Сережа поспешил к распределительному щиту, потому что в это время по радио громко объявили:

«Освободите трассу! Восемь тысяч вольт на обмотку статора и на ротор две тысячи вольт. Внимание у щита, держать одну минуту!»

Раздалось мощное гудение.

Андрей вместе со всеми смотрит на длинный вал, но вал неподвижен.

— Выключить!

Около вала опять люди, трогают его руками. Новые отпечатки ладоней. Кто-то сказал:

— Может, залипают подшипники?

— Хотя бы развернулась разок. Прокрутим подъемным краном?

Рита опять около Андрея.

— Интересно? — спросила она.

«Вот оно,— подумал Андрей о Рите,— и дед и прадед».

Рита повторила вопрос.

— Конечно, интересно,— ответил Андрей.— Я впервые на заводе. Для чего эта машина? Для радионеба?

— Для радиозвезд,— улыбнулась Рита.— Она какая-то грустная сейчас, верно? — сказала Рита, кивнув на машину.— Незащищенная.

— Незащищенная...— Андрей поглядел на машину.

— Ну да. Рыжая, не покрашенная еще, влажная от масла.

— Ты так о ней говоришь...— Он не привык слышать от Риты подобные слова.

— Потом машину будут проверять на холод, на жару и на дождь,— объясняла Рита Андрею.— Висят датчики, видишь? Устроят ей настоящий дождь.

— Это когда она уже не будет незащищенной? — спросил Андрей.

Рита не ответила. Потом вдруг спросила:

— Как ты оказался на заводе?

— Пришел, и все.

Рита внимательно посмотрела на него.

Андрей сам был удивлен, что он на заводе, здесь, на испы-

тательной станции. Он никогда не думал, что о главном с Ритой ему придется говорить у машины СДМЗ-30.

... Рита шла по улице и размахивала своей авиационной сумкой. Рита умела ходить по городу, как будто город принадлежал ей или, во всяком случае, таким, как она.

Машину толкнуть не удалось.

— Ничего, завтра удастся.— Рита остановилась и начала уголок пудреницы чертить на своей сумке схему машины.

— Тебя действительно все это волнует? — спросил Андрей.

Рита посмотрела на него серьезно и сказала:

— Очень. И никогда больше так не спрашивай у меня.

— Извини. Не буду.— Андрей обиделся.

Рита это заметила.

— Не обижайся, если не хочешь, чтобы обижалась я.

Некоторое время шли молча. В городе было по-весеннему светло от весенней воды на асфальте, от разбрызганного повсюду солнца. Стояли продавщицы цветов с корзинами мимозы. Андрей купил цветы, протянул Рите. Она приоткрыла «молнию» на сумке и вставила в сумку цветы.

Андрей и Рита проходили мимо входа в Парк культуры имени Горького.

— Пошли,— взяла Андрея за руку Рита.

— Куда?

— В парк.

— Зачем?

— Прыгнем на парашютах с вышки. Я давно хотела.

Андрей пожал плечами.

— Я еще в детстве просила отца, но он не соглашался.

— По-моему, никто с парашютом в парке давно не прыгает,— сказал Андрей, сворачивая к входу в парк.

Рита шла по дорожке немного впереди. Она была в короткой спортивной юбке и в поролоновой куртке. Туфли — на широко набранном каблуке. На чулках — ни единого пятнышка. Она умела так ходить между лужами, хотя и казалось, что идет она небрежно и невнимательно и не придает никакого значения своим туфлям и чулкам.

«Как же я ее люблю! — думал Андрей.— Я могу вот так вот идти, лишь бы только шла она. Всегда. Чтобы видеть ее. Но почему она такая слишком красивая! Зачем? Трудно любить такую. Он знает, какая она. Все знают. И трудно ее любить и думать, что только ты один ее любишь и имеешь на это право и никому больше нет дела ни до нее, ни до тебя. А так хочется заявить: это моя девушка! Не таращите на нее глаза, не заговаривайте с ней, не думайте, что она никого еще не любит. Она любит и никого больше не полюбит».

— Парашютов нет,— сказала Рита, останавливаясь.— Ты прав. Может быть, еще не повесили?

— Их давно уже нет.

— Тогда хочу покататься на «чертовом колесе».

Рита и Андрей пошли к колесу. Колесо поднимало кабины высоко над городом.

Андрей купил билеты. Очередь на посадку была небольшой, потому что была весна и там наверху было еще ветрено.

Рита и Андрей заняли места. Им досталась кабина зеленого цвета.

— Как питающий кабель,— сказал Андрей.

Рита засмеялась. Она была счастлива.

Начали заполняться следующие кабины. Рита и Андрей медленно поднимались все выше по мере заполнения других кабин.

— А ведь ты тоже ошибаешься во мне,— вдруг сказала Рита. Она подставила лицо ветру и прикрыла глаза. Веки у нее были чуть голубоватыми, наведенными карандашом, и от этого ресницы тоже казались голубоватыми.

— Как прикажешь понимать? — спросил Андрей.— Подними воротник.

О воротнике Андрей сказал громко, чтобы слышно было в соседней кабине, где сидели ребята с гитарой и смотрели на Риту. Пусть слышат, что Андрей имеет все права на эту девушку, что это его девушка.

Рита не ответила. Тогда Андрей сам поднял воротник ее куртки. Неужели так всегда придется бороться за нее, всячески подчеркивать свои права?

— Я монтирую свой характер,— сказала Рита. Она открыла глаза и смотрела на город.— Внутри нас тоже есть радиосвязь. Генератор идей.

— Значит, это только эпизод в твоей жизни?

— Это моя жизнь,— медленно ответила Рита.

Колесо еще немного поднялось. Кто-то из кабины крикнул вниз:

— Когда же начнем крутиться?

— Это значит, кончилось детство. Кончилась стюардесса, манекенщица, актриса кино, эстрадная певица. Кончились шлягеры.— Рита сложила руки на коленях, соединила пальцы.— Понимаешь меня?

— По-твоему, актрисы, певицы — это не работа?

— Работа. Но я должна была заставить себя делать что-то еще, придумать добавочную нагрузку. Я должна была победить себя. А на стюардессу меня бы не пропустила медицинская комиссия.

Андрей не обратил внимания на ее слова о медицинской комиссии. Он спросил:

— Ты хотела победить себя, как Иванчик, например, и Сережа?

— «Гроссы» требуют все с предельной строгостью.

— Кто еще? Витя Овчинников?

Рита взглянула на него.

— Он пишет — на хвойный лес приятно прыгать.

— Ты хочешь, чтобы мне было стыдно?

— Нет. Я борюсь с собой. У меня есть на это причины.

Рита отвернулась, сняла руки с колен.

Можно вот так любить человека, как Андрей любит Риту, и потом вот так сразу ненавидеть человека, как Андрей ненавидел сейчас Риту. Ненавидел, потому что ревновал. Он мог ее ревновать даже к этому «чертовому колесу», не то что к Вите Овчинникову.

Колесо дернулось и начало вращаться. Кабина Андрея и Риты полетела высоко вверх, над самым городом, потом вниз, к самой земле. Андрей тихонько обнял Риту за плечо. Она отстранилась. Тогда Андрей закричал ей в самое ухо:

— Синхронизм! Обороты совпали!..

На следующий день Андрей не попал на занятия к доценту Успенскому. Он снова был на заводе, на испытательной станции. Он хотел что-то доказать Рите, хотя и не знал, что именно. Завода он не понимал и чувствовал, что не поймет, да и на что это ему? Ему нужна Рита, потому что он ее любит. А Рита? Что она? «Да» или «нет»?

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Тебе письмо, — сказала Ганка Ладе. — В сельсовете дали.

Ладя взял конверт, прочитал адрес: «Село Бобринцы, заезжему из Москвы скрипачу».

Ладя распечатал конверт. Письмо было от Санди. В конверт была вложена фотография — Санди и Арчибальд, оба стояли в темных солнечных очках. Арчибальд в темных очках просто невозможен. Санди научила его носить очки. Жутко смешно. «А что особенного? — писала Санди. — Где-то в Америке индеек ходит в дождь под зонтиком, а мой Арчи не может ходить летом в солнечных очках?»

— Посмотри, — сказал Ладя и протянул Ганке фотографию.

— Да, — сказала Ганка невозмутимо. — Смешно.

— Он ведь и правда ходит в очках!

— А я и говорю — смешно, — повторила Ганка. — У нас дид Яким и не такое придумывает.

Ладя занимался теперь в школе. Устроила Ганка. Чтобы

он был под ее непосредственным контролем. Ладя чувствовал себя так даже лучше: действительно был контроль, и он действительно занимался. Он ощущал ритм занятий. Ладя не любил одиночества. Общение с людьми создавало для него дополнительную нагрузку, без которой он не мог. Он никогда не умел управлять собой по-настоящему, серьезно. Он сам себя никогда не принимал всерьез до конца, может быть, только в отношениях с Андреем. Ему хотелось показать себя, что он есть, что он может, потому что Андрей всегда был разумным и правильным. И честолюбивым. Ладя ущемлял его честолюбие, но при этом приходилось показывать все, на что был способен сам.

Вспомнились письма Киры Викторовны, в которых она писала, что пора взрослеть и отнестись серьезно к тому, к чему ты обязан относиться серьезно. Иначе растеряешь все, что имел. Когда Ладя бывал один, ему казалось, что на самом деле он может растерять и следов не останется. Если бы сейчас они с Андреем опять встали рядом, как тогда на турнире, — выиграл бы Ладя? Он не был в этом уверен. Он всегда был откровенным, даже сам перед собой, потому что никогда не был честолюбивым. Хотя в искусстве без этого нельзя, оказывается. Об этом тоже написала Кира Викторовна. А может быть, можно?..

Деньги, которые Ладя заработал в цирке, у него забрала Ганка. Строго выдавала на расходы, чтобы не тратил лишнего и мог бы спокойно заниматься. Не думая о заработках. Так что Ладя вел скромный образ жизни, вполне соответствующий образу жизни стариков. Он тоже оказался на пенсии, был без денег и помалкивал. Носил картуз. Выдал Яким Опанасович: казак без картуза не казак.

Яким Опанасович настоящий Ладин приятель. Даже Ганка сердилась, когда Ладя и Яким Опанасович удалялись на прогулку. Ганка считала, что они просто болтаются из конца в конец села, а Ладе очень нравились эти прогулки. Ладя брал с собой скрипку, и они ходили с Якимом Опанасовичем по селу. Появлялись в хате, куда их приглашали, и Ладя играл так, как этого хотелось людям, которые за его музыкой видели свою жизнь, может быть уже прожитую, и Ладя это понимал. Он играл, чтобы хотя бы на миг что-то вернуть им из молодости, из их прошлого. Ганка никогда не играла, и не потому, что не хотела выступать, просто у нее были другие задачи, и она их выполняла.

У Ладки не было никаких задач. Он с удовольствием просто играл для стариков в их старых хатах, крытых соломой или камышом. Он всегда мог легко определяться в любой ситуации и обнаруживать основное для себя и для других, удобное

и радостное. И еще он умел не нагружать себя однообразным, а значит, и скучным трудом. Он ничего не преодолевал и лично никуда не стремился.

Уже совсем поздно вечером Ладя и Яким Опанасович крались в темноте до дому, до хаты.

Яким Опанасович приседал, трогал ладонью землю и серьезно говорил:

— Вглубь просохнет, будем копать колодец.

Из темноты появлялась Ганка, которая уже давно разыскивала их по селу, и начинала кричать на Ладю и Якима Опанасовича, как дежурные на ферме.

Яким Опанасович быстренько исчезал в темноте, и Ладья оставался один на один с сердитой Ганкой — казак и казачка.

Ладя пытался успокоить Ганку.

— Чего ты кричишь? — говорил он ей. — Я рекламирую скрипку. Тебе учеников приведут сотни.

Письма от Санди теперь приносил почтальон. На месте адреса неизменно было написано: «Село Бобринцы, заезжему из Москвы скрипачу». А на месте обратного адреса также неизменно было написано: «Проездом».

В конвертах, кроме самых писем, оказывались или новая фотография, или цветок, или автобусный билет с каким-нибудь странным названием «Спас-Заулок», «Голокозевка», «поселок Чертеж», а то прислала билеты речного пароходства с названием рек «Княгиня» и «Горожанка».

Ладя представлял себе, как Санди ходит повсюду с Арчибалдом и как ее повсюду узнают зрители, которые уже побывали в цирке. Санди идет, и в глазах у нее так и прыгают разные «коверные» мысли, что бы еще такое придумать сегодня поинтереснее, чтобы забавно прошел день, какой-нибудь трюк-сюжет. Санди любила рисовать, поэтому часто носила с собой краски, кисти и блокноты. Рисовала она всюду, но тоже как-то неожиданно, казалось бы, в самых неподходящих местах. Но потом она умела составлять из рисунков тему. А потом еще оказывалось, что рисунки она делала о Ромео и Джульетте. Как она их представляла себе в наши дни, где и какие должны происходить события. И весь какой-нибудь день она сама играла Джульетту, становилась то веселой, то задумчивой и очень влюбленной. Если в этот вечер выступала на манеже — выступала Джульетта, а зрители просто смеялись, потому что видели просто клоуна.

Ганка письмами Санди не интересуется, уверена, что там всякая чепуха, — вовсе не мобилизующая на работу, а Ганка готовит Ладю к консерватории, заставляет, во всяком случае, готовиться. Написала письмо Кире Викторовне и получила от нее подробную инструкцию, что надо делать. Получила ноты

с проверенной аппликатурой. Кира Викторовна требовала, чтобы Ладя работал над этюдами. И без лишней декламации. Больше оттенков простых и ясных. Следить за струной соль, она иногда звучит у Лади слишком подчеркнута.

Ганка часто аккомпанировала Ладе на своей скрипке, чтобы ему было интересно заниматься, чтобы он не стремился поскорее куда-нибудь отправиться с Якимом Опанасовичем и его приятелями. Важно было Ладю оберегать от него самого. Так считала Ганка.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Андрей опять пришел на испытательную станцию. Пропуск был заказан. В проходной с ним поздоровались, как со своим человеком.

На станции никого не было. Машина стояла подкрашенная и, кажется, совсем готовая. Не было ограждений, все кабели отключены.

На станции работал только один большой станок — на нем вытачивался вал, наверное, такой же, который был и в этой готовой машине. Цифра 30 обозначала габариты. Андрею объяснили еще в первый раз. Синхронная динамо-машина тридцатых габаритов.

Андрей пошел туда, где работал станок.

— Своих ищешь? — спросил у Андрея токарь, который работал у станка.

— Да. Со станции. Где они?

— Кончили испытания. Составляют отчет у главного инженера.

— Толкнули машину?

— Толкнули и уже сожгли.

— Как сожгли?

— Экспериментальную машину надо сжечь.

— Покрасить, все сделать и сжечь?

— Конечно. Проектанты пишут — отстроить и выяснить предельную выносливость.

Андрей потрогал новый вал, которой медленно вращался на станке. Хотелось оставить свою ладонь, так просто, пока не пройдет резец и не уничтожит след.

Он увидел Риту. Она шла к нему сама.

— Я тебя ждала, — сказала Рита. — Позвонили из проходной, что прошел. Иванчику я запретила заказывать тебе пропуска.

— У меня кончились на сегодня занятия.

— Ты врешь. Опять пропустил фортепьяно.

— Так вы ее сожгли? — Андрею хотелось заступиться за машину.

— Она выдержала перегрузку минус три.

— Дым, пламя. Много дыма. Восторг.

Рита и Андрей шли по станции к выходу.

— Я просила не шутить на эту тему.

— Я забыл. Но она была такой рыжей, застенчивой. —

Андрей продолжал злить Риту. — Верила людям.

— А они ее сожгли спичками, — сказала Рита.

Андрей подошел к стеклянным дверям, фотоэлемент распахнул двери.

Молча и медленно пересекли двор. Рита шла твердой походкой, концы халата резко отскакивали от колен. Андрею хотелось сказать Рите что-нибудь обидное, чтобы защитить себя от любых ее слов, обидных для него.

Но Рита молчала, молчал и Андрей.

Так молча пересекли двор. Вошли в проходную.

— Я сейчас вернусь, — сказала Рита вахтерам.

Мужчина в смешной белой панаме, в гетрах звонил по внутреннему телефону и требовал главного инженера.

— Здравствуйте, Викентий Гаврилович, — сказала Рита мужчине и повернулась к Андрею. — Наш профессор по электродинамике.

— Жуков и бабочек не собирает?

— Кажется, нет, — серьезно ответила Рита. Она сделала вид, что не замечает злости Андрея.

Они вышли из дверей на площадь.

— Пока! — бросил Андрей и повернулся к ней спиной.

Когда они шли еще через двор, он решил, что поступит именно так.

— Погоди, — сказала Рита и вдруг задержала его за плечи. — Никогда не делай глупостей. — Она улыбнулась и уже одними губами добавила: — Я тебя люблю.

Андрей стоял у входа на завод. Он смотрел на двери, на орден Трудового Красного Знамени, на стекло и бетон. Он так простоял долго, потому что за это время профессор по электродинамике успел выйти с завода, договорившись, очевидно, обо всем, что ему нужно было, с главным инженером, найти такси и уехать. Андрей стоял и все никак не мог понять, что он должен сейчас сделать, чтобы осталось у него в памяти, как останутся у него в памяти вахтеры, профессор в панаме и в гетрах и он сам — на площади перед входом на этот завод. Нет. Он просто должен сейчас уйти, чтобы сохранить эти слова. Унести их с собой тихо, чтобы где-нибудь, и опять в тишине, рассмотреть их, каждое слово отдельно. Два местоимения и глагол...

Оля Гончарова стояла перед комендантом Татьяной Ивановной.

Татьяна Ивановна раскладывала, как всегда, пасьянс, на этот раз «Эфиопию»; везде на первом месте должны быть карты темных мастей. Около стола Татьяны Ивановны — контрабас и виолончель. Ученики оставили инструменты с вечера, как в камере хранения. На столе лежало знакомое увеличительное стекло. Бетховенист-текстолог Гусев уже применяет для изучения фотокопий с тетрадей Бетховена светотехнику. Он выступил в настоящем печатном журнале со своей первой статьей, в которой пытался объяснить, как Бетховен отбирал и обрабатывал музыкальную тему, и что линии различной длины в его черновых записях действительно определяли направление движения музыки.

Карты у Татьяны Ивановны новые, но все равно она рядом держит увеличительное стекло. По привычке.

— Татьяна Ивановна, а нельзя быть молодой и уже одинокой? — спросила Оля.

Татьяна Ивановна взглянула на Чибиса.

— Нельзя.

— Но должно одиночество когда-то начаться?

— Музыкант никогда не может быть одиноким. Возьми ключ и иди наверх.

— Я не могу сегодня идти наверх. Не могу! Тетя Таня!.. — И Оля вдруг повернулась и побежала к дверям.

Вскочила на улицу и пошла, худенькая, напряженная, размахивала тонкими угловатыми руками. Она почти бежала по улице — от себя, от органа, от музыки. И от своей любви.

... Можно лежать в траве лицом где-то за городом на берегу реки, слышать, как приходят и уходят поезда, слышать, как начинается летний день, как где-то высоко над головой поют птицы и пролетают самолеты, слышать, но не хотеть ничего этого слышать? Никаких звуков, кроме ударов собственного сердца. Только это, и ничего другого. Можно так?

Можно забыть всех, кто был около тебя всю жизнь, ради одного человека, который не хочет быть с тобой и никогда не хотел? И ты знала, что он никогда не хотел, но ты придумывала себе, что он захочет, ты надеялась, ты добивалась или ты придумывала, что добивалась. Так можно забыть всех, кто был около тебя, ради этого одного, который едва тебя замечает? Можно научиться не любить его одного, чтобы снова научиться любить всех остальных близких тебе людей так, как ты их должна любить? Или хотя бы память о них? Можно ли стать красивой — сразу, в один миг, поднять голову из травы и почувствовать, что ты удивительно, сказочно красива? Не случайно, не на один вечер... Ты так красива, что тебе даже

страшно за него, когда он тебя увидит и полюбит отчаянно и навсегда, до самого конца жизни. Когда живешь не своей, а чужой жизнью, а собственная жизнь идет как-то мимо, и ты в ней как будто не участвуешь, не интересуешься ею. Чтобы побеждала ты, и никто бы не побеждал тебя...

Нет. Легче всего остаться такой, какая ты есть. И даже Бах, величайший Бах не может помочь. Покровительница органистов святая Цецилия отвернулась от тебя!..

... Оля берет ключ у Татьяны Ивановны, медленно поднимается по лестнице. Татьяна Ивановна смотрит ей вслед. Ничего не говорит. Молчит.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Буду готовить вас на Международный конкурс молодых исполнителей, — сказал Валентин Янович Андрею.

Андрей только что закончил играть концерт Прокофьева. Валентин Янович ни разу не подошел к нему и не положил ладонь на струны. Он слушал, наклонив голову и внимательно наблюдая за смычком. Андрей думал, что Валентин Янович скажет об экзамене за первый курс, а он сказал такое, от чего Андрей весь напрягся. Международный конкурс!

— Готовиться придется все лето.

Андрей кивнул.

— Прослушивание в консерватории, потом на Союз. Если победите, поедете в Югославию, в Дубровник. Вы начали работать вполне прилично. У вас появилась взволнованность. Раньше вы были суше, скованнее.

Валентин Янович прошелся по аудитории на своих тяжелых ногах. Поправил высокие задрапированные рамы, которые стояли по углам аудитории для акустики.

— Мне казалось, что вы что-то решали для себя или вокруг вас что-то решалось. Теперь вы свободны от решений, и это чувствуется, и это будет чувствоваться всегда независимо от воли. Вы как раз такой музыкант.

— Валентин Янович, я думаю о стиле, — сказал Андрей.

Это тоже было правдой. Андрей так сказал, чтобы разговаривать только о скрипке, он боялся, что профессор почувствует в нем еще что-то другое, новое, чем Андрей переполнен до отказа. Хотя именно об этом профессор, кажется, и догадался. Андрей сам понимает, что произведения, которые он исполняет, получают теперь новую окраску. Он играет новым звуком. Он играет так, как никогда не играл. До боли в пальцах, до счастья, от которого хмелеет голова, до крика и шепота, до тишины и вселенского грохота! Когда все рушится и рож-

дается заново! С каждым движением смычка, с каждым прикосновением пальца к струне. Это делаешь ты. Тебе одному подвластно.

Валентин Янович прислонился к роялю и смотрел на своего ученика.

— Стил, — сказал он, — это сам человек. Это слова Бюффона, и я с ними согласен. В общем-то буквально — заостренная деревянная палочка, которой писали римляне. *Stilus*. На воощеных дощечках. Перевернуть *stilus* означало у римлян стереть написанное обратным, тупым концом палочки. Поэтому Ауэр и говорит, что скрипач переворачивает *stilus*, когда вносит исправления в свою игру... Генрих Эрнст техникой ослеплял публику, о нем Берлиоз сказал, что он играет в кости алмазами... — Валентин Янович помолчал, как бы выбирая, кого бы еще назвать. — Пуньяни, Иоахим, чешский Паганини — Кубелик, Сарасате. Каждый из них эпоха, стил. О Виотти говорили, что он водил по струнам смычком из пуха, но управляла смычком рука Геркулеса. Тоже совершенно индивидуальный стил. Разговор этот достаточно серьезен. Мы еще будем к нему возвращаться, и не раз. Вы меня понимаете?

— Да, — кивнул Андрей.

— Что вы мне еще покажете сегодня?

— Два этюда.

— Пожалуйста.

Андрей коснулся смычком струн и тут же сам почувствовал полноту и силу звука. Идет, идет звук! Какое счастье. И пальцы. Даже третий, за который он боялся последнее время. Легко и четко, как молоточек, бьет по струне. Летят ударные, отскакивающие ноты. Те самые, о которых он мечтал всегда. Те самые. И все открыто, динамично. Он сам это чувствует. Он сам! Потому что все это проходит через него и рождается им. Каждый оттенок в обтяжку. Звучащая атака! Только бы это не ушло! Не упустить бы! Не потерять. Он победит. Сейчас. Вот, вот... Прослушивание в консерватории. На Союз. Он переворачивает *stilus*, он стирает все, до сих пор им написанное!..

На струнах — рука профессора. Андрей опускает смычок.

— Несколько дней попрошу вас не играть.

Андрей смотрит на профессора.

— Вы слишком сейчас счастливы, даже для скрипки.

— Валентин Янович, я, как никогда... Я...

— До конкурса два серьезных прослушивания. Марафон. Вы понимаете?

— Понимаю.

— Остановись, мгновенье... На это я бы не хотел рассчи-

тывать. — Потом Валентин Янович сказал: — Только на это. Почитайте хорошие книги. В эти дни без скрипки. Кого вы любите из поэтов?

— Блока.

— Кстати, Блок утверждал, что у поэта нет карьеры, а есть судьба. В полной мере относится и к музыкантам.

Сегодня у Андрея по расписанию еще были лекции — инструментоведение и история первой русской революции 1905 года. Зачеты он сдал. Два дифференцированных с отметкой и три простых.

В консерватории во время сессии шумно, как в школе. В библиотеке народ, у врача-фониатора, на кафедрах, в учебной части, у кабинетов деканов.

Появились в газете призывы: «Звучи вокально!», «Играй с листа, а прима виста (с первого взгляда)». «Отлично и хорошо — это знак качества. Удовлетворительно — взятие на поруки. Неудовлетворительно — повторный вызов с подпиской о невыезде». Хотя газета и называлась вполне серьезно — «Советский музыкант» и была печатным органом консерватории. Многотиражка. Ее вывешивали по четвергам, когда она выходила из печати. И возле нее тоже собирались толпы, совсем как около «Мажоринок».

В коридорах и на лестничных площадках было запрещено играть на инструментах, но ребята потихоньку играли. В особенности на лестничных площадках перед лифтом и сбоку от раздевалки. Спорили здесь и курили. Перед экзаменами и зачетами споры были со всевозможными цитатами и ссылками на знаменитых авторов и музыкантов. Горели все лампы над всеми расписаниями.

— Нельзя быть сытой мышью в искусстве! — кричал студент в кедах и с брелоком, который у него висел спереди на брюках, зацепленный за петельку для пояса. Брелок был похож на маленькую гирику.

— Во всем должен быть инстинкт, — сказал кто-то.

Прежде Андрей обязательно ввязался бы в разговор, но сейчас ему было не до того. Сколько это, настоящий марафон, 42 километра? И еще 200 метров, кажется. Нет, там какое-то неровное число. Андрей выйдет таким, каким требуется для марафона. Стихи он сейчас с удовольствием почитает, и на лекциях посидит тоже с удовольствием. И успокоится.

В коридоре на Андрея чуть не налетела девушка с фортепьянного факультета.

— Тебя на конкурс? Поздравляю.

— Я не выиграл еще и первого тура.

— Выиграешь. У тебя запас прочности.

— Перестань.

— Ладно, суеверный! — Она заспешила дальше по коридору.

Андрей посмотрел ей вслед с ненавистью.

Подошел к Андрею Родион Шагалиев, тоже скрипач с первого курса. Занимается у профессора Быстровой. В синем «клубном» пиджаке-блейзере с рельефными, как монеты, пуговицами. Родион Шагалиев чем-то отдаленно напоминал Ладьку.

— Дубровник — это красота. Читал? Город-музей.

— Не читал. Слышал, — ответил Андрей. — Ты не помнишь дистанцию марафона — сорок два километра, а сколько метров еще?

— Не помню. Бикилу помню. Он теперь парализован. Вот бегал! А зачем тебе?

— Буду бежать, — сказал Андрей. — С тобой вместе.

— А-а, понимаю. Побежим.

Андрей совсем недавно видел Киру Викторовну на концерте американского скрипача Деррика Смайта. С ней были Маша Воложинская, Франсуаза и Дед. Маша, очевидно, сменила в очках стекла на более сильные, потому что глаза ее как-то приблизились к стеклам. Дед был весьма импозантным, по-прежнему с животиком. А Франсуаза просто русская девочка: под браслет были вдеты две ромашки.

Андрею было приятно, когда его окружили и Маша, и Франсуаза, и Дед. Спрашивали, смеялись. Все понимают. Ну, Павлик, тот всегда на высоте. Сыплет французскими словечками. Кира Викторовна тогда сказала Андрею, что Ладя живет в Бобринцах. Скоро вернется в Москву. И Андрей подумал, что они обязательно встретятся в консерватории. Ладька будет в консерватории. Андрей никогда в этом не сомневался. В Андрея вошло беспокойство, так хорошо ему знакомое и так, может быть, ему необходимое. О конкурсе он старался не думать, потому что понимал, как это серьезно и ответственно. Сколько надо всего преодолеть. Сколько километров! Андрей не хотел об этом ни с кем говорить, в особенности в консерватории. Да и не только в консерватории. Но Рите он скажет. Обязательно. Он не сможет ей не сказать. Рита для него самый близкий человек. Казалось бы, такие простые слова — будем готовить вас на международный конкурс, а в этих словах годы и годы работы, все, что ему удалось сделать для себя и что удалось другим сделать для него. Кире Викторовне, Валентину Яновичу, даже Ладьке, который всегда доводил в Андрее все до определенной остроты и скорости. Когда Андрей оценивал заново себя, сомневался в себе и потом непременно побеждал забоя. Когда человек слишком счастлив, он может чего-то не заметить, проглядеть. Доверяет себе и окружающим. Он раз-



магничен. Он не боец. Он уже победитель — в собственных глазах, да, это совершенно точно! И тогда его могут победить вовсе не победители.

Вот что имел в виду Валентин Янович. Наверняка. Взволнованность — это хорошо, но взволнованность должна быть обеспокоенной. Ладыка... Он ему необходим. Кавалер филармонии и его шпага.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Каждый студент консерватории знает, где Госколлекция инструментов Страдивари, Гварнери, Амати, Гальяно, Бергонци. В исключительных случаях, когда кто-нибудь из музыкантов выезжал на концерты за пределы Родины или на международные конкурсы, по просьбе ректора консерватории или профессора — руководителя по специальности — заведующий Госколлекцией выдавал скрипку или виолончель. И концертант или конкурсант получал уникальный инструмент.

Валентин Янович сказал, что Андрей, если победит на союзном конкурсе, получит из Госколлекции Страдивари. Прослушивание в консерватории Андрей прошел, и Родион Шагалиев прошел. И еще четыре скрипача — двое из Ленинградской консерватории, один из Киевской и один из Саратовской. Родион посмеивался, будто у него подготовлено какое-то нового вида секретное оружие, которое он применит на последнем дне конкурса. Он небрежно помахивал своей скрипкой в футляре из алюминия, легком и герметичном. Кто-то привез ему этот футляр из-за границы. Родион очень им хвалился.

В Родионе была прирожденная инструментальность, скрипичность. Последний технический зачет он играл великолепно. Андрей слышал. У него все сделано, все продумано, он умеет рассчитывать силы. А контакт с залом — это для него проблема.

Андрей нервничал. Но Валентин Янович был невозмутим. Закрывал рукой левое ухо, стоял и слушал Андрея. Теперь он заставлял Андрея играть в разной обстановке, чтобы не привыкнуть к определенным стенам. Об этом предупреждали крупнейшие исполнители — цвет стен, пятно на какой-нибудь клавише (если это рояль), картины, угол, под которым стоял рояль, — все это имело значение, потому что в зале вдруг обнаруживалось, что память вам изменила. А память не изменила, она слишком все зафиксировала. Консерваторский отбор — это игра у себя дома, при своих картинах и стенах, а на союзном конкурсе уже будет другой зал, другая обстановка.

Валентин Янович заставлял Андрея играть во множестве мест. Андрей играл даже на заводе, на испытательной стан-

ции. Играть в цехе — это действительно совсем другая обстановка, другие неожиданные ощущения. Ты должен почувствовать масштабность. Чего особенно добивался Валентин Янович. Надо быть уверенным в том, что ты заполнишь скрипкой огромный зал, что тебя хватит на это.

Играл Андрей и на речном пароходике, на котором они с Ритой плыли вечером по Москве-реке. Они плыли через весь город, и Андрей играл. Пароходик был пустой, все сошли с него, и Андрей и Рита были вдвоем на верхней палубе. Когда проплывали через город, Андрею казалось, что он играл для всего города, для всех его улиц, мостов, парков и площадей. Что он заполнял скрипкой город, зажигал в нем огни по горизонтали и по вертикали. Что город принадлежит сейчас ему. Все было понятным, радостным, он жил в этом городе, и город служил ему, и это было главным для него. Это было его счастьем.

Прослушивание на Союз проходило в Концертном зале имени Чайковского. Андрей вышел на первое место. Почему-то это случилось удивительно естественно. Для него. Он продолжал то, что начал. Он мог сейчас победить в своем городе любого скрипача на любом прослушивании, и проделать это спокойно, невозмутимо. Для поездки на международный конкурс было только одно место. Единственное. Андрей его занял.

Родион Шагалиев сказал:

— Купишь себе в Дубровнике такой же алюминиевый футляр.

Андрей кивнул Родиону. Он оценил его мужество.

Андрей должен был получить инструмент Страдивари. Потому что со дня на день придут ноты произведения, обязательного для всех участников конкурса в Дубровнике. Произведение было написано югославским композитором. Исполняться оно будет на последнем туре. На разучивание давалось полтора месяца, и разучивать его Андрей будет уже на Страдивари.

Андрей помнит, как принес его нынешнюю скрипку кладовщик. Как он ее вынул из ситцевой тряпки и положил перед Андреем. Дома был Петр Петрович. Петр Петрович долго жал руку кладовщику, благодарил. Кладовщик смущенно говорил: «Не меня благодарить надо, а его друзей. — Он показал на Андрея. — Это все они». А потом кладовщик и Петр Петрович сидели на кухне и пили. Угощал Петр Петрович. Он ни за что не хотел так вот просто отпустить кладовщика. Кладовщик был теперь его другом. Андрей тоже выпил стакан вина. И все они потом сидели на кухне, кладовщик рассказывал о своей молодости, как работал когда-то у Витачека, а главное, как он видел и слышал еще в двадцатом году скрипки Чернова. Андрей впервые узнал о Чернове. Это был инженер-металлург. Чернову удалось приоткрыть тайну итальянцев. После Чернова никто боль-

ше не приблизился к итальянцам. И поэтому кладовщик перестал делать скрипки, пытаться делать. Стал простым кладовщиком. Так он сказал Петру Петровичу и Андрею.

— Вы не добились своего,— сказал Петр Петрович.

— Сломался,— кивнул кладовщик.

Андрей понял тогда слова кладовщика, понял, что такое «сломался». Он сам чуть не сломался.

Чтобы попасть из консерваторского здания в Госколлекцию, надо пройти через буфет на втором этаже и там, через маленькую дверь в буфете, пройти в Большой зал консерватории. Подняться по лестнице на левую сторону зала и пройти в конец, к высокой двери со звоном.

Андрей поднялся к балконам левой стороны, прошел в конец и остановился перед дверью. Позвонил. Звонок раздался в глубине.

Двери открыл сам заведующий. Он был в одежде красногвардейца. Так показалось, во всяком случае, Андрею: сапоги повыше колен, галифе, гимнастерка с отложным воротником и накладными карманами с клапанами.

— Вот,— сказал Андрей и протянул красногвардейцу бумажку от ректора консерватории, как мандат.

Заведующий взял бумажку и сказал:

— Проходи.

Андрей прошел вслед за ним через коридор, потом вошел в небольшой служебный кабинет. Машинально оглянулся. Заведующий успел уже прочесть мандат, сказал:

— Не здесь.— Он понял волнение Андрея. И опять повторил: — Они не здесь.

Андрей смутился. Как он мог подумать, чтобы где-то вот так в маленькой комнате сохранились скрипки!

— Учишься у Валентина Яновича?

— Да.

— От него часто уезжают студенты на конкурсы. И побеждают.

— Побеждают? — для чего-то переспросил Андрей, хотя сам прекрасно знал всех известных выпускников профессора Мигдала.

Заведующий пригласил за собой Андрея. Андрей, пожалуй, испытывал сейчас такое же волнение, как и тогда, когда поступал в консерваторию и входил в класс, где сидели знаменитые скрипачи и профессора. Теперь он должен был войти в комнату, где хранились знаменитые скрипки.

Заведующий повернул круглые штурвалы-запоры на гладких металлических дверях, и двери медленно и бесшумно пода-

лись. Это были двери как в несгораемом шкафу — толстые и тяжелые. Заведующий и Андрей вошли. И сразу, вот они — под стеклом посередине зала. Часть окон в зале была пришторена, чтобы не попадало солнце. Заведующий зажег электрический свет.

Скрипки лежали на бархате, как лежат в музеях гравюры или медалионы. Были и пустые места: значит, инструменты были выданы. Некоторые скрипки хранились в отдельных стеклянных граненых шкафах. Шкафы стояли на подставках из черного лакированного дерева.

Заведующий открыл один из граненых шкафов и взял инструмент и смычок. Достал из своего накладного кармана белый носовой платок, пристроил на плече и положил на платок скрипку. Поднял смычок.

Андрей не без удивления смотрел на заведующего.

Красногвардеец заиграл. Андрей смотрел на него и молчал. Ему показалось, что все это происходит не здесь и вообще не с ним, а тогда, когда еще были живы скрипки Чернова, и что скрипка звучит не только в этой небольшой комнате, а рядом, в Большом зале консерватории. Совсем недавно он наполнил своей скрипкой цех завода, а потом и весь город, все дома и улицы... Но только теперь он почувствовал, как все должно быть на самом деле. Каким звуком можно этого добиться. Звук был именно в этой скрипке. В ней одной! Что это звенит, улетает и возвращается? И тут, и там, и везде!

Андрей даже не знал, чего ему больше хотелось: самому сейчас играть на этой скрипке или стоять и слушать ее, видеть, отгадывать.

Красногвардеец опустил смычок. Сказал:

— Возьми инструмент. Попробуй, как будешь на нем устроен.

Андрей взял скрипку. Заведующий пошел к себе в кабинет. Андрей повернул скрипку к свету, чтобы увидеть сквозь тонкий полукруглый вырез — эфу — знак мастера внутри скрипки, этикет. И он увидел этикет. Первые буквы фамилии итальянца были хорошо видны. Андрей подумал, как же потом, после конкурса, сделать эту скрипку непривычной для себя, отделить ее от себя. Она из Госколлекции, и никому и никогда не будет принадлежать, и не должна принадлежать, потому что до сих пор нет такого Чернова, который делал бы такие скрипки. Почти равноценные. Если они существуют, значит, они могут и вновь родиться!.. Должны!

Чибис стояла, обхватив себя руками так, что ладонями касалась лопаток. Голову опустила низко, и половина лица была закрыта согнутыми руками. Чибис слушала себя, собственную музыку, и будто сдерживала ее внутри, крепко себя обхватив.

Чиби́с ее слушала, и ей было сейчас хорошо и удивительно понимать себя и соглашаться с собой. Понимать свое отношение ко всему, совсем для нее новое, свое отношение к любви.

От любви можно уйти. Можно. Оля теперь это знает. Можно лежать в траве лицом где-то за городом и на берегу реки, слышать, как приходят и уходят поезда, слышать, как начинается летний день, как где-то над голо́вой поют птицы и высоко пролетают самолеты, слышать и не хотеть этого слышать. Можно научиться не любить одного и снова любить всех остальных близких тебе людей так, как ты их должна, обязана любить, или хотя бы память о них. Можно стать красивой так, сразу. В тебе твоя собственная музыка, и ты красива. Пусть никто этого и не видит, но ты видишь, ты слышишь свою красоту, ты ее чувствуешь, обхватив себя руками. Стоишь и слушаешь себя. Любовь — самое сложное из человеческих чувств, но, чтобы понять ее по-настоящему и до конца, надо победить ее, постичь какую-то истину, добыть красоту, сделать добро. Надо поверить в себя. Надо найти себя! Ведь самое главное и нелегкое, когда ты любишь, а тебя не любят. Потому что, когда тебя не любят, легче всего и оставаться нелюбимой — ни красоты, ни любви, ничего. Ты отказывалась от себя, ты жалела себя, ненавидела, боялась. И вдруг наступает минута, когда ты начала принадлежать сама себе. Ты отобрала себе свое. Мир чувств и мыслей, живое ощущение жизни. Ты поняла, что ты богата, что ты счастлива. Это твоя жизнь, и ты ее проживешь всю целиком!

Чиби́с обхватила себя руками, и стояла, и слушала себя, новую и сильную.

В Бобринцах созрели вишни. В хатах пахло свежим вареньем, стояли покрытые марлей бутылки, в них скапливался вишневый сок. Вишневые ягоды сушились на узвары. Они были теперь повсюду. И казалось бы, в самые беспечные для Лади дни, когда Ладья буквально тонул среди вишен и солнца, он почувствовал одиночество. С ним это и прежде часто бывало, но этого никто не знал. Он скрывал это от всех, даже от брата. Он боялся малейшей пустоты, незаполненности. Скрипка тоже была заполнением пустоты, может быть, только занимала ведущее положение. Иногда. Так было, во всяком случае, в школе, что иногда. Хотя в начале этой поездки тоже так было. Может быть, потому что не чувствовал одиночества.

Когда погибли родители, Ладя был маленьким, и ощущение возникшей сразу пустоты никогда его потом не покидало. Брат? У него своя жизнь, в которой Ладье не всегда есть место. Может быть, только скрипка теперь для него... И то — может быть. Ладья еще не уверен. Опять до конца не уверен. И еще Санди, и тут он тоже не уверен до конца.

Ладя хорошо помнил мать, ее лицо вечером над его кроватью, ее длинные спокойные волосы опускаются, с двух сторон над Ладиной головой. Ладя никому никогда не говорил о том, как ему дороги детали детства. С каждым годом они становятся для него все дороже. Их ведь совсем мало.

Что Ладя попробует принести в консерваторию? Свои воспоминания. Он никому их еще не показывал. Теперь он их покажет, попробует это сделать. Может быть, это будут и не совсем те детские воспоминания, какими они были всегда для него, а появятся в них что-то новое в звучании, в окраске, и не только для него одного, но и для других, таких же, как он. Ладя попробует показать то, что никому еще никогда не показывал. Он попробует показать свое одиночество, если не раздумает в последний момент и рискнет все-таки обнаружить себя перед другими.

Мамины длинные спокойные волосы — это крыша над твоей головой, и не только когда ты маленький...

От Санди пришло письмо. На конверте, там, где обратный адрес, вместо «проездом» было написано: «Москва, 5-я улица Ямского поля, ГУЦЭИ». ГУЦЭИ — это Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Санди писала, что она сдает экзамены и зачеты за третий курс: сатирическую литературу, историю русского и советского театра, музыкальное воспитание (подчеркнула жирной линией), буффонаду, акробатику, пантомиму и сценическую речь. В дипломе, когда Санди закончит училище, так и будет написано: «Клоун у ковра».

В конверт Санди вложила маленькие рисунки — сидит самодовольный кот и на великолепных усах, как на скрипке, играет смычком. Повалились на спины черепахи и бьют себя по животам, как по барабанам. И всем черепахам очень весело. Стоит в углу комнаты тромбон, и в него, как в торшер, вкручена электрическая лампочка (вот так Санди относится к инструменту, на котором играли еще латиняне). Разговаривают две девочки (пижонки). Волосы у них сделаны в виде деревянных завитков, как на конце грифа у скрипки, а вместо колков торчит по четыре шпильки.

Санди — это Санди, и ничего тут не поделаешь, единственная девочка клоун в Советском Союзе.

Ладья очень хорошо помнил ее последнее выступление, которое он видел в Краснодаре: Санди вышла в своем традиционном костюме на два цвета, в лубяном парике. Вынесла одноколесный велосипед и стала учиться на нем кататься. У нее ничего не получалось, она падала, кувыркалась с этим одним колесом, наезжала на барьер. Зрители смеялись, в особенности дети.

Ладя стоял, как всегда, у форганга, смотрел на Санди

и смеялся так, как смеялись все дети. Скакал Арчи и добавлял суеты и путаницы с велосипедом. Санди показала, что все дело в том, что нет руля, вот почему у нее ничего не получается. Нет руля и еще одного колеса. Арчибалд приволок зубами вторую часть велосипеда. Это было еще одно колесо и руль. Санди поблагодарила Арчи, села на свое первое колесо, взяла руль со вторым колесом и сразу поехала. Хотя колеса не были соединены, но создавалось впечатление, что теперь Санди катается на нормальном велосипеде — два колеса, крепкая рама и руль. Санди изображала, что это целый велосипед, и вот теперь-то легко и просто на нем кататься. Униформист, конечно, не должен смеяться, но Ладя хохотал. Арчи иногда умудрялся проскакивать между двумя несоединенными колесами, и тогда все снова как бы вспоминали, что велосипед-то совсем не целый, а из двух самостоятельных частей. И опять смеялись и опять хлопали Санди и Арчи. А потом Санди по городу проехала на таком странном велосипеде. Это, конечно, была акробатика, веселая, радостная. Трюк-сюжет, как говорят артисты цирка.

Ладя не сомневался, что Санди сдаст все экзамены и зачеты. Директор цирка Аркадий Михайлович поставил ей хорошую отметку за практику. Иначе быть не могло. Санди и цирк навсегда вместе. Не напрасно у Санди на зачетной книжке написано, что цирк просто необходим в нашей жизни, как зеленая ветка за окном. Так сказал писатель Леонов.

Ганка по-прежнему была сурового мнения о Санди и о цирке и менять своего мнения не собиралась. Она продолжала подготовку с Ладей к экзаменам. Следила, к кому бы Ладя ни обратился — к плотникам, кузнецам, полеводам, — чтобы его не вовлекали в работу. Яким Опанасович продолжал обнадеживать Ладьку, что они скоро начнут копать колодец. Но сам Яким Опанасович вовсе не был в этом уверен, потому что он боялся Ганку.

После письма Санди и ее забавных рисунков Ладя опять не знал, повезет ли он в консерваторию свое одиночество, обнаружит его для всех или не сделает ничего такого.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Андрей случайно узнал, что Рита заболела. Он был в гостинице «Метрополь», где в специальной кассе заказывают билеты за границу, и потом позвонил Рите. Андрей поехал к ней домой. Андрея встретила мать Риты, и Андрею показалось, что она хотела ему что-то быстро сказать в коридоре, но не сказала. Только кивнула, чтобы он шел к Рите.

Рита сидела в кресле и была укутана пледом. Под спину были подложены подушки. На столике возле кресла — учебники, лекарства, бутылка минеральной воды. Рита была очень бледная. Глаза сделались глубокими и большими и какими-то старшими.

Андрей был переполнен сейчас собой, и больше всего ему хотелось поговорить с Ритой о себе. Ему очень хотелось, но Рита была больна, и он не знал, как это сделать. Рита все поняла и спросила:

— Ты получил заграничный паспорт?

— Да. Показать?

— Покажи.

Андрей достал из кармана паспорт, протянул Рите. Рита полистала паспорт.

— Это виза? — Она открыла страничку в паспорте с красивым квадратным штемпелем.

— Виза. На въезд в Югославию. Кто победит, поедет по Югославии с концертами.

— Ты поедешь, — сказала Рита.

— Сплит, Задар, Любляна, Загреб, Сараево и Белград, конечно. Шесть городов, почти вся страна. У тебя есть карта?

— Атлас в коридоре на полке.

Андрей сходил и принес атлас. Нашел карту Югославии.

— Видишь, получается круг по стране.

— И Адриатическое море, — сказала Рита.

— Да. Но для этого нужна победа. — Андрей замолчал.

— Победа, только победа, ничего, кроме победы! Улыбнись, победитель!

— Не надо, не исполнится. Ты нарочно?

— Я всегда все нарочно. — Рита улыбнулась. — Извини.

— Рита, а что с тобой? Никогда ничего не говоришь. —

Андрей вспомнил коридор и мать Риты. Она тоже никогда ничего не говорит.

— Забываю.

— Почему не могла бы пройти в стюардессы? — Андрей начал тогда с другой стороны.

— Не такая счастливая, как ты. Не победила бы на конкурсе.

— Серьезно. Перестань шутить. Я ведь очень серьезно тебя спрашиваю.

— Не умею прыгать на хвойный лес. — Она продолжала улыбаться, и глаза на какой-то миг сделались прежними, нестаршими. — Очень рада за тебя. — И она вернула паспорт Андрею. — Что говорит твой профессор?

— Ничего такого особенного. — Андрей понимал: Рита не давала ему возможности ее расспрашивать.

— А Кира Викторовна? Она мне всегда нравилась. Профессор тоже, конечно, нравится. Но ты должен помнить Киру Викторовну, когда будешь там играть.

«Я буду помнить тебя», — подумал Андрей.

— Расскажи еще что-нибудь.

— Что?

— О конкурсе, о чем хочешь. Только не молчи и не гляди на меня такими нудными глазами.

— Был в Управлении международных и всесоюзных конкурсов, — сказал Андрей. — Пожелали успеха. Там и другие были. Пианисты, они едут в Канаду.

— Быстро все, — сказала Рита. — Быстро ко всему привыкаешь.

— Я не привык.

— Ты привык. Давно к этому готов.

— Ты опять нарочно?

— Возможно, опять и нарочно. Мне это нравится сегодня, нравится.

Андрей почувствовал, что они поссорятся, и Рита, очевидно, это почувствовала, поэтому сказала:

— «Гроссы» когда-нибудь возьмутся за изготовление скрипки.

Опять помолчали.

— Где ты в последний раз будешь играть свою программу?

— Уже хватит. Знаю акустику многих залов.

— А акустику этой комнаты?

— Помню, и особенно хорошо.

— Я не хотела обидеть, и тогда, в детстве, и теперь.

— Я сам себя здесь когда-то обидел.

— Была виновата я, а не ты. Я всегда виновата перед тобой.

— Ты о чем?

— Так. Не обращай внимания.

— Рита, ты не ошиблась, что поступила в технический институт? Ты до сих пор в этом уверена? — Андрей все еще надеялся: Рита что-нибудь скажет о себе, проговорится наконец, что с ней.

Рита молчала. Потом закрыла глаза. Андрей смотрел на нее, он не видел ее несколько дней. Она изменилась, или болезнь ее изменила. Очень резко и как-то сразу, и даже Рита не могла побороть этого.

Рита все лежала с закрытыми глазами и молчала. Андрей даже решил, что ему надо незаметно уйти. Но Рита открыла глаза и сказала:

— Я вообще ни в чем сейчас не уверена, но ты, пожалуйста,

не обращай внимания. У меня это пройдет. Это должно быть у каждого человека, и у меня это бывает и пройдет.

Андрей не понял, о чем она говорила, но переспрашивать не стал.

— Ты помнишь Наташу из моего класса? — спросила Рита.

— Конечно.

— Работает телефонисткой на главном телеграфе. Вышла на днях замуж. Я расстроилась. Муж у нее забавный, называет себя телеграфистом Ять.

— Никогда не был на свадьбе, — сказал Андрей. — Почему ты расстроилась? На тебя это непохоже.

— Ты еще не знаешь, что на меня похоже, а что нет, — сказала Рита. — Я сама не знаю этого до конца. В пензенских рощах созрел богатый урожай грибов...

— Ну и что? — спросил Андрей невозмутимо.

Рита достала газету, которая лежала на кресле и прочитала:

— «В пензенских рощах созрел богатый урожай грибов. Заготовители маринуют, солят, сушат щедрые дары леса. В области действуют свыше ста грибоварочных пунктов».

— Ну и что? — повторил Андрей.

— Захотелось в пензенские рощи, — сказала Рита. — На грибоварочный пункт. Или в город Весъегонск. Слышал о таком?

— Нет, конечно.

— Там ягодосушильный завод. Голубикой пахнет. Никогда не ела голубики.

Андрей шел от Риты, думал: что на нее похоже, а что непохоже? Когда же он в конце концов узнает Риту, поймет ее до конца? Убедится, что она серьезно относится к нему и к его словам, ведь он ее любит. Андрей вдруг загадал: если он победит на конкурсе, то придет и... как это там... сделает предложение. Рита сказала, что он победит, что она верит. И он победит. Теперь обязательно. Теперь просто окончательно! И все.

Андрей взглянул на часы — пора было к Валентину Яновичу. Но Андрей решил еще немного пройтись, чтобы успокоиться, чтобы Валентин Янович опять не сказал: «Вы слишком сейчас счастливы, даже для скрипки».

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дом номер тринадцать. Он опять был перед Ладей. Памятник Чайковскому, широкая — с двух сторон — дорога к подъезду. Афиши. Их много. Концерты. Их тоже много. Мемориальная доска: «Здесь жил и работал профессор Гедике».

Колышется на асфальте сизая поляна голубей. Все, как было всегда. На улице и у подъезда под широким навесом ребята, разговаривают, показывают друг другу учебники, тетради с записями, ждут новостей. Слухи, домыслы, предположения. Каждый написал заявление: «Прошу допустить к вступительным экзаменам».

Недалеко от входа стояла Кира Викторовна. Нет. Она не стояла, она ходила широким шагом туда и сюда, громко стучала каблуками. Мужские часы перекутились на руке.

Ладя вдруг испугался встречи с Кирой Викторовной и всего, что ему предстояло в консерватории. Может быть, это произошло оттого, что он так и не решил, в каком же качестве он вернулся. Или он просто боится обнаружить себя, что-то сказать о себе, хотя бы раз в жизни?

Ладя подошел к Кире Викторовне. В руках он держал скрипку. Кира Викторовна взглянула на него, и он понял, что она его давно заметила. Смущенный и неуверенный в себе, Ладя улыбнулся, повел плечами. Кира Викторовна ждала от него каких-то первых слов.

— Задержался вот немного...— Ладя попытался сказать это так, как будто не было цирка, поездки по стране, села Бобринцы и всего прочего. Как будто он все тот же и как будто он с Андреем только вчера был у нее на даче в Марфино, а сегодня пришел, как и договорились. Немного вот задержался. Пустилки. Пять минут.

Из-за Ладькиной спины выглянул Павлик Тареев.

— Мы к вам домой приходили,— сказал Павлик.— Вас не было. Но я его прослушал. Вы не волнуйтесь.

— Спасибо, Дед,— сказала Кира Викторовна.— Все в порядке.

Потом Кира Викторовна взяла за руку Ладю и молча повела его. Она была счастлива, что он пришел, вернулся, что его можно повести вот так, крепко держа за руку, на второй этаж к белым дверям с бронзовой ручкой.

Самолет закончил разбег и поднялся в воздух. Горит предупреждающая надпись: «Пристегнуть ремни. Не курить». У Андрея во рту жевательная резинка. Дал Родион. Сказал — помогает, чтобы не закладывало уши. Аккомпаниатор Тамара Леонтьевна, которая летела вместе с Андреем, сидела от него через проход. От жевательной резинки она отказалась. Она взяла у стюардессы с подноса мятный леденец.

Тамара Леонтьевна работала у Валентина Яновича уже много лет. Еще когда училась Кира Викторовна. Она всегда выезжала со студентами на международные конкурсы. Она была счастливой тенью Валентина Яновича.

Рядом с Андреем сидел толстый пассажир. Он держал во рту коротенькую и толстую трубку и ждал, когда погаснет сигнал, запрещающий курить.

Самолет медленно разворачивался. Андрей смотрел в окно на аэродром, на город. Было светлое и прозрачное утро. Город вдалеке и аэродром были светлыми и прозрачными. Может быть, удастся увидеть «чертово колесо»? Рита Андрея не провожала, не смогла. Что-то важное было назначено в институте. Так хотя бы это колесо...

В боковой сетке аккуратно лежала скрипка. Струны проверены, взяты запасные, отличного качества — фирмы «Пирастро». На смычке натянут новый волос. Был засыпан сначала порошком канифоли, потом погрет над пламенем спиртовки и натерт канифолью фирмы «Селвейс». Это сделал Володя из консерваторской мастерской. Ему доверяли свои смычки Коган, Третьяков, Владимир Спиваков. Привел он в порядок и смычок Андрея. Хороший смычок — это важная деталь в успехе скрипача. Настоящий смычок лежит в руке как птенец — тихо и чуть испуганно.

Валентин Янович, прощаясь с Андреем, велел запомнить ему слова опытных музыкантов, что перед выходом на эстраду нужно помешать «выскакивать» в сознание разрозненным кусочкам произведения: идти на эстраду должен «дирижер», собирающийся управлять исполнением, а не беспорядочная толпа «оркестрантов», думающих каждый о своей партии.

Надпись, запрещающая курить, погасла. Толстый сосед немедленно вытащил из кармана зажигалку и закурил трубку.

Андрей опять выглянул в окно. Город затягивала легкая облачная пелена. Город оставался, а Андрей Косарев, студент второго курса консерватории, улетал впервые в жизни за границу, на свой первый в жизни международный конкурс. Права была его мать, которая на прощание шепнула: «Я в тебе не ошиблась».

Стюардесса разнесла журналы, проспекты, газеты. Андрей выбрал проспект «Dubrovnik». Он уже читал о Дубровнике, но хотел посмотреть проспект, изданный в Югославии. В проспекте было много цветных фотографий. Андрей разглядывал фотографии, прочитывал подписи к ним. Все вполне понятно: «Pogled» — вид, «Hidrogliser» — гидроглизсер, «Vila Jahorina» — вила «Яхорина», «Ljetna restoracija» — летний ресторан. Дубровник был удивительно белым, с оранжевыми черепичными крышами. И все это плавало в совершенно синем море. Может быть, только на фотографии стены домов были такими белыми, черепичные крыши такими оранжевыми, а море таким синим. На месте выяснится. Узкие улочки, черные железные фонари на стенах домов. Высокие церкви. Мраморные

ступени и большие каменные плиты, которыми покрыты все узкие улочки.

Сосед с трубкой увидел, что Андрей разглядывает Дубровник.

— Прекрасно,— сказал он с акцентом и для чего-то зажег свою зажигалку, поглядел на огонь и погасил. Потом потянул трубку — она у него при этом вспыхнула, будто стоп-сигнал автомобиля,— медленно выпустил дым и спросил: — Вы коммерсант?

— Нет. Скрипач.

— Прекрасно. Я тоже не коммерсант.

Больше сосед ничего не сказал и занялся только трубкой. Она удобно устроилась в его руке, тихонько сопела.

Вдруг стюардесса подошла к Тамаре Леонтьевне и что-то у нее спросила. Тамара Леонтьевна показала на Андрея. Стюардесса подошла и протянула Андрею листок бумаги, на котором было что-то написано карандашом.

— Вам телеграмма.

Андрей удивился. Но еще больше удивился толстый сосед:

— Телеграмма?

— Принимаем в исключительных случаях,— сказала стюардесса.— Все зависит от срочности текста.

Андрей медленно и не один раз прочитал телеграмму. Каждое слово отдельно. Два местоимения и глагол. «Я тебя люблю». Подпись — «Рита». Андрей убрал телеграмму в карман и стал думать о том, что он победит. Что это окончательно. Теперь окончательно. Он будет сражаться за победу так, как никогда еще не сражались ни за одну победу! Андрей снова достал листок и снова прочитал: «Я тебя люблю».

В Белград прилетели через два с половиной часа. Здесь — пересадка на местный самолет.

Самолет был не реактивный, а винтомоторный, очень домашний, уютный. На специальных деревянных полочках с круглыми вырезами стояли вазочки с розами. Их было много. И в самолете пахло розами.

Теперь у Тамары Леонтьевны и Андрея места были рядом.

— Ты не устал?

— Что вы! Конечно, нет! — Он теперь не может уставать.

Тамара Леонтьевна была самым спокойным человеком во всей консерватории. Тамару Леонтьевну уважали студенты, потому что ее спокойствие и уверенность всегда передавались и студентам на сцене во время концерта или экзамена. А про международный конкурс и говорить нечего.

Среди пассажиров Андрей увидел девушку со скрипкой. Девушка заметила Андрея. Они оба сразу поняли, что летят в Дубровник по одному и тому же делу — на конкурс. Девушка

была одета в брючный костюм, и, как показалось Андрею, на ней была почти мужская фетровая шляпа. С девушкой была пожилая женщина, очевидно, ее концертмейстер.

На борт самолета поднялись пилоты и пошли в кабину между креслами пассажиров. Взглянули на скрипки Андрея и девушки. Девушка держала скрипку на коленях. И один пилот весело кивнул девушке, потом Андрею. Другой пилот вынул из вазы большую красную розу и подарил девушке. О конкурсе скрипачей было известно и здесь, в Белграде. Очевидно, пилоты везли на своем самолете уже не первую партию скрипачей. Девушка улыбнулась пилотам и положила розу на скрипку.

Самолет летел над горами, серыми, с черными мелкими кустами. Кусты напоминали бараньи шкурки, такими они были черными и густыми. Изредка видны были селения, тихие и суровые. Стюардесса объявила, что это Черногория. Причем она сказала, что объявляет для гостей, которые впервые летят к Ядру, так называется Адриатическое море. Потом она еще предложила пассажирам взглянуть в окна на шоссе на дорогу. Отчетливо видна была буква «М», выписанная самим шоссе среди серых скал. Шоссе прокладывал инженер в конце прошлого столетия. Сделал эту букву «М» нарочно: увековечил память о своей любимой, имя которой было Мария.

Андрею показалось, что самолет пролетел точно над буквой. Что летчики сделали это нарочно. Может быть, это их талисман?.. Давно уже, очевидно, нет инженера и его возлюбленной, а буква «М» лежит в горах, сохранилась под всеми снегами и дождями.

Как Рита сумела послать телеграмму в самолет? Удивительно. «Все зависит от срочности текста». И правда, какой еще текст может быть важнее этого для людей, когда они расстались и когда они, может быть, не хотели расставаться? Если бы Андрей был дорожным строителем, он бы написал имя Риты. Увековечил.

На аэродроме в Дубровнике Тамару Леонтьевну, Андрея, девушку со скрипкой и ее аккомпаниатора встретил член организационного комитета конкурса. Он представился:

— Господин Милош.— На лацкане его твидового пиджака был приколот значок конкурса.— Прошу в машину,— сказал господин Милош.

Он разговаривал сразу и на русском и на английском языках. Потому что девушка была англичанка. Девушку звали Маделайн, а ее концертмейстера миссис Пратт. Маделайн держала вместе розу и скрипку.

— Эрнст,— сказала Маделайн Андрею и показала на розу и свою скрипку.

И вдруг Андрей понял, что она имела в виду Генриха



Эрнста и его произведение «Последняя роза лета». Труднейшее в техническом отношении. Она его играет? Или ее просто поразило совпадение собственной скрипки и розы? В Москве лучше всех сейчас исполняет Эрнста Игорь Курто. Андрей так считает. Курто два года как окончил Московскую консерваторию. Завоевал в Брюсселе вторую премию, в Генуе — первую и на конкурсе имени Чайковского тоже первую. На конкурсе Чайковского он играл «Последнюю розу лета». Андрей слушал. Забыть невозможно!

Господин Милош усадил всех в легковую машину, на переднем стекле которой был такой же значок, как и у него на лацкане пиджака. Только большего размера.

Машина поехала вначале по открытому шоссе, потом начались первые улицы Дубровника. Это были новые современные дома, с наружными деревянными шторами, которые опускались сверху. Шторы предохраняли от сильного солнца. Навстречу, на бесшумной скорости, мчались туристские автобусы «Putnik». Величественно исчезали, как дирижабли. Вдоль дороги густо росли оливы. Их острые листья стального цвета напоминали наконечники стрел.

Андрей смотрел в окно. Его первая заграница. Первая страна, в которой он будет отстаивать флаг своей страны, своего искусства. Всего, чему его научили с первого класса музыкальной школы. Андрей ждал, когда покажется тот Дубровник, который он видел в проспекте, — с ораижевыми черепичными крышами, узенькими улочками, мраморными ступенями. Но пока что они ехали совершенно современным городом. Только попался трамвай с зелеными занавесками. Тоже от солнца. Трамвай спереди и сзади был заклеен афишами конкурса. На крыше его была вырезана из фанеры большая скрипка. Потом вдруг попались маленькие повозки, запряженные осликами. На повозках были навалены дыни и корзины с виноградом, а на одной — скрученные в трубку ковры. Их концы свешивались почти к самой земле. Ослик, который тащил повозку, сам был накрыт ковром.

Отель, к которому подъехала машина, назывался «Босанка» — «Vila «Bosanka». Стены его, как и трамвай, были заклеены афишами конкурса. Висели флаги стран-участниц. Андрей попробовал их пересчитать, но не успел — надо было выходить из машины.

Около дверей отеля толпились ребята в белых джинсах, в туфлях на веревочной подошве, в полосатых майках. Одинаково одетые мальчики и девочки. Ребята требовали автографы.

Маделайи привычно брала у них из рук тетрадь или чистый листок бумаги. Улыбалась. Андрей впервые в жизни давал автографы. Он не знал, что писать — просто фамилию, или еще

название страны, откуда приехал, или еще число и год. Вскоре он начал писать просто: «Москва, Косарев», потому что ему хотелось дать автограф всем ребятам и никого не обидеть. Теперь и у него были розы. Ему подарила одна совсем маленькая девочка. Она стояла в стороне от толпы с раскрытой программкой. Андрей сам подошел к ней и расписался в программке. Девочка присела, поклонилась и протянула ему цветы, которые прятала за спиной.

Когда Андрей вошел в свою комнату, он увидел все, о чем думал: синий, совершенно синий, как в проспекте, Ядран внизу у подножия отеля и вдалеке выступающую в Ядран старую часть города с черепичными крышами, мраморными лестницами к самой воде, лодками с веслами, такими же яркими, как черепичные крыши, низенькими парходиками с полотняными тентами и желтыми трубами, торчащими сквозь эти тенты. Море светилось до самого дна. Видно было, как окунались в него весла лодок, как скользили облака мелких рыб, как раскачивались водоросли или как лежали в мелководье на камнях большие морские звезды.

Андрей стоял у открытого окна и думал: хорошо, если бы все это увидела Рита. Стояла бы сейчас рядом с ним. Плечо Риты у самого его плеча. А потом и ее губы у самых его губ. Она прикрывает их обратной стороной ладони. Мастер, ты потерял голову...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

После обеда и до вечера Андрей играл. Он хотел почувствовать, какое у него здесь внутреннее музыкальное движение. Как он после всего будет ощущать себя на инструменте. Андрей сразу почувствовал полноту и силу звука. Идет звук, идет. И пальцы. Летят ударные отскакивающие штрихи. Все динамично, открыто. Звучащая атака.

Тамара Леонтьевна слушала его, держала ноты на коленях и проверяла. Она тихонько кивала, была довольна. Завтра в двенадцать часов официальное открытие конкурса, а в пять часов начало. Жеребьевка и первый анонимный отборочный тур. Жеребьевка — перед самым туром. Жюри не должно знать, у кого из скрипачей какой номер. Выступать на сцене за ширмой. Аккомпаниатор и исполнитель. Давать на фортепьяно для настройки ля — три раза. Не больше. Аплодисменты запрещены. Исполнитель в зале, но он изолирован, скрыт. Он борется один с неизвестностью, закрытый ширмой.

Ко второму отборочному туру, уже не анонимному, будут допущены конкурсанты, набравшие не менее восемнадцати



баллов при двадцатибалльной оценочной системе. К финальному туру будет допущено пять скрипачей. Окончательное распределение мест будет произведено персональным голосованием по каждой кандидатуре.

Отель превратился в музыкальную школу. Звучали десятки скрипок. Это была спортивная разминка. Только разминались не простые ученики, а юные звезды европейского масштаба. Но звезда ли ты или просто ученик, разминаться приходится одинаково: гаммы, пьесы и потом наиболее сложные места из конкурсных произведений. «Пробовать «швырнуть» руку на весь пассаж, прокатить его и вогнать в адрес».

Андрей проверял еще и еще раз, как он «вгоняет в адрес» И это проверял сейчас весь отель «Босанка»

Тамара Леонтьевна закрыла ноты, сказала Андрею:

— Может быть, достаточно?

Андрей снял с плеча скрипку.

Наступили сумерки. Море засветилось отблеском и придвинулось к отелю, к раскрытым окнам.

Тамара Леонтьевна зажгла в комнате свет.

Андрей посмотрел на белое облачко канифоли под струнами у стойки. Можно загадать, как на кофейной гуще. Андрей взял замшу и стер облачко. Вытер струны. Отпустил винт на смычке и вытер смычок.

Посмотрел на море, которое так придвинулось к окнам. Придвинулся и завтрашний день. И опять все, что он только что делал на скрипке, показалось ему не таким уж удачным. Удачи звучали в соседних комнатах, под пальцами других скрипачей. Может быть, зря стер канифоль и не загадал?..

Тамара Леонтьевна хотела, чтобы Андрей побыл один. Она знала, что теперь музыкант должен быть один. Поэтому сказала, что останется в гостинице, а Андрею предложила проехать в старую часть города, ту самую, которую он видел в проспекте, где завтра в концертном зале бывшего княжеского дворца будут происходить соревнования. Она хотела, чтобы Андрей после себя, после своей скрипки не слушал бы других. Не пытался слушать.

Андрей спустился в вестибюль. Там было много народу. Журналисты, репортеры. И опять ребята, сочувствующие и собиратели автографов. Он увидел Маделайн, она давала интервью. Ее фотографировали. Маделайн была естественной и непринужденной. К ее костюму, рядом со знаком, который выдавался участникам конкурса, была приколотта та самая роза, подаренная летчиком. Может быть, Маделайн рассказывала об этой розе корреспондентам, а может быть, отвечала на какие-нибудь подобные вопросы:

— English, Scottish, Irish or Welsh?

— English. My mother's English, too. But my father's Scottish.

— And your husband?

— My husband's Irish<sup>1</sup>.

Эти вопросы и ответы на них на английском языке были у Андрея в небольшом разговорнике «An interview»<sup>2</sup>, выданном ему в отеле.

Андрей хотел пройти через толпу. Знак участника конкурса он спрятал в карман. Но все равно журналисты и репортеры узнали его. В больших голубоватых линзах их фотоаппаратов Андрей увидел свое отображение, потом услышал, как мягко захлопнулись шторы затворов.

— Well! Fine!<sup>3</sup>

— Thank a lot!<sup>4</sup>

Вот она, массовая информация: газеты, радио, телевидение. И все это на высоком международном уровне.

Приятно, но и не очень приятно. Может быть, потому, что ты только претендент, но еще не победитель, и шансы у всех участников еще равны, и отношения у всех с «масками» одинаковые. Приятно, когда окружают только одного. Победителя. Когда он становится действительно нужным всем средствам информации. Он один. И говорит, что ему здесь понравилось, а что не понравилось. Он обладатель медали «Золотой Дубровник» — главного приза конкурса.

Около отеля был установлен стенд с портретами и краткими биографиями скрипачей, и в биографиях часто значилось: премия на конкурсе в Антверпене, почетный знак на конкурсе имени Жака Тибо, диплом в Хельсинки на конкурсе имени Яна Сибелиуса, лауреат фестиваля в Беркшире, в Аспене (в США).

Андрею захотелось вернуться к себе в номер. Он поднялся на этаж, быстро прошел по коридору, открыл дверь номера. Совсем тихо, осторожно. Тамара Леонтьевна жила рядом. Андрей не хотел, чтобы она услышала, что он вернулся. Не зажигая света, подошел к окну, нажал на рычаг и опустил деревянные наружные шторы. В комнате совсем стало темно. Не было видно даже отблесков луны. Древний город тоже был где-то в темноте. Таинственный и неизведанный. Андрей не хотел ничего сейчас видеть таинственного и неизведанного. Он боялся этого. Он хотел сохранить в себе все, что привез своего.

<sup>1</sup> — Вы англичанка, шотландка, ирландка или валийка?

— Англичанка. Моя мать тоже англичанка. Но мой отец шотландец.

— А ваш муж?

— Мой муж ирландец (англ.).

<sup>2</sup> «Интервью» (англ.).

<sup>3</sup> — Хорошо! Замечательно! (англ.).

<sup>4</sup> — Большое спасибо! (англ.)

Андрей тихо в темноте прилег на диван. Он боялся конкурса. Все удачи звучали сейчас только вокруг него, но не в нем самом. Он не был сейчас мастером.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Андрей играл четвертым.

На сцену разрешили выйти за три минуты до выступления. Ширма. Никого не видно. Маленький микрофон для контрольной звукозаписи. Кто-то из скрипачей назвал его «квакалкой», потому что неизвестно, что он может наквакать. Тамара Леонтьевна достала из сумки платок, осторожно провела по клавишам. Сделала это по привычке, или это у нее тоже стало приметой. Клавиши черного «Стейнвея» были, конечно, совершенно чистыми. Поставила ноты и сразу одним движением отогнула нижние концы страниц. Проверила, как будут листаться.

У Андрея в руках Страдивари, смычок. Андрей расстегивает пуговицы на манжетах рубашки: руки должны быть свободными, кисти. Расстегивает пуговичку на воротнике рубашки. Проверил, не скрипит ли под ногами пол.

Теперь три раза ля. Тамара Леонтьевна нажимает первый раз клавишу. Второй. Третий. Андрей подстраивается.

Прошло две минуты.

Все, что было вчера, это было вчера, а теперь все должно быть, что должно быть сегодня. Сейчас. Вот... Через минуту... Нет, меньше, чем через минуту. Скрипка на плече. Смычок нацелен на струну. Придет сейчас с первым движением быстро-та, четкость, точность игры. И отвага, и смелость, и элемент риска, и красота, и серьезность. Ну! Придет все это или не придет? Сумеет пробиться сквозь ширму к слушателям в зал? Чтобы одно дыхание с теми, кто по ту сторону ширмы? Дыхание неразделенное и неразделимое? Ну!

Тамара Леонтьевна поднимает руки над клавишами, смотрит на Андрея. Вчера ничего не начиналось, вчера еще было впереди сегодня, и можно было сомневаться в себе, и не сомневаться, и опять сомневаться. А теперь уже нет ничего впереди, никакого запаса времени. Он должен начать. Как в тяжелой атлетике: три минуты, и надо браться за штангу, толкнуть ее сильно и плавно, и стоять потом, держать над головой, пока судьи не засчитают вес, не скамандуют «даун» — опустить. Скрипка для Андрея — штанга, тяжелая, с рекордным весом. Тамара Леонтьевна нажимает на клавиши. Теперь это не ля, уже все началось.

Андрей касается смычком струны, сильно и плавно толкает скрипку — первый такт перед контрольным микрофоном.

Мы стояли на площади, и я сказала, что я его люблю. Но я не знала тогда, люблю я его или нет. И раньше, когда еще учились в школе, тоже не знала. Теперь знаю, что не люблю. Это окончательно. Нет, я его люблю, но не так, как сказала. Тогда, на площади, я должна была так сказать Андрею, чтобы он поверил и успокоился, и сумел подняться на ту ступеньку, на которую он может подняться как музыкант. На самую верхнюю, это его место, в высшей лиге, что ли. И я обязана была помочь ему. Но у меня часто не было сил не то что на других, но и на себя. Я не хотела с этим считаться. И не хочу! И не буду!

Я отвергала все легкое для себя. У нас в семье индустриальные традиции, но вместо мальчика родилась я, и еще в таком вот ослабленном качестве. Птицы в полете не смотрят назад, и я не хотела смотреть назад. Мне казалось, что, когда чувствовала себя хорошо, сил много. «Завтра — это только другое имя для сегодня», — индейцы говорят. Я не хотела застревать в себе, в одном и том же сегодня, которое было бы связано только с моим здоровьем. Хотела доказать себе и всем, чего я стою. Не родился сын, но зато родилась я. Это я отцу так говорила. Пыталась мне препятствовать мама, но я с ней быстро справилась. Может быть, даже обидела при этом. Мою маму надо очень хорошо знать, чтобы догадаться, что вы ее обидели: она не то чтобы вежливый человек, а мучительно застенчивый. Она резко выпадает из индустриальных традиций семьи. Инопланетянка. И выпадает прежде всего за счет характера, его своеобразия.

Такая у меня мама, но я совсем другая в отношении характера и всего прочего. Очевидно, я о себе говорю не очень понятно или не очень убедительно. А все потому, что сама для себя все-таки не очень понятная и убедительная. Я стремлюсь к тому, чтобы обнаружить себя настоящую в какой-то момент, найти последнее, подлинное измерение, которое до сих пор не нашла, — кем буду на самом деле? Чего хочу? Я! А не того, чего требуют от меня обстоятельства, которым подчиняюсь честно, охотно и абсолютно по собственной воле. Сама на себя их возложила.

Для многих я была настоящей такой, какой они меня видели, привыкли видеть. Для Андрея, например. Он не знал, что для меня что-то трудно, что не только я должна помогать другим, но и мне должны помогать другие. Почувствовали бы это, догадались бы, подчинили своей воле. И может быть, даже прогнали бы с завода. Не уговаривали, не убеждали, не советовали, а прогнали. Опять все очень путано, но иначе я ничего объяснить не в состоянии. Иногда мне кажется, что я рыжая машина, восемь тысяч вольт на обмотку... Не могу запуститься.

Никто не должен об этом знать, и прежде всего отец. Для меня это очень важно, чтобы он не узнал. Завод — это действительно, может быть, не мое, но я не имею права, чтобы это не было моим, если я решила всем доказать, что это мое. Андрей подозревает, что со мной что-то не так, и отсюда его постоянные вопросы. Мама тоже что-то чувствует, но вопросов не задает. Да, я люблю шлягеры — манекенщица, эстрадная певица, актриса кино, мастер спорта... И еще, и еще... Нет! Глупости болтаю, наговариваю на себя. Хочу кому-то подчиниться, вот и все! Как на свадьбе у Наташки. Что со мной тогда случилось? Бес вселился? А может, просто понравился этот парень? Как он держал меня за плечи, высокий, сильный, и смотрел мне в глаза, не отрываясь. И я уже знала, что он меня будет провожать, и я на это соглашусь. Пришла я к Наташке одна, без Андрея. Я, конечно, могла бы привести Андрея, но почему-то этого не сделала и не чувствовала вины. Когда расставались с тем парнем, тоже вины не чувствовала, хотя он меня так поцеловал, что я чуть не задохнулась. Мне было стыдно, но только потом, а не тогда. Глупости все, глупости. Было и прошло. А почему должно проходить, если только началось? Может быть, началось?

Андрей не сумеет стать таким человеком, чтобы помочь мне, не сможет, не догадается: в нем самом все незавершенное и неясное, он сам весь в колебаниях и хочет, чтобы его постоянно поддерживали, чтобы кто-то постоянно был сильнее его. И эта Чибис... Она не догадывалась, что они с Андреем не смогут быть вместе, потому что она тоже не была сильной, сама, а не у органа. Сильной тогда была не она, а музыка; это сила за чужой счет. Она добывала ее в музыке. Я ее не обвиняю, я ее понимаю. Она ведь музыкант, художник, и каждый из них должен быть творчески независимым. Я только по своей вредности иногда подшучивала над Чибисом, потому что во мне, кроме всего, еще много глупостей. И мне нравятся мои глупости, это мои цари. Если бы у меня был какой-нибудь талант, как бы для меня все было просто: все в себе оправдала бы талантом, все свои сегодня, завтра, послезавтра. Это Чибис даже не знает, какая она счастливая. Я могу только подражать. Внешне кажусь независимой, а я зависимая и хочу быть такой.

Я преклоняюсь перед «гроссами», и это ни для кого не новость. Они сильные по-настоящему. И независимые тоже по-настоящему. Мне всегда хотелось быть там, где были они. Я их всегда уважала, как все в классе. Мой отец их уважает. Когда он с ними разговаривает, он становится таким, как они, — третьим юным «гроссом»: забывает о возрасте, обо мне и о маме.

«Гроссы» еще в школе заявили, что их интересуют точные науки, потому что это всегда точная цель и кратчайшее рас-

стояние к ясности, предельно обоснованная во всем разумность. Человек начинается не там, где начинаются его желания, а где начинаются его усилия. «Гроссы» высчитали, сколько человек тратит времени на сон, на еду, в среднем на болезни и сколько остается полезного времени. Полезное время разделили на те занятия, которым они решили посвятить себя. Составили график жизни и первым в графике после школы обозначили завод. Это должно было считаться их первым серьезным усилием к ясности, к распознаванию мира, окружающей действительности. И они поступили на завод.

Теперь о Вите. Я ведь только болтала об отношении Вити ко мне. Он был самым безответным в классе, и я, конечно, этим злоупотребляла. Вот и все.

Когда я болела в последний раз, я пыталась читать Гегеля, Платона, Эпикура. Понравилось мне высказывание философа Фромма, что сам человек — самое важное творение и достижение непрерывности человеческих усилий, повествование о которых мы называем историей. Получается, что человека создают не инстинкты и их подавление, а живая история. Это Фромм, моему возражает Фрейд с его психоанализом, подсознанием. Читала я и молодого Маркса. Не представляла себе, что Маркс столько писал о любви — как один человек любит другого. А в одной из старых книг, где разбирались различные философские категории, я нашла рассуждение, которое может быть применено к Андрею: кто трудится, как трудятся честолюбцы, может и показаться типичным честолюбцем, но это сходство будет только внешним. Честолюбец — это отклонение от нормы. Тот же, кто трудится, чтобы дать полный исход творческой силе, — проявляет истинную природу человека, способен работать лучше и достигнуть более прочных результатов, чем честолюбец. Работа дает ему счастье. Но, поднимаясь по ступенькам к успеху, он сам нередко поддается честолюбию.

Что-то в этих словах есть такое, что относится именно к Андрею.

«Гроссы» тоже читают сейчас философов, потому что философы — это системы. Они тоже распознавали, раскручивали мир, искали кратчайшее расстояние к ясности.

Андрей никогда не был таким, как Иванчик и Сережа. Он тоже целеустремлен, у него программа. Он тоже знал, чего хотел. Но он боится борьбы, потому что в борьбе всегда есть победитель и побежденный. Он никогда не согласится быть побежденным, даже ради будущей своей победы. А его самого не всегда будет хватать на победу, потому что он слишком рационально ее хочет. А мне его жаль. Андрей очень талантлив, он большой музыкант.

Я сама сказала, что люблю его. Потому что его судьба в

какой-то мере зависела от этих моих слов. И я сказала эти слова. Не нарочно. Не обманула. Я тогда его любила. И когда задержала за плечи, и когда оглянулась, и когда он уже ушел... Но потом я его уже не любила. Но я знала об этом одна. Пока что. Андрей хотел, чтобы я была на аэродроме, мне его мать об этом сказала, позвонила по телефону. Андрей смотрел на стоянку, куда подъезжали такси из города. А я не могла, не могла приехать! И не потому, что была занята в институте или на заводе. Нет, не потому.

Я боялась, я уже не любила, и он мог бы догадаться об этом, если бы увидел меня. Мог понять, что у меня появился кто-то другой, что я люблю другого, хотя это еще и не ясно мне самой.

Вскоре позвонила мать Андрея и не только сказала, как Андрей смотрел через стеклянные стены аэровокзала на стоянку такси, но еще попросила послать телеграмму на борт самолета. Я не знала, что мне делать. А она знала, что ей надо делать. Она послала такую телеграмму... Добилась на аэродроме, чтобы передали по радиослужбе.

Я молчала, пораженная, а она вдруг еще сказала, что ей известно, что я любила ее сына; что я говорила ее сыну слова о любви. Она их и д е л а, эти слова, раньше. Она так и сказала — в и д е л а. На Андрее. И я поняла, что она говорит правду. Андрей такой, что на нем все видно, и эти мои слова были видны, конечно. Потом они перестали быть видны, и мать это заметила.

Тогда она решилась и отправила телеграмму.

Она просила у меня прощения. Она говорила и говорила, а я молчала. Я-то знаю, она думала прежде всего о своем сыне, несчастная одинокая женщина. И она готова ради сына, его успеха даже на преступление. А это было преступлением, жестоким по отношению ко мне и всем дальнейшим отношениям между мной и Андреем. Ей нужен был успех сына, его карьера. Этот успех, пусть короткий, должна была обеспечить я. Короткий потому, что Андрею потом все станет ясным, и он со своей неустойчивостью, со своим неумением терпеть поражения не потерпел бы поражения и в отношениях со мной. Телеграмма все это как-то усиливала, все дальнейшее, что должно было произойти в наших с Андреем отношениях. Не для меня — для него. Матери Андрея я могла только сказать, чтобы она меня извинила, что я сейчас не очень хорошо себя чувствую. Я на самом деле последние дни не очень хорошо себя чувствую, и как-то мне все труднее чувствовать себя хорошо. И я не хочу, чтобы было плохо — ни теперь и никогда! Я хочу любить, потому что я люблю! Так мне хочется думать, что люблю.

Врач в институте сказал, что я должна прекратить походы на

завод и, может быть, даже взять академический отпуск. Он говорит мне это совершенно серьезно. А что для меня теперь не совершенно серьезно?

## ЭПИЛОГ ВТОРОЙ КНИГИ

В «Советском музыканте» было опубликовано сообщение, что студент второго курса оркестрового факультета, струнного отделения Андрей Косарев на Международном конкурсе скрипачей в Дубровнике завоевал первое место и получил медаль «Золотой Дубровник». После конкурса Андрей Косарев отправился в концертное турне по Югославии и концертирует с большим успехом.

Ладя Брагин поступил в консерваторию. Получил две четверки по общеобразовательным предметам и высокую оценку по специальности. Приемная комиссия записала о нем в протокол особое мнение, поэтому Ладя и был зачислен в консерваторию, несмотря на две четверки. Валентин Янович Мигдал принял его к себе в класс. Кире Викторовне сказал, что он поздравляет ее с такими выпускниками, как Андрей Косарев и Владислав Брагин.

Дед написал Ганке, что он лично проводил Ладю до самых дверей консерватории. Причем он написал об этом раньше, чем сам Ладя успел это сделать.

Франсуаза разговаривает по-русски, не выделяет больше последних букв в словах. Даже «акает», как настоящая москвичка. Вечерами пропадает во Дворце спорта. Смотрит хоккей. Ее любимая команда «Спартак». Во время хоккея кричит: «Профсоюзы, вперед!»

Маша Воложинская вытянулась, и теперь она выше Деда.

«Оловянных солдатиков» уже не существует, а есть Игорь Петрунин и Гриша Москалец.

Оля Гончарова выступает с оркестром старинной музыки в Сибири и на Дальнем Востоке. Уже полтора месяца. Скоро должна вернуться в Москву.

## Книга третья

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ладя нашел Санди в учебном манеже. Она работала на трапеции. На Санди был надет страховочный пояс. От пояса шла веревка. Свободный конец веревки держал преподаватель по воздушной гимнастике.

Санди резко раскачивалась на трапеции, гибкая и стремительная, в стареньком тренировочном костюме и в мягких на шнуровке тапочках. Все преподаватели и даже сам директор ГУЦЭИ ходят в таких тапочках.

В учебном манеже еще занимались жонглеры. На брусьях делали кувырки маленькие девочки, по-лягушачьи смешно растопыривая ноги. На свободной проволоке работал мальчик, разминался. Он был сосредоточен и абсолютно невозмутим. В коридорах, вокруг манежа, в классах шли занятия по общеобразовательным предметам, и Ладя видел, как тень трапеции раскачивалась на стенах коридоров и на дверях классов. Рядом с Ладей на галерее, которая шла вокруг манежа, на длинном столе девочки постарше гладили платья, в которые они переоденутся после занятий в манеже. Около гладильной доски стоял мальчик на голове. Мимо прошел по виду первоклассник, лихо крутил на одном пальце портфель. У кого-то забинтованы ладони — будет работать на перекладине. С соседнего квадратного манежа доносились звуки маленьких гармоник и клавишных колокольчиков: репетировали музыкальные эксцентрики. Слышен был голос режиссера-инспектора:

— Свет — на ведущего. Белую пушку!

Все, что происходило вокруг, было хорошо Ладе знакомо. В цирке-шапито с утра на манеже лежал такой же вот вытоптанный, весь в заплатках тренировочный ковер, на нем — ящички с магнизией. На барьере был разложен реквизит. Кто отработал, сидел на барьере и отдыхал. Сидеть надо было лицом к центру манежа, но не спиной. Спиной к центру манежа сидеть нельзя: неуважение к работающим артистам, пускай и на репетиции. Занимались до четырех. Потом обед. А потом тишина — весь цирк спит, отдыхает до начала представления. В семьях артистов об этом знают даже совсем маленькие дети, и они никогда не кричат и не бегают. Униформисты заряжают манеж свежими опилками, стелют новый парадный ковер, делают вокруг ковра из цветных опилок красивый орнамент, покрывают свежей материей барьер, проверяют пушки, занавес. Скоро вечер, скоро

представление, и все должно быть ярким, веселым. Цирк необходим в нашей жизни, как зеленая ветка за окном. Совсем недавно у Санди на обложке зачетки появилась новая запись, которую сделал ей лично Марсель Марсо, когда побывал в гостях в училище и посмотрел номера Санди. Марсель Марсо написал, что от всего сердца и с радостью он готов видеть все снова... всегда... вперед...

Санди раскачивалась на трапеции, осваивала новый клоунский трюк. Всегда.. вперед... Она летала над манежем и тенью летала на стенах и дверях классов.

— Ноги через кач,— командовал преподаватель.— Колени туго, сильный мах, теперь закидочку и спад с трапеции!

Санди видела Ладю на балконе и улыбалась ему. Ладя боялся за нее, хотя и понимал, что работает она на страховочном поясе. Санди подлетела к нему теперь почти совсем близко и улыбалась, но руки ее были напряжены.

— Еще закидочку!

Санди легко закинула ноги вверх и вышла на трапецию на прямые руки. «Откуда столько силы в ее руках? — подумал Ладя.— Раскачивается, как на детских качелях!»

Санди прыгнула с трапеции, сняла страховочный пояс и побежала по лестнице к Ладе на галерею.

— Здравствуй, униформа.

— Ты молодец,— сказал Ладья.— А где Арчибалд?

— Сдала в химчистку. Покажи студик.

Ладья полез в карман куртки за студенческим билетом.

Совсем недавно Санди и Ладя вместе были в консерватории на торжественном открытии нового учебного года. Собрались все вновь поступившие и все преподаватели и профессора. С речью к присутствующим обратился ректор консерватории профессор Свешников. Высокий, в черном костюме, в больших очках, гладко причесанные седые волосы. Он сказал о призвании музыканта. И еще он сказал, что в Калининграде на стене разбитого костела времен Бетховена сохранились солнечные часы. Они идут много десятилетий, шли всю Отечественную войну. Над часами написано изречение: «Des Menschen enge ist die Zeit», и перевел: «Людам не хватает времени».

— Надо, чтобы вам,— сказал Свешников,— хватило времени стать музыкантами. Чтобы трудное в своей работе вы сумели бы сделать привычным, привычное — легким, а легкое — прекрасным!

Санди раскрыла студенческий билет.

— «Дважды ордена Ленина Государственная консерватория, студент первого курса»,— прочитала Санди, потом сказала: — Звучит!

— А влюбился он в девчонку-скомороха,— сказал Ладья и сам как-то растерялся. Он давно готовился сказать Санди, что он ее любит, но не так и не здесь. И не шутливо, а серьезно сказать.

Санди стояла перед ним в тренировочном костюме с белыми пятнами магнезии, с забинтованными ладонями, как у тех, кто занимается на перекладине, и даже она, Санди, растерялась от его слов, сказанных таким неожиданным способом.

— Ты не обиделась? — с испугом спросил Ладя.

С соседнего квадратного манежа все еще раздавались голоса:

— Освети пушкой лицо ведущего! Выходите на свой фрагмент.

— Ты не обиделась? — опять спросил Ладя.

— Мержанова! — позвал преподаватель. — Занятия не окончились.

Санди повернулась и быстро сбежала по ступенькам на манеж и снова начала занятия на трапедии, снова она начала подлетать к Ладе совсем близко. Она улыбалась ему, как и прежде, и, как и прежде, были напряжены ее руки, а щеки были белыми от магнезии.

После занятий Ладя ждал, пока она принимала душ и переодевалась. Мучительно повторял заготовленные для Санди слова. Они настоящие и необходимые, но он вдруг почувствовал, что не сумеет сейчас их сказать, именно вот такие. А ему захочется сказать ей хотя бы о том, что в консерватории висит объявление, что все вновь принятые отправляются на день на работу на овощную базу, и называется это «Овощной день консерватории». Вот с чего начинается его консерваторская музыкальная карьера!

Санди, конечно, засмеется, потому что действительно смешно, а он ей скажет:

«Как приятно, что вы смеетесь!»

А она скажет:

«Ты сердисься?»

А он ей скажет:

«Да нет же, право, что вы! Мне нравится, когда вы смеетесь».

Ему все нравится, что делает Санди. Как хорошо, что она есть, что она существует. И Арчибальд. Они должны быть все трое вместе. Он сочинит песню и сыграет ее на скрипке. Он умеет играть на скрипке. Жить они будут долго, до ста лет. Никогда не будут разлучаться. Не будут обижать друг друга. И они... Опять все так, опять слова. Не надо больше никаких слов вообще, без них как-нибудь. В консерватории студенты-теоретики на тему «любовь» составили из многих популярных романсов один общий сводный романс для сдачи зачета по

вокальной литературе, по принципу «универсам» — универсальный магазин, «универсар» — универсальный романс.

Да, не надо больше слов, окончательно решил Ладя. Не то получится с ним нечто такое, как в этом «универсаре». Лучше он просто скажет ей: «Сандик!» Он никогда еще так ее не называл. И она сразу все поймет. Санди. Сандик!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В Бобринцах, под окном школы, как всегда, сидели старики, и среди них Яким Опанасович. Они слушали, как Ганка занималась со своими учениками, и обсуждали попутно всякие события в масштабе земной кули<sup>1</sup>.

Яким Опанасович курил сигару, гавану. Ладья прислал по почте. Курил ее уже несколько дней с перерывами.

Местные собаки были потрясены распространяемым сигарой запахом. Они его сразу учуивали, где бы Яким Опанасович сигару ни закурил, стояли поодаль и строили недовольные рожи.

— Демонстрируют бескультурье,— говорил о собаках Яким Опанасович.

Ганка закончила занятия с учениками, отпустила их домой. Теперь она часто оставалась в пустом классе одна. Ей не было грустно, но было и невесело. Она не понимала, как ей было на самом деле, и Ганку это смущало, беспокоило, потому что она всегда все знала о себе до конца.

Вдоль окна вились дымки самосада. Среди дымок выделялся могучий дым сигары. Каждый раз Яким Опанасович заводил беседу о колодце, о цементных кольцах, которые заказал для колодца; их уже отливают где-то на комбинате, о том, что копать колодец надо в плаще-серяке, чтобы было так, как говорят: «Мыло серо, да моет бело», и тогда будет обеспечена светлая чистая вода, стихийная жидкость из далёких глубин, недр земли. Болтливый старик все придумывает и говорит это громко, чтобы слышала Ганка, чтобы она знала, что он не сомневается — Ладья скоро приедет в Бобринцы на какие-нибудь каникулы или в фольклорную экспедицию, записывать народные песни. Ладья еще вернется сюда, к своим друзьям. Но Ганка сомневалась, что Ладя вернется. Яким Опанасович — это такой же Дон-Кихот, как и старая мельница.

А Яким Опанасович говорил о том, о чем он точно знал, будто по радио слышал; говорил громко, чтобы все могли принять участие в разговоре и не сомневались бы в скорой встрече с Ладькой и его скрипкой. Воодушевлялся, размахивал сигарой.

<sup>1</sup> Земного шара (укр.).

Ганка ненавидела его в этот момент — пустой старик. Не минуемая традиция каждого села. Не работают толком и дома не сидят, лепятся к чужой жизни и судачат, как бабы.

Поодаль стояли собаки.

— Имеете ли вы понятие о темных очках? Чтоб на сонце дивиться? — спрашивал у собак Яким Опанасович.

Собаки отмалчивались и продолжали строить рожи, демонстрировать бескультурье.

— Сигарой кубинской вы, значит, брезгуете. Вам бы сметаной да смальцем закусывать, по селу дурнями скакать. И діла нема. Вот яка з вами полеміка.

Ганка опять улыбулась, слушая разговор деда с собаками. Самое удивительное, вдруг подумала, что Яким Опанасович может оказаться правым и Ладя приедет. Он ведь такой, его не угадаешь. Но с кем он приедет? И будет ли Ганке от этого хорошо? Он может приехать не к ней, а к Якому Опанасовичу или просто в Бобринцы. Пусть его приезжает! Она вдруг начала ненавидеть Ладьку так же, как только что перед этим ненавидела Якима Опанасовича. Пусть приезжает, и будет все ясным до конца. Иначе она перестанет себя уважать! А чего ей нужно знать до конца? Чего она не знает? Все знает, только притворяется, демонстрирует свою глупость.

Вот что, в последний раз она осталась в классе и сидит одна. Завтра с Якимом Опанасовичем начнет копать колодец до самых недр земли. И никаких больше рассуждений о личной жизни.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рита почувствовала себя плохо. Началось это, как всегда, с того, что закружилась голова и сердце совсем неудобно повернулось. Рита приучила себя не пугаться, надо глубоко и спокойно вздохнуть и прикрыть глаза, чтобы перестала кружиться голова. Постараться сесть или, если негде сесть, к чему-нибудь прислониться и постоять так, с закрытыми глазами. Спокойно и глубоко дышать, стараться так дышать.

Надо еще снять с плеча сумку; в ней учебники, она тяжело давит на плечо. Тем более что сумка на левом плече.

Рита была в магазине, зашла подобрать пуговицы к платью. Платье она недавно придумала — из полотна, с накладными карманами на юбке, карманы на заклепочках. Заклепочки ей поставил часовой мастер. Теперь нужны были пуговицы.

Рита едва смогла подойти к стулу и ухватиться за него.

Только что этот стул вынесла уборщица, и ведро, и палку с губкой на конце, прищелкнутой металлической рамкой. Собирались протирать витрину в магазине.

Рита стояла, держалась за стул. Не сейчас! Не теперь! И никогда!.. Спокойно и глубоко дышать, глаза прикрыты, все силы на помощь себе, своему дыханию, своей воле...

Сумку Рита почти уронила на пол. Это последнее движение, которое она помнила, и звук последний, который она слышала: мягкий удар сумки об пол. Она умерла.

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Этого никто не мог сразу сказать Андрею, когда он вернулся из Югославии. Никто. Даже его мать, которая понимала, что теперь Андрей будет принадлежать только ей, и надолго, и может быть, очень надолго. Но сказать о Рите она не могла.

На аэродроме Андрей ждал. Он не понимал, почему Риты нет. Медаль «Дубровник» принадлежит ей. Он выиграл медаль для нее, и он хотел ей первой положить ее на ладонь. «Мастер, ты, кажется, победил?» — скажет она, и поднимет голову, и посмотрит на него. «Я чемпион Европы, — скажет он. — В наилегчайшем весе». Но на аэродроме Риты не было. Все кого-то встречали и кого-то провожали, но ее не было. Она его и не проводила и не встретила.

Андрей с матерью приехал домой с аэродрома уже к вечеру. Когда вошли в квартиру, мать взглянула на Петра Петровича: она как будто хотела задержать его, а Петр Петрович стремился поскорее уйти с ее глаз, исчезнуть. Он был сегодня опять подвыпившим — это мать Андрея купила ему водки. Женщина, которая бывала у Петра Петровича, ушла теперь от него. Ей, очевидно, все это надоело, и Петр Петрович остался один со своими воспоминаниями о довоенном Смоленске, о маленькой девочке, которая в телефон говорила: «Это не «аллэ», а это Катя». И еще она всегда спрашивала: «Каво эта кошка?», когда встречала на улице кошку. А потом Петр Петрович видел, как его жена и маленькая Катя где-то совсем тоже одни. Иногда ему казалось, что это поле, иногда — лес, иногда это был город, совсем незнакомый, весь черного цвета. В нем не горело ни одно окно, и Петр Петрович тогда зажигал в квартире свет. Повсюду. Мать Андрея сердилась, кричала на него, но он ходил и зажигал.

Андрей был в комнате. Он не хотел никого видеть, потому что ничего не понимал. Андрей привез в себе радость, силу, победу. Он привез в своей сумке маршалский жезл! И привез его Рите!.. Почему никого нет? Мать заглядывает ему в глаза и будто сама ждет чего-то от него.

А теперь опять крик, в квартире. Опять все, как всегда.



Не было Югославии, не было победы. Ничего не было! В конце концов, прекратят они этот крик?

Андрей вошел в кухню. Мать и Петр Петрович стояли в противоположных концах кухни. Оба сразу замолчали, когда появился Андрей. Потом мать сказала:

— Вы обещали мне,— и быстро вышла из кухни.

Петр Петрович опустил плечи, его коротенькие руки повисли безвольно, покорно. Он убрал их за спину, потом снова вытащил из-за спины. И они снова повисли.

— Я сегодня выпил,— сказал Петр Петрович.

— Я вижу,— сказал Андрей и повернулся, чтобы уйти.

— Погоди.

Андрей задержался и посмотрел на Петра Петровича с недоумением:

— Я должен позвонить.

В глазах Петра Петровича, ставших совершенно трезвыми, был испуг.

— Тебе это... не надо звонить,— сказал Петр Петрович.

Андрей продолжал с недоумением смотреть на соседа.

— Совсем. И ждать, как и мне, не надо.— Петр Петрович отвернулся и потом говорил, уже не глядя на Андрея.

Андрей вышел из кухни. Потом он вышел из квартиры. Потом он вышел из дому.

Мать стояла в ярком окне и смотрела, как он шел по улице. Звонил телефон, но она не брала трубку. Она вдруг поняла, что сын уходит от нее. Он знал, что она стоит в окне, но даже не оглянулся.

Андрей вспомнил — слепые музыканты... Андрей услышал их скрипки. В детстве ему казалось, что он навсегда избавился от этих музыкантов, но они находят его опять и опять.

Андрей сдвинул ладонями голову, так что от боли заломило в висках. Закрыв глаза. И стоял так. Один. Они играли теперь Рите, а он совершал победную концертную поездку. Когда он получал медаль «Золотой Дубровник», Риты уже не было.

Андрей опустил руки, и руки повисли безвольно и покорно. Он стоял сейчас так, как перед ним только что стоял Петр Петрович. Он стоял один в темном городе. Город был ему незнаком, черного цвета, и не горело ни одно окно.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Рассвело, и сделалась ненужной лампочка, которую мать оставила гореть в люстре.

Мать думала о сыне: Андрей и прежде не бывал с ней откровенным, но она чувствовала, он все-таки рядом, он ее сын, она

могла оказывать на него даже влияние, могла вмешиваться в его дела. Так было, пока все не случилось с Ритой. Но кто в этом виноват, что так случилось? Кто? И зачем искать виновных?

Свет лампочки побледнел и растворился в наступившем утре.

Мать лежала тихо, не двигаясь. Думала теперь о себе, и все беспощаднее. Андрей ушел не вчера, он давно ушел, она только не заметила или не хотела замечать, обманывала себя. Надеясь, он будет с ней, потому что ее сын, в чем-то ее собственность.

Мать наконец встала, надела халат, комнатные туфли, выключила лампочку в люстре. Подошла к окну.

Она любила стоять у окна. Привычка. Андрей тоже любил стоять у окна, она замечала это за ним. В сущности, он похож на нее: он не может добиваться всего, чего хочет, и сам мешает себе в этом, так же как и она мешала себе в собственной жизни. Отец Андрея не любил ее, но она все-таки вышла за него замуж. Лучше ей от этого не стало, и никому не стало лучше. Наверное по этой причине она и сын одиноки: не получилось у нее в жизни, не получается и у сына. По сути, она добивалась для сына того же, чего добивалась когда-то для себя: Андрея не любили, а она хотела, чтобы любили.

Днем позвонила аккомпаниатор Тамара Леонтьевна, спросила, почему Андрей не является на занятия к профессору. Мать ответила, что она не знает. Вскоре снова раздался звонок из деканата: почему Андрей не пришел на лекции? Мать ответила, что она не знает, но что вообще ее сын плохо себя чувствует.

Через три дня позвонила Кира Викторовна, и только ей мать рассказала, что Андрей ушел из дому. Кира Викторовна самый близкий им человек, и мать ей верит. О смерти Риты Кира Викторовна уже знала.

Кира Викторовна поехала в деканат и на кафедру к профессору Мигдалу. Ладя поехал к «гроссам» на завод. Может быть, они знают что-нибудь об Андрее? Вчера они тоже ничего не знали. Иванчик и Сережа приходили в студенческий клуб общепития на Малой Грузинской. Они искали Андрея.

Говорить о том, что недавно случилось, никто не мог. Все было еще слишком близким и поэтому как бы неправдоподобным. И нельзя было об этом говорить сейчас — ни у кого не хватало смелости.

Ладя предложил Иванчику и Сереже остаться на студенческий вечер. Они остались.

После вечера Ладя, Санди и «гроссы» шли вместе до остановки метро «Краснопресненская». Ладя был благодарен Санди: она занимала Иванчика и Сережу разговором о цирке, о Марселе Марсо, как он в Лиможе был художником по росписи



эмали, рассказывала о театре канатных плясунов, потом вскинула руки и продекламировала из самодеятельной оперы «Приключения Ферматы», которую они только что слушали на студенческом вечере:

— «Я влюблена в большого синего тритона, тритон в меня влюблен. Он ростом будет все сто девяносто, в очках и в шляпе ходит он!»

Казалось, что Санди делала все так же, как и студентка консерватории, которая выступала в опере, но у Санди получалось гораздо смешнее. Показывая тритона — все сто девяносто, — она высоко подпрыгнула и поджала, то ли от ужаса, то ли от восторга, ноги. И еще тоненько пискнула. А потом пошла своей обычной спокойной походкой, как будто ничего и не было, никаких тритонов. Ну, Санди, ну, девчонка!

Вдруг остановилась, совершенно серьезно сказала Иванчику и Сереже, что приглашает их на свадьбу, которая произойдет через три недели; свадьба ее и этого молодого человека — Санди показала на Ладю.

Иванчик взял у Санди руку и поцеловал. То же самое проделал и Сережа.

Санди взглянула на них. Она знала, как себя вести в подобных ситуациях: основы сценического движения, недавно сдавала зачет по этому предмету. Автор учебника — И. Э. Кох. Ладя не без удовольствия разыгрывал какую-нибудь из глав учебника, тем более он рекомендует и для консерватории тоже. «Хороший тон в визите» (гость последовательно передает прислуге трость, головной убор, пальто или шубу, кашне и в последнюю очередь снимает перчатки), «Школа обращения с цилиндром» (исходное положение — цилиндр на голове), «Обязанности и поведение домашней прислуги в XVII черточка XIX веках» (построение — шеренгами).

— Да, господа, конечно, — сказала Санди, демонстрируя «пластику русской барышни». — Это будут приключения мои и его. Кстати, кто такая Фермата?

— Фермата — это значит остановка, пауза, — сказал Ладя.

— Не понимаю.

— Знак в нотах, который обозначает, что нота или пауза должна длиться больше нормального времени.

— Все хорошее должно длиться очень долго, — сказала Санди.

— Только надо знать, что хорошее, а что плохое, — сказал Сережа. — Постоянство величин. Иногда жизнь теряет устойчивость и разумность.

— Да, — сказала Санди.

— Теория относительности, — сказал Сережа, — в ее полной относительности.

— Это верно, — кивнула Санди. Она сделалась очень серьезной.

Казалось, вот-вот они заговорят об Андрее и о Рите. Санди видела Андрея всего один раз — и то издали, но подробно знала о нем от Лади. Давно. Еще тогда, когда Ладя работал в цирке-шапито. Они поспорили — какая разница между другом детства и одноклассником. Санди считала, что все одноклассники постепенно становятся друзьями детства. Ладя рассказывал об Андрее Косарева как о своем однокласснике и объяснил, что не знает, станут ли они друзьями детства. Санди не понимала, почему это невозможно. Ладя показал на скрипку, которая лежала на борту манежа. Ладя только что играл, а Санди слушала.

— А что, он тоже хорошо играет? — спросила Санди.

— Да, — сказал Ладя. — Он всегда хорошо играл.

— Покажи, как он играет! — воскликнула Санди. — Я зажгу пушку.

Она сбегала наверх, зажгла пушку, направила ее сильный луч на Ладю. А Ладья стоял и думал, как бы Андрей играл, если бы оказался в цирке на арене и стоял бы на стареньком тренировочном ковре, засыпанном опилками, которые наносили на тапочках гимнасты.

Ладья попробует сыграть так, как играет Андрей, и в этом ему поможет Санди. Она вернулась и села на один из цветных бочонков, с которыми работают антиподы, подобрала колени, положила на них руки и смотрела на Ладю. Он будет играть ей очень серьезно, не так, как только что играл, баловался. Но тут вдруг кто-то погасил пушку, весело крикнул: «Представление окончено!» — и быстро убежал.

— Когда-нибудь я послушаю твоего Андрея, — сказала Санди.

Около входа в «Краснопресненское» метро «гроссы» попрощались с Ладей и Санди: им дальше на метро.

Ладя и Санди доехали до Никитских ворот, до знакомой Ладе с детства остановки «Музыкант», перешли на другой конец площади к Суворовскому бульвару и пересели на пятнадцатый троллейбус до Трубной площади.

Через скамейку впереди сидели двое ребят, о чем-то спорили. Потом один повернулся к Санди и Ладе: Другой пытался его успокоить.

— Да не знают они. Откуда им знать?

— Вы спортом увлекаетесь? — спросил Ладю тот, который повернулся.

— Увлекаемся, — сказал Ладя.

— Каким видом?

— Автомобилями.

— Это не вид спорта.  
 — А что же это, по-вашему?  
 — Транспорт.  
 — Транспорт вот,— сказал Ладья.— Троллейбус. А что вы знаете о «Циклопе» Арфонса? О Крэгэ Бридлове и его «Зеленом чудовище»?

— Он сам недавно гонял на «Тутмосе»,— сказала Санди.— Реактивный катамаран.

— Катамаран — это лодка с балансиrom,— серьезно сказал Ладья.

— Прости, пожалуйста. Я забыла.

— Я вас прощаю,— сказал Ладья Санди.

— Поговорите с ним, и все выяснится. «Тутмос», сверхзвуковой автомобиль — герметическая кабина, стабилизаторы, двадцать тысяч лошадиных сил. Монстр.

— Она шутит,— сказал Ладья.— Она клоун.

— Сам клоун,— сказали ребята и отвернулись.

Санди громко засмеялась.

Они проехали вдоль бульвара. На Трубной площади вышли и отправились в сторону кинотеатра «Форум». Здесь, в новых домах, жила Санди. Была середина октября, и было еще тепло. Лежали сухие листья. Они напомнили Ладе виноградник в Ялте. Только были совершенно темными, ночными и уже старыми, пересохшими. Листья лежали на всех московских бульварах.

Санди шла рядом, молчала. Потом спросила:

— Я тебе нравилась уже тогда, капельку хотя бы?

— В Ялте?

— Как ты догадался, что в Ялте?

— Не знаю. Почувствовал.

Санди взяла его под руку, слегка подпрыгнула, чтобы попать с ним в шаг.

— Ты мне еще раньше понравилась. Капельку,— сказал Ладья.

— Не сочиняй. Тебе понравился трейлер.

— Может быть, но только в какой-то степени, меньше капельки.

— Хочешь, я еще что-нибудь исполню из «Ферматы»?

— Мне надоел синий тритон.

— Ты хитрый.

— Я сама простота, верю всем твоим фокусам. Я один. Во всем мире.

— Ладья!

— Да?

— Ты очень хороший человек.

— Потому что верю твоим фокусам?

— Потому что любишь меня.

— Тебе правда от этого хорошо?

— Мне даже мама сказала, что я теперь очень серьезная, и в училище сказали. Пригласили в комитет комсомола и сказали, что я теряю жанровое лицо. А ты это замечаешь?

— Санди, ты что-то задумала?

— Я задумала полюбить тебя надолго.— Она высвободила свою руку и остановилась. Свет уличного фонаря падал ей на лицо и сделал ее бледной, как будто бы она снова испачкала лицо магнезией.

— Сандик, ты что? — испугался Ладья.

— Я хочу, чтобы ты поверил, что все это серьезно. Так серьезно...

— Я верю, Сандик.— Ладья никогда не видел Санди такой и растерялся.

Санди прислонилась к уличному фонарю, положила ладони на щеки, как это часто делала, и стояла — маленький грустный Пьеро. Ладья подумал, что вот только сейчас он смог бы сыграть на скрипке так, как играл Андрей, потому что он бы сейчас играл о своей собственной, удивительной, первой, а потому и навсегда единственной любви. Эта новая сила, которую Ладья не испытывал еще ни разу так глубоко, даже к памяти своей матери, и эту силу ему подарила Санди. А сама она стоит под фонарем, держит лицо в ладонях и не верит, как она будет ему нужна в каждую, даже самую маленькую единицу времени его жизни.

— Санди,— сказал Ладья.— Ты меня слышишь?

— Я тебя даже вижу,— сказала Санди и опустила руки. И вдруг пуговицы на ее пальто засветились огоньками, четыре маленькие звездочки.

Ладья растерянно уставился на эти звездочки.

— Не пугайся,— сказала Санди.— Лампочки, а батарейки в карманах. Теперь я должна открывать тебе мои секреты, и ты будешь знать их один во всем мире.

Мимо прошли девушки, с удивлением взглянули на пуговицы Санди. Долго оглядывались. Напротив на тротуаре застыла девочка в белых пластиковых сапожках и в красной кепочке из вельвета и смотрела. Около нее остановилось несколько прохожих.

— Завтра во всем городе будут гореть пуговицы,— сказал Ладья, взял Санди под руку, и они пошли.

— Ты должен его найти,— вдруг сказала Санди.

— Андрей? Почему ты об этом заговорила?

— Я об этом думала.

— Я тоже,— сказал Ладья.

— Может быть, он уже твой друг детства, а не просто одноклассник?

— Может быть,— сказал Ладя.  
— Ты знал ту девочку?  
— Видел.  
— Говорят, она была очень красивая.  
— Это правда.  
— Что случилось, что она так вот... неожиданно...—  
Санди не договорила.

— Больное сердце, Кира Викторовна сказала.  
— А что такое в музыке кон брио? Ты мне говорил.  
— Ярко, как пламя. Почему ты спросила?  
— Подумала об этой девочке.  
— Кон сэнтимэнто — нежно. Пэзантэ — как будто идешь с грузом.

— С каким грузом?  
— В музыке.  
— Скажи что-нибудь еще.  
— Что сказать?  
— Что хочешь. Но теперь без музыки.  
— Издеваешься?  
— Мужчина никогда прежде сам не брал девушку под руку.— Санди выпустила его руку и отошла в сторону.— После того как мужчина предлагал девушке свою руку, она делала небольшой шаг к нему, поворачивалась левым боком и накладывала пальцы левой руки на обшлаг его мундира.— Санди все это проделала.

— Издеваешься, да? — Ладя сказал это с интонацией актрисы Мироновой.

— Парное упражнение. И я радуюсь, а не издеваюсь,— жизни, людям, тебе и мне! Кон сэнтимэнто.

— А что такое радость? — спросил Ладя.— Ты знаешь?  
— Знаю.  
— Нет, вообще.  
— И вообще и в частности. У меня внутри начинают бегать и лопаться пузырьки, как в открытой бутылке нарзана. И я все могу, все получается смешно.

— А сейчас?  
— Что?  
— Где пузырьки?  
— Ах, тебе мало за сегодняшний день! — Санди вдруг сняла свою шапку, связанную из мохера, и приставила ее к подбородку, как бороду. Вырвала из шапки несколько шерстинок и прицепила над губой, как тонкие усы.

Ладья даже икнул с испугу: это не была сейчас Санди, его невеста, это было семнадцатое столетие — «Мужская осанка и походка». Ладья смеялся, икал и опять смеялся. Санди церемонно раскланялась и сказала:

— Мы принимаем по четвергам. Моя дочь будет рада вас видеть. Между прочим, с носовым платком следует обращаться в двадцатом столетии совершенно так же, как и во всех предыдущих столетиях.

Когда Ладья перестал смеяться, Санди не было. В переулке было пусто, горели фонари и шуршали листья. А Ладья держал в руках носовой платок, который он вынул из кармана, и так и не знал, как с ним обращаться.

Ладе открыла двери тетя Лиза. Она еще не спала, смотрела передачу по телевизору.

— Кинопанорама,— сказала тетя Лиза.— Ужин собрала тебе. Варенье еще имеется, стоит в буфете.

Ладья поглядел на себя в зеркало. Дождался, когда тетя Лиза уселась к телевизору смотреть «Кинопанораму», взял с полочки ее старую шерстяную шапку. Приставил к подбородку. Не смешно. Ничего не смешно, когда нет Санди Ладя положил шапку. А ведь был в России известный итальянский скрипач Мира́ шутот. При царице Анне Иоанновне. Его шутовской титул гласил: «Претендент на самоедское королевство, олений вице-губернатор, тотчасский комендант Гохланда, экспектант зодиакального Козерога, русский первый дурак... известный скрипач и славный трус ордена св. Бенедикта».

Санди это специально откуда-то выписала для Лади. Даже сделала рисунок Мира́ — толстый человек, необычайно кучерявый, держит смычок, а к концу смычка привязан бубенчик.

Ладя прошел к себе в комнату. Есть ему не хотелось. Он зажег настольную лампу. На стене засветились клинки мечей, щит, большая кольчуга. Брат нашел все это в Казанском Поволжье, где он копает сейчас «Древнюю Русь». Мечи он травит специальным составом, и тогда на них проступает клеймо мастера или княжеские знаки. Так считает брат. Он водил Ладию в Третьяковскую галерею, чтобы Ладя внимательно посмотрел древнюю икону Дмитрия Солунского. Святой держит на коленях полуобнаженный меч, и, если присмотреться повнимательнее, на клинке можно различить стертые временем римскую двойку и два соединенных концами полумесяца. Знаки сходны с меткой на спинке трона Дмитрия Солунского на той же иконе. Брат доказывал, что это знаки князя Всеволода Большое Гнездо. Это же доказывал и один академик.

Ладья любил эти клинки. Походы, битвы, великие князья; варяги, печенег, татары, поляне, древляне. И кто там еще.

Скоро приедет брат и сдаст все в музей.

Ладья ударил по щиту, и он зазвенел глухо и тревожно, будто в него попала стрела.

Когда Ладья сдавал вступительный экзамен по специаль-

ности, играл перед приемной комиссией и профессором Мигдалом, Андрея в консерватории не было: он готовился в дорогу в Югославию. Был конкурсантом международного конкурса. Ладя был абитуриентом. Всего лишь. Дистанция. Если чисто формально. А творчески? Что Ладя показал Мигдалу? Как он ему тогда играл и всей комиссии? Он только видел, как Валентин Янович прикрыл ладонью левое ухо. Валентин Янович не смотрел на Ладю, а Ладя смотрел на него, и не потому, что самые важные слова в комиссии принадлежали Валентину Яновичу — знаменитому профессору, а просто Ладя был взволнован, что его слушает именно скрипач, а не профессор. Ладья не думал о том, как бы не заболтать пассаж, или что вдруг смычок потеряет устойчивость, или неясными будут акценты; он не показывал себя, а рассказывал о себе.

Последнее время Ладья играл без подушечки и мостика, скрипку держал на плече естественно. Смычок натягивал незначительно, чтобы ощущать вес руки. Таким ненапрянутым, слабым смычком играл Сарасате. Но Ладья не думал в тот день: ослаблен ли у него смычок, как у Сарасате, или, наоборот, натянут, как у Крейсера. Он рассказывал на скрипке о себе все, что с ним было, — свое детство и все, что было потом, — хотя играл он Моцарта, отрывок из концерта Хачатуряна и Равеля «Цыганку».

Скрипка лежала просто на плече, и Ладя чувствовал дыхание верхней и нижней дек, дыхание смычка и свою с ним слитность. Ладя целиком принадлежал своей интуиции, слухом направлял каждый звук и все движения. Он стремился воссоздать, а не удачно разместить готовые музыкальные детали; он не хотел, чтобы смелость уступила место погоне за безопасностью. Он не хотел безопасности, он хотел в тот момент музыки для себя и для этого скрипача, который слушал его, прикрыв левое ухо, и едва заметно шевелил тяжелой головой.

Когда Ладья кончил играть, в аудитории была тишина, никто не сделал никакого движения. Профессор так и продолжал держать закрытым левое ухо.

Ладья вышел.

На следующий день Кира Викторовна под секретом сказала Ладе, какую запись сделал в протоколе лично Валентин Янович: «Исключительная индивидуальная приспособленность к инструменту».

— А еще, — добавила Кира Викторовна, — в разговоре со мной он сказал, что постарается привязать тебя к струнам навсегда! Понял, мой милый?

Ладья следил, что писала консерваторская газета об Андрее, о его выступлениях в Югославии, думал, каким Андрей вернется с конкурса, что в нем изменится. Ладя

слишком хорошо знал Андрея, знал его давнюю мечту, которая теперь исполнилась, и так блестяще. У Андрея настоящая «культура звука». Об этом писала газета, перепечатывая выдержки из югославских газет. Он «интерпретатор и полностью совпадает с духовными устремлениями композитора». А потом было написано даже так, что «только на основе необыкновенной, изумительной сосредоточенности можно добиться предельного овладения всеми участвующими в игре на скрипке мышцами и нервами и приобрести техническую уверенность, которая затем почти уже не нуждается в шлифовке». О большем и не помечтаешь. Андрей, конечно, вернется совсем другим. Каждый бы на его месте как-то изменился, это не зависит от человека, с этим, очевидно, нельзя справиться. Ладья бы тоже не справился — он так думал, он готовился встретиться с новым Андреем. Они будут учиться у одного и того же профессора, им опять предстоит быть вместе.

И они встретились... Это было на Тверском бульваре, в павильоне, где продаются горячие пельмени и где обычно собираются те, кто приносит с собой выпивку.

Ладья шел в консерваторию по бульвару и увидел Андрея в этом павильоне. Он не знал, что Андрей уже вернулся, и никто этого не знал. Это было утро после той ночи, когда Андрей ушел из дому.

Андрей сидел в стороне от всех, на столе ничего, правда, не было — никаких бутылок, стаканов. Андрей просто сидел. Ладья все-таки не поверил, что это Андрей, и вошел в павильон. Да, это был Андрей. Руки положил на стол и смотрел перед собой. Совершенно неподвижный, бледный, губы плотно сомкнуты. Ладя смотрел на него, он стоял совсем близко, но Андрей его не замечал. Он ничего не замечал вокруг себя и не хотел. Ладя это понял. Еще он понял, что случилось что-то страшное и что Андрей никого не хочет видеть, потому и сидит в этом странном павильоне с утра. Один. И нельзя его трогать, о чем-то спрашивать. Надо узнать у других, что случилось. И раз он сидит здесь, недалеко от школы и от консерватории, значит, в школе или в консерватории знают, что случилось.

На следующий день Ладя узнал, что случилось. Сказала ему Чибис. Она теперь тоже занимается в консерватории — на вечернем отделении.

Ладья пошел вместе с Чибисом на четвертый этаж, где были органные классы. Чибис должна была познакомиться с инструментами, на которых она еще не играла. Таков порядок в консерватории.

Об Андрее больше не говорили. Ладя посчитал неудобным говорить с Олей об Андрее.

— Над чем ты сейчас работаешь? — спросил Ладя.

— Так...— неопределенно сказала Оля.— Больше думаю, решаю для себя.

— Но ты же пишешь музыку.

— Пытаюсь.

— Что пишешь?

— Я не знаю, что это будет.

— Но все-таки,— не отставал Лады. Ему на самом деле было интересно, над чем работает Оля.

— «Слово о полку Игореве».

— Сонатный цикл, сюита?

— Пока фрагменты.

На следующий день Лады вновь встретился с Чибисом, сказал ей:

— Пошли ко мне, покажу тебе вещи, может быть, получишь настроение для своих фрагментов,— настоящие русские мечи.

— Опять что-то придумываешь? — улыбнулась Оля.

— Придумываю? — Лады схватил ее за руку.— Идем!

Оля долго стояла перед мечами, щитом и кольчугой. Когда все это висит в музее, то и остается в чем-то музейным, официальным, а тут Лады снял со стены меч и протянул его Оле.

— Подержи попробуй.

Оля взяла меч двумя руками. Рукоятка с набалдашником и перекладиной, широкое массивное лезвие. Оно было расчищено, и Оля могла разобрать клеймо из уставных кирилловских букв.

— «Коваль Люгота» или «Люгоша»,— сказала Оля.— Это значит «Кузнец Люгота» или «Люгоша». И вот еще написано: «Прут битвы» и «Огонь раны».

— Меч сделан не позже двенадцатого века,— сказал Лады.— Мне брат объяснил.

— «Слово о полку Игореве» тоже написано в двенадцатом веке, так предполагают.— Оля попыталась приподнять меч.

— Откуда ты знаешь древнерусский? — удивился Лады.

— Я читаю летописи.

— Ну ты даешь! — только и мог сказать в восхищении Лады.

— Я хочу знать, когда в Древней Руси появился орган.

— Ты что? — удивился Лады.— Органы в Древней Руси?

— Это был народный инструмент варган, переносный, совсем маленький, как шарманка. На нем играли на гуляньях, на свадьбах.

— Чудно.

— «Орган — сосуд гудебный,— сказала Оля,— бо в теле яко в сосуде живет». Написано в Азбуковнике и Алфавите. С органом боролась церковь, как она боролась со скорморами.— Оля приподняла меч и поводила им из стороны в сторону.

Лады смотрел на Олю и думал, как она незаметно и спокойно ушла далеко от всех, самостоятельно и интересно. Оля осторожно положила меч на ковер, и он теперь лежал у ее ног.

— А потом органы появились и в царских «потешных хоромах», были украшены узорами и знаками, как этот меч. Играли на них посадские люди и крепостные крестьяне, приписанные к Оружейной палате. Они были нашими первыми русскими органистами.

Лады поднял с ковра меч и повесил на прежнее место рядом со щитом и кольчугой.

— Я знаю, почему пропал Андрей,— вдруг сказала Чибис.

— Почему?

— Он должен побыть один. Он боится снова взять скрипку, и я его понимаю.— Оля помолчала.— Он сейчас совсем не доверяет себе.

Лады опять ударил по щиту, и щит опять зазвенел глухо и тревожно.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Андрей жил в этой комнате, отгороженной фанерой от части коридора, в «банановой роще» — тахта, стол-рама, вместо стульев подушка на полу, сковородка-часы, только отклеились некоторые цифры, вырезанные из бумаги, в углу — стопка книг и журналов. Андрей подобрал себе «Юность» за весь год и начал подряд читать.

Андрею было хорошо в старом деревянном доме на тихой московской улице. Ему нравилась бесшумная мать Вити Овчинникова и сестры Вити, старшая девочка Витя и младшая девочка Витя. Андрей позвонил из автомата своей матери и сказал, чтобы она его не искала, домой он пока не вернется. Ему надо жить одному. Ее он просит только об одном — отнести в Госколлекцию Страдивари. Потом он встретился с Петром Петровичем и взял у него взаймы денег. Петр Петрович был рад, что мог хоть чем-то быть полезным Андрею в эти дни. Принес он ему и чемодан с необходимыми вещами. Передала мать. Среди вещей лежали ноты и зачетная книжка.

Андрей позвонил Валентину Яновичу. Этот звонок он откладывал до последнего: боялся звонить, не хотел обидеть профессора просто по-человечески, что вот пропал и не является.

— Это не разговор для телефона,— сказал Валентин Янович.— Но вы должны быть там, где сейчас лучше для вас.

— Мне лучше не в консерватории,— сказал Андрей.— Я потом приду в консерваторию.

— Понимаю и не настаиваю. Но вы, пожалуйста, не забы-

вайте, что должны уметь приносить пользу другим раньше, чем самому себе. Талант принадлежит государству, это собственность государства. Пожалуйста, Андрей, очень прошу вас помнить об этом даже сейчас.

Андрей знал, что ему могли говорить хвалебные слова, может быть, восторженные, но он их уже не стоил, он им не соответствовал.

Совсем недавно ему казалось, что он держит скрипку, и висок его повернут к солнцу, только к солнцу, и что это навсегда.

Он лишился всего сразу. Ладья снова впереди, без усилий, без поражений, совсем как прежде, в детстве. Легко пришел туда, где Андрей не удержался, тут же потерял все. Андрей хотел победителем встретить Ладью, а встретит побежденным. Его победили обстоятельства, а Ладье никаких обстоятельств для победы не нужно. Он просто жил. Андрей все время что-то преодолевал, за что-то боролся. Добивался, а не просто жил. Постоянные усилия, пока не взмокнешь и не повалишься, и обязательно на последнем отрезке прямой. А если и придешь первым, то определить это можно будет только с помощью фотофиниша, а не так, когда ленточка рвется у тебя одного на груди и трибуны вскакивают в едином порыве восторга перед победителем.

Андрей вдруг начинал ненавидеть Риту, что она была, что она существовала, что она встретила его на пути! Что она отняла у него все, и его самого, теперь он один, а ее нет. Она не имела права так поступать, она не имела права не жалеть себя, не беречь, жить такой жизнью, какой она жила. Она обманывала себя и обманывала его, не говоря, как она серьезно больна. Опасно больна. Поступила в институт, наверное, по чужой медицинской справке.

Рита постоянно присутствовала в этой комнате. Горела ее любимая лампочка в номерном знаке. Она сидела на тахте, подвернув под себя ноги, держала маленькую чашку с колониальным чаем. Внизу у тахты стояли туфли. Ноги она закрыла широкой юбкой. И чтобы присутствовали все свойственные этой комнате вещи, настроение, а сверху на крыше висел бы скворечник. «Чаепитие с хозяйством».

Когда Андрей пришел к матери Вити Овчинникова и попросил разрешения побыть в этой комнате, мать Вити не удивилась. Она просто сказала, что это замечательно, а потом уговорила Андрея остаться на то время, пока ему будет здесь хорошо.

Андрей остался и был благодарен за то, что Витина мать не задавала никаких вопросов. Его встретили старшая девочка Витя и младшая девочка Витя, как они встречали Риту, когда она сюда приходила. Ни о чем не спросили, а только улыбнулись,

и младшая сказала: «Я вас помню». Младшая училась уже в седьмом классе, старшая — в десятом. Младшая носила челку, подрезанную над самыми бровями, посередине челки распадалась, и был узенький просвет. Он как будто остался от недавнего детства, как бывает белая метка у маленьких лосей. У старшей была тяжелая коса и карие глаза с бронзовыми искрами. Она уже серьезно занималась изучением английского языка и собиралась после десятого класса поступить на курсы бортпроводниц. Купила пластмассовую посуду, которой пользуются в самолетах, и училась с нею управляться. Заставляла всех в доме есть из такой посуды. Андрей тоже ел. Старшая Витя говорила, что все движения у нее должны сделаться автоматическими.

Андрею казалось, что во многом она пытается подражать Рите, в особенности в походке. На улице это было отчетливо заметно. У нее была почти такая же авиационная сумка, и она почти так же накидывала ее ремешок на плечо. Голову она держала высоко, как Рита. И руками почти не размахивала, когда шла.

Андрей легче чувствовал себя с младшей. Младшая была тише и мягче сестры, и Андрей понял, что она похожа на свою мать, и, очевидно, с каждым годом это будет проявляться все сильнее.

Часто с младшей девочкой Андрей ходил на Палашовский рынок. Они шли переулками, и Андрей был спокоен — никого из знакомых он не встретит. Ему вообще не хотелось выходить на бульвар, он боялся быть там. Только однажды, когда Андрей вышел к Никитским воротам, он увидел Гусева с композитором-полифонистом. Гусев тащил огромную папку, а композитор был, как всегда, нестрижен. Андрей почти наскочил на них, но они не обратили внимания, потому что Гусев что-то возбужденно говорил, а композитор наклонил голову и внимательно слушал.

На Палашовском рынке Андрей и младшая Витя покупали картофель, иногда морковь и лук. Витя отыскивала еще какую-нибудь старушку посимпатичнее, которая торговала солеными огурцами, просила взвесить один огурец и потом с удовольствием его грызла.

Андрею нравились походы на рынок. Никогда прежде Андрей не ходил ни в какие магазины и тем более на рынки, этим всегда занималась мать. Андрею полагалась только скрипка. Ничего отвлекающего. Теперь он брал большую плетеную кошелку, и они с младшей Витей отправлялись на рынок, а попутно и в булочную.

По дороге они разговаривали. Вначале девочка каждый раз рассказывала Андрею о своей школе, о том, как она работает пионервожатой в четвертом классе «Б», как готовится поступать в комсомол, как участвовала в соревнованиях по гимнастике (ее любимый снаряд — брус) на первенство района. Но вот Анд-

рей заговорил о Дубровнике, о конкурсе. Он ведь никому еще не рассказывал, как было в Югославии. И теперь так случилось, что первым слушателем в Москве оказалась девочка Витя. Ей было интересно все: и как выглядел атриум — передний двор княжеского дворца, окруженный портиками; как вытаскивают запечатанные конверты с номерами; кто из конкурсантов за кем будет выступать; как нелегко справиться с незнакомым залом, с его акустикой, преодолеть страх, потому что борешься с именитыми соперниками; как потом, когда пройдешь два тура, приятно чувствовать себя уверенным, что и ты скрипач международного класса и, главное, что ты можешь победить, и теперь совсем реально.

Андрей рассказывал, как перед последним туром он вечером плавал в море. Адриатическое море очень соленое, и плавать совсем легко. Луна над тобой, звезды, башни древнего города. Он долго плавал, чтобы устать и чтобы потом сразу уснуть и быть наутро совершенно свежим. А если будешь совершенно свежим, то и музыка твоя будет совершенно свежей, хватит на нее и смычка, и пальцев, и нервов, и дыхания.

Младшая Витя слушала Андрея и волновалась так, как будто все это происходило с ним снова. Она смотрела на него, и зрачки в ее глазах, тоже карих, как у сестры и брата, расширялись, и она вскрикивала или хваталась за концы воротника своего пальто. Поднимала воротник и пряталась в него от страха за Андрея, будто он на этот раз не победит. Требовала повторять детали борьбы на третьем туре, когда Андрей играл с оркестром и у него неожиданно перестала держать строй одна струна. И как он вспомнил, что профессор Мигдал мог взять расстроенную скрипку и сыграть на ней все чисто. И он продолжал играть. Он мог тогда все!

Андрей ставил на землю кошелку с картошкой и показывал девочке Вите, как он иногда переворачивает смычок и водит пальцем по нему, как по рельсу, на ощупь, без скрипки, а скрипку слышит, каждый ее звук.

Витя тоже стояла рядом с Андреем и водила пальцем, словно по смычку. Андрей тихонько напевал мелодию, чтобы она поняла, как это можно слышать. Потом он брал ее палец и водил им, как надо, чтобы совпадало с мелодией.

Они снова шагали с картошкой, и Андрей снова говорил. Он устал молчать. Ему хотелось рассказывать ей не только о себе, но и о музыке: что музыка обозначает звуками и их сочетаниями явления природы и человеческой жизни; что она обозначает структуру вселенной, и об этом говорил еще Аристотель в древности. Музыка похожа на математику, на архитектуру, и есть такие произведения, которые прямо называются «Небоскребы», «Интегралы». Андрей слушал их в Югославии, в Белгра-

де. Музыка — это прежде всего образы, которые отражают реальную действительность, подчиненную художнику, или вымысел, но тоже подчиненный художнику, его восприятию реальной жизни.

Он рассказывал ей о музыке тональной и атональной, о взаимодействии этих направлений. О композиторах Шенберге, Менотти, Стравинском. Он не устал повторять ей, что лучше музыки может быть только музыка.

Андрей теперь поджидал, когда младшая Витя возвращалась из школы, чтобы побыть с ней. Иногда они сидели в «банановой роще», девочка занималась уроками или переписывала протокол заседания совета отряда четвертого класса «Б»; Андрей читал.

Однажды Витя спросила:

— Что такое настоящая скрипка?

— Я не могу тебе объяснить, — сказал Андрей. — Она одна — и симфонический оркестр и голос, и все это принадлежит тебе и всем, кто с тобой. Ее лак от пальцев нагревается и слегка плавится. Он живой, понимаешь! И звук у нее живой! Не как живой, а живой изнутри, по-настоящему, как ты или я. Звук начинается не сверху, а изнутри. Ты этого не поймешь, и никто этого не поймет!

— А где взять скрипку еще, чтоб такую же?

— Их делали триста лет назад.

— Теперь не могут?

— Нет.

Витя поглядела на Андрея с недоверием: летают ракеты на Луну, на Венеру, а скрипку никто не может сделать, как делали триста лет назад? Шутит он над ней, как над маленькой. Он скоро уйдет из их семьи, вернется к своим занятиям и к своим друзьям и вот на прощание решил ее развлечь.

— Скрипка — последняя тайна на земле, — сказал Андрей.

— Не надо, — вдруг сказала девочка Витя.

Андрей непонимающе на нее взглянул.

— Не надо со мной так, — попросила Витя. — Я знаю, вы от нас уже уходите.

Андрей подумал, что он действительно скоро уйдет. Домой к матери, к Петру Петровичу. Он не бросит свое привычное, и в семье Вити Овчинникова он оказался, наверное, еще и потому, что рядом была музыкальная школа и консерватория, и ему хорошо только тогда, когда все это рядом с ним. Андрей хотел быть к себе безжалостным, даже несправедливым.

Он взглянул на Витю. И еще ему, наверное, было хорошо потому, что она сейчас тоже была рядом с ним.

Девочке Вите он сказал, что все, что он говорил о скрипке, —

это правда: никто до сих пор до конца не отгадал секрета, как делал инструменты Страдивари.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Я верю. Я вам верю! — закричала она радостно. — Скрипка до сих пор еще тайна! — потом опять переспросила: — Честное слово?

— Да, — кивнул Андрей.

И вдруг прямо на глазах кончилась осень и началась зима: пошел снег, крупный, нехолодный, самый первый. Он полетел из темной тучи, и все гуще и гуще. Он падал, еле слышный в тишине вечерней улицы. Андрей подумал, что только, пожалуй, Гендель сумел передать в музыке это еле слышное падение снега.

Андрей вздрогнул. Вместе со снегом он перестал видеть рядом с собой Витю, а увидел Риту, и вечерний город в снегу, и совсем близко лицо Риты, ощутил концы ее длинных ресниц, мех ее воротника и услышал ее слова: «Мастер, ты потерял голову».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Андрей шел сюда все эти дни. Он видел, как он останавливается у железных ворот кладбища, где всегда стоят группами притихшие люди, где в простых железных ведрах продают вечнозеленые ветки. И он видел, как он быстро уходит, так быстро, что почти убегает. Андрей хотел себя убедить, что все это должно происходить не с ним, и это не он идет сюда все эти дни.

Так Андрей поступал в детстве, отстранялся от того, что причиняло ему серьезную боль, что пугало его, чего бы он не мог перенести спокойно; он стоял сам от себя в стороне, и тот, другой, был для него чужим. Это удавалось. Потом Андрей прочел, что подобным образом поступают на Востоке многие из тех, кто поклоняется какому-то определенному учению, определенным истинам. Андрей в детстве ничего такого не знал, никаких истин и учений. Подобное состояние было ему свойственно, и не потому, что он именно боялся чего-то, а потому, что он слишком все болезненно чувствовал. Многие даже несложные обстоятельства становились для него сразу критическими, способными привести к потере контроля над собой, над своими чувствами. Он не пытался кому-нибудь объяснить это, чтобы его поняли и поверили, что у него все бывает так, даже Рите не пытался. Но она сама поняла, убедилась в том, какие он иногда совершает поступки, нелепые и обидные, которых потом стыдится, от которых мучается еще больше, потому что в тот момент, когда он их совершает,

он как бы не присутствует. И она умела в такие минуты управлять его настроением и его поступками.

Риту он потеряет для себя окончательно, как только перешагнет эти ворота. Так он потерял отца. Окончательно. И теперь он останется один, и не кто-то другой, на кого можно будет смотреть со стороны, а именно он.

И Андрей всегда даже в мыслях уходил от ворот. Войти сюда — это значило видеть потом все то, что будет за этими воротами. Убедить себя, как в детстве, что все было не так, он не сможет. Но и продолжать вести себя как в детстве он тоже больше не может.

Сегодня Андрей был здесь. Он приехал из дому. Мать объяснила ему, как он все должен здесь найти. Он ничего у нее не спрашивал, и она сама это сделала, она понимала, что это время наступило. Она знала своего сына.

Андрей идет по неширокой дорожке, присыпанной свежим песком. По краям дорожки снег, еще неглубокий, и сквозь него пробивается осенняя трава. Пустые кроны деревьев четко обозначены на сером остуженном небе. Пахнет свежим печным дымом, очевидно, от домика сторожа или от длинного, похожего на барак здания конторы.

Вдали за оградой движется нестихающий поток грузовых машин, и Андрей хочет слышать шум их моторов. Грузовики ему сейчас нужны, они помогают ему идти по эту сторону ограды. Скоро он останется совсем один... Сейчас он останется совсем один...

## КИРА ВИКТОРОВНА — ОБ АНДРЕЕ

В тот день, когда я позвонила матери Андрея и узнала, что Андрей ушел и его нет, я сказала, чтобы она оставила его в покое. Все, что случилось, настолько серьезно для него, что он один должен все это попытаться понять, если это можно как-то понять и преодолеть. Никто ему не поможет — ни она, ни я, ни друзья. Никто! Только скрипка, музыка. Скрипка в состоянии заставить его преодолеть это. И я подумала, что Андрей придет ко мне, когда ему вообще захочется к кому-нибудь прийти. Не надо его искать, в особенности ей, матери. И он пришел ко мне. Я ни о чем его не спросила, даже о Югославии. Сел в коридоре.

— Я должен выступить с отчетом о конкурсе? — спросил он.

— Так обычно делают лауреаты, — сказала я.

— Можно, я выступлю в школе?

— Конечно. Мы будем очень рады.

— А вы скажете об этом Валентину Яновичу?

— Скажу.



— И вот...  
— Что это?  
— Медаль «Золотой Дубровник». Хочу передать школе.  
— Может быть, ты это сделаешь сам?  
— Лучше вы.  
— Хорошо.  
— Я хочу сыграть вальс Наташи из «Войны и мира» Прокофьева. Подготовил за эти дни.

Я не спросила, за какие дни. Ничего вообще не спрашивала.

— Я пойду,— сказал Андрей и поднялся с места.

— Приходи опять, когда захочешь.

Он сказал:

— Хорошо.

Из окна я видела — Андрея ждали двое ребят. Он вышел из подъезда, они подошли к нему, и все трое медленно ушли. Это были не наши ребята. Очевидно, друзья Риты Плетневой.

Андрей выступил в школе, сыграл вальс Наташи из оперы «Война и мир». Вальс, который звучит и постепенно затихает, как бы ускользает во времени. Ускользает, уходит у людей юность — так написал его Прокофьев и так сыграл его Андрей.

Когда последний звук ушел, повис где-то далеко, никто в зале не пошевелился, хотя в зале сидела сама юность, у которой еще ничто не ускользнуло и не ушло.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На грифельной доске, которая занимала всю стену заводской лаборатории при испытательной станции, была мелом нарисована скрипка. С мелом в руках стоял Сережа. Иванчик был рядом, руки заложил глубоко в карманы (признак максимальной сосредоточенности) и слушал Сережу.

— Ель раз в пятнадцать лучше проводит звук, чем клен, поэтому верхняя дека как вибратор, нижняя как резонатор. Между ними тонкая палочка. Она соединяет деки, создает одномоментность колебаний.

— Конечно,— кивнул Иванчик.

Сережа обозначил верхнюю дека «а», нижнюю «в», бока «с» и «с<sub>1</sub>».

— Чтобы вывести из ничего все, достаточно единицы. Верно? — Сережа любил формулы.

Иванчик вытащил руки из карманов, подошел к доске и взял мел. Провел жирную черту вдоль верхней деки.

— Ровность звучания должна зависеть прежде всего от верхней деки.

— Почему только верхней?

— Источник колебаний.

— Формула должна быть единой для всего аппарата,— возразил Сережа.

— Я не отрицаю формулы, но я выделяю главный элемент, с чего надо начинать поиск.

— Согласен.

— Мне кажется, секрет, по-видимому, в едва заметных отклонениях,— продолжал Иванчик.— Самое непонятное в скрипке то, что она понятна.

— Замерим частоту колебаний всех точек области резонанса, сделаем график акустических частот, одним словом,ведем фотометрическое досье.

— Все-таки странно.

— Что?

— Страдивари постиг законы акустики, конечно, интуитивно. Как практик.

— Да. Иначе быть не может.

— Спустя десятки лет физик Савар открывает законы акустики на основе изучения скрипок Страдивари. Я повторяю — физик.

— Ну!

— На основе скрипок Страдивари.

— Ну! Ну!

— Почему мы вынуждены начинать все сначала?

— Данные Савара нас в чем-то не устраивают,— спокойно сказал Сережа.— Потому что самое непонятное то, что скрипка понятна. Твои собственные слова.

— Так же точно думал Савар, не сомневаюсь.

— Возможно. Но он не учел едва заметных отклонений. Опять твои собственные слова.

В комнату заглянула девушка в беретике, который лежал на ее голове синим блюдечком. Увидела чертеж.

— Вы еще не ушли? Что это, ребята?

— Скрипка,— ответил Сережа.— Будем делать.

— Кто? — Девушка растерялась.

— Мы. И ты тоже.

Девушка в беретике сомнительно посмотрела на ребят.

— Игнорабимус,— сказал Иванчик и взмахнул рукой, будто набросил себе на плечо полу старинного плаща.— «Никогда не познаем». Так сказал латинянин о смысле жизни. Скрипка — смысл жизни для музыканта.

Девушка не уходила.

— Но если кто-то когда-то уже делал,— сказала девушка,— то почему теперь игнорабимус?

Это было почти триста лет тому назад. В итальянском городе Кремоне на площади святого Доменика стоял двухэтажный дом. На крыше дома, в сушильне, где обычно сушилось белье и фрукты, сидел человек в белом шерстяном колпаке и в переднике из белой кожи. Колени человека были засыпаны мелкой стружкой. Стружка сыпалась из-под стамески. Человек выстукивал деку для скрипки. Иногда постукивал по деке пальцем, выделял определенные точки: он распределял толщины, от которых зависела сила и красота звука, необходимые резонансные частоты, или, как говорят уже теперь, итальянский тембр.

Южная ель придаст тембру звука нежность, серебристость, северная — силу, интенсивность, но вместе с тем и грубость. Клен для нижних дек лучше всего идет итальянский, он отличается стойкими акустическими свойствами. Но он не мог знать, что после его смерти будут пытаться делать скрипки из отобранного им дерева, но не сумеют сделать ни одной, чтобы она звучала так же, как у него.

Декам, сделанным даже из одного и того же куска дерева, приходится придавать различную толщину, чтобы добиться тона одинаковой высоты, потому что древесина у части ствола дерева, обращенной на север, плотнее, чем у части ствола, обращенной на юг.

Конец его шерстяного колпака доставал почти до плеча, если старый мастер наклонял голову, подносил к уху деку, стучал по ней пальцем. Потом снова подстукивал стамеской, уменьшая толщину деки. Он знал, что должен слышать, угадывать уже сейчас качество звука будущего инструмента.

Закончив верхнюю и нижнюю деки, мастер вырезывал массивную головку — завиток из волнистого клена, прикреплял ее к грифу. Гриф потом прибивал мелкими гвоздиками к корпусу скрипки. Через эфу вставлял между деками душку (от слова «душа»), тонкую, короткую палочку. Без душки скрипка будет глухой. Душка передавала вибрацию с верхней деки на нижнюю.

И все равно скрипка полностью еще не зазвучит: ее надо покрыть грунтом, окрасить.

Мастер не знал, что потом люди будут столетиями мучиться, отгадывать, чем знаменитые итальянцы красили инструменты. Цикорием? Настояем из оболочек грецкого ореха? Коптили в дыму?

Но старый мастер, который сидел на крыше своего дома, может быть, просто выносил деки на солнце и поливал водой, и солнце и вода делали деки его инструментов красивыми, эластичными, легкими, способными жить и не разрушаться.

И опять это не все еще. Остается лак.

Старый мастер сам брал бутыл и ходил за лаком к своему аптекарю. Что же это был за лак? Почему он и через столетия под пальцами музыканта дышит, двигается? Живой и теплый? И вся скрипка становится живой и теплой? Ее звук, ее голос. Какие это были смолы и в чем они были растворены? В спирте? В эфирном масле? Копале? Мастике? Драконовой крови?

Первую скрипку он сделал в мастерской Амати, когда ему было всего тринадцать лет. Ее найдет потом французский мастер Шано-Шардон. Ему было уже шестьдесят, когда он наконец создал самостоятельную модель скрипки.

Его скрипкам будут присвоены имена, чаще всего по именам бывших владельцев — Медичи, Юсуповская I, Юсуповская II, Львова, Третьякова. Их будут похищать, перекрашивать, чтобы как-то изменить внешний вид и утаить от специалистов. Будут выпускать подделки и торговать, как фальшивыми бриллиантами. Из-за них будут совершаться преступления, их будут прятать в тайниках. Их стойкость будет расти, пока фактически они не станут бесценными.

Секрет их утерян, как утеряна и могила самого мастера. Он, как и великий Моцарт, похоронен в общей могиле, за чертой города. Его имя Antonio Stradivari.

«Гроссы» приступили к работе. Они были уверены, что современная наука должна стать решающим фактором в создании скрипки.

Начать можно и с того, что отправиться в музыкальную школу к кладовщику, встретиться с ним, поговорить. «Гроссам» было известно, что кладовщик — бывший мастер. Всегда надо знать истоки любого производства, чтобы предугадать его дальнейшее развитие и возможную эволюцию.

Кладовщика «гроссы» без труда отыскивали на его постоянном месте, в подвале.

— Простите, — сказал Иванчик, — что вы знаете о скрипках?

Кладовщик подумал и ответил:

— Ничего.

— Это очень мало, — сказал Сережа.

Кладовщик улыбнулся:

— Вы хотите знать больше?

— Мы должны.

— Давно еще я прочитал, что в среднем раз в неделю кто-нибудь заявляет, что открыл секрет Страдивари. Вы пришли за этим секретом? — Кладовщик по-прежнему улыбался.

«Гроссы», не обращая внимания на его улыбку, продолжали спрашивать:

— Что вы знаете о резонансном дереве? О распределении толщин?

— О стеклянных резонансных палочках?

— О гармонической настройке дек?

— Вы работали у Витачека. Что у вас сохранилось? Записи? Наброски?

Кладовщик положил простую ручку, которой он производил пометки в ведомостях. Он много лет провел в подвале, он сам обрек себя на эту жизнь и не хотел возвращаться в прошлое. Вновь настраивать деки, водить по краю смычком, прикладывать к декам стеклянную палочку и мокрыми пальцами тихонько тереть палочку и тоже настраивать таким способом, слушать, как звук рождается из-под палочки.

И так день, два... месяц. Не спать, не есть, а все искать, искать, добиваться.

Составлять лаки и крыть ими не только поверхности дек, но и внутренние своды, накладывать со сгущениями — а вдруг получится резонанс, тот самый?

И опять слушать день, два... пять. И от усталости, от бессилия, от отчаяния топтать деки ногами.

Теперь пришли эти двое и хотят, чтобы он им что-то сказал о скрипке, в чем-то помог. В чем он может помочь? Скрипка, сделанная на фабрике, стоит девять рублей; футляр к скрипке стоит одиннадцать. Футляр дороже скрипки. Это он должен сказать этим двум? Что фабрика, где делают скрипки, называется мебельной? Что исчезает резонансное дерево? И что на одном авиационном заводе лежит уложенное еще до войны на просушку дерево. И только один мастер-старик попытался сделать из него скрипки, и сделал. Дерево оказалось удивительно поющим, но скрипка не получилась такой, как у итальянцев. Старик вскоре умер. Скрипка, как память о мастере, хранится в Госколлекции. Есть у кладовщика и книга Зеленского, где написано, что в скрипках Гварнери дель Джезу, на одной из которых играл Паганини, верхние деки часто утончаются к середине, и поэтому распределение толщин здесь обратное общепринятому. А звук не обратный! Звук, достойный Страдивари.

— Вы когда-то собрали скрипку Андрею Косареву, — сказал Иванчик. — Мы его друзья, и мы это знаем.

— Я сделал то, что могли бы сделать и на мебельной фабрике.

— Допустим, — сказал Сережа. — Но вы помогли человеку.

— Он талантливый скрипач, — сказал кладовщик.

— Настоящие скрипачи должны играть на настоящих инструментах. Только маленькие дети могут играть на скрипках за девять рублей, учиться...

— Я дам вам книги и рукописи, — сказал кладовщик, подумав.

— Будем очень благодарны. Это поможет нам идти дальше. Новым путем.

— Новым путем?

— Конечно. Зачем повторять Рафаэля?

Кладовщик ничего не ответил. Он только подтянул пальцем свой глаз, чтобы лучше видеть «гроссов».

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На диване лежало белое платье, сеточка-фата, длинные белые перчатки. Стояли белые туфли, в них видна была надпись фирмы и маленькая золотая корона.

Санди в ситцевом халатике, в шлепанцах занималась уборкой квартиры. Мать с отцом уехали на репетицию.

Все эти белые вещи уже несколько дней находились в доме. Санди их не убирала, ей нравилось их все время видеть. Иногда она надевала то платье, то туфли и прохаживалась по квартире, смотрела на себя в зеркало. Еще в доме появился пакет, на котором было написано: «Рис, 500 граммов». Рисом будут посыпать Санди и Ладю, когда они приедут из загса домой. Так велела сделать Адель Степановна, старейшая артистка цирка, а теперь заведующая учебной частью ГУЦЭИ. Адель Степановна была «крестной» Санди на манеже. Сейчас она лежала в больнице и боялась, что ко дню свадьбы Санди ее из больницы не выпустят, и поэтому прислала пакет с рисом.

Пришел Ладя. Он ежедневно приходит к Санди. Он теперь не хочет быть без нее ни дня и ни часа.

— Даже ни секунды! — кричит Ладя каждый раз, когда Санди отправляет его на занятия.

За друга пытается заступиться Арчибалд, он тихонько лает на Санди и смотрит ей в глаза, просит, чтобы не выгоняла Ладю.

— Арчибалд, — говорит Ладя уже в дверях. — Лично они... — и он, как всегда в таких случаях, мизинцем показывал в сторону Санди, — они со мной, так вот... За дверь меня... Гонют, как унтера какого-нибудь...

Арчибалд провожал Ладю до крыльца подъезда — это все, что он мог сделать для друга.

Сегодня Ладя решил остаться подольше: он мог пропустить занятия по физическому совершенствованию. Потом отработает совершенствование.

Ему тоже хотелось, чтобы Санди что-нибудь примерила из того, в чем она будет совсем скоро. Этот день Ладя отметил в

календаре: нарисовал утенка — это единственное, что он умел рисовать с детства.

И сегодня Санди закричала:

— Смотри!

Она надела длинные белые перчатки и в своем ситцевом халатике, в шлепанцах, выставив одну ногу и подняв высоко руку, застыла перед Ладькой, как юный Пушкин перед Державиным.

И тогда Ладья не выдержал, разорвал пакет Адели Степановны, схватил горсть риса и засыпал им Санди.

Когда Оля пришла в консерваторскую диспетчерскую, ей сказали, что завтра к десяти утра ее вызывают в Министерство культуры, в международный отдел.

Оля подумала, что это ошибка, но диспетчер сказала, что ошибки нет — приглашается Ольга Николаевна Гончарова, органистка, в отдел стран Западной Европы и Америки Управления внешних сношений Министерства культуры СССР. Олю разыскивали в музыкальной школе, а потом обратились сюда. Все правильно.

Сегодня Оля хотела подобрать на органе для второй части «Слова о полку Игореве» наилучший вариант сочетания регистров, проверить фразировку, темп.

Кричали в степи лебеди — и печально и далеко. Это голос Игоря-князя, попавшего в плен к половцам. Высажен Игорь-князь из седла золотого да в седло рабское, отвержен от дедовской славы. Лебеди далекие и печальные, их крик повисает над землей. А потом ответный голос Киева — звонят к заутрене колокола, почувствовали в Киеве, что беда с русскими полками случилась: всю ночь «гряжали» на кровлях черные вороны, доносились голоса половецких дев, прославляющих победу своих мужей.

Оля написала эту часть несколько дней назад. Первый вариант. Условно назвала «Юный князь». Показала Ипполиту Васильевичу Бельенькому. Он посмотрел и сказал, мало голосов, переключек между киевской землей и юным князем, мало противоположных красок.

Оля согласилась с Ипполитом Васильевичем. Усилила голоса, разность их звучания — лебеди и заутреня в Киеве, крики воронов и голоса половецких дев, и в то же время провела отчетливее общую тему — тему России, Родины.

Когда Оля впервые решила написать музыку по мотивам «Слова» для органа, многие удивлялись, но Оля знала, что орган на Руси древний и народный инструмент, на нем любил играть Глинка. Пьесы Глинки, построенные на русских народных песнях, исполнялись на органе публично.

Двигаются знамена русских и боевые хоругви с ликом Георгия Победоносца, Солнечного воина, навстречу лавине серых татарских бунчуков. Оля слышала, как «гремлют» мечи и секиры и в тучах «трепещут синии молнии»; видела князя Игоря и его брата Всеволода, гибель их дружин. И как потом, уже на Куликовом поле, рождалась новая великая Русь под теми же знаменами и ликом Солнечного воина. Мотив будущего, когда уже не Киев, а Москва несла победу и объединение Руси. Этого Оля будет добиваться в заключительной части произведения. Оля написала и эту часть, но никому еще не показывала.

Оля подобрала регистры для «Юного князя», разметила pedalную аппликатуру. Потом решила, что, может быть, напишет еще партию рояля, подключит рояль к органу. В последней части — как объединение двух сильных инструментов. А может быть, с самого начала писать для органа и фортепьяно?

Оля пошла на лестничную площадку между первым и вторым этажами, проверила расписание занятий на завтра: гармония — профессор Кудрин, история зарубежной музыки — доцент Сагачева. Кто-то написал карандашом: «Двурукие — играйте синхронно». Выпад теоретического факультета, потому что теоретикам недавно тоже кто-то написал: «Умейте отличать композиторов, находящихся впереди, от композиторов, забегающих вперед».

Дружеская пикировка на консерваторском уровне.

Оля решила заглянуть сегодня в школу. Давно собиралась это сделать: вдруг кто-нибудь знает об Андрее. Он должен все-таки вернуться в консерваторию, он должен начать себя заново. У Андрея музыка всегда зависела от личной жизни. Впрочем, не у него одного это так. Оля заходила в деканат струнного отделения, пыталась узнать, но никто не знал, где Андрей. Профессор Мигдал попросил пока оставить Андрея в покое, а просьбу такого профессора, как Валентин Янович, выполнит любой деканат.

Чибиc оделась и вышла из консерватории. По пути заглянула в нотный магазин «Лира», спросила о новой книге по композиции.

— Как получим, я вам оставляю, — сказала продавщица. Она знала всех профессоров и студентов в лицо.

В школе, в учительской. Чибиc застала только Евгению Борисовну. У нее Чибиc не хотела ничего узнавать. Татьяна Ивановна раскладывала пасьянс «Шлейф королевы».

Оля под села к столу. Ей нравились пасьянсы своей отрешенностью: не надо думать ни о чем сложном и личном — перекладываешь цветные картинки, как детское лото, ищешь заданное сочетание.

Появился директор школы Всеволод Николаевич.

— Вижу,— сказал он Татьяне Ивановне.— Испытываете судьбу.

Татьяна Ивановна смутилась.

— Здравствуйте, Гончарова. «Шлейф королевы» — это именно то, что вам сейчас нужно.

Оля не поняла директора, тоже смутилась.

— Я имею в виду Великобританию.

Оля опять ничего не поняла.

— Вас приглашает в Англию господин Грейнджер на симпозиум органной музыки.

Оля стояла растерянная. Она до сих пор донашивала свое школьное платье и была по виду все еще школьницей.

— Вам не сообщили в консерватории?

— Сказали, что должна явиться завтра в международный отдел.

— Это и есть то, что я вам сказал. Ну и то, что вам скажет «Шлейф королевы».

Всеволод Николаевич заспешил по коридору, потому что из какого-то класса донеслись ребячьи голоса, а потом звук, похожий на звук электромеханической пилы.

Тетя Таня убрала карты.

— Надо поискать Верочку ему в подмогу.

— Верочки в школе нет,— сказала Чибис.

— Значит, я ее прозевала. Ты посиди, а я пойду с ним.

Чибис вновь села к столу.

И вдруг она поняла, ощутила совершенно ясно для себя, что если произойдет такое и она поедет на симпозиум в Англию, то повезет не Баха, нет; она повезет русскую органную программу, совершенно новую для всех и для нее, и это будет не готический стиль высоких микстур и не французская музыка с язычковыми регистрами. Она отыщет в Исторической библиотеке или в Ленинской старинные ноты или использует то, что привезла из Новосибирска в списках из бывших староверческих скитов, и подготовит «светло-светлую» землю Русскую, Гардарику, как называли ее в древние времена, что означало Страна городов.

Вот как все это должно быть.

Оля вытащила из колоды одну карту. И это была не пика.

И Оля подумала об Андрее.

На следующий день Оля пришла в Министерство культуры, разделась и поднялась на лифте на третий этаж.

Оля прошла по коридору и остановилась перед дверью с номером пятьдесят четыре — международный отдел. Остановилась, и стоит, и понимает, что это глупо, стоять и не входить, но с ней именно так все и бывает. Никогда прежде она не могла войти ни в учительскую, ни в кабинет к директору школы или теперь в кабинет декана или проректора консерватории. Она подходила

к дверям и замирала, так же замирала, как перед клавишами органа: она всегда не доверяла себе.

Дверь отворилась, и вышла женщина. Едва не наскочила на Олю, потому что не ожидала, что кто-то стоит у дверей. Оля совсем растерялась.

Женщина извинилась перед Олей и собралась идти по коридору, но заметила, что Оля продолжает стоять перед дверью. Тогда женщина спросила:

— Вам кого?

— Меня вызывали,— сказала Оля.

— Вы Гончарова? — спросила женщина.— Мы вас приглашали.

И Оле показалось, что женщина даже как-то выделила слово — приглашали.

— Идемте со мной.— Женщина была высокая, с прямой, как у балерин, спиной, в темном костюме, в белой кофточке. Голос у нее был спокойный. Оля уважала женщин с такими спокойными голосами, и она была рада, что помедлила входить в двери, и вот вышла эта женщина.

Они спустились по лестнице в небольшой зал. Там стоял длинный официальный стол с флажками различных государств, кресла, телевизор, журнальные столики. На столиках были пустые бутылки из-под минеральной воды и стаканы, прикрытые салфетками.

Женщина пригласила Олю сесть в кресло и села сама.

— Здесь не помешают.

Оля молчала. Хотя чувствовала себя уже гораздо лучше.

— Именно такой я вас представляла,— сказала женщина.— Вам сколько лет?

— Двадцать один,— ответила Оля.

Женщина кивнула, потом улыбнулась и сказала:

— Мой сын обычно так спрашивает о возрасте: вам сколько времени? Он студент МВТУ имени Баумана.

Оля улыбнулась. Теперь ей было совсем хорошо в министерстве.

— Вы должны подготовиться к серьезной поездке,— сказала женщина.— Программу надо повезти не обширную, но законченную, завершенную. Вы будете выступать в Лондоне, в знаменитом соборе St. Mary или в King Henry chapel. Вам уже сказали об этом?

— Мне сказали только, что это будет в Англии.

— Господин Грейнджер очень высокого мнения о вас как об органисте. Вы учитесь в консерватории на вечернем отделении?

— Да.

— С кем бы вы хотели подготовить программу?

— С Ипполитом Васильевичем в музыкальной школе

— Хотите там?  
— Если можно. Я привыкла к обстановке.  
— Конечно. И будем надеяться, что, как говорит мой сын, обвала не получится.— Женщина опять улыбнулась.— Это должно быть настоящее сольное выступление, а не концертмейстерское.

Оля кивнула.

— Вы слетаете в Ригу и попробуете себя в Домском соборе. Вам надо провести там репетицию. Это пока что предварительный разговор. Мне сказали, что вы очень организованный человек, и я это вижу. Времени перед поездкой мало, так что только ваша организованность может вам помочь преодолеть все возникшие перед вами трудности. Программу не удастся нигде показать, вот если только в Риге, чтобы вы ощутили специфику органа в храме. Мы это обязательно постараемся сделать.

— Мне бы это помогло,— сказала Оля.

— Вы будете готовить Баха?

— Нет,— сказала Оля.

— Не Баха? — удивилась женщина.

— Я бы хотела сыграть русскую программу. Старинную.

— Но господин Грейнджер ждет от вас, очевидно, Баха?

— И все-таки мне бы хотелось...— тихо сказала Оля.—

Я готова к русской музыке больше всего.

Оле показалось, что женщина ей не верит. Может быть, она вспомнила слова своего сына об обвале?

— Хорошо,— сказала наконец женщина.— Но знайте, времени, чтобы менять программу, у вас не будет. Теперь идемте, я вам покажу письмо господина Грейнджера.

Оле хотелось сказать, что ничего менять и не надо будет, но она воздержалась. Она опять как бы остановилась перед дверью, застыла.

Оля вышла из Министерства культуры и по улице Куйбышева спустилась к Красной площади. Через Боровицкие ворота прошла в Кремль. Ей хотелось побыть здесь среди храмов и старинных зданий, почувствовать все, что ей хотелось сейчас почувствовать.

Она медленно шла к Соборной площади.

Кремлевский холм. Еще в летописи Оля прочитала, как Юрий Долгорукий воздвиг небольшие стены деревянного Кремля, «деревянный тын Москвы», а Иван Калита первым создал ансамбль соборов. Потом Дмитрий Донской соорудил каменные стены. В пятнадцатом веке Кремль окончательно сделался центром мощного государства, и тогда воздвигли над городом сигнальную звонницу — Ивана Великого.

Оля любит стоять на Соборной площади именно около Ивана Великого. Площадь устилают розовые квадратные плиты, и кажется, что под ногами они сами тихонько позванивают, «колоколят». Архангельский собор, Благовещенский, Успенский, царь-пушка, царь-колокол, Патриарший дворец. Во дворце музеев, выставлена старинная русская одежда, посуда, мебель, в окошках — слюда, двери обтянуты красным сукном. Из дворца по внутреннему переходу можно войти в собор Двенадцати апостолов, где включают для экскурсий через усилители, скрытые в стенах, записанную на пленку «Всенощную» Рахманинова. Звучит во всю мощь живая красота человеческих голосов. «Всенощную» исполняет Государственный хор СССР.

«Духовное и земное,— думала Оля, слушая «Всенощную». — Что же все-таки это? Духовное — это мысли и чувства, и как можно духовное отрывать от земного? Познавая духовное, познаешь себя, все земное... Надо устремляться к самому себе, и только в себе самом человек может найти силы, чтобы все земное сделать радостным и светлым. Легенды в Библии очень красивые и возвышенные. Поэтому и музыка, написанная на их тексты, тоже красивая и возвышенная. Но она написана людьми и для людей».

Когда Оля на Соборной площади поднимала голову и смотрела на купол Ивана Великого, она видела его сверкание в небе — шлем прошлого над современной Москвой. Белая с золотом симфония; великая история великого народа.

И она будет играть — о прошлом и будущем, и программу назовет «Иван Великий». Стоит он, окруженный детьми, и они смотрят на него, задрав головы. Они тоже стоят под его боевым шлемом и тоже, может быть, слышат, как в Оружейной палате, около Боровицких ворот Кремля, играет сейчас первый русский орган, выступают первые органисты из крепостных крестьян. Это было все здесь: и скоморохи, и гусли, и дудочки, и народные празднества, и гул сигнального Ивановского колокола — призыв к народному восстанию.

И Оля слышала этот «варган», голос прошлого и будущего, и когда так с ней бывало, когда она так чувствовала Родину, к ней приходила жизнь, побеждающая время, приходило счастье бесконечное. Хотелось подарить людям самую правдивую и единственную музыку, от которой ты сама потом падаешь без сил, потому что до конца отдаешь себя.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они ехали в «Тутмосе» — Санди, Ладя и Арчибальд. Трое. Санди и Ладя сидели вместе, Арчибальд сидел один сзади. Он просунул голову между Ладей и Санди и положил ее на спинку переднего сиденья — он хотел быть рядом, совсем рядом с Санди и Ладей: он ведь знал, куда они ехали все трое.

Ладя медленно вел «Тутмос». Зима никак еще не могла начаться в полную силу, но все-таки лед уже затянул мостовую и, растопленный сверху солнцем, был покрыт водой, и мостовая была сложной для транспорта.

Никогда еще Ладя не сидел за рулем так напряженно, как сегодня. Не гоночный монстр, а всего-навсего «Тутмос», но в «Тутмосе» ехала Санди: был тот день, когда двое должны были остаться вдвоем навсегда.

Санди молчала, улыбалась чему-то внутри себя, чего не должен знать пока никто.

Тщательно уложенные волосы были прикрыты белой сеточкой, сбоку приколот букет ландышей. Ландыши прислали из Ялты авиабандеролью и велели спрятать в холодильник, чтобы лежали до этого торжественного дня. Сегодня их вынули, и теперь они были совершенно свежие в волосах у Санди.

Ладя ездил к Аркадию Михайловичу, чтобы он разрешил взять «Тутмос»: Санди хотела, чтобы Ладя, она и Арчибальд поехали в загс на «Тутмосе».

Ладя так все и сделал. На тонком прутике, вставленном в радиатор, развевалась длинная белая лента, ее привязал Ладя: флаг во имя невесты.

Мать Санди, ее отец и гости приедут в загс позже, когда надо будет поздравлять, пить шампанское и фотографироваться. Так хотела Санди, и тут даже мама ничего не сумела с ней поделаться. Отец Санди был человеком спокойным и ни во что не вмешивался. Дочку он любил нежно и подарил ей на свадьбу афишу с ее первым выступлением, которую он сохранил, кинокамеру «Кварц» и всю свою библиотеку, в которой были собраны книги о цирке. И еще, перед тем как Санди уехала сегодня на «Тутмосе», он подарил ей маленького фарфорового зайца — игрушку из своего детства. Мать Санди подарила Ладе большой транзисторный приемник «Спидола VEF». Брат Лади прислал деньги — взнос на однокомнатную квартиру. На бланке перевода так и написал: «Первое твоё жизненное пространство в квадратных метрах». Аркадий Михайлович, когда передавал «Тутмос», сказал, что сзади лежит ящик, а в ящике все необходимое для хозяйства: кастрюли, сковородки, посуда, пачка соли. Смешной и неожиданный подарок сделали для Санди клоуны Московского цирка: на пустой яичной скорлупе, из которой

через маленькую дырочку было выпущено содержимое, нарисовали «маску клоуна Санди», ее творческий портрет. Это для сдачи маски в международную коллегия клоунов. Оказывается, так регистрируются типажи клоунов всего мира, их грим. А у самого Лади в кармане лежали в коробочке два золотых кольца.

Когда «Тутмос» подъехал к зданию загса, на тротуаре стояли свидетели, которых пригласили Санди и Ладя. Свидетелем Санди была ее подруга по училищу Катя Щербакова. Она была сатириком-дрессировщиком, работала на манеже училища с попугаем Фредериком и осликом Укропом. Катя была толстенькая, в длинном пальто с застёжкой на мужскую сторону. Пальто перешила себе из пальто брата. Сделала сатирическое макси. Иначе на это пальто смотреть нельзя было.

Рядом с ней стоял Ладин свидетель — Павлик Тареев. Он выглядел так, как надо было выглядеть по такому случаю: был похож на солидного преуспевающего нотариуса. Увидел Ладя и Франсуазу. Конечно, она: высокая, взрослая, в дубленке, шапке из лисы-огневки и кожаных сапогах. В Франсуазе теперь навсегда поселилось что-то русское, проникло в ее лицо, в ее манеру носить шапку, слегка сбив ее на затылок, как носят у нас шапки-ушанки девушки.

Значит, это Дед привел Франсуазу.

Ладя быстро выбежал из машины. Он хотел открыть дверцу со стороны Санди, чтобы Санди вышла, но это с поразительным проворством тут же проделал Павлик, подал Санди руку.

Арчибальд вышел из машины. Он искал себе места в сегодняшнем дне, боялся, что его не включат в веселье, и дважды громко басом пролаял. Санди наклонилась к нему и обняла за шею, она ему что-то говорила, а он кивал большой черной головой, он даже не сердился, что она сегодня надушилась. Потом он отошел к «Тутмосу» и сел.

Все вошли в здание загса, разделись.

Пожилая работница на вешалке осмотрела Санди и поправила ей сеточку на голове. Санди была очень тихая. Может быть, так Санди привыкает к счастью.

В холле на диване сидела еще одна свадьба: двое смущенных и несчастных от всего происходящего. Санди и Ладя оказались с ними рядом. Двое на диване им кивнули: они нервничали, искали сочувствия.

Павлик Тареев пошел куда-то о чем-то узнавать, хотя никуда ходить не надо было: все известно, что как будет, в какое время. До этого времени оставалось десять минут.

Большие двустворчатые двери в зал были закрыты.

Катя Щербакова подошла к дверям, приложила ухо и послушала. Франсуаза сказала другой свадьбе:

— Атоиг.

Свадьба улыбнулась. Она приехала очень рано в загс и сидела, ждала своей очереди. И от этого, что приехала очень рано, волновалась все больше и больше: отчетливо было видно, как на невесте дрожит фата, будто легкий парус под ветром.

Пожилая работница, служившая на вешалке, принесла бокал, из которого пьют шампанское. Стоял он на блюде, и был в нем просто теплый чай. Лежал еще на блюде кусочек сахара.

Работница сказала дрожащей невесте:

— Займи себя чайком.

Вернулся Дед:

— Там уже фотографируются. Сейчас вызовут нас.

Франсуаза сказала Ладе, чтобы он взял Санди за руку и так теперь уже стоял и ждал, когда откроются двери. В Париже в мэрии так делают, и она просит их так сделать.

Франсуаза смотрела на Санди и была счастлива ее счастьем. Она тоже любит одного человека. Ждет, когда он скажет ей, что он ее тоже любит. Он ее любит. Но он немножко смешной и заносчивый. Знает жизнь и этим весьма гордится. Но как взять Франсуазу за руку, он никак не сообразит. Франсуаза подождет еще немного, а потом сама примется за дело.

На праздник Нового года Франсуаза улетит в Париж. В последнем письме мама писала, что ездила в Арль, делала репортаж к девяностолетию со дня рождения Пикассо о его выставке в Арле. Если мама ездила в Арль — это значит Камарга. Это значит — рядом отец. Может быть, отец и мать будут когда-нибудь вместе. Очень захотелось повидать маму, сказать ей обо всем, о чем сейчас подумала, о себе, о ней, об отце.

Франсуаза представила, как она едет с аэродрома домой. Новый оптовый рынок, университетский городок, окружная автострада, сад Монсури, маленький магазинчик «Оптика» (где она обязательно купит для Маши новые красивые очки). Мост через Сену, церковь Мадлен — и Франсуаза дома. Мама прижимает ее голову к себе крепко и молчит. Не надо молчать, мама!

Работница еще раз внимательно оглядела Санди, осталась довольна ее внешним видом и ушла на свою вешалку.

Двери открылись. Вышла женщина в нарядном платье, в лакированных туфлях на высоких каблуках, спокойно, по-домашнему сказала:

— Александра Мержанова и Владислав Брагин, вы готовы? Прощу вас.

Потом взглянула на тех двоих, которые сидели на диване, и двое заговорили, оба сразу запинаясь от волнения:

— Ничего... мы... тут ничего...

Женщина качнула головой:

— Вы здесь уже около часа.

Они улыбнулись, и в их улыбках была абсолютная беззащитность.

— Ну хорошо.— И женщина показала, чтобы Санди и Ладя шли за ней.

Ладя держал Санди за руку, как велела Франсуаза.

Круглый белый зал с широкими окнами. Стол, покрытый светлым зеленым сукном. Кресло с высокой резной спинкой.

Когда Санди и Ладя подходили к столу, Санди заметила в окно, что на крыше «Тутмоса» сидел Арчи и голова его была повернута в сторону окна. А Ладя, когда подходил к столу, почувствовал, что от Санди, несмотря на духи и ландыши, все-таки пахнет бензином: значит, «Тутмос» был вместе с ними. И тут он тоже увидел в окно Арчибальда, и как он смотрит сюда в зал, и ему, конечно, все видно.

На столе лежала большая раскрытая книга, переплет ее по краю был обшит красным шнуром. Санди и Ладя распишутся в книге, распишутся и свидетели. Ладя достанет из коробочки два совсем маленьких колесика и наденет на палец Санди одно колесико, а другое Санди наденет Ладе на палец. Это будет на долгое счастье им друг от друга.

Женщина подошла к столу и встала с той стороны, где было кресло.

Санди и Ладя остановились по эту сторону стола. Сзади них — Павлик, Катя и Франсуаза.

— Александра Мержанова и Владислав Брагин,— сказала женщина,— вы вступаете на совместный путь в вашей жизни. Александра Мержанова, вы согласны быть женой Владислава Брагина?

— Согласна,— сказала Санди.

Ее ответ напомнил ей все те захватывающие романы, которые она читала в детстве. Только не было священника, а был депутат районного Совета — женщина в нарядном платье. Санди вообще не любила церкви и всякие иконы. Иконы вызывали в ней тоску даже в музеях.

— Владислав Брагин, вы согласны быть мужем Александры Мержановой?

— Согласен.— И Ладя качнул руку Санди. Он все еще держал ее за руку, чувствовал ее пальцы с розовым и чуть клейким от тепла перламутром.

— Александра и Владислав,— сказала депутат,— вы будете вместе. В вашей жизни могут быть сложные дни, но вы должны помнить друг о друге и быть вместе и в малых и в больших поступках.

Теперь Санди тихонько качнула Ладину руку. Не хотела она сейчас быть никем иным — ни Джульеттой, ни девушкой-гуса-



ром, ни даже клоуном,— она хотела быть Александрой, женой Владислава.

— Распишитесь здесь, пожалуйста. Сначала вы, Александра,— сказала женщина и придвинула к краю стола раскрытую книгу.

Санди наклонилась над книгой, взяла ручку и расписалась. Буквы получились большими, и как будто их тоже качнул ветер.

— Владислав, теперь вы распишитесь.

Ладя расписался.

— Прошу расписаться свидетелей.

И тут вдруг раздался звон бьющейся посуды: это Дед достал из-под своего пиджака обыкновенную тарелку, которую он принес, подкинул ее, и тарелка со страшным грохотом разбилась у ног Александры и Владислава.

Павлик знает, что и когда надо делать.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Это не было совпадением, что им назначили одно и то же время. Когда Ладя вошел в кабинет Валентина Яновича, то в кабинете сидел Андрей. Профессор был в соседней комнате. Андрей вздрогнул. Ладя это заметил. Лицо у Андрея вздрогнуло.

Ладя положил на стол скрипку и потом решительно сделал несколько шагов по направлению к Андрею. Андрей встал и улыбнулся, теперь уже спокойно и как-то даже тихо. В глазах только появилось выражение, знакомое Ладе. Но появилось на какое-то мгновение.

Ладя тоже улыбнулся. Он знал, что скоро встретится с Андреем, боялся этой встречи, потому что боялся обнаружить свое счастье, которым был переполнен. Это было нехорошо, нечестно по отношению к Андрею, так думал Ладя.

Они оба застыли в нерешительности, в ожидании первых очень важных для них обоих слов. Таких слов, которые не должны были никого из них обидеть. Разговор должен был как-то начаться, и усилия на это требовались от обоих.

— Ты меня искал, я знаю,— сказал наконец Андрей.

— Тебе «гроссы» передали?

— Да.

Ладя колебался, сказать ли Андрею, что он его видел в тот день на Тверском бульваре. Решил не говорить. Андрей не хотел, чтобы его кто-нибудь видел тогда, если он сидел рядом со школой и консерваторией и никуда все-таки не пришел. Ладя потом обегал весь бульвар, и Андрея не было. Ладе казалось, что он должен был увидеть Андрея еще раз, и немедленно.

— Занимайся первым,— сказал Андрей.— Пойду погуляю, я никуда теперь не тороплюсь.

Разговор напомнил Ладе их встречу в детстве, в метро. Что-то опять не получалось, хотя все было по-другому и не так.

Слышно было, как Валентин Янович разговаривал по телефону.

Андрей еще раз улыбнулся и медленно направился к дверям кабинета. Потом в дверях, опять как тогда в детстве, в метро, задержался и вдруг сказал:

— Я как-нибудь зайду к тебе.— Тут же добавил: — К тебе и к Санди. Почему молчишь о Санди?

— Так вот... не пришлось еще,— неопределенно ответил Ладя.

Андрей подумал: действительно «так вот... не пришлось еще». Или Ладя специально промолчал, чтобы ничего не подчеркивать?

— Я тебя поздравляю.

— Она ждет, когда мы с тобой встретимся,— сказал Ладя.

Андрей удивленно поднял брови. Это было правдой, и Андрей это понял. И, пожалуй, это было главным в их сегодняшнем разговоре.

Валентин Янович увидел, что Андрей стоит в дверях.

— Я не предлагал кому-нибудь из вас уйти,— сказал Валентин Янович.— Сегодня вы нужны мне оба.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Идею работы над скрипкой Иванчик и Сережа изложили главному инженеру завода и главному технологу. Главный инженер и главный технолог не возражали — работа экспериментальная, интересная и будет проводиться на испытательной станции в нерабочее время.

На испытательной станции им освободили маленькую комнату, где хранилась рабочая одежда. «Гроссы» составили список оборудования. Часть оборудования была получена на складе, кое-что подбросили другие цеха и торжественно привезли на автокаре. Надю (девушку в беретике) сделали ответственной за техническую документацию.

Согласился работать над скрипкой и акустик Митя Нагорный.

Постепенно на заводе все шире становилось известным, что Иванчик и Сережа делают скрипку; их экспериментальную группу начали называть «Соперники Страдивари». Ребята не обижались.

Многие слышали в свое время выступление Андрея Косарева на заводе, когда он готовился к конкурсу; помнили звук настоящего Страдивари. От «гроссов» потребовали исторической справки на данное изделие и вынесли на обсуждение саму идею, ее техническую сторону.

Иванчик и Сережа начали готовиться к расширенному техническому совету. Подробнейшим образом изучили записки кладовщика и все, что касалось работ и исследований, проведенных Витачеком, а также скрипок бывшего крепостного графа Шереметева Ивана Андреевича Батова. Недавно Государственная коллекция приобрела одну скрипку Батова. Об этом Иванчик и Сережа прочитали в «Неделе». Узнали о работах Морозова, который в 1957 году на конкурсе мастеров скрипки имени Венявского в Познани получил почетный диплом; о Денисе Владимировиче Яровом, который в 1959 году в Асколи-Пичено, в Италии, на выставке альтов, получил Большую золотую медаль. О работах над советской скрипкой мастеров Жамраевского, Доброва, Кучерова, Матысина. Познакомились с Володей из музыкальной мастерской консерватории, куда они обратились за консультативной помощью. Володя составил список книг, необходимых для исторической справки. Список был вручен Наде, и она отправилась доставать книги.

Наконец настал день расширенного совета. Рабочая группа была в сборе. Пришли все заинтересованные и просто любопытные. Кое-кто из КБ и даже главный инженер и главный технолог. Володя из консерватории, кладовщик, ученик Дениса Владимировича Ярового Сеня Сташиков (его привел Володя), старик мастер с мебельной фабрики из цеха смычковых инструментов. Андрей не пришел, но зато явился Павлик Тареев, у которого чутье на всякие важные общественные события.

Перед началом заседания долго спорили, кому выступать — Сереже или Иванчику. Единогласно решили, что говорить от имени группы будет Иванчик, потому что Сережа обязательно перейдет на голые формулы, а среди слушателей много гостей, далеких от техники.

Иванчик вначале рассказал присутствующим, что скрипка (*violino* — по-итальянски, *violon* — по-французски) — самый высокий по звуку инструмент среди оркестровых смычковых инструментов. О происхождении скрипки существует ряд предположений. Одни исследователи считают, что предшественником скрипки был древнеиндийский инструмент раванастрон — цилиндр из тутового дерева с натянутой кожей удава. Предание гласит, что раванастрон изобрел царь Равана. Им пользовались жрецы Будды. По мнению других исследователей, предшественником скрипки был арабский инструмент ребабрамка из дерева, обтянутый пергаментом.

— Надо уточнить, — сказал Сеня Сташиков, — что форма была четырехугольной, не овальной.

— Да. Именно так, — кивнул Иванчик. — Скрипка, какой мы ее привыкли видеть, впервые была изготовлена в шестнадцатом веке Гаспаром Дуиффопругаром.

— Он был из Болоньи, — опять уточнил Сеня Сташиков.

— Из Болоньи, — вновь кивнул Иванчик. Он был невозмутим.

Сережа взглянул на Сташикова с неудовольствием.

— В мире насчитывается пять скрипок Дуиффопругара. Самой древней считают 1510 года. Была сделана для Франциска Первого. На ней инициалы короля, на нижней деке. На другой скрипке изображена «Богоматерь с младенцем». Предполагают, работа Леонардо да Винчи. — Казалось, Иванчик специально говорит так подробно о скрипках Дуиффопругара, чтобы Сташиков не смог больше его перебивать.

Сережа сразу успокоился, перестал с неудовольствием смотреть на Сташикова.

Иванчик и Сережа понимают друг друга мгновенно.

Потом Иванчик рассказал об Антонио Страдивари, или Страдивариусе, как он сам иногда подписывался, имя которого известно каждому человеку на земле, музыканту и немужыканту. О резонансном просушенном дереве, которое Страдивари специально подбирал для своих инструментов; рассказал о грунте, о лаке, о толщинах на деках. Состав лака уже открыт. В аптеке в Кремоне нашли некоторые записи. Англичанин Митчелман сжег счищенный со скрипки Страдивари лак и на спектрографе посмотрел его линии. Имеются работы химика-органика Хилла и многих других.

Лично идея «гроссов» была предельно четкой: с помощью электроники составить звуковой спектр лучшего итальянского инструмента и тогда с предельной точностью и без всяких, говоря техническим языком, погрешностей узнать о составе звука — какие именно компоненты обеспечивают то самое поэтическое звучание, тот самый итальянский тембр, свойственный инструментам Страдивари.

Иванчик перешел к изложению основной идеи группы «Соперники Страдивари». Заметно волновался: ему хотелось, чтобы все сидящие здесь поверили в возможность создания нового инструмента.

— Будет сделан копир на основании полученных данных. Лазер будет читать копир и управлять фрезами, которые будут вытачивать скрипку, копию запрограммированной. И вообще задачи самолетов остаются прежними, а формы их совершенствуются, меняются. Задачи автомобилей остаются прежними, а формы их совершенствуются, меняются. Так надо будет посту-

пить и в отношении скрипки. Это со временем,— утверждал Иванчик.— Тогда скрипка и обнаружит свои новые возможности, эстетические и технические. Найдя ее прежние слагаемые, можно будет заглянуть и в будущее.

Иванчик хотел еще сказать и о философском продукте человеческого мысли, но воздержался, чтобы не загромождать выступление.

У нынешней скрипки долгий путь развития. Так почему теперь ее путь должен закончиться? Необходимо создать инструмент на новых технических основах. Требуется просушенное дерево? Можно высушить высокой частотой. Надо обыграть скрипку в течение нескольких лет? Обыграют ультразвуком за несколько недель. Важно получить тончайший копир для станка. Это как минимум для начала.

Иванчик оглядел притихшую аудиторию.

Встал Володя:

— В музыке не бывает дважды два — четыре. Я вас предупреждаю, ребята.

Не выдержал и Сеня Сташиков:

— Скрипка всегда требует мастера-специалиста. Она индивидуальна, как индивидуальны исполнители.— Он заикался, очевидно, от волнения.

— Скрипка есть скрипка,— не выдержал Сережа.— Вибрационно-акустический аппарат. Кстати, исполнители индивидуальны и на роялях. Между прочим, сделал же скрипку Чернов! А он, как известно, был металлургом.

— Сделал. Не как металлург, а как музыкант,— ответил Володя.— И это огромная разница.— Володя попытался доказать, что еще в прошлом веке один страсбургский ученый сконструировал скрипку как физический прибор. Ничего не достиг, частоты разъехались, и скрипка потеряла себя.

Сеня Сташиков, преодолев заикание, сказал:

— На старинных роялях не играют. Они предметы истории. А скрипка с возрастом не только ничего не теряет, а приобретает. И прежде всего индивидуальность.

— Вы все не учитываете современный уровень техники,— вмешался Иванчик,— о чем я и говорил.

Иванчика поддержал кто-то из КБ. Попытался взять слово и главный технолог. У него были рекомендации в отношении специальной измерительной аппаратуры, которую он хотел предложить ребятам. Главный инженер тихонько переговаривался с Надей, просматривал книги и конспекты «гроссов». Кладовщик пока молчал. Мастер с мебельной фабрики тоже молчал. Очень хотелось выступить Павлику. Он ждал удобного случая. Он готов приветствовать идею Иванчика и Сережи, он за технический прогресс.

По Петербургу шел человек в темном пальто и в глубоко надвинутой на глаза шапке. Было холодно, дул зимний ветер.

В Петербургской консерватории, в Малом зале, сегодня решалась его судьба. Нет, судьба его давно уже решилась: он знаменитый профессор, почетный член Русского технического общества, американского Института горных инженеров, вице-председатель английского Института железа и стали.

Но он с юных лет очень любил музыку и хотел разгадать секрет Страдивари, пытался сделать скрипку.

После лекций в артиллерийской академии садился дома и выпиливал, выстругивал деки, покрывал грунтом и лаком в пять, десять, пятнадцать слоев. Изменял форму деки, размер бокового выреза, колковую коробку. Он старался получить один-единственный, итальянский звук. Но звук не получался. Профессор тратил годы жизни. Он присутствовал в скрипичной мастерской «на реставрации со вскрытием» — когда скрипку Страдивари разобрали на части. Можно было все измерить и исследовать детально. Вместе с другими мастерами-реставраторами он исследовал Страдивари, сделал подробные чертежи. Он нашел копии с рисунков и набросков отдельных деталей скрипок самого Страдивари. И опять ничего не добился.

Только теперь он сделал инструмент, к которому стремился. Кажется, сделал. На семидесятом году жизни. Из ели, которую привез с Кавказа еще восемь лет назад, и клена, который привез с Урала. Сам его спилил. И вот, кажется, что-то получилось. Этот последний инструмент он продержал три года у себя: скрипка сушилась в лаборатории, где он разрабатывал технологию изготовления бронебойных снарядов. Он ждал, когда она станет легкой, как лист клена осенью.

Сегодня скрипка вступит в соревнование с итальянскими. Никто в зале из специалистов не должен знать, когда исполнители будут играть на его скрипке, когда на итальянских. Его скрипка «карась», задача специалистов — поймать «карася». Может, и не надо будет стараться: поймут без труда. Он шел медленно, не торопился. Он боялся торопиться.

Когда профессор Чернов вошел в вестибюль Малого зала Петербургской консерватории, он прежде всего спросил у швейцара:

— Играют?

— Играют, Дмитрий Константинович. Еще не поймали.

Профессор Чернов сделал двенадцать скрипок. На его скрипках играли Ауэр и Изан. После гражданской войны скрипки Чернова пропали. Все до последней. Может быть, в мире они существуют. Хотя бы одна из двенадцати. И может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее найдет. По звучанию она почти не отличается от самых именитых итальянских.

...В новой лаборатории стоит специальное устройство, на котором «гроссы» закрепили скрипку Страдивари.

Скрипку выдали в Госколлекции. И это было, пожалуй, самое пока что трудное в их работе — получить скрипку. Имелось гарантийное письмо от завода, помог комитет комсомола консерватории. В комитете «гроссы» изложили идею, ради которой заводу требовался подлинный Страдивари, рассказали о ходе предполагаемых опытов, а главное, объяснили, что инструменту не будет нанесено ни малейшего ущерба. Володя, из консерваторской мастерской, это подтвердил. Все равно скрипку долго не давали. Ребята не обижались. Они понимали, что они просят.

Иванчик сказал заведующему Госколлекцией:

— Астрономы отдают на время свою звезду, чтобы за ней понаблюдали другие.

Заведующий улыбнулся и уже не мог ничего возразить. Но поставил условия: во-первых, на опытах со Страдивари должен присутствовать Володя, во-вторых, на ночь скрипку следовало возвращать в Госколлекцию, в специальные условия хранения. Приносить скрипку должен будет или Володя или Андрей, который уже имел доступ к этим инструментам.

И вот наконец первые испытания.

В маленькой комнате при испытательной станции собралась вся группа «Соперники Страдивари».

Горели трубки дневного света в плоском футляре, прикрепленном к потолку двумя тросиками. В мягких войлочных прокладках была укреплена скрипка. Лента из конского волоса, накинута — концы ее были связаны, чтобы получилась одна петля, — заменяла смычок. Вращал ее мотор. Он был подвешен на пружинах-амортизаторах. Мотор и петля из конского волоса — это бесконечный смычок, а значит, создается и бесконечный звук.

Над скрипкой установлен звукозаписывающий, и звук, превращаясь в пульсацию, подается на электронный спектрометр-анализатор, и на матовом экране высвечиваются сигналы обертонов, которые формируют основной звук.

К верхней и нижней декам тоже приставлены чувствительные датчики — улавливают колебания дек. Шуршат бумажные ленты под самописцами.

Смычок-петля делает круг за кругом по струнам. Надя подносит к нему брусок канифоли. На механическом смычке канифоль сгорает быстро.

В комнате около дверей стоит Андрей Косарев. Он смотрит на зажатого в тисках Страдивари, на котором он играл в Югославии и победил, и старается не видеть его в таком положении. Ему казалось, что это его теперь раскладывают на составные элементы, к нему подключены датчики, самописцы и экраны.

«Гроссы» обрадовались приходу Андрея. Им нужна была его помощь. И вообще «гроссы» любили Андрея.

Андрей наблюдал за испытанием и думал, сумеет ли он играть на физико-акустической скрипке? В каждую скрипку мастер вселяет свое видение и понимание прекрасного, свой талант. Каждая скрипка, у одного и того же мастера, по-разному живет и дышит. Может быть, это сентиментальность? Чувствительность? Ветхозаветность? И этого не должно быть в современном человеке? А то, что каждый исполнитель подбирает себе инструмент, проверяет, как он будет на нем «устроен», это что такое? Ветхозаветность? Сентиментальность? А Сеня Сташиков, Володя, кладовщик, они кто?

Андрею все последние дни казалось, что он сам себя загоняет в угол, что он не помогает себе, а мешает. И что так он не выберется снова на ясную и определенную дорогу. Иванчик и Сережа будто пытаются узнать секрет Андрея, раскладывают его талант на импульсы, диаграммы, спектры. А разве у Андрея есть тайна собственного таланта? Его тайна? Андрей теперь не защищен, и сам себя защитить пока что не в состоянии. Скрипку защитить он не в состоянии, хотя он уверен, что никакой копир никогда не заменит единичности прекрасного.

Вечером Андрей вышел с завода. Он нес чехол со Страдивари. Опять вспоминал, как с этим инструментом он был счастлив, ему все удавалось. И Рита тогда была. И сейчас она ехала с ним вместе в троллейбусе по городу, в ботинках из нерпы, в коротеньком спортивном пальто и в неизменном шарфе. От брови до края верхнего века наложен тон под цвет глаз. Так она красила глаза в последнее время. Никому не позволяла догадываться, что она больна, не позволяла себя жалеть.

Или это он успокаивает себя, оправдывает. Она рисковала каждый день, каждый час. Он этого не понимал по-настоящему, по-серьезному. Она смеялась и гладила ладонями снег, сметенный в сугробы. Ей всегда, очевидно, было лучше зимой, или это он придумывает сейчас, потому что зимой он ее поцеловал в первый раз, и теперь это была первая зима без нее.

Андрей сошел с троллейбуса на остановке около Выставочного зала Манежа и по улице Герцена направился в консерваторию.

Клуб МГУ со своей маленькой афишей, напротив — Зоологический музей, и в его окнах можно увидеть чучела зверей. Булочная с очень узкой дверью на жесткой пружине, дальше — рыбный магазин, в который утром в цистерне привозят свежую рыбу и вынимают ее большим сачком. На другой стороне, на углу, небольшой галантерейный магазин, где из пуговиц на витрине составляют забавные орнаменты. Делает их продавщица Зоя, она бывает на всех студенческих концертах.

Андрей свернул к дверям консерватории, разделся и через буфет прошел в Большой зал.

В фойе горели только дежурные лампы. В зале репетировал пианист. Андрей поднялся на балкон левой стороны и прошел по темноватому коридору. Пианист перестал играть, и было очень тихо. За большими окнами был город, был снег. Вдруг Андрей увидел, что кто-то сидит на бархатной скамеечке, недалеко от дверей Госколлекции. Это была младшая Витя. На полу стоял ученический портфель.

Витя заметила Андрея и встала. Он подошел к ней. Она улыбнулась.

— Мне сказали, что вы скоро сюда придете, и я вот... — Она развела руками. — Я осталась, чтобы вас подождать. Там в зале кто-то играет. Я слушала. — Девочка Витя говорила и, очевидно, боялась, что Андрей скажет что-нибудь строгое, что разрушит ее настроение. — И потом, знаете, когда он там в зале перестает играть и вздыхает, сюда слышно.

— Я рад, что тебе понравилось здесь, — сказал Андрей. — Я отдам скрипку и покажу консерваторию, хочешь?

— Хочу.

Андрей сдал в Госколлекцию скрипку и вышел к девочке Вите.

— Он опять вздыхал там, на сцене, — сказала она.

— Пойдем туда.

Они спустились с балкона и вошли в партер.

Репетировал студент третьего курса.

— Тебя долго не было видно в консерватории, — сказал студент Андрею.

— Сыграй нам, — попросил Андрей. Он не хотел, чтобы его спрашивали о чем-нибудь.

— Я готовлю Генделя.

Андрей и младшая Витя сели в первый ряд. Портфель Витя поставила на пол. Студент начал играть, Андрей опять подумал, что никто лучше Генделя не передал это еле слышное падение снега.

Потом Андрей и младшая Витя пошли дальше по консерватории, наполненной вечерними звуками. Звуки рождались и исчезали среди притушенных огней, стен и паркета, который иногда поскрипывал под ногами, каменных ступенек, вытертых, похожих на корытца.

Андрей и младшая Витя переходили с этажа на этаж. Андрей показывал знаменитые классы с мемориальными досками: «Класс проф. Гольденвейзера», «Класс проф. Нейгауза». Оперная студия со своей сценой, выставка нотной литературы, методический кабинет, фольклорный кабинет. На стенах картонные таблички: «Просим не шуметь!» Кто-то дописал цветным каран-

дашом на одной из табличек: «Здесь занимаются современно-вековые рыцари Белой и Черной клавиши».

— А вы мне покажете класс, в котором вы учитесь? — спросила девочка Витя.

— Покажу.

Андрей шел между белыми дверями с бронзовыми ручками. Вспомнил строчку из стихов — начало иногда бывает в конце. А может быть, жить — значит постоянно рождаться? Это Экзюпери.

Когда Андрей и девочка Витя расставались, она сказала:

— У меня сегодня день рождения. — И быстро добавила, потому что боялась, что он ей не поверит: — Это правда. Я родилась в семь часов утра. Мне рассказывала мама.

Андрей посмотрел на нее и увидел перед собой лосенка с белой меткой.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Каждое утро звонит в коридоре телефон, и один и тот же голос говорит Оле good morning — доброе утро. Когда это случилось в первый раз, Оля растерялась. Никак не ожидала звонка: древний по виду телефон — отдельно наушник и трубка для разговора, — предназначенный для внутреннего пользования, вдруг зазвонил. Теперь она привыкла. Звонит портье гостиницы, будит проживающих, чтобы они не опоздали на завтрак. В оплату за место в гостинице входит и оплата завтрака. Завтрак всегда одинаков — бекон, яичко, апельсиновое повидло, круглая булочка и чай с молоком. Оля к этому привыкла. Ей даже нравилось такое постоянство, как и звонки портье.

Оля живет в отеле «Эмбасси» — Embassy Hotel. Рядом с Гайд-парком. Из окна видно небольшое озеро. На нем плавают по утрам дикие утки. Они не пугаются больших тяжелых двухэтажных автобусов «доппельдеккеров», которые с шумом проезжают совсем недалеко от озера.

Как только приземлился самолет и Оля подошла к эмиграционному чиновнику, который регистрировал приезжающих в Лондон — кто? откуда? цель поездки? на какой срок? — в зале аэропорта она увидела мистера Грейнджера. Он стоял за барьером эмиграционной службы, высокий, сухошавый, коротко стриженный. Совсем такой, каким был четыре года назад в Москве. Оля хорошо его запомнила. Кажется, и он тоже хорошо ее запомнил, потому что поднял шляпу и повертел над головой. Оля подняла руку и тоже повертела над головой, потом смутилась: вдруг перепутала и это не мистер Грейнджер?

Визит продлится неделю. Открытие европейского органного

симпозиума с воборе St. Mary, потом поездка в Оксфорд, в Виндзор и в Стратфорд-на-Эйвоне, где родился Шекспир.

Английский язык Оля учила в школе еще с третьего класса, но потом с пятого класса перешла на немецкий. Немецкий — это язык великих органистов, язык Баха. Оля должна была его знать, хотя бы в той степени, чтобы разбирать тексты к нотам. Но ей хотелось знать его лучше, хотелось читать об органистах книги, изданные в Германии и Австрии. Книгу Швейцера. Никто еще до сих пор не написал серьезнее о Бахе, чем Швейцер. Оля помнила фотографию Швейцера — он сидит за органом в белой рубашке с закатанными рукавами, лицо усталое. Очевидно, только что кончил играть.

Оля выучила немецкий язык, как она выучила и древнерусский. Сейчас ей нужен был английский: хотелось быть самостоятельной в чужой стране. Но то, что в аэропорту оказался мистер Грейнджер, Олю обрадовало. Значит, он действительно хочет ее видеть на симпозиуме, и, значит, действительно он ее не забыл.

С мистером Грейнджером Оля виделась в Москве после концерта в Малом зале еще раз. Мистер Грейнджер приходил в музыкальную школу, посетил органный класс, где стоял «Опус-19». Он хотел взглянуть на учебные органы. Оля сыграла ему Прелюдию и фугу си-минор. Мистер Грейнджер сказал, что у нее хорошее Werkzeuge<sup>1</sup>.

Мистер Грейнджер сел за «Опус-19». Подрегулировал скамью, тронул педальные клавиши. В органный класс проникли ученики школы. Гусев и Юра Ветлугин стояли в первом ряду. Юра Ветлугин заинтересовался органом. Недавно он попросил Олю, чтобы посмотрела его сочинение, там есть партия для органа. Над сочинением работал все эти годы. Так он сказал. «Ты композитор, — сказал он еще, — и ты поймешь меня как композитора».

Мистер Грейнджер сам поставил регистровку, но постепенно Оля начала помогать ему. Никто лучше ее не знал «Опус-19». Мистер Грейнджер одобрительно кивал, когда Оля вставляла тот или иной регистр, в особенности микстуры.

Теперь мистер Грейнджер ждет от нее, очевидно, такого же Баха, с теми же безупречными регистрами. А Оля? Что она? Везет совсем не Баха.

Мистер Грейнджер усадил Олю в машину, и они поехали с аэродрома в город. Мистер Грейнджер говорил, Оля только кивала. Она не понимала по словам, о чем говорил мистер Грейнджер, но понимала по общему смыслу, по какому-то музыкальному восприятию фраз.

<sup>1</sup> Правдивость, взыскательность (нем.).

Было страшновато на перекрестках, когда мистер Грейнджер делал поворот вправо: движение левостороннее, и казалось, что они после поворота едут навстречу движению. Оля даже негромко вскрикнула. Мистер Грейнджер не понимал, в чем дело, и только потом догадался. Это его искренне развеселило. Он засмеялся и покачал головой.

Олю поселили в гостинице, в той ее части, где не было отдельных номеров, а были квартиры. В квартире, если ты ее не занимал целиком, жило несколько постояльцев. Оле досталась детская комната. В ней были забавные рисунки на обоях, кровать, тоже с забавными рисунками на покрывале, ящик для игрушек.

Оля вставала рано, принимала душ. Вода пахла рекой. Олю удивляло, как быстро вода утекала в трубу с засасывающим звуком. Звук органной трубы, когда труба западает и гудит. Так бывает в органе. Так было даже в Домском соборе в Риге, где Оля пробовала свою программу.

Домский собор поразил Олю: позеленевшая от времени крыша, часы, тоже позеленевшие от времени, высокий шпиль, на конце шпиля — петух. Оля поднялась к органу по лестнице, примерно как если бы она поднялась в обычном доме на четвертый этаж. Было восемь вечера. Фрау Ага, хранительница органа — преклонного возраста женщина, — сняла тонкую бархатную полосу, которая перекрывала лестницу к органу, осмотрела Олю, в особенности ее туфли, и только тогда пропустила наверх.

Шпильтыш Домского собора — кафедра темного дерева, вытертая по углам до блеска. Скамья тоже вытерта до блеска. Между прочим, кафедра и скамья в соборе St. Mary — копия кафедры и скамьи в Домском соборе.

Проспект органа был украшен вырезанными из дерева головами зверей. Была еще голова девушки и еще какие-то фигуры.

Оля не сумела сыграть русскую программу. Неподвижно просидела в темноте под гигантскими темными сводами. Не могла побороть условия, в которых находилась. Храм, орган в храме, старая готическая Рига.

Это была слабость. И это пугало, потому что слабость оборачивалась, казалось, непреодолимой силой.

Женщина из иностранного отдела предупреждала — времени менять программу не будет. Олю это совсем затормозило, сковало. Оля отчетливо помнит, как у нее вдоль спины змейкой пополз страх и тело начало наполняться холодом. Потеряли эластичность, застыли пальцы.

Фрау Ага поднялась к Оле, спросила, что с органом. Не с Олей, с органом.

— С органом ничего, — сказала Оля.

— Включайте, — сказала фрау Ага.

— Нет,— сказала Оля.— Не теперь.

— Как «не теперь»?·

— Я уйду.

— Куда?

— Забыла взять ноты.

Ноты она взяла. Да и свою музыку знала наизусть. Она ничего не могла придумать другого, почему не включает орган.

— Вы забыла ноты! — в голосе фрау Аги было возмущение.— Вы забыла ноты! — повторила она, и возмущение ее возросло. Если бы она еще раз повторила эту фразу, то почти гневно выкрикнула бы. Оля это поняла.

Но почему, почему Оля не подумала, что на таком органе, в таком храме, да еще если это будет в Лондоне, она не сумеет сыграть русскую музыку! Почему сразу не поняла?

Оля готова была бить себя по голове кулаком долго и сильно. Самонадеянная, неразумная девчонка! Заявила, что справится с программой, подготовит. Но ведь ясно, что она чувствовала русскую музыку в определенных условиях. Вне этих условий все было абстрактным. Так же, как она абстрактно победила любовь к Андрею. Абстрактно!

— Что с вами? — испугалась фрау Ага.

Оля повалилась головой на кафедру и сначала тихонько, а потом все сильнее била себя кулаком по голове. Она даже точно не знала, за что именно — за неудачу с органом, за любовь к Андрею? Прорвалось, и не удержать, не справиться с этим. Душат слезы, сжимается, немеет сердце, и, совсем как когда-то, хотелось бежать от себя, от органа, от музыки, от любви.

— Что с вами? — Фрау Ага схватила ее за руку.— Что с вами? Ноты? Это из-за нот?

Оля подняла лицо, взглянула на фрау Агу

— Ноты я принесла.

— Принесла?

— Они мне не нужны. Ничего не нужно.

В ночном храме тишина. Ни один звук не попадает с улицы сквозь метровые стены. Храм построен шесть веков назад. Тогда же была создана эта тишина — устрашающая, чужая. Оля никак не могла справиться с собой. Вдруг она отчетливо вспомнила: мать Андрея, показывая на нее пальцем, выкрикивает: «Виновата эта девочка!»

Кира Викторовна вошла к Оле в комнату рано утром. Прилетела первым самолетом. Оля встретила Киру Викторовну в халате. Извинилась. Хотела все объяснить. Кира Викторовна подняла руку — ни слова.

— Одевайся.

Оля взяла платье и пошла в ванную комнату. Умылась, причесалась, надела платье. Слышала, как из угла в угол, громко стуча каблуками, ходила Кира Викторовна. Привычно и поэтому успокаивающе звучали ее шаги. Она сейчас здесь, рядом. «Как это хорошо», — думала Оля.

Кира Викторовна разговаривала по телефону. Оля продолжала стоять перед зеркалом. Все-таки подействовала на нее обстановка в соборе, собственное бессилие, возникшее от обстановки. «Вот и все,— убеждала она себя.— Вот и все».

Вошла Кира Викторовна.

— Ну?..

Оля попыталась улыбнуться.

— Я вызвала такси. Поедем в Домский зал.

Оля молчала. С чего начать разговор, потому что разговор должен все-таки произойти. Но Кира Викторовна сказала:

— Вчерашнего не надо.

— Это сильнее меня.

— Не сильнее. Тебе показалось. Твой первый орган в чужом городе.

Кира Викторовна и Оля ехали в такси. Был солнечный день. Город заполнен людьми, особенно людно в улочках старой Риги.

— Что такое братство Черноголовых? — спросила Оля Киру Викторовну.— В соборе была отдельная скамья для них.

— Не имеет значения.

— В Риге и дома сохранились братства Черноголовых,— сказал шофер.— Всего-навсего — союз купцов. Холостяков, кажется.— Шофер улыбнулся. Он был веселым, разговорчивым человеком. Его не раздражала даже теснота улиц.

В соборе Киру Викторовну и Олю встретила все та же фрау Ага. Из разговора фрау Аги и Киры Викторовны Оля поняла, что Кира Викторовна успела позвонить по телефону из гостиницы не только в таксопарк, но и фрау Аге.

— Мы пройдем к органу,— сказала Кира Викторовна.

— Лудзу, лудзу,— заговорила фрау Ага по-латышски.— Пожалуйста.

Отстегнула черную ленту. Оля пошла первой, за ней Кира Викторовна.

Фрау Ага вдруг окликнула их, спросила, можно ли пропустить группу туристов в собор, люди приехали издалека.

— Пустите,— ответила Кира Викторовна.

— Палдиес,— поблагодарила фрау Ага.

Оля вышла на балкон к органу. Интересно, какой стороной повернут к городу флюгер-петух: золотой или темной? Золотой — значит, попутный ветер и в город приплывут корабли,

темной — ветер не попутный и корабли не приплывут. Так было в древности. Об этом тоже рассказал шофер такси.

Кафедра органа была открыта, и от нее пахло старым деревом. Или это запах всего собора? Оля старалась теперь не обращать на это внимания. И как там флюгер повернут — давно не имеет значения.

Внизу в зале слышались негромкие голоса: пришли туристы. Фрау Ага что-то им объясняла из истории собора, может быть, о рыцарях-крестоносцах.

Оля села за орган. Включила вентиляторы, которые наполнили орган потоками воздуха. Кира Викторовна поставила ноты.

— Ты увидишь то, что будешь играть.

— Вчера я не смогла.

— Забудь, что было вчера. Я тебе уже сказала об этом.

Там, где была Кира Викторовна, создавался микроклимат школы с его самыми светлыми надеждами во всем. Оле сейчас необходимо было детство, потому что в детстве она впервые победила себя, свою слабость в чувствах.

В храме прежде всего надо бросить вызов крестоносцам: подкатать рукава у платья и начать так, как будто бы ты поднимаешь меч. Оля держала в руках настоящий меч совсем недавно. Сила для борьбы. Сила против силы.

— Можно, я одна, — сказала Оля.

— Я была уверена, что ты об этом попросишь.

— Спасибо вам, Кира Викторовна.

Кира Викторовна кивнула и пошла вниз по лестнице.

Оля медленно коснулась рукоятки меча, а потом решительно и быстро всеми своими силами подняла меч над головой.

В это утро в Лондоне Оля долго слушала, как в трубу уходит вода, пахнувшая свежей рекой, и труба издает протяжный звук. Как тогда в Риге во время концерта. Уже вечером на публике. В перерыве мастер трубу отключил, чтобы потом исправить. На концерте присутствовал главный органист Латвии. Его попросила об этом Кира Викторовна, перед тем как улететь в Москву. Главный органист, когда Оля закончила свое выступление, долго смотрел на нее, будто бы пытался что-то понять для себя. Может быть, он видел меч, который она положила на землю, и меч еще лежал у ее ног. Оля и сама понимала, что битву выиграла.

Сейчас Оля у себя в номере в отеле «Эмбасси» вытерлась насухо полотенцем. Особенно долго терла руки, чтобы разогрелись. Руки — ее постоянная забота: мерзнут даже летом.

Оля спустилась завтракать. В ресторане уже было много на-

рода. Оля нашла свободный столик. Бекон, яички, булочка, повидло, чай с молоком. Все, как всегда.

До репетиции оставалось еще время, и Оля вновь поднялась к себе в комнату. Постояла, как Андрей, у окна. Потом осторожно прилегла на кровать. Сегодня она выступает. «Не ослабевайте!» — сказал старец Альберт своему ученику юному Баху. Оля будет состязаться с Бахом как с органистом. Бах любил состязаться.

— Святая Цецилия, — зашептала Оля, — помоги не ослабнуть...

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дом стоял на отвесной скале, а снизу наступали морские волны. Дом известен по многочисленным открыткам и документальным фильмам о Крыме — Ласточкино гнездо. Построил его в начале века для своей прихоти некий выдумщик. Дом — как бы завершение скалы. Теперь здесь кафе. На втором этаже, в маленькой круглой комнате, стоит круглый стол. Есть дверь на балкон. Балкон висит над морем, над небольшой пристанью мыса Ай-Тадор, куда причаливают рейсовые катера из Ялты.

Санди и Ладя сидят за круглым столом в круглой комнате. Перед ними две узенькие рюмочки с вином. Санди смотрит в море. Синева моря отражается на стенах, на стеклянном плафоне, на столе, на узеньких рюмочках.

Санди и Ладя приехали в Ялту в свадебное путешествие. В цирковом училище на доске объявлений появился приказ: «Мержанову Александру Владимировну, студентку четвертого курса отделения клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады, считать Брагиной во изменение фамилии. Основание — свидетельство о браке, выданное загсом Дзержинского района города Москвы».

Мелкими глотками Санди пьет вино, иногда поднимает рюмочку и смотрит на свет, как проникает в вино солнце и горит внутри рюмочки желтым светом. Санди пьет вино, все равно что откусывает по кусочку конфету. Слушает забавную граммофонную музыку (внизу, на первом этаже, стоит настоящий граммофон), слушает смех ребят, которые заводят граммофон и, очевидно, танцуют под него. Ей нравятся катера, которые причаливают к пристани с серьезностью настоящих кораблей, бросают канаты, включают задний ход, из окна рубки выглядывает капитан в великолепной фуражке. Когда корабль включает мощные обороты винта и дает задний ход, в воде вскипает пенное облако.

Санди вынула из вазочки салфетку и начала сворачивать



из нее стрелку, какие сворачивают школьники из тетрадных листов.

— Никогда человек не может быть счастлив один, — сказала Санди.

— Тогда я буду счастлив всегда.

— Японцам нравится наблюдать за луной. Называется — искусство смотреть на луну. Мы сейчас смотрим на море и на солнце.

— И друг на друга. Японцы смотрят друг на друга?

— Я эгоистка, правда?

— Ничуть.

— Скажи, что я эгоистка и что я мешаю тебе.

— Не скажу. Хочешь, сочиню о тебе песню?

— Не хочу.

— Почему?

— Обманешь.

— Кого я обманул?

— Арчибальда. Обещал ему, что он поедет с нами. ЖЭК обманул, сказал, что брат работает в столе находок. Позорный стыд и выпад против археологии.

— Но брат вернулся из экспедиции и восстановил истину.

— Я тоже хочу восстановить истину — я эгоистка?

— Ты упрямый японец.

Ладя смотрел на Санди, на ее лицо и на ее потемневшие на солнце плечи в широком вырезе платья, на ее тонкие сильные руки, гибкую фигуру. Ладя и Санди хотели побыть в неподвижности, в остановившемся времени, в остановившихся словах, смешных и даже нелепых. Поверить в собственность друг над другом.

Они допили вино. Санди прошла на балкон и пустила бумажную стрелку. Стрелка полетела над морем, будто перо, обреченное чайкой.

Потом они вышли из кафе. Ладя обнял Санди, и она положила голову ему на плечо. Они медленно шли по тропинке. Он видел уголок ее глаза сквозь прогретые солнцем волосы. Он видел ее губы. Она зажала ими прядь волос, чтобы не трепал ветер. Он чувствовал под рукой, которой он ее обнял, юную силу, равную ему.

Он знал, что и Санди это чувствует, именно так, именно сейчас. Не потому, что идут рядом, что ее голова у него на плече, и не потому, что он обнял ее, а это было и когда они сидели в кафе над обрывом, и когда шли сюда из Ялты, и когда ехали сюда из Москвы, и когда они были еще в Москве, и когда они вообще не видели и не знали еще друг о друге, но были уверены, что они есть, существуют и будет назначен день и час их встречи. Будет определена их дальнейшая жизнь. А может быть, ничего

не будет определено, а будет все отыскиваться каждый день и каждый час, потому что не хочется ничего заимствовать из опыта других, кто пытается им что-то объяснить, от чего-то предостеречь, в чем-то образумить. Неразумность во всем — этого хочется. Даже в том, что они умчались в Крым на пять дней, устроили свадебное путешествие, было что-то неразумное. Им хотелось побывать в новом для них качестве в тех местах, где они уже были вдвоем и где они решили, что будут вдвоем, и даже оставили в небольшой щели в скале две плоские гальки. Теперь камни лежат у них в комнате на столе.

Санди познакомилась с художником-монументалистом, который вырезал ножницами из черной бумаги силуэты.

Санди попробовала вырезать его профиль. Он вырезал профиль Санди. Прodelал это мастерски, заложив руки с бумагой и ножницами за спину. Теперь Санди и художник друзья. Санди обучается у него профессии художника монументалиста-силуэтиста. Вырезает Ладю ежедневно десять раз.

Ладя повернул голову Санди к себе, заглянул в глаза. У Санди они были чуть шире раздвинуты, чем это, может быть, полагалось, но от этого лицо ее было только озорнее и лучше. Санди разжала губы, выпустила прядь волос. Подхватенная ветром, прядь запуталась на ее лице. И тогда Ладя — как он в детстве с возмущением кричал: «Где же меценаты!» — с гордостью кричит: «Она моя жена!», хотя никого вокруг нет, кроме какой-то птицы на высоких тонких ногах.

Санди смеется и вновь ловит губами прядь волос, удерживает от ветра, смотрит на Ладю. Ладя остался Ладей, ей от этого особенно радостно. Она не хочет в нем никаких перемен, не хочет в нем никаких новых достоинств, потому что она его любит.

Они лежали на мелкой гальке у самого моря. Это было под ливадийским виноградником, где сохранился еще кусок дикого пляжа без тентов, зонтиков и лежаков. Сюда приходили мальчишки с удочками, солдаты, свободные от дежурств у пограничного прожектора. Здесь валялись на берегу выброшенные прибоем глиняные черепки, куски просоленного морем дерева, прошлогодние ягоды винограда, затвердевшие и превратившиеся тоже в коричневые камушки. Здесь не было курортной Ялты, а был диковатый старый Крым.

Санди закрыла глаза и лежала без движения. Солнце было поздним, осенним, но еще теплым. Можно быть на пляже — не купаться, а просто лежать. Ладя смотрел на Санди. Он радовался, что она теперь постоянно рядом с ним и, если дотронется до нее, она тут же откроет глаза и повернется к нему.

Санди сказала:

— Расскажи о своей маме.

Почему вдруг? Но то, что она это сделала именно здесь, при полном их счастье, когда, казалось, ничего и никого им больше не надо было, приятно поразило Ладю и взволновало. Значит, она об этом думала и только искала подходящий случай, чтобы спросить. Особой душевной тишины, которая была бы у них обоих для такой просьбы и для ответа на такую просьбу. Ладя сказал ей то, что он никогда никому не говорил:

— Я ее совсем не запомнил. Не сумел.

— Совсем?

— Только что-то такое, что, может быть, я и придумал.

— Не придумал,— сказала Санди.— Ты запомнил. Все это было.

Санди положила голову ему на руку так, чтобы щекой быть на его ладони. Ветер с моря шевельнул ее волосы и потом засыпал ими Ладино лицо. Ладе от этого сделалось привычно спокойно.

— Андрей играет хорошо,— сказала Санди.

— Я не думаю сейчас об этом.

— Я тоже. Но я виновата перед тобой,— сказала она вдруг и ничего больше не объяснила.

Летний театр-эстрада. Ряды пустых деревянных скамеек. Над сценой полукруглая крыша с маленькой лирой посредине, вырезанной из фанеры.

В театр входит Санди. Идет вдоль пустых рядов, делает вид, что у нее в руках сумочка и что она из сумочки достает билет, потом начинает искать свое место. Наконец находит и садится.

Сегодня Ладя будет играть для Санди. Они последний день в Ялте. Завтра уезжают. Санди сидит ждет. Появляется знакомая птица на высоких тонких ногах. Очевидно, не хочет пропустить последний концерт в сезоне на летней эстраде.

Ладя поднимает скрипку, медленно приближает смычок к струнам и начинает играть. Скрипка поднята высоко, и кажется, он не видит пустого летнего театра.

Санди слушает.

Она затихает в неподвижности, и лицо ее очень серьезно. Ладя играет удивительно и так сильно, что Санди от волнения даже бледнеет. Она знает, что Ладя талантлив, но только сегодня, сейчас она понимает, что перед ней Великий Скрипач, а в его музыке сейчас только она, Санди,— ее голос, ее движения, руки, глаза, губы. И еще в музыке особое беззвучное «да». У любви есть беззвучное «да», главное, решающее. Люди молча протягивают его друг другу. Если кто-то кому-то не подарит беззвучное «да», значит, он никогда не подарит и свою любовь, не сделает ее единственной и окончательной.

Ладя протягивал Санди беззвучное «да» — свою единственную и окончательную любовь.

Франсуаза улетела в Париж на ноябрьские каникулы. Пришлось лететь раньше Нового года, потому что мама уезжала в длительную командировку — в дом Сезанна и в места, связанные с жизнью Сезанна. Делать репортаж. Дом Сезанна на окраине Эссекса. Значит, опять рядом с Камаргой. Франсуаза бывала в доме Сезанна с отцом. Отец любил смотреть на его картины, посвященные Провансу. В доме пахло сухой лавандой, лежали на полу рядом с мольбертами сухие тыквы, старинные толстостенные бутылки. Свешивались с потолка низки чеснока и лука.

То, что мама опять едет туда, где папа, это хорошо. Перед отъездом мама хотела повидать Франсуазу. По телефону сказала: «Может быть, у тебя есть что-нибудь важное ко мне? Ты заканчиваешь школу?»

Догадывается мама, что может быть что-нибудь важное, или нет? Хотела мама этого или нет? Вопрос не дает Франсуазе покоя.

Франсуаза и Павлик вышли на Тверской бульвар. Франсуаза надо было за билетом на самолет. Павлик ее провожал. Они решили спуститься по улице Горького до проспекта Карла Маркса и потом выйти к кассам «Эр Франс». Чем длиннее путь, тем лучше.

— Сходим в музей искусств,— сказала Франсуаза.

— Зачем? — удивился Павлик.

— Посмотрим Сезанна. Хочу показать тебе Прованс.

— А билет на самолет?

— Успокойся.

— Успеется.

— Да. Успеется.

— Когда ты уезжаешь, ты всегда хуже говоришь по-русски.

Они спустились на проспект Карла Маркса и повернули не налево, к кассам на самолет, а направо, к музею.

— Я знаю только прованское масло.— Павлик пошутил, но шутка не получилась. Шутки никогда ему не удавались.

Ей не хотелось видеть его грустным и самой не хотелось быть грустной. Один из них оставался в Москве, а другой — улетал из Москвы. Франсуаза улетала из Москвы и прежде, но тогда Франсуаза и Павлик не были вместе. Тогда Франсуаза играла еще в хоккей.

— Мне нравится твой отец,— сказала Франсуаза.— Он похож на моего. Большой, сильный и... множечко застенчивый. Не перебивай! Мне нравится это слово! Оно мое. А почему Ван Гог отрезал себе ухо?

— Не знаю.

— С ним спорили, и он отрезал. Вот.— Франсуаза провела указательным пальцем по краю своего уха.

Павлик засмеялся. Франсуаза засмеялась. Она хотела, чтобы он засмеялся и чтобы не всегда только бы он все знал.

В музее Франсуаза быстро нашла полотна французских художников.

— Видишь, акведук нарисован? Он недалеко от дома Сезанна в Эссексе. Римский, из прошлых веков. Я там бывала. Папа меня возил. В Эссексе главная улица в огромных платанах. Вся зеленая. Неба нет. Листья. Птицы громко поют. Утром сильнее, чем ездят автомобили. И все время крыши из глины кусочками.

— Черепица.

— Черепица. Да. А вот «Мост над прудом» Сезанна. «Равнина у горы святой Виктории». Гора в чернилах.

— Фиолетовая.

— Фиолетовая. И всегда камыш везде растет. Он защищает от мистралья сады. Яблоки, груши падают и лежат, где камыш. Ренуар, «Купание на Сене». Марке, «Мост Сен-Мишель в Париже». Студенты называют бульвар Сен-Мишель Бульмиш. Опять Сезанн, «Берега Марны».

Франсуаза тянула Павлика от полотна к полотну, и он понял, что она сюда часто ходила.

— Ван Гог, «Красные виноградники в Арле». Арль совсем недалеко от папы, от Камарги. Здесь арена и показывают стэнди — как остановить дикого быка. Это очень трудно—удержаться на черном диком быке верхом. Если свалишься, надо убежать или прятаться в пустой бочке.

Теперь Павлик шел впереди и рассматривал картины, а Франсуаза шла сзади, пока он не протянул руку, и они пошли вместе. Франсуаза хотела поселить его в свое детство, чтобы было так, что они давно вместе.

— Надо в кассу за билетом,— сказал Павлик.

— Надо,— кивнула Франсуаза. Но не спешила уходить из музея, отставала, пыталась задержаться у диванчиков для отдыха и кресел.

В раздевалке она остановилась около киоска с репродукциями и книгами по изобразительному искусству, вступила в разговор с продавщицей. Павлик получил в гардеробе дубленку Франсуазы и свое пальто, заставил наконец Франсуазу одеться. Она была послушной, не протестовала. Но потом остановилась около зеркала и начала тщательно поправлять свою шапку из рыжей лисы.

Павлику было радостно, что Франсуаза совсем перестала думать о билете, но он чувствовал свою ответственность перед ней и еще силу того, что был человеком организованным.

Он взял ее за руку и решительно вывел на улицу. Ехать ей надо, и тут ничего не поделаешь. Франсуаза это прекрасно понимала, но хотела еще как-то обмануть себя, потому что эта поездка предстояла для нее нелегкой; Франсуаза ехала с разговором о себе, о своей, возможно, будущей жизни. Это беспокоило ее, и она пыталась это скрыть от себя и от Павлика. Ей хотелось как можно дольше прожить сегодняшним днем, не заглядывая в будущий день. Она умеет принимать решения, но ее решения не зависят только от нее, хотя она и не обманула Павлика, когда сказала ему, что ни мама, ни папа никогда не сделают так, чтобы ей было плохо.

Они вновь вышли на проспект Карла Маркса. Франсуаза вдруг выронила из кармана квадратик бумажных спичек.

Павлик поднял спички, подозрительно спросил:

— Ты куришь?

— Что ты! Не курю!

Но ответ ее прозвучал для Павлика не очень убедительно.

— Нет, ты куришь! — возмутился Павлик.

— Один раз, давно еще,— сказала Франсуаза робко.

— Ты куришь! — Павлик начал выворачивать у нее в дубленке карманы, проверять.— Отдай сигареты!

Он был неумолим. Франсуаза не протестовала и громко смеялась. Шапка сбилась на затылок, как она обычно ее и носила.

Прохожие не понимали, что происходит, но тоже улыбались, потому что очень серьезным и озабоченным выглядел Павлик.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Оля открыла глаза. Она прилегла на кровать и случайно уснула. Что это она — спит и спит! Люди от волнения не спят, а она спит. Прямо в платье. Или это разница во времени дает о себе знать? По местному она вчера легла в одиннадцать, а по московскому — в два часа ночи. Не измялось платье? Кажется, нет. Все в порядке с платьем.

Оля самый молодой участник концерта. Об этом уже сообщили газеты. И о русской программе. Мистер Грейнджер позаботился. Оле сказали, что старинная народная музыка будет созвучна Баху. Оля хорошо это придумала. Очень хорошо, повторил он.

Ее программа начинается как бы с удара колокола: «Вылит сей колокол в Москве...» Еще удар колокола, послабее, но позвонче: «Слит сей колокол в Перемышле...»

Оля причесывается, оглядывает себя в зеркале. Мисс Гончарова, вятская, пермская, новгородская. Дочь русских земель.

В St. Mary горели люстры. Готические крестовые своды тонули в полумраке. Нештукатуренные капеллы тоже были освещены неяркими светильниками. В больших керамических вазах много цветов, будто выросли из плит собора белые и красные кусты. Там, где орган, зажжены дополнительные лампы. Концерт будут записывать на пластинку, и представители грамзаписи приготовили аппаратуру.

Масса народа. Артисты и музыканты. Дирижер Даниел Харлинг, певец Дискау, квартет «Амадеус», семья Долмечей — мастеров по старинным виолам и клавикордам. Руководители хоров в Глостерском и Херефордском соборах. Ученики знаменитой органной Hochschule für Musik в Лейпциге. Присутствовал и профессор Кёблер, лучший современный органист-импровизатор.

Оля не разглядывала еще детали храма. Даже во время репетиций. Не хотела. Можно будет сделать после выступления. Потом, потом... Она будет завоевывать этот храм, не вникая в его подробности: алтарь, спаситель, фамильные гербы, знамена рыцарских орденов, золотые и серебряные кисти.

Орган почти такой же, как в Домском соборе: четыре мануала и сто сорок два регистра (на пятнадцать больше, чем в Домском).

Швеллер — педаль усиления звука — тоже расположен слишком сбоку, и приходится далеко откидывать правую ногу. Сегодня утром на репетиции Оля боялась, как бы не растянуть мышцу на ноге. Педальные клавиши тяжелые, и мануалы тяжелые. Ничего. После Домского органа у нее тоже опухли руки и болели мышцы живота и спины. Она тогда долго сидела в кафе, не могла взять чашку с кофе: чашка дрожала в пальцах.

Невероятно, но это случилось с ней. В тот самый последний момент, когда она подняла руки над мануалами и ноги поставила на педальные клавиши.

Один из представителей фирмы грамзаписи, который сидел совсем близко от кафедры, включил аппаратуру.

Распорядитель концерта ударил в чашу гонга, и звук гонга торжественно прозвучал в храме. В гонг ударяли перед началом каждого выступления.

И тут... не зазвучал колокол. Оля не берет теперь объяснить, почему она так поступила. Может быть, когда торжественно разошелся по храму звук гонга, который она не слышала на репетициях и не знала, что гонг будет звучать перед выступлением каждого органиста, она вдруг только в эти решительные последние секунды отчетливо поняла, как она должна играть свою программу в этой обстановке. И что именно из программы. Этюд. Почти импровизацию.

Олина помощница — студентка королевского музыкального

колледжа, которая стояла на регистрах, — увидев знак Олиной руки: «Никаких регистров не надо!» — шепотом попыталась спросить:

— Мисс...

Оля опять сделала знак рукой: «Не надо!»

И тут в зале зазвучал единственный звук единственной трубы. Протяжный и тихий. Оля играла соло. Казалось, она нашла среди металлических труб органа звук простой глиняной дудочки. Простая глиняная дудочка начала незаметно, постепенно наполнять зал. В ней были нежность и серебро, как цвет березовой коры весной. В ней звучал «варган».

Из St. Mary Оля почти убежала. То, что она проделала, было на грани дерзости, и дерзость не давала ей теперь покоя. Оля не могла понять, как на это решилась.

Она играла свое состояние, а не вещь, написанную и продуманную до конца и как-то все-таки обыгранную в подобных условиях.

От страха ее до сих пор слегка подташнивало: реакция на поступок, для нее самой неожиданный, но в тот момент необходимый. Она все так тогда почувствовала. Не колокола, не шум великих битв, а так вот...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ганка на согнутой левой руке, как это делала Кира Викторовна, показывает пальцами правой руки, как должны легко и быстро двигаться пальцы по грифу скрипки. Теперь стоккато вниз смычком.

Ученик начинает дробно и сильно бить смычком по струнам.

— Не тяжели. Ровнее.

Сколько раз это же самое говорила и показывала Кира Викторовна Павлику Тарееву. А Павлик стоял — на лбу выступили капельки пота, блестели влажные пряди волос.

Павлик бил смычком по струнам и считал про себя удары. «Еще», — говорила Павлику Кира Викторовна.

— Еще, — говорит ученику Ганка.

Павлик, отчаявшись, перестал считать удары. Ганка замечает, что и ее ученик перестает считать. Только тогда начинает удаваться упражнение: ученик перестает отмерять свои силы.

— Теперь вибрация. Начнем с четвертого пальца. Ты меня слышишь?

Это Кира Викторовна говорит Павлику. Это Ганка говорит своему ученику.

— Вибрация идет не от пальца, а от кисти. Вся рука свободно висит на четвертом пальце.

Кира Викторовна трогает кисть Павлика, раскачивает ее сама. Ганка трогает кисть ученика, раскачивает ее.

Теперь на струне ми первым пальцем со смычком.

В тот день, когда была последняя репетиция перед концертом в Малом зале, у Павлика ослабла струна ми, и Кира Викторовна послала его на склад поменять.

Зачем эти воспоминания? Они помогают или мешают? Ганка не знает. Но они присутствуют. Постоянно. Она вновь проходит свое детство.

В классе у нее стоит хорошее пианино и есть помощница, концертмейстер Зинаида Тимофеевна. Зинаида Тимофеевна была уже на пенсии, когда-то работала в полтавском музыкальном техникуме. Ганка уговорила ее пойти на работу к ней в школу, в ее класс.

— Вы знаете лучше меня, — убеждала Ганка Зинаиду Тимофеевну, — что в музыке нельзя опаздывать. Они не должны опаздывать, — показала она на своих ребят. — Помогите мне в этом.

Зинаида Тимофеевна дрогнула и согласилась. Она жила одиноко, и Ганка вместе со своими ребятами помогала теперь Зинаиде Тимофеевне вести домашнее хозяйство. Это была музыкальная артель, музхозартель.

«Что ж, — думала Ганка, — подрастут мои ребята, и соберу из них ансамбль. Первый свой ансамбль. Стасую оркестр, как говорит Яким Опанасович. Может быть, чего-нибудь достигну».

Ганка видит иногда: в дверях ее класса стоит Ладя Брагин в куртке, натянутой поверх свитера, и в джинсах. Спрашивает: «Как дела? Годятся». Видит, как он потом сидит в классе: положил на футляр со скрипкой руки, на руки положил голову и спит. Никогда ничего не добивался. Скрипка сама его нашла. Только бы хватило у него терпения справиться со своим талантом. Не отвлекли бы его и не внушили, что он уже счастлив, что ему больше ничего не надо. Его любят, и этого достаточно. Он поверит, потому что любовь для него, надо полагать, теперь самое главное явление в жизни; единственное, что достойно внимания. Ему нельзя позволять делать то, что он хочет. Он должен серьезно работать. С ним надо быть беспощадной! Ладька, Ладька... Положил голову и спит. И это было совсем недавно здесь...

Но зачем Ганке это видеть и думать о чужой любви? Не имеет никакого отношения к уроку. Не должно иметь — ни к уроку, ни к ней даже без урока, когда она идет по селу и видит, как на холме стоит ветряк, черный и старый. Одно крыло недав-

но отпало. Председатель сказал, что скоро придет трактор, чтобы развалить ветряк, а на том чистом месте нехай Яким Опанасович копает свой колодец. Председатель дает Якиму Опанасовичу последний шанс с колодцем, потому что слышал о колодце еще в ту пору, когда сам был ребенком. Но Яким Опанасович придумал ответный ход — решил развалить в своей хате печь. Пора, говорит. Печь еще от царизма, развалит и выбросит на улицу. Пусть все смотрят на обломки прошлого. Новую поставит с учетом технической мысли.

Все-таки приятно, когда на селе есть такие деды. Ганка не устает препираться с Якимом Опанасовичем и его приятелями, когда они цепляют ее своими хитрыми словами. Хотя знают, что с Ганкой, как они сами говорят, погані жарти<sup>1</sup>. Но это им особенно и нравится. Они считают, что она достойный соперник для словесных сражений.

Яким Опанасович казак, веселит, забавляет Ганку. Дивчина она самостоятельная, но и самостоятельным требуется внимание и чтоб их как-то люди примечали, веселили, пока они себя в жизни окончательно и самостоятельно устроят. Музыка — вещь необходимая, и чтоб там пальцы были развязаны, и вибрация и звук посвежее, и что там еще Ганка требует, но для души человеческой что-то иное тоже требуется. Пока человек этого иного не нашел, не выдан ему окончательный аттестат в жизнь. В пути человек. А путь, он всяким бывает, и с неудобствами. Главное, атмосферу радости вокруг человека создавай, чтоб человек себя весело в жизни чувствовал.

Яким Опанасович создавал такую атмосферу вокруг Ганки. Ганка это понимала и ценила.

Побаливает правая рука. Опять. В детстве Ганка ее сломала, и рука болит. Теперь не страшно, теперь она добила своего. Все зависит от нее самой. Все. Рука тоже. Будет ее разрабатывать. Ганка играет тогда, когда болит рука. Нарочно. Играет, сжав губы. Кисть — локоть, кисть — локоть... Извечное упражнение скрипача.

Говорят, она похожа на свою бабушку. Бабушка руководила людьми, умела это делать. Что такое быть организатором, Ганка понимает только теперь, потому что она теперь организатор и ей нравится это. Ганка взялась за председателя колхоза, когда доставала пианино. Требовала: «Выделяйте деньги!» Председатель отбивался, говорил: «Погоди, успеете». Говорил о райфо, облпромсоюзе, рыночной торговле, оплате трудовых. Председатель думал, что засыплет Ганку различными финансовыми и хозяйственными словами и она затихнет. Ганка не затихла. Попросила у бухгалтера прошлогодний финансовый

<sup>1</sup> Шутки плохи (укр.).

отчет и выучила все его статьи, как выучила бы ноты. Вначале несколько механически, но потом поняла внутреннюю структуру отчета, взаимосвязь статей и положений. Когда вновь явилась к председателю, была уже достаточно финансово образованна, чтобы доказать, как, по каким статьям или в каких финансовых остатках можно провести пианино. Хотела достать концертное, большое, марки «Эстония». Поехала в область, в филармонию. В филармонии хотели уступить их собственное, старое. Ганка категорически отказалась. Это что же такое? Что за отношение к сельским музыкальным силам? Не отступала от директора филармонии, и он позвонил в облторг, чтобы приняли заявку от села Бобринцы на инструмент «Эстония».

Когда пианино прибыло в село и было установлено в Ганкином классе, Яким Опанасович, скинув с головы картуз в знак особого в эту минуту внимания, сказал:

— Правленческий ты человек, Ганна Степановна.

В честь пианино все собрались в хате тетки Феодоры. Полхаты застелили мягкой травой лепехой. На стол был выставлен порядок блюд: кислое молоко-робленка, студень, яешня, крахмаль<sup>1</sup> молочный и крахмаль вишневый. А потом перед хатой для желающих были выставлены миски с тыквенными семечками, которыми пользуются сельчане в момент окончательных обсуждений жизни.

Ганка очень веселилась и чуть не подпалила хату: пыталась показать цирковые фокусы с огнем. Яким Опанасович расценил это как головокружение от содеянных в кооперативе успехов. Ганка никогда не пила наливки, а тут выпила, и у нее действительно закружилась голова. Тетка Феодора взяла Ганку крепко за руку и сказала:

— Будь ласка, сідай.

Ганка послушно села возле тетки и больше не показывала никаких фокусов.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Всю ночь на Эйфелевой башне вращаются два прожектора. Они чертят над Парижем огромный световой круг. Можно стоять и смотреть, как прожектора ритмично проходят над тобой. Франсуаза их знает с тех пор, как живет с мамой в Париже. Странно, она никогда не поднималась на Эйфелеву башню. И подумала об этом только теперь, потому что стояла под башней и, подняв голову, смотрела вверх. Лифты набиты туристами — обязательная программа. Здесь же продаются значки

Эйфелевой башни. Можно приколоть и ходить с такой маленькой башенкой на груди. Всего полтора франка. Или значок — Триумфальная арка. Или Собор Парижской богородицы. Всего два франка.

Почему Франсуаза стоит сейчас здесь? Она не знает. Смотрит на прожектора, которые вращаются над самой головой в ночной вышине. А не почувствовать ли себя в Париже туристом, чтобы уехать? Значок на груди — и все. И это легко, потому что сами французы говорят, что Париж — город прежде всего для туристов. Так сложилось. Мама прожила в нем свою жизнь. Но прожила ее в качестве кого? Мама никогда ничего не объясняет.

«Ты можешь продолжать учиться в Москве», — сказала мама. Учиться или жить? Нельзя только учиться и не жить жизнью города, в котором ты учишься так долго. Франсуаза рассказала о школе, о товарищах, о Павлике Тарееве и о себе, задала наконец вопрос: почему она учится в Москве? Почему мама ее туда послала? Мама ответила, что потом. Как-нибудь потом, когда Франсуаза придет в Прованс, где мама, возможно, будет теперь жить с отцом, и если Франсуазе опять все это нужно будет обязательно знать, она ей и расскажет. Теперь маме надо ехать: у нее срочная и ответственная работа. Франсуаза может вернуться в Москву, закончить школу. Летом они с отцом будут ждать ее в Марселе. Тогда и поговорят окончательно. При этом мама выглядела неестественно озабоченной, как будто спешила уехать от Франсуазы. Но ведь сама она сказала, когда они разговаривали по телефону перед отъездом Франсуазы из Москвы: «Может, у тебя есть что-нибудь важное ко мне? Ты заканчиваешь школу...»

Так чего же хотела мама? «Походи по Парижу, прошу тебя», — сказала она. — Подумай одна о себе, но только здесь. Я тебя очень прошу». Это она сказала несколько раз и смотрела на Франсуазу с какой-то надеждой. Или все это только кажется Франсуазе? Мама есть мама, чему же удивляться!

Франсуаза осталась в Париже, ходит по нему.

Стояла у Лувра (днем он весь в туристах — автобусы, машины, гиды, громко объясняющие, почему Людовик XIV покинул Лувр и построил Версаль), на площади Вож, или, как ее еще называют, Королевской площади, где встречались д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис (тоже толпа туристов, тоже гиды, показывающие дом кардинала Ришелье, дом королевы), и на Монмартре, где тоже туристы и художники, рисующие в основном для туристов. Горят перед картинами свечи и карманные фонарики всю ночь.

Почему мама с отцом жила врозь? Разошлись? Поссорились? Почему послала Франсуазу в Москву? Когда-нибудь в их

<sup>1</sup> Кисель (укр.).

семье были эмигранты из России? Но мама не знает русского языка.

Может быть, подняться на Эйфелеву башню, возле которой Франсуаза находится сейчас среди прочих туристов, и постоять там наверху, над всем городом, в центре светового круга? «Ты куришь!» — говорит Павлик. «Не курю». — «Нет, ты куришь!» И он выворачивает у ее дубленки карманы, ищет сигареты. Она громко смеется. Так она смеялась в Москве. И она хочет опять смеяться и не хочет стоять на Эйфелевой башне одна. Франсуаза достает из кармана сигареты, кладет на пустую скамейку недалеко от Эйфелевой башни и уходит. И ей кажется, что она идет по Тверскому бульвару и рядом с ней идет Павлик.

В самолете сидела женщина. Она только что попрощалась со своей дочерью. Что-то было в ней такое, отчего стюардесса, которая только что объяснила, как пользоваться надувным жилетом, потому что аэропорт в Марселе находится вблизи озера, подошла к ней и спросила:

— Вам принести сок? Воду?

— Воду, — сказала женщина.

Стюардесса принесла низенький фирменный стакан с водой. Пассажиры читали газеты и журналы.

Впереди, около откидного кресла стюардессы, возились, играли маленькие девочка и мальчик. Брат и сестра. Брат был постарше, и он немного стеснялся, что сестра слишком шумно себя проявляет. Появилась стюардесса, о чем-то поговорила с детьми и потом увела их в кабину к пилотам.

С каждой минутой самолет отдалялся от Парижа.

Женщина отпила несколько глотков воды.

Восемнадцать лет назад у нее умерла подруга. Она была русской и была замужем за французом. Осталась совсем маленькая девочка; родная мать не успела даже выбрать для нее имя. Тогда казалось, просто быть матерью, и даже слово, которое дала, тоже казалось несложным и вполне выполнимым: дочь должна была увидеть Россию, Москву, и только потом надо было рассказать ей все остальное о родной матери. Но кто теперь родная мать? Чья это теперь дочь? Она ее вырастила, а значит, утвердила в ней себя тоже. Ничего в этом не было преднамеренного, специально задуманного — это естественный ход жизни. Где здесь мера справедливости, чтобы правда не перешла в жестокость?

Но это все ее мысли, ее, а не дочери. Отец тоже дал слово. Он тоже знал, что дочь может уехать, и поэтому назвал Франсуазой; в ее имени — Франция.

Пассажиры переговаривались, курили, шелестели журна-

лами и газетами. Она сидела неподвижная. Даже забыла отстегнуть пряжку предохранительного пояса. Она не поговорила сейчас с Франсуазой. Зачем эта отсрочка? Оставила ее одну, улетела...

Стакан охлаждал колено, и она машинально поворачивала его в пальцах и передвигала по колену.

Родители мальчика и девочки привстали со своих передних мест и заглянули за шторку, отделяющую кабину пилотов от пассажирского салона. Девочка вернулась, а мальчик остался у пилотов. Но потом и он вернулся. Они снова начали возиться, играть.

Она теперь смотрела на них, и ей мучительно хотелось позвать к себе девочку.

Чибис вернулась в «Эмбасси». Портье, который звонит по утрам и будит проживающих, чтобы не опоздали на завтрак, сказал, что ей звонили из Парижа и еще позвонят в девять часов. Чибис не поверила, что ей звонили из Парижа, но портье показал, что вот он записал, кто звонил — Франсуаза Дюран.

Оля глянула на часы. До девяти оставалось полчаса. Она решила не подниматься к себе в квартиру, а пойти в Гайд-парк. Она все еще находилась в напряжении после выступления с такой неожиданной программой. Для всех и прежде всего для нее самой. Оля шла по мягкой травянистой дорожке. Валялись старые теннисные мячи. Ими играют дети, кидают их собакам, когда собак по утрам приводят в Гайд-парк. Мячи потом остаются в траве и лежат до следующего утра. Оля направилась к памятнику Питеру Пэну, мальчику, который не захотел стать взрослым. Оля любила смотреть на Питера Пэна, популярного литературного героя английских детей. На озере, как всегда, плавали дикие утки, стучали клювами в кормушках.

Без пяти минут девять. Оля вернулась в гостиницу: Присела недалеко от стойки, за которой расположился портье. Телефонный звонок. Портье говорит по телефону, потом улыбкой подзывает Олю. Она идет в кабину с другим телефонным аппаратом, на который портье переключает разговор. Берет трубку и тут же слышит голос Франсуазы:

— Оля, я увидела тебя по телевидению. Ты играла превосходно! Мистера Грейнджера я тоже узнала. Оля, когда ты возвращаешься в Москву?

— Через шесть дней.

— Пусть тебе закажут билет через Париж.

— Не понимаю.

— Это можно. С остановкой в Париже на сутки. Мне сказали здесь, в советском консульстве.

— Зачем все это?

— Я тебя встречу. Ты мне нужна. Очень! Ты меня слышишь?

— Да.

Слышно было хорошо, и Франсуаза эти слова сказала просто от волнения.

— Мне необходим кто-нибудь из наших ребят. Ты понимаешь? Мне надо посоветоваться. Это очень важно для меня! Для всей моей жизни, может быть!

— Примерно понимаю.

— Здесь, в Париже, что-то решить. Оля...

— Я выясню с билетом, Франсуаза.

— Оля, я жду. В обязательности!

Павлик Тареев тут же бы ее, конечно, поправил: говорят «обязательно», а не «в обязательности». Но Оля не поправила. Не до подобных мелочей было.

Разговор закончился.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В подушечке пальца «и боль, и гибкость, и радость, и отчаяние».

Андрей занимается. Мать на кухне, в это время она всегда на кухне, чтобы ему не мешать. Наверное, кормит обедом Петра Петровича. Петр Петрович опять одинок с тех пор, как ушла женщина, с которой у них должна была начаться новая для Петра Петровича жизнь. Жизнь не началась. Человеческая память не выпускает прошлого, и у многих людей не получается будущего, потому что они остались в прошлом, единственном для них времени на всю жизнь.

Андрей занимается, никак не находит в себе чего-то основного. Он опять ничего не знал о себе, в нем жила только невозвратная потеря, в которой он потерял и себя тоже и не стремился найти вновь, потому что не знал, какого себя он должен найти. Откуда и какие возьмет силы, к чему готов.

Боязнь, вечно боязнь, которая постоянно при нем. Постоянно он ждет обстоятельство, которое будет сильнее его, и он не будет готов победить, окажется слабее. Он теперь прежде всего готов к поражению, и это он теперь ощущает совершенно определенно; не доверяет себе, не верит в себя лично. Прошрое, настоящее, будущее... Когда кончается одно и начинается другое?

Профессор Мигдал недавно сказал Андрею: «Вы никогда еще не слышали себя, Андрей, как подлинного художника. Ваш «Золотой Дубровник» — еще не ваше собственное слово, это вы еще с чужих слов, пускай и удачных для начала, но только для начала. Ученичество».

Разговор был нелегким. Он уже возникал, но не доходил до какого-то логического конца. Может быть, потому, что такого логического конца не было еще. «Я стремлюсь приблизить вас к четкой простоте,— говорил Валентин Янович.— Чувства выражайте минимальными средствами, и тогда это будет самым убедительным для всех. Будьте скупым до суровости. Философ-номиналист Уильям Окам выдвинул закон бережливости гипотез: сущности, которые служат для объяснения, не должны умножаться сверх нужды. Вам необходимо непрерывное волевое усилие, и не только во имя себя. Для этого вы обладаете самым важным, на мой взгляд,— несомненностью чувств».

После разговора с Валентином Яновичем Андрей пытался понять и оценить себя, свое прошлое и свое настоящее. Быть в нервном превосходстве над другими? Над Ладькой? В ответ на его удачу в жизни он должен противопоставлять свою боль в жизни, свою неудачу? Нет. Он несправедлив к себе, и это тоже не от силы, а от слабости. Он унижает себя. Опять боязнь, неуверенность.

За своей работой, борьбой за успех он не сумел увидеть и понять Риту. Да, да, да. Помочь ей. Он ведь все время искал себя, только себя. Он ее очень любил, но еще больше любил свою мечту о Великом Скрипаче. И он проглядел в своей личной жизни Риту. Закономерность творчества? Увлеченность? Эгоцентризм? Андрей никогда не спрячется в этом от самого себя.

Эгоцентризм — это крайний индивидуализм; не просто индивидуализм, а крайний. Сила таланта как сила жестокости, что ли? К себе? Ко всем другим. И опять во имя себя, своего таланта?

Игра словами, вот он чем сейчас занимается. Оправдывается, выкручивается. И разве только так все может быть? Разве только эгоцентризм?

Андрей вспомнил Олю. Как она спокойно и естественно заняла место в жизни, была к этому готова. Была готова к подлинному общению с людьми через свою музыку. Оле помогала ее внутренняя тишина, предельная сосредоточенность, способность оценивать себя и окружающую действительность. Теперь он знает Олю, только теперь.

Он видел Олю перед ее отъездом в Лондон в консерваторском читальном зале. Она сидела за столом, наклонив голову и придавив ладонями уши, чтобы сосредоточиться над тем, что она читала. Андрей незаметно подошел к ней и тронул за локоть. Чибис опустила руки, подняла голову. Она взглянула на Андрея, и это был взгляд близкого ему и понятного человека.



Андрей сел рядом, и они начали шепотом разговаривать. Чибис сказала, что скоро перейдет с вечернего отделения на дневное. Бабушке надбавили пенсию, да и она тоже на дневном отделении будет получать стипендию. Как-нибудь им хватит. Андрей спросил о поездке в Лондон. Она сказала, что заканчивает программу. Потом спросила: как он сейчас?

— Ничего,— ответил Андрей.— Впрочем... не знаю.

— Это пройдет, Андрюша.— И тут же перевела разговор, сказала, что встретила Машу Воложинскую. Такой же ребенок, но только большой, у которого постоянно сваливаются с носа очки.

— Давно не встречал,— сказал Андрей.— Франсуазу видел, взрослая и красивая.

— Они все теперь взрослые.

— А мы?

— Старики, очевидно,— улыбнулась Оля.

Андрей улыбнулся в ответ:

— Ты совсем неплохо выглядишь.

— Андрюша...

— Конечно. Надо чем-то подтвердить?

— Не надо. Ты говорил мне правду.— Оля опять перевела разговор.— А Гусева не видел? Занимается древнеармянскими нотами. Тысячи рукописей — и не разгаданы. Кажется, называются «хазовые знаки». Достал фотокопии, сидит над ними.

— Беспощадная личность.

— Мне он нравится,— сказала Оля.

— Мне тоже,— сказал Андрей.

— Кира Викторовна о тебе спрашивала.

— Зайду к ней. Что там в школе нового?

— Живут. Организовали совет по содружеству с музыкальным училищем в Петропавловске. Собирают для них ноты.

— Как турниры «Олимпийские надежды». Буйно мы забавлялись.

— Назвали «Слушайте все».

— Не то, а?

— И мне кажется.

— «Мажоринки» выпускают?

— «Контрапункт».

— «Мажоринки» лучше.

— По-моему, тоже. Мы старики, если нам все наше лучше. Они помолчали.

Андрею было спокойно с Олей. Разговор о ребятах, о школе был ему приятен, он ни к чему не обязывал, не вызывал ничего, кроме доброй улыбки, как всегда вызывает улыбку школьное прошлое, хотя это и было совсем недавно, но казалось, что все было очень давно и что ты с тех пор совсем изменился; во всяком

случае, в твоей жизни произошли серьезные перемены. В жизни Андрея так и было.

Андрею вдруг подумалось: не попробовать ли на скрипке Олину русскую программу? Оля оставила ему черновики нот. А может быть, скрипка и орган в русской программе? Было бы интересно. Есть одна фраза в Олиной программе, ее надо делать двумя движениями смычка, настораживающе, с оттенком, вопрошающим что-то у времени, у вечности. Движения смычка должны быть прерывистыми, несоразмерными, чтобы звук был свободным, естественным, как скрип двери на ветру в каком-нибудь старинном храме, Спасо-Андрониковом монастыре, например, где похоронен Андрей Рублев.

А Впрочем, очевидно, все это мало интересно; сущности, которые служат для объяснения, не должны умножаться сверх нужды. Скрипка в этой программе — еще одна сущность. Зачем? Или как у «гроссов» — гамбит: жертвуется пешка или фигура, чтобы скорее начать атаку. «Гроссы» сказали, что экзemplяр их опытной скрипки — гамбит. Нужна ли подобная атака, подобный гамбит? Последняя встреча с «гроссами» была для Андрея неприятной. Он сказал, что жертвовать пешку они будут без него.

Они стояли все над механическим смычком — Андрей, Сережа, Иванчик, Надя, акустик Митя Нагорный. На матовом экране высвечивался линейный спектр обертонов и частот.

«Андрей, ты устал», — сказал Иванчик.

«И ты не совсем нас понял», — сказал Сережа.— Жертва, связанная с экспериментом, всегда бывает обусловлена...»

«А вы не устали? Вы все! — Андрей не дал закончить Сереже его фразу.— От бесконечного механического смычка не устали? От бесконечной неодушевленной частоты? Сожгите скрипку, чем так...— Андрей возвысил голос, чтобы перекричать визг смычка.— Сожгите!»

Надя выключила мотор. Наступила тишина.

Это воспоминание было Андрею неприятным. Может быть, он несправедлив к Иванчику и Сереже? Считает, что путь постижения того, за что они взялись, должен быть не таким. Скрипка, чтобы она родилась живой, всегда должна иметь свою тайну рождения, как имеет тайну рождения каждый талант. И скрипки не должны копировать одна другую механически. Неужели «гроссы» этого не понимают? Или Андрей теперь несправедлив к «гроссам» вообще? Устал на самом деле, и прежде всего от самого себя. Начал ссориться с друзьями. Нехорошо это, действует удручающе. Вовсе даже не радует ни в какой личной правоте. А может быть, и личной правоты нет? Он никогда еще не достигал окончательной правоты. Рыжую застенчи-

вую машину, например, сожгли и, оказывается, так надо было. А он сжег скрипку, и этого не надо было делать.

Андрею захотелось увидеть девочку Витю. Она бывает на заводе у «гроссов», но с Андреем там не встречается, ходит только днем, когда знает, что Андрея на заводе нет.

Ему нужна была сейчас ее четкая простота восприятия жизни. Ему нужна сейчас эта четкая простота. Что он говорит? Прежде всего он должен позаботиться о ней самой, должен помочь, и не потому, что ответствен и старше, а просто по-человечески это должно быть так. Не ее четкая простота, а его человечность по отношению к ней.

Андрей возвращался с завода от Иванчика и Сережи, и ему необходимо было, чтобы у консерватории стояла Витя. Он даже убедил себя, что она там стоит в своем узеньком детском пальто. Андрей забеспокоился, заторопился. Ему сделалось невыносимо стыдно перед Витей. Он всегда хотел, чтобы другие прежде всего были бы необходимы ему, его трудностям, и только потом он был бы необходим другим. Он потерял Риту по такой вот причине. И он никогда не простит себе этого.

Андрей почти прибежал к консерватории. Стоят группами студенты-вечерники. Девочки Вити нет. Но Андрей упрямо ходил среди студентов, искал ее. Ему казалось, что он ее вот-вот увидит. Натолкнулся на Родиона Шагалиева. Родион пришел на занятия по камерному ансамблю.

— Ты кого потерял? — спросил Родион.

— Себя, — ответил Андрей.

Он сдал в Госколлекцию Страдивари и опять упрямо ходил, искал Витю. Уже потом, когда возвращался домой, он подумал, что сказал Родиону правду.

## ЭПИЛОГ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

Это был поздний вечер. Еще и еще один в жизни Андрея. Андрей медленно шел по городу. Он должен как-то окончательно понять себя. Он не может теперь ощущать жизнь так же, как ощущал до того дня, когда умерла Рита. Он теперь должен поймать в себе первое новое музыкальное движение. Он услышит его.

И он упрямо шел по городу и ждал самого себя.

## СОДЕРЖАНИЕ

Я СЛУШАЮ ДЕТСТВО. <i>Повесть</i> . . . . .	5
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА. <i>Рассказ</i> . . . . .	84
ДВОЕ В ДОРОГЕ. <i>Рассказ</i> . . . . .	90
ДВЕ СЕКУНДЫ СВЕТА. <i>Рассказ</i> . . . . .	103
ДЕВЯТЬ ВОЗВРАЩЕНИЙ. <i>Повесть</i> . . . . .	111
БУЛЬВАР ПОД ЛИВНЕМ. <i>Роман</i> . . . . .	157

К Ч И Т А Т Е Л Я М

Отзывы об этой книге  
просим присылать по адресу:  
125047, Москва, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.

Для среднего и старшего возраста

Михаил Павлович Коршунов

**ИЗБРАННОЕ**

Роман, повести, рассказы

ИБ № 7759

Ответственный редактор

*И. В. Пахомова*

Художественный редактор

*М. Д. Суховцева*

Технические редакторы

*Е. М. Захарова и М. А. Кутузова*

Корректоры

*В. В. Борисова и Э. Я. Сербина*

Сдано в набор 06.06.84. Подписано к печати 21.12.84.  
А03069. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт лите-  
ратурный. Печать высокая. Усл. печ. л. 25. Усл. кр.-отт. 25,5.  
Уч.-изд. л. 26,87. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5507. Цена  
1 р. 20 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
издательство «Детская литература» Государственного ко-  
митета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж-  
ной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.  
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская  
книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного ко-  
митета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж-  
ной торговли. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

**Коршунов М. П.**

К70 Избранное: Роман, повести, рассказы /Худ.  
А. Левицкий.— М.: Дет. лит., 1985.— 414 с., ил.

В пер.: 1 р. 20 к.

В книгу избранных произведений известного детского писателя М. Кор-  
шунова вошли произведения: роман «Бульвар под ливнем», повести «Я слушаю  
детство», «Девять возвращений» и рассказы «Двое в дороге», «Последняя охота»  
и «Две секунды света».

К 4803010102—089  
M101(03)85 273—85

P2